

4

# НОВАЯ МИР

НОВАЯ  
МИР

1978

4



1978



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1978 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ — Из стихотворения «Разговор с товарищем Лениным»	3
ВИЛЬ ЛИПАТОВ — Повесть без названия, сюжета и конца..	4
Ф. ЧУЕВ — Из новой книги, стихи	56
Л. ПАНТЕЛЕЕВ — Маленький офицер, рассказ	59
ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ — Цикл «Старые мастера», стихи	66
БОРИС ВАСИЛЬЕВ — Были и небыли, роман. Окончание	69
МИХАИЛ БЕЛЯЕВ — Древние Ливны, стихи	137
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Человек и время, воспоминания. Часть шестая	142
ОЛЕСЬ БЕНЮХ — Джуи и Мервин, роман	180
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА — Альбион и тайна времени. Окончание	216
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
Н. МИХАЙЛОВ — У заставы Ильича	240
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
ШИРОКОЕ ПОЛОТНО ЖИЗНИ. К 100-летию со дня рождения Садридина Айни. Предисловие К. С. Айни	259
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Ю. СУРОВЦЕВ — Мир души человеческой. Женская лирика: обзор мотивов и попытки портретов	268
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	285
Алим Кешоков. Зоркость.— Галина Кузнецова. Уроки поэзии.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	
Вл. Кузнецов. Ленинизм и XX век.— И. Бестужев-Лада. Занимательно о прогностике.	290
КОРОТКО О КНИГАХ: К. Касиков, Я. Федин.— А. В. Мяскин. Социальный портрет советского рабочего. Основные черты, процесс формирования. ♦ Паула Винце, Сергей Небольсин.— Рукопожатие. Kézfogás. Сборник. Составитель Анатолий Медников. Переводы с венгерского О. Громова. ♦ Арво Метс.— Владимир Соколов. Городские стихи. ♦ Николай Внуков.— Б. Я. Розен. Чудесный мир бумаги. ♦ М. Белов.— Никита Болотников. Последний одиночка. Жизнь и странствия Никифора Бегичева. ♦ И. Дрейцер.— А. Гозак. Алвар Аалто	298
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	304

---





---

---

ВИЛЬ ЛИПАТОВ

★

## ПОВЕСТЬ БЕЗ НАЗВАНИЯ, СЮЖЕТА И КОНЦА...

Глава первая

1

**М**уж от Нины Александровны Савицкой по их взаимному согласию ушел пять или семь лет назад, оставив ей сына Борьку и полуторакомнатную квартиру в деревенском доме; разошлись они быстро, так сказать, без печали. Нина Александровна однажды вернулась домой с работы, а мужа как ветром сдуло — ушел к медсестре Паньковой и тут же уехал в районный центр. Она с замедленной улыбкой походила по комнате, закурила сигарету... Впрочем, целые полгода Нина Александровна злилась на односельчан и коллег — все казалось, что хихикают за спиной: «Смотрите, смотрите, от нее ушел муж!» — но в основном жизнь складывалась нормально. «Да, была замужем, да, разошлась, оказались разными людьми, моя математика, его медицина, — разные, совершенно разные люди...»

За прошедшие после расставания годы у Нины Александровны было несколько любовных связей. Однажды она провела на юге целый месяц с попутчиком по экспрессу «Томич», которым ехала из Сибири в Крым; попутчик жил в областном центре, ему до чертиков надоела жена, и был он хорош, как всякий отдыхающий мужчина. Высадившись в Феодосии, они сразу повели себя как муж и жена — сняли отдельную комнату, — и все окружающие думали, что они и на самом деле женаты. Затем в Нину Александровну стремительно влюбился преподаватель географии, мрачный и независимый блондин. Они встречались полгода, до тех пор, пока географ не запил горькую. Последняя связь Нины Александровны была недолгой, скучной и забылась через неделю после того, как инженер-нефтяник уехал из поселка. Она даже не знала, нашли они нефть или не нашли.

Нине Александровне было одиноко, когда в поселок Таежное, где она жила и преподавала в школе, приехал новый главный механик сплавной конторы Сергей Вадимович Ларин — сорокалетний холостяк. С женой он разошелся — вот совпадение. Появление неженатого мужчины с высшим образованием в Таежном было событием для незамужних учительниц, пионервожатых, агрономш и врачей, так как в поселке холостых мужчин с образованием давно уже не было, но Нину Александровну новый механик сплавной конторы удивил тем, как на очередной званой вечеринке ел огурцы. Он разрезал их на продольные половины, каждую густо смазывал маслом, перчил до черноты, а сверху покрывал толстым слоем гор-

чицы. Нина Александровна содрогнулась, когда Сергей Вадимович положил половину огурца в рот и начал жевать неторопливо, смачно, с таким выражением, словно хотел сказать: «Жизнь прекрасна и удивительна!» Она засмеялась, а он с полным ртом наставительно сказал:

— Между прочим, над голодающими смеяться грешно. Но вам я разрешаю...

Одним словом, Сергей Вадимович ей показался фатоватым, несерьезным, поверхностным человеком, но с ним было весело, и Нина Александровна на Сергея Вадимовича дважды за вечер посмотрела благосклонно — сидит, ест огурцы, посмеивается; ни блондин, ни брюнет, ни шатен, а так себе, середочка на половиночку. Утром она о нем вспомнила только тогда, когда, выйдя из дома, увидела в огороде соседки огуречную грядку. «Забавный», — подумала она.

Однако забыть надолго о новом главном механике сплавной конторы Нине Александровне не удалось, так как жители поселка Таежное, досконально знающие друг друга, вскоре обратили внимание на то, что Сергею Вадимовичу и Нине Александровне под сорок, что они остались в одиночестве и что механику сплавной конторы лучшей жены не найти — в Таежном преподавателя математики Нину Александровну Савицкую любили.

— Дура будешь, если упустишь, — сказала ей директриса школы Белобородова. — Выходи замуж, пикируй на добра молодца!

Директриса Белобородова в годы войны летала штурманом на бомбардировщике и не упускала случая напомнить о своем героическом прошлом.

— Чего надула губы, Нинка? Слопай молодчика!

Нина Александровна посмеивалась, но вскоре после этого разговора учителя, несколько инженеров сплавной конторы и врачей пошли дружной и веселой компанией купаться на озеро; взяли с собой много еды, водки, вина, развели два костра, начали жарить шашлык — это тогда в Таежном только входило в моду.

В плавках Сергей Вадимович был ладен: не богатырь, но и не заморыш, не длинноног, но и не коротышка. Выпив пару рюмок русской водки без закуски, он с блаженным лицом вошел в воду, разминаясь, поплавал среди нервно хохочущих учительниц, а потом нырнул и... пропал. Человек пять отчетливо видели, как в двадцати — тридцати метрах от берега Сергей Вадимович, показав розовые пятки, скрылся в озере, а вот обратно не вынырнул. Естественно, началась паника: женщины визжали и бестолково бегали по берегу, мужчины, встав в кружок, огорошено шептались; и только Нина Александровна молча стояла в сторонке. Первой начала решительно действовать директриса Белобородова, положение которой было действительно тяжелым. А как же! В присутствии директрисы, как говорится, употребляли спиртные напитки, после чего полезли в воду... Районо, райком, обком, милиция!.. Молодая быстроногая учительница начальной школы Лидия Ивановна уже натягивала тесные брюки, чтобы бежать в поселок; сама директриса Белобородова, по-мужски ухая, ныряла; преподаватель физкультуры по прозвищу Мышица зачем-то прятал в рюкзаке бутылки с вином и водкой; Нина Александровна торопливо раздевалась, когда в прибрежных камышах вынырнул Сергей Вадимович и, стоя по колено в воде, радостно сказал:

— Пора жарить шашлык... Угли готовы?

И тут Нина Александровна, оглушенная восторженными воплями женщин и фронтовой руганью директрисы, вдруг подумала легкомысленно: «А почему действительно не выйти замуж за шутника?» — тем

более что у мокрого Сергея Вадимовича, несмотря на разухабистую улыбку, глаза казались грустными...

Свадьбу отпраздновали осенью, подчеркнута скромно. Начинаясь уже октябрь, все пожелтело, уменьшилось в размерах, сделалось прозрачным и сквозным — деревья, небо, река, поселок, — и у Нины Александровны было такое чувство, словно листья с осокорей падают всегда, в любое время года; накануне свадьбы прошел легкий, почти весенний дождь, и директриса Белобородова говорила: «К счастью!» Действительно, на следующий день после свадьбы небо сделалось безоблачным, высоким, голубым; где-то далеко, за синими кедрочками, может быть, в соседней деревне, поблескивало, погромыхивало, словно и на самом деле вернулась весна. Река тоже была веселой — в ней первомайскими цветами отражались спелые гроздья рябин, — и собаки по ночам лаяли лениво, добродушно, как бы стесняясь нарушать сквозную прозрачность ласковой осени.

Через две недели после свадьбы Нина Александровна сожгла две фотографии, на которых была снята вместе с первым мужем, — это было последнее, что у нее от него осталось.

## 2

Из-за всемирной синоптической неразберихи зима на Таежное не ложилась долго; уже дважды по ночам ударяли жесткие морозы, уже колодцы затянуло таким ледком, что приходилось долбить, уже сын Борька носил калоши с валенками, уже над поселком висели первоклассные зимние облака, а снег все еще не падал. Жители Таежного зиму ждали в обычные сроки, хорошо к ней подготовились, и было неуютно оттого, что по улицам ходят люди в зимних пальто и шапках, а вокруг все черным-черно, словно прохожие не коренные жители, а переселенцы.

Наверное оттого, что Нина Александровна и Сергей Вадимович имели горький опыт семейной жизни, но долго были одиноки, их быт налажился сравнительно быстро и легко, тем более что оба много работали, уходили из дому рано и встречались только перед ужином, довольные проведенным днем и предстоящим отдыхом. Встречаясь вечером, они здоровались друг с другом так радостно, словно не виделись целую неделю, ужиная, охотно разговаривали о чем придется, чаще всего о пустяках, и Сергей Вадимович был весел, энергичен и шутил с привычной легкостью.

Новый муж Нины Александровны в быту оказался, как и ожидалось, человеком легкомысленным, но именно это, к удивлению Нины Александровны, облегчало жизнь. С ее сыном Борькой он, например, поступил неожиданно, эффектно и по-мальчишески хвастливо; заявившись однажды домой, он не раздеваясь шлепнулся на диван и помянул Борьку пальцем:

- Маршируй-ка сюда, старик... Вот этого ты не едал?
- Пистолет! — прошептал Борька.
- Будь здоров!

После этого Сергей Вадимович наставил пистолет себе в грудь, и восемь оглушительных выстрелов потрясли маленькую комнату. В ушах у Нины Александровны зазвенело, а Борька от восторга покраснел.

— Пистолетик-то стартовый! — сказал Сергей Вадимович, перезаряжая обойму. — Держи, старик. Володей и царствуй!

- Мне?
- Твоя пушка.

Борька задрожал от радости:

— Ну спасибо!

Несерьезность и легкомыслие Сергея Вадимовича как нельзя лучше помогали их браку, так что отношения Нины Александровны и Сергея Вадимовича были такими же простыми, спокойными и нешумными, как их осенняя свадьба, а о любви они заговорили впервые уже после того, как возникла перспектива переезда в новую квартиру. Разговор начал сам Сергей Вадимович.

— Слушай, Нинусь,— закуривая последнюю перед сном сигарету, однажды сказал он.— Слушай, Нинусь, а не сбежать ли нам в загс? Так, знаешь ли, взять да и нагряться...

Он был, как всегда, весел, казался уютным и смешным оттого, что одеяло натянул до подбородка, а папиросу держал вытянутыми губами.

— Так как, Нинусь?

— Как хочешь.

Он помолчал, скосил на нее глаза.

— А все-таки?

— Можно сходить, когда я получу развод...

Он вынул руки из-под одеяла, потушил сигарету о спинку кровати — безобразие! — сказал в потолок:

— А я ведь вас люблю, гражданочка.

Нина Александровна благодарно поцеловала мужа, убрав с его глаз старящую прядь волос, деловито спросила:

— Хочешь получить новый экспериментальный дом? Ты знаешь, я тоже думала о нем...

Он засмеялся:

— Давай устроим досрочные смотрины...

Сейчас они жили в полутора комнатах старого крестьянского дома, дряхлого, точно светящегося лесные гнилушки, вросшего в землю по нижние наличники маленьких окон. Полторы комнаты — это поставили зыбкую перегородку, стол, стул, кровать и назвали Борькиной комнатой. Убогая была квартира, просто крохотная рядом с большими собственными домами сплавщиков.

К своему предполагаемому будущему дому Нина Александровна и Сергей Вадимович впервые подошли со стороны реки, от молодого ельника, который в это прозрачное утро был зеленым, чистеньким, хотя все остальное в мире по-прежнему казалось мрачным и грязным. Дул свежий ветер, в недостроенной крыше дома свистело, на белой стропиле сидела тихая сорока, а в окнах еще не было рам. Возле дома вкусно пахло свежей стружкой и сосновой смолой.

— Ба-а-льшие комнаты? — проходя по широкому коридору, спросила Нина Александровна.— Это кухня?

— Это, пардон, клозет... А вот сей пинал—домашний кабинет, а это спальня. Кухня вот: горячая и холодная вода! А? На сей предмет за стеной имеется ящик для переносных баллонов с газом.— Сергей Вадимович озабоченно поджал губы, сделав испуганные глаза, трагическим шепотом проговорил:— А вот здесь будет первая ванная комната в процветающем поселке Таежном.— И схватился за щеку, словно у него заболели зубы.— Ох, пропала моя головушка! А вот и автор-аноним!.. Гражданин Булгаков Анатолий Григорьевич собственной персоной. Прошу любить и жаловать!

Действительно, мимо недостроенного дома с палкой в руках и в пыжиковой шапке неторопливо прошел бывший главный механик сплавной конторы Анатолий Григорьевич Булгаков, ныне пенсионер. Автором-анонимом Сергей Вадимович назвал бывшего механика потому, что Булгаков пристально и неусыпно следил за каждым шагом Сергея Вадимовича и уже письмом в райком партии сообщил о том,



что его преемник прелюбодействует с учительницей Савицкой, использует служебный «газик» в личных целях, увольняет неугодных ему людей, а главное — руководит вверенной ему службой авантюристическими методами.

— Данный пенсионер еще попьет моей кровушки,— насмешливо наблюдая за Булгаковым, заботливо сказал Сергей Вадимович.— Обрати внимание на палку и походку... А?!

Нина Александровна охотно улыбнулась, так как у бывшего механика действительно походка была смешная. Он выступал важным гусиным шагом, голова была задрана, широкие плечи напряжены, а вот палкой он взмахивал неумело, не успев еще привыкнуть к пенсионерской забаве, и Нина Александровна подумала, что Булгаков не так уж и смешон, как сейчас кажется ей и Сергею Вадимовичу. Однако небо было по-весеннему голубым, ветер дул еще с юга и все в мире казалось легким, милым, веселым, и Нина Александровна пребывала в отличном настроении — ей нравился сосновый запах, доставляло удовольствие мысленно размещать мебель: вот здесь хорошо бы поставить угловую кушетку, вот сюда надо цветной высокий торшер, а вот здесь необходим небольшой скромный ковер; ванна, естественно, нуждается в кафельной облицовке, пол в прихожей надо застлать линолеумом, а возле входных дверей повесить металлический фонарь этакого средневекового обличья. В доме должно быть просторно, да же чуть-чуть голо, по-современному, но это и должно было создавать интерьер легкий и веселый. Одним словом, Нине Александровне было хорошо, и это чувство она носила в себе еще дня три после того, как побывала с мужем в строящемся доме.

Нина Александровна окончательно повеселела в субботу часов в пять вечера, когда наконец-то собрался и пошел первый снег, неожиданный и от этого еще более радостный. Еще за час до снегопада казалось, что ничего не случится — так и будет посвистывать в голых ветках акаций черный ветер, тучи будут бесконечно наслаиваться друг на друга, прозрачные до легкомыслия, в разрыве между ними будет голубеть высокое летнее небо, а обский плес останется навечно темным и тяжелым. И все-таки началось долгожданное! Над крышами домов Таежного вдруг загудело, зажужжало, засвистело, потом в небесах что-то тязко простонало, а после этого на несколько минут все окрест притихло; тишина казалась торжественной, церковной, хрупкой, как молодой лед, и когда она кончилась, небо, сплошь обложенное тучами, начало белеть и прореживаться, и это продолжалось до тех пор, пока тучи не сделались однородной массой, светлой и как бы сияющей — это медленно полетели к земле пушистые снежинки.

Закутав голову оренбургским платком, Нина Александровна вышла на крыльцо, прислонившись спиной к перилам, стала глядеть, как падает первый снег и как под ним стоит ее сын Борька в накинутом на плечи пальто. Его следовало прогнать с улицы, но Нине Александровне не хотелось нарушать торжественную тишину снегопада, не хотелось даже двигаться, и она стояла до тех пор, пока к ней постепенно не пришло ощущение, которое она страстно любила, — показалось, что она поднимается в небеса, а падающий снег остается на месте. Она взлетала к тучам по наклонной линии, крыльцо поднималось вместе с ней, и было такое ощущение, что и сама Нина Александровна длинная, протяжная, теплая... Минут через пятнадцать — двадцать все вокруг побелело, сделалось просторным и бесконечным, и даже ближние дома потеряли высоту, а кедрачи за околицей Таежного совершенно сравнялись с пустошью, и эта пустынность была такой трогательной и значительной, что Нина Александровна неожиданно для себя уверено подумала: «Сейчас в калитку войдет Сергей Ва-

димович». И он действительно появился — из клубящегося и лохматого возникла удлинённая снегом белая шапка, потом высокие белые плечи, потом сапоги с загнутыми носками, так как и на них лежали холмики снега.

— Зда-а-асте! — насмешливо протянул Сергей Вадимович. — Весь личный состав гарнизона торжественно отмечает первый снег...

Широко улыбаясь, он поднялся на крыльцо, встав рядом с Ниной Александровной, задумался. Снег падал все медленней и медленней, снежинки все укрупнялись, превращались в лепешки, и вскоре лицо Сергея Вадимовича покраснело от здоровья, а когда муж снял шапку, Нина Александровна несказанно удивилась: «Да он рыжий!» Нину Александровну внезапно охватило волнение. «Муж! Это мой муж!» — подумала она и сняла платок с головы, наверное, для того, чтобы были видны ее длинные и густые волосы. Несколько минут прошли в тишине и праздничной торжественности первого снега, затем Нина Александровна подняла руку и осторожно положила ее на заснеженное плечо мужа.

— Ты вот тут стоишь посмеиваешься, — сказала она, — а не знаешь, что к нам сегодня собирается с визитом сам Анатолий Григорьевич Булгаков...

...Бывший главный механик сплавной конторы явился часа через два, когда Сергею Вадимовичу полагалось идти в поселковую баню, а Нина Александровна, чтобы оставить свободным воскресенье, увлеченно проверяла ученические тетради. Булгаков, по своему обычаю, пришел с толстой палкой в руках, губы, нос, руки, ноги, ногти у него были тоже толстые, а в комнату он вдвинулся так медленно, солидно и кособоко, как входит огромный корабль в тесную гавань. Ни слова не говоря, Булгаков взглядом выбрал стул, на который хотел бы сесть, и вид у него был такой, что приглашение сесть на другой стул он посчитал бы оскорблением. Сев и удобно поставив палку между ног, бывший главный механик сплавной конторы поочередно оглядел хозяев дома, нахмурился и снисходительно произнес:

— Желаю здравствовать! Прошу не беспокоиться: я только на секундочку...

Он был такой многозначительный и напыщенно-глупый, что Сергей Вадимович мгновенно пришел в самое крайнее легкомысленное настроение — развалившись в низком кресле, скрестил руки на груди, театрально надулся и угрожающе задрал на лоб левую бровь:

— Чем могу служить, коллега?

— Я пришел для углубленного разговора, — непривычно тихо сказал Булгаков. — Вы, товарищ Ларин, сравнительно молодой человек... Да, да и еще раз да! — Он строго посмотрел на Сергея Вадимовича. — У моей семьи уже никогда не будет благоустроенной квартиры, если новый дом получат вы... У меня на руках, так сказать, пятеро иждивенцев, и никто из нас не жил никогда с ванной и санузелом. — Его голос зазвенел. — Вы еще так молоды, что успеете вкусить, как говорится, плоды цивилизации, а я... Или сегодня, или никогда!

Проговорив это, Булгаков опустил голову, болезненно сморщившись, трижды постучал тяжелой палкой по гулкому полу и окончательно замолк. Такого Булгакова — тихого и сутулого — Нина Александровна никогда не видела, так как бывший механик сплавной конторы всегда разговаривал начальственным басом, употреблял энергичные короткие предложения, при рабочих-мужчинах виртуозно матерился, а женщин-работниц откровенно презирал. Сегодняшний Булгаков был коротышкой, палка в его руках казалась особенно неуместной, и Нина Александровна втихомолку улыбнулась: «Актер из самодеятельности!» А Сергей Вадимович деловито курил.

— Я усек вашу главную мысль,— с опасной любезностью сказал он.— Это ничего, что я говорю в вашем торжественном стиле, Анатолий Григорьевич?

— Вам виднее: вы лесотехнические академии кончали.

— Точно,— согласился Сергей Вадимович и поклонился изящно.— Все, что вы здесь говорили,— демагогия! — Легкомысленно посмеиваясь, Сергей Вадимович поднялся, сунув руки в карманы, заходил по комнате; смотрел он при этом себе под ноги.— Видите ли, Анатолий Григорьевич, вам не квартира важна, а престиж... Это раз. А во-вторых, мы с женой слышали, что вы собираетесь отказаться от квартиры, как только ее дадут вам...

— Брехня!

— Как же брехня, если вы позавчера в присутствии двух свидетелей говорили об этом Ларионову...

— Брехня!

Вот теперь бывший механик сделался обычным Булгаковым — левый глаз у него был прищурен, подбородок башмаком, нижняя губа брезгливо выпячена; на стуле сидел как на троне, на Нину Александровну — женщину — не обращал внимания. Поэтому она решительно положила ногу на ногу, сделав скучное лицо, школьным голосом преподавателя математики сказала:

— И никаких пяти иждивенцев у вас нет, товарищ Булгаков. Сын с женой через неделю уезжают в райцентр, Екатерина из города не вернется, а Лиля готова сбежать от вас хоть сегодня. Что касается вашей жены, то она ни за что не расстанется с огородом и со свиньями... Возле нового дома приусадебного участка нет.

Стул-трон под Булгаковым скрипел и шатался, так как в свои шестьдесят пять лет он был еще очень крепким, сильным и энергичным человеком; полнота была не болезненной, а здоровой, тело тяжелым от мускулов, а не от жировой прослойки, и, конечно, обыкновенный венский стул при каждом его движении жалобно стонал, и когда он в третий раз пробасил: «Брехня!» — Сергей Вадимович громко засмеялся.

— Конечно,— сказал он,— Александр Македонский был великим полководцем, но зачем же стулья ломать! А во-вторых, товарищ Булгаков, судьбу нового дома будем решать не мы с вами, а поселковый Совет... Дом попал в число тех квадратных метров жилья, которые сплавконтора передала поселковому Совету. Смотри, Нина, как поражен наш гость тем, что мы не желаем добровольно отказаться от трехкомнатной квартиры. Ну, значит, не для красного словца о вас говорили: «Самодержец!»

Сергей Вадимович по-прежнему казался несерьезным, ребячливым, но Нина Александровна уже догадывалась, что под этим, надо предполагать и верить, скрывается сильная воля, осторожная расчетливость, знание человеческих слабостей, живой и подвижный ум, и чем несерьезней становился муж, тем значительнее оказывалось дело, которым он занимался. Сергей Вадимович внезапно прекратил движение по комнате, остановившись в противоположном от Булгакова углу, драматически скрестил руки на груди.

— Чем еще могу быть полезным высокому гостю?

— Ничем,— неожиданно равнодушно ответил Булгаков и резко повернулся к Нине Александровне.— Простите, товарищ Савицкая, но как вы можете воспитывать советских учащихся, когда у вас из-под юбки все потроха видать? Конечно, вашему супругу это, может быть, и нравится, но мне, пожилому человеку, на вас глядеть противно!

У Нины Александровны на самом деле юбка была коротка: открывались круглые колени и начало полного бедра; выглядывали из-

под юбки и кружева нейлоновой рубашки. Посмотрев на все это постом опущенными глазами, Нина Александровна весело засмеялась и громко сказала:

— А вы вчера опять были у счетоводши Груниной? Ах, ах! В вашем возрасте! — И подумав, показала ошеломленному Булгакову язык.

Когда незванный гость, грозно шипя и стуча палкой, ушел, Нина Александровна и Сергей Вадимович, выдержав длинную паузу, сошлись посередине комнаты и, постояв еще немного друг возле друга в молчании, по-молодому длинно поцеловались. Может быть, в этом был повинен Булгаков, обративший внимание Сергея Вадимовича на то, какие у его жены круглые колени и длинные ноги, а может быть, потому, что они действовали против Булгакова так сплоченно и точно, словно заранее сговорились.

— Ты у меня сегодня молодцом, Нинка! — смеясь одними глазами, сказал Сергей Вадимович и потянулся к жене, чтобы еще раз поцеловать ее, но в коридоре послышались подчеркнуто громкие шаги и через полминуты в комнату вошел Борька.

Сын принес с улицы молодой снежный запах и красные щеки; вид у него был независимый, нос поцарапан, а на мать и отчима он посмотрел такими мудрыми глазами, точно знал наперед, что между ними происходит и произойдет, и это не было случайностью, так как Нина Александровна всегда — с первого дня переезда Сергея Вадимовича в их крохотную квартиру — чувствовала, что сын знает все о том, чем занимаются мать с отчимом, и всегда безошибочно улавливает момент, когда надо оставлять родную мать наедине с чужим человеком. С отсутствующим взглядом он поднимался и уходил, на Борькиной спине было написано отчетливо: «Целуйтесь на здоровье, голубчики, если вам это нравится!» — а когда за девятилетним сыном закрывалась дверь, к Нине Александровне приходило такое ощущение, точно ее отношения с мужем были возможны только благодаря Борькиной снисходительности. Сегодня сын вел себя так же, как всегда, то есть сразу почувствовал, что мать и отчим еще не нацеловались, и, взяв ненужную ему книгу, быстро ушел, а Сергей Вадимович, не умеющий разбираться в Борькиных чувствах, сразу же обнял Нину Александровну за теплые от оренбургского платка плечи.

— Каков Булгаков-то! — сказал он. — Каков молодец-то! А?

И они опять поцеловались, но по-новому — деловито и непродолжительно, с озабоченными лицами, так как все еще думали о новом трехкомнатном доме и о Булгакове, на самом деле не таком уж смешном и неопасном, как могло показаться сегодня. Разорвав объятия, Нина Александровна решенно сказала:

— Мне надо как можно скорее оформить развод. Еду в райцентр послезавтра... — Она улыбнулась. — Дашь мне машину, которую используешь в личных целях? Хочу взять с собой Борьку.

— Поедете на «Волге», барами и тонягами...

Сергей Вадимович, решивший послать Нину Александровну с Борькой в райцентр на сплавконторской «Волге», допустил серьезный просчет, так как недооценил влияние автомобиля на мальчишку такого возраста, как Борька, да еще родившегося в Таежном, в котором пока бегало всего несколько «Волг» — чаще всего районной прописки. По той причине, что руководство сплавной конторы из-за бездорожья роскошной машине предпочитало «газик», единственная «Волга» была почти новой, необъезженной, пахла внутри волнующим запахом нового автомобиля, не скрипела и не стонала, мотор почти не шумел, а шофер дядя Коля сидел за рулем словно на вертящемся стуле



бара и одет был соответственно: при пыжиковой шапке и в синтетической спортивной куртке.

— Прошу садиться,— тонким голоском пригласил он, открывая сразу две двери, заднюю и переднюю.— Мы вашего сыночка, Нина Александровна, впередочку поместим. Пусть поймут удовольствие.

Ничего противнее, чем Борька, усевшийся на переднем сиденье черной «Волги», Нина Александровна давно не встречала. Это был маленький высокомерный сноб с остро прищуренными глазами и надменной улыбкой на губах, как бы отштампованных с материнских. Усевшись в машину, Борька сразу развалился, по сторонам не глядел и уже на выезде из ограды собственного дома не узнал приятеля, с которым ежедневно катался на коньках. Ей-богу, Борька через три секунды после отъезда от дома стал похож на бывшего механика сплавной конторы Булакова и даже на родную мать посматривал рассеянно: «Едете со мной? Хорошо! Да, да и еще раз да! Сидите, сидите, я вас не вызывал...»

До райцентра было двадцать восемь километров неасфальтированной, но ровной дороги, проехали они это расстояние быстро, но Борька успел своим видом до того измучить Нину Александровну, что на поддороге она, сдерживая бешенство, сказала дяде Коле:

— Остановите машину, пожалуйста.

Когда же «Волга» послушно замерла, она, сославшись на то, что ее укачивает на заднем сиденье, поменялась с Борькой местами, но и это не помогло: на заднем сиденье мерзавец сын и вовсе смахивал на министра: насупился и собрал на лбу мудрые морщины. Нина Александровна перестала оборачиваться и смотреть в зеркальце заднего вида: «Плевала я на этого поросенка!»

Так они и доехали до районной больницы, где отец Борьки и ее бывший муж работал главным врачом и где он сейчас лежал с какой-то хворобой. Заранее обдумывая этот визит, Нина Александровна собиралась скромно обратиться в регистратуру, разведав палату, в которой лежит ее бывший, но по закону настоящий муж, выпросить для себя и Борьки халаты и пойти к Алексею. Однако на деле все произошло иначе: Нина Александровна и отстававший из важности Борька только еще поднимались на крыльцо, как вокруг них уже возникли демонстрации, шествия, звучали фанфары и поднялись праздничные стяги. Нянечки, сестры, работники регистратуры, гардеробщицы, врачи, сторожа, библиотекарши и прочий больничный народ как бы случайно, но кучками проходили мимо родного сына главного врача, глядели на Борьку словно на индийского принца, а Нину Александровну открыто ненавидели. Этому не было ни конца, ни края, и щеки у Нины Александровны затвердели от гневного румянца, пока она с Борькой шла до гардероба, сопровождаемая нянечкой, которая от презрения к гостье и от жалости к Борьке елевым голосочком пела:

— Сюдочки, Нина Александровна, сюдочки! Боренька, не трогай стеночку пальчиками — вдруг инхвекция!

Другая нянечка — толстая, монашеского обличья, купеческой чванливости — провожала их до палаты, где лежал бывший муж. Эта от визита Нины Александровны была чрезвычайно взволнована и, шагая впереди, умудрялась гигантской спиной выражать лютое презрение к Нине Александровне, а Борьку за руку держала так бережно, точно рука была сломана. Ходячие больные высыпали в пропахший карболкой и кислыми щами коридор, и даже хроники выглядывали из белых дверей, парадных и новеньких, как юбилейные монеты. Шу-шу-шу, неслось по коридору, шу-шу!

Главный врач Савицкий лежал в обыкновенной рядовой палате под номером 13, что удивило Нину Александровну еще больше, чем

встреча, так как Алексей раньше панически боялся чертовой дюжины, но вот теперь, царствуя в больнице, лег в тринадцатую палату, возле которой толстая нянечка остановилась, сделавшись молитвенной и боязливой, и тихо сказала:

— Мы в больнице всеи сутки не спавши, что Алексей Евтихианович заболел. Они такие уж хорошие врачи, такие уж строгие и справедливые, такие уж до каждого больного доходчивые, что мы туточки все от страху дрожим, как бы с имя чего плохого не произошло... Вы уж идите на цыпках, на цыпках, а там бог милует!

Нина Александровна поджала губы... А как же тогда понимать дурацкую телеграмму: «Причина болезни весьма незначительная», а как же быть с теперешней толстой женой, блондинкой с хозяйственными руками в ямочках? Куда все это могло деваться, если в больнице и ее окрестностях палили салютующие пушки, развевались стяги и нянечка уповала только на самого господа бога? Что произошло с Алексеем Евтихиановичем Савицким, которого в больнице Таежного отродясь за выдающегося врача не считали?

— Входитя, входитя,— со страхом прошептала нянечка, заглянув в узкую щелочку двери.— Входитя, они не спяты...

— Добрый день, Алексей! — поздоровалась Нина Александровна, входя в палату и улыбаясь естественной улыбкой человека, не видевшегося с другим человеком несколько лет.— Как тебя угораздило попасть на больничную койку?

Купчиха-монахиня была бесцеремонна и любопытна, как базарная торговка; она стояла с таким лицом, что было видно — будет держаться в палате до последнего, но главное было не в этом. Самое удивительное заключалось в том, что нянечка глядела на главного врача так, словно его не узнавала. Борька только коротко кивнул родному отцу и тут же потерял к нему интерес, занявшись разглядыванием больничной кровати с никелированной спинкой и блестящими шишечками на ней.

— Здравствуй, Нина! — ответил бывший муж, поворачиваясь на бок, на что нянечка отреагировала бурно — бросилась к главному врачу и болезненно застонала:

— Голубочек, Алексей Евтихианович, вам же на бочечку лежать не полагается! Будьте столько добреньки, чтобы перевертаться на спинку...

Вот только теперь Нина Александровна поняла, чем объяснялся пораженный взгляд нянечки — она, видимо, не могла и предполагать, что на лице Алексея Евтихиановича — бога и дьявола! — могло возникнуть такое беспомощно-робкое выражение. Бог и дьявол на глазах у нянечки превратился в обычного человека, и это до глубины души потрясло ее.

— Вот-вот, большое спасибочки, Алексей Евтихианович!

Борька по-прежнему рассматривал шишечки на никелированной кровати, сидел он на мягком современном стуле с далеко откинутой спинкой, и поза у него была такая же, как в «Волге», — маленький бесстрастный сноб с замашками кабинетного сидельца.

— Пожалуйста, сядь поближе, Борис,— попросил его отец.— На солнце ты не виден.

— Хорошо, батя.

За «батю» Борьку стоило бы наградить высшей правительственной наградой, но если учесть «Волгу» и незамеченного товарища по конькам, полезнее было бы, несомненно, выдрать. Однако Нина Александровна была занята другим: разглядыванием бывшего мужа, на щеках которого за пять или семь лет образовались вертикальные руководящие морщины. Впрочем, Нина Александровна и раньше замечала в

Алексее затаенное стремление к первенствованию, несбывающиеся карьеристские замашки, догадывалась, что он потенциально талантлив, но две истинно мужских складки на щеках — это уже перебор, двадцать два!

— Как живешь, Борис? — спросил бывший муж, медленно скрепя руки на груди. — Что ты любишь больше — математику или русский язык?

— Мне все равно, батя, лишь бы уроков поменьше...

— А хобби у тебя какое?

— Нет у меня хобби, — признался Борька. — Люблю сидеть на крыльце, когда мамы нет дома... И еще люблю очинивать цветные карандаши... У тебя нет о-о-очень острого ножика?

— Дома есть... Подарю, если не забудешь напомнить...

— Не забуду! Это уж будьте уверочки!

День, как нарочно, выдался такой солнечный, что из окна больничной палаты зимний двор казался летним: так хорошо работали больничные сестры, нянечки и дворники. Елки за окном стояли чистые от снега, на стеклах, протертых до голубого сияния, не было ни снежинки; одним словом, человек, лежащий на больничной кровати, казался освещенным летним солнцем, и можно было разглядеть каждую черточку его цветущего лица, позволяющего думать, что он по недоразумению попал в больничную палату. Выяснилось, что через пять или семь лет — считать Нине Александровне не хотелось — прежний муж стал стройнее, лицо, утратив безвольный ленивый жирок, сделалось тоньше, чеканнее, а на носу, например, откуда-то появилась горбинка восточного типа; прежде бесцветные, вечно глядящие в пол или в сторону глаза, приобрели определенный цвет — светло-карий; руки, выложенные на шерстяное одеяло, были опутаны мускулами и крупными венами — наверное, регулярно занимался спортом... Этот новый человек внезапно грозно нахмурился, укоризненно поцокал языком, и мастодонистую нянечку словно сдуло ветром; убегая, она с болью оглянулась на Борьку, а в сторону Нины Александровны метнула молнию: «Как же ты, сучка ты этакая, рассталась с таким человеком, как Алексей Евтихианович?»

— Сядь ко мне на кровать, Борис!

Нина Александровна могла поклясться всем святым, что ничего плохого о Борькином отце ему никогда не говорила, наоборот, старалась представить бывшего мужа в самом лучшем свете, но на кровать Борька сел бочком, с отчужденным и независимым видом — не сел, а присел на минуточку, чтобы только отвести очередь, и никаких нежных или родственных чувств на его розовой поросычьей мордочке не отразилось.

— Почему на одеяле внизу нарисована стрелка? — вяло спросил он. — Маленькая стрелочка, красивенькая такая...

— Чтобы знать, где голова, где ноги.

Нет, нет! Нельзя было понять, чем все-таки болен Алексей Евтихианович Савицкий — обожаемый главный врач районной больницы! По всей видимости, бывший муж просто-напросто отлеживался от перегрузки, и это тоже было незнакомо Нине Александровне по годам их совместной жизни, так как раньше Алексей был лениво-равнодушен к собственному здоровью, а когда Нина Александровна указывала ему на это, кисло отмахивался: «Годом раньше, годом позже — какая разница!» Теперь он, кажется, решил жить долго...

— Держи, Борис!

Бывший муж протянул сыну громадный набор шариковых ручек, упакованных в прекрасную коробку, и это тоже было незнакомо — раньше Алексей был откровенно безразличен к внешнему виду вещей,

а вот сейчас дарил сыну ручки заграничных кровей. Мало того, на левой руке бывшего мужа поблескивали сложные часы с модным ремешком в полоску, из-под одеяла же высовывалась чешская шелковая пижама.

— Борис, погуляй, я хочу поговорить с матерью,— сказал бывший муж и подмигнул.— Потом заходи, мы с тобой пообщаемся наедине.

— Будет сделано, батя!

Когда Борька ушел, Алексей Евтихианович лег снова на спину, криво улыбнулся и спросил:

— Как живешь?

— Обыкновенно.

За пять или семь лет — считать не хотелось! — бывший муж проделал длинный путь к улучшению — стал крупнее, значительней,— но как только Борька вслед за слонихой-нянечкой вышел из палаты и они с Ниной Александровной остались с глазу на глаз, бог и дьявол для персонала районной больницы с космической скоростью превращался в давнего, полузабытого, но очень знакомого человека. Он расцепил руки, по-наполеоновски сложенные на груди, убрал со щек ценные вертикальные морщины, погасил блеск глаз, отчего они опять стали бесцветными.

— Черт знает что! — сам себе пожаловался бывший муж.— Кошмар!

Он несколько длинных мгновений лежал молча, глядя в потолок и морща губы, затем с усилием сказал:

— Надо оформить развод, Нина! Надо скорее оформить развод, очень прошу тебя поторопиться! Очень!

Она тоже немного помолчала, потом легким тоном спросила:

— Родил ребенка?

— Нет! — резко, громко, с вызовом, как это делают слабые люди, ответил он.— Я хочу опять стать Замараевым!

Это был катаклизм! А как же... Ее бывший муж Алексей Евтихианович Замараев, человек слабый, ленивый, раздражаемый на части комплексом неполноценности и поэтому болезненно самолюбивый, когда-то (пять или семь лет назад) с такой детской радостью менял в загсе фамилию Замараев на Савицкий, что Нине Александровне было неловко глядеть в его сияющее лицо. Теперь же, став богом и дьяволом районной больницы, он с еще большей нервной страстью собирался вернуться в свои Замараевы.

— Поздравляю тебя... — начала было Нина Александровна, но осеклась.— Я хочу сказать, что рада видеть тебя почти здоровым.

Она правильно поступила, когда прикусила язык. Обидно, но факт: рядом с медсестрой Паньковой Алексей Евтихианович Замараев стал настоящим мужчиной.

— Развод можно оформить за три дня,— деловым тоном сказала Нина Александровна.— Завтра я занята по завязку, но сегодня же... Наверное, ты сам хочешь подать заявление о разводе?

— Молодец! Умница!

— Тогда я сейчас же заеду в суд и отвезу заявление. А дня через три без очереди мы и разведемся.

— Спасибо, Нина!

Теперь, когда самое трудное было позади, главный врач райбольницы Савицкий-Замараев снова немного приободрился, а Нине Александровне очень захотелось посмотреть на его жену-блондинку с руками сиделки и хозяйки, которую в Таежном встречала часто, но запомнить не могла. Жена, наверное, была чрезвычайно внимательна к мужу, не позволяла сесть на него и пылинке, но... Нина Александровна не знала, что делают полные блондинки с ямочками на ру-



ках для того, чтобы мужчины не только оставались мужчинами, но и преуспевали, развертывались во всю ширь.

— Я давно поняла, что ты хороший хирург, — сказала она спокойно. — Тебя я любила не только за это, но главное — все-таки за это. Благоговею перед талантами — это мой недостаток. — Она сделала легкомысленную паузу. — Ты стал красив!

— Спасибо. А теперь ты уходи и пришли, пожалуйста, Бориса. Я по нему соскучился...

Нина Александровна согласно наклонила голову. Вот уже полгода двоюродная сестра бывшего мужа не возила Борьку в райцентр для встречи с отцом.

Когда «Волга», побывав в суде и загсе, пробегала мимо райкома партии, из скверика, который окружал здание со всех сторон, неожиданно вышел секретарь обкома партии по промышленности, друг Нины Александровны — Николай Цукасов. Она так обрадовалась этой встрече, что грубо схватила дядю Колю за плечо и крикнула:

— Стоп!

Осев сразу на все четыре колеса, «Волга» остановилась, и Нина Александровна, велев Борьке оставаться в кабине, вышла из автомобиля. Заметив ее, секретарь обкома Цукасов расцвел мальчишеской улыбкой, искренней и дружеской, бросив спутника, ринулся к машине:

— Нина! Мать честная, сто лет не виделись! А ну скидывай свои пижонские рукавички — женщине полагается первой протягивать руку... А может, почеломкаемся?

— Почеломкаемся.

Когда Нина Александровна училась в Московском педагогическом институте, Цукасов, имеющий, как и Сергей Вадимович и директор Тагарской сплавконторы Олег Прончатов, лесотехническое образование, приехал в столицу учиться в Академии общественных наук. Они довольно часто встречались с Ниной Александровной. Дело в том, что они родились в одной деревне с забавным названием Пстой и, если бы захотели тщательно порыться в генеалогии, непременно установили бы отдаленное родство. Между тем ни она, ни он по какой-то нелепой и странной случайности в детстве и юности друг друга не знали.

— Здравствуй, Николай! Рада.

Нина Александровна расцеловалась с секретарем обкома, он шуточно похлопал ее по плечу, продолжая радоваться встрече, а увидев, что в кабине «Волги» сидит мальчишка, портретно похожий на мать, Цукасов еще больше повеселел.

— Мы сейчас поедем кормиться! — потирая руки, заявил он. — Твоего отпрыска накормим до отвала пирожными, а сами съедем чего-нибудь такого-раздакого... Идет, Нина?

— Согласна, Николай.

— Отменно! Вперед, вперед и только вперед! Погоняйте, товарищ дядя Коля, своего роскошного лошака!.. Товарищ отпрыск, прошу занять переднее место, нам с твоей мамулей надо пошептаться о том времени, когда мы были такими же сопляками, как ты... Слушай, а ты не поранишь руку этим ножиком с миллионом лезвий?

— Видали мы ножки и поострее, — сердито ответил Борька, но на переднее сиденье перемахнул шустрым воробьем. — Это вы тот самый Николай Петрович, который из маминой деревни?

— Да, это я! — важно ответил Цукасов и прищепил Борькин нос двумя согнутыми пальцами. — Ага! Это мы не любим, товарищ Борька!

— Не любим, хотя вы и самый главный...

— Ну, Нина, поросенок у тебя прелестный!

Николай Цукасов относился к тем людям, которые почти не меняются с годами. Он был такой же сутуловатый, лобастый, ясноглазый, как в годы их сладкого институтского прошлого, не изменил себе ни на йоту — делал те же детские жесты и движения, после смеха облизывал губы, по-стариковски морщил лоб. Одним словом, в какой-нибудь особой обстановке Цукасов, может быть, переставал быть прежним Цукасовым, но Нина Александровна этого никогда не видела, да и Сергей Вадимович сдержанно хвалил «высокого» приятеля за то, что, можешь себе представить, ни капельки не меняется, всегда остается самим собой.

— Ты отчего помалкиваешь, Нинуха? Неприятности?

— Да нет... Просто смотрю на тебя, Николай.

— Ну и как?

— По-прежнему хорош!

— Ну спасибо, подружка!

— Тебе спасибо, старый дружочек!

Ей на самом деле было приятно и радостно сидеть подле разговорчивого, простого, хорошо одетого мужчины, от которого неназойливо пахло польским одеколоном «Рококо», а в распахе отличной дубленки виднелся по-модному широкий галстук. Отпуск в этом году Цукасов брал поздно — в октябре, — и лицо у него было еще загорелое по-южному, гладкое, с очень здоровой и на вид упругой кожей. Он хорошо, даже слишком хорошо выглядел для своих лет, этот хороший человек Коля Цукасов. Нина Александровна спросила:

— А куда мы все-таки едем, Николай?

— В райресторан «Обь»! — с купеческой лихостью ответил Цукасов. — Если в нем сегодня нет осетрины, то данному району будет исключительно плохо... Шпарьте быстрее! — вежливо посоветовал шоферу дяде Коле секретарь обкома. — Так, что ли, Борька?

Теперь было совершенно ясно, что на секретаря обкома Цукасова сын Борька отреагировал положительно: с первой секунды поездки начал то и дело оглядываться на Цукасова, искать его взгляд, всячески улыбаться, чтобы привлечь внимание, да и сам Цукасов на Борьку поглядывал с интересом.

— Люблю быструю езду, — важно ответил сын Нины Александровны. — И даже не боюсь...

Они ехали по деревянному городу так называемого районного подчинения. Проплывали мимо дома из брусчатки, из лиственничных бревен, из шлака; шли обедать служащие различных учреждений, в отличие от большого города без портфелей, возле киоска «Пиво — воды» происходило столпотворение — базарились шумные и замерзшие пьянчужки, подсчитывающие медяки; потом показался сосновый парк, такой густой и огромный, каких не бывает в больших городах, — шишкинские сосны, хорошо расчищенные дорожки, зеленые скамейки, заботливо обметенные от снега сторожами; от парка даже сквозь полуоткрытый ветровичок «Волги» тянуло хмельным сосновым запахом. В городе было спокойно, тихо, по-домашнему уютно. Потом стали попадаться и двухэтажные дома, но и они не вызвали городского беспокойства — были скорее домишками, чем домами.

Цукасов сидел на заднем сиденье прямо, не разваливаясь, на Борьку поглядывал с юмором и симпатией. Когда они уже подъезжали к ресторану «Обь», секретарь обкома начал морщить лоб и глотать слюну — бедняга, наверное, не ел с утра, теперь же шел пятый час, а что касается осетрины, то он к ней был приучен с детства. Отец Цукасова, опытный рыбак, никогда не возвращался домой без пудового осетра или нельмы.

— Ну вот и приехали! Собирайся питаться, честной народ!

Два года назад районный город обзавелся таким современным рестораном, которому могла бы позавидовать и область. Стены здесь были неоштукатуренные, лиственничные; матовые мозаичные полы собраны из многочисленных сибирских пород дерева, под потолком висел вращающийся шар, на одной из стен — керамическая мозаика, изображающая купеческое прошлое райцентра и его будущее; столы были кедровые, накрыты скатертями из сурового полотна, ложки к деревенскому супу подавались деревянные, а на вешалке работал старичок швейцар с отличным нарымским произношением.

— Ишь как мальчишонка-то быстро раздевается,— сказал он, аккуратно принимая от Борьки пальто и вязаную шапочку.— Вон какой он шустрый!

Секретарю обкома Цукасову старичок вежливо посоветовал:

— Шапку-то бы надоть утаить в рукаве. Неровен час, спутаемся! Ноне у всего начальствия одинаковы шапки живут...

По залу, пустому в дневное время, ходили две бесшумные и толстые официантки в кокошниках, сидели за столиками два-три посетителя из командированных, и отчего-то было прохладно, хотя в ресторане «Обь» всегда топили до умопомрачения — сибиряки! Уютный угловой столик был свободен, и Нина Александровна жестом пригласила за него Цукасова, а Борька без команды мигом уселся на лучший стул, прищурившись, начал читать меню, напечатанное на толстой бумаге.

— Осетрина, осетрина и еще раз осетрина! — гудел Цукасов, усаживаясь рядом с Ниной Александровной.— В Ромске такой осетрины, как водится здесь, не поешь.... У, како-о-ой я голодный!

Дни московского общения Нины Александровны с нынешним секретарем обкома были особенно памяты воскресной поездкой в Загорск. Цукасов в Троице-Сергиевой лавре был серьезен, задумчив, непривычно тих; за несколько часов пребывания в лавре он не произнес ни слова, а когда они осторожно вошли в собор, где по какому-то исключительному случаю шло богослужение, вплотную занялся разглядыванием молодой и очень красивой женщины в строгом костюме и с вуалью на лице. Он буквально ел ее глазами: «Кто такая? Почему молится? Зачем старинная вуаль? Что здесь вообще происходит?..»

Как только принесли паровую осетрину, Цукасов постно опустил глаза в тарелку и сделался похожим на того Цукасова, который разглядывал в лавре женщину в вуали. Это Нине Александровне показалось забавным, и она сказала:

— Борис, вилку следует держать в левой руке. Отчего ты дома поступаешь правильно, а в ресторане ошибаешься?

— Не знаю, мам. Наверное, я сильно рассеянный...

Наевшись крестьянским супом и паровой осетриной, напившись крепкого по-сибирски чаю, Цукасов повеселел, а Нина Александровна, наоборот, отчего-то загрустила: то ли от воспоминаний о студенческих годах, то ли оттого, что уж очень роскошными были официантки в кокошниках. Она положила подбородок на руки, вздохнула и стала глядеть в стол; молчание было длинным, потом Цукасов негромко сказал:

— Я рад видеть тебя, подружка, доволен, что тебе и Сергею жидется хорошо, но...— Он поджал губы.— А мы вот собираемся твоего муженька укладывать в больницу по поводу недавно открывшейся язвы, хотя он криком кричит, что язва сама зарубцуется от успехов в производственной и личной жизни. Но вот врачи сомневаются... Что ты думаешь по сему поводу?

Прежде чем ответить, Нина Александровна поправила Борькин слишком лихой вихор, помолчав, подняла на Цукасова сосредоточенный и суховатый взгляд.

— У меня с язвой Сергея теперь свои счёты,— сказала она.— Я впервые слышу о его болезни...

В длинных платьях до полу и боярских кокошниках официантки не ходили по ресторану, а плыли, словно девушки из ансамбля «Березка», на их полных щеках арбузными ломтями лежал румянец, подкрашенные черным безмятежные глаза казались счастливыми, благополучными, устроенными, и Нина Александровна немного завидовала им, хотя понимала умом, что за счастливой служебной внешностью может прятаться любое несчастье. Она прочла про себя строчку из Иосифа Уткина: «И под каждой слабенькой крышей, как она ни слаба, свое счастье, свои мыши, своя судьба...»

— Есть предложение, Нина,— сказал Цукасов.— В конце месяца соберемся, посидим за рюмкой коньяка, повспоминаем... У меня к Сергею есть несколько серьезных вопросов...

— Говори уж прямо! — рассердилась Нина Александровна.— Хочешь снять стружку за незаконно уволенного механика Пакирева?

— Тют-тют! Пакирев уже второй месяц работает у Прончатова, притом на лучшей ставке... Сережа был прав: с такими трепачами, как Пакирев, надо поступать сердито. Завистник и карьерист!.. Ну ничего! Прончатов из него дурь выбьет.

— В чем же тогда дело, а, Николай?

— Конвейером идут жалобы от Булгакова.— Секретарь обкома ухмыльнулся.— Хорошо знает дело, поэтому ловит Сергея на ученических промахах... Однако все это пустяки, Нина, а вот с новым домом дело обстоит похуже и...

— Что «и»?

— Жалобы Булгакова во все высшие инстанции так убедительны, что получается: новый дом и впрямь надо отдавать ему. Впрочем, это тоже пустяки.— Он притронулся пальцами к локтю Нины Александровны.— Люблю я твоего Сергея. Чес-слово люблю... Ты не забудь его обнять за меня, подруга. Ты вытащила из колоды туза.

— Ты так думаешь?

Цукасов удивленно задрал брови.

— А ты разве не уверена в этом? Слушай, не надо разыгрывать меня: ты отлично знаешь, как тебе повезло! — И повернул лицо к Борьке.— Хочешь еще одно пирожное?

— Не, хватит.

Засмеявшись от удовольствия, секретарь обкома опять положил пальцы на локоть Нины Александровны.

— Ты нам береги Сергея,— сказал он.— Его надо холить и беречь...

— А если я не умею?

Он сделался серьезным:

— Не понимаю я тебя, Нина.

— А я, думаешь, понимаю? — вдруг низким голосом пожаловалась она.— Я бы руку отдала, чтобы понять...

Она подумала: «Может быть, Сергею и вправду не полагается новая квартира. Новичок, должность весьма и весьма скромная, свои дела устраивать совсем не умеет...»

3

Первый снег в этом году так и не растаял: покрыв весь окружающий Таежное мир, остался лежать до далекой весны и в поселке дол-



го-долго чувствовалось веселое оживление, бодрость, ожидание необычного. Это было хорошее, славное время, и по утрам Нина Александровна и Сергей Вадимович из дому выходили одновременно, постояв немного возле кадитки, медленно расходились в противоположные стороны, оглядываясь друг на друга и улыбаясь. Он, прямоплечий и, как всегда, чуточку несерьезный, шагал уверенно и весело, она, длинная и важная от неторопливости, двигалась по чуть-чуть обледеневшему деревянному тротуару легко, словно по городскому асфальту. Зимой Нина Александровна носила пальто с воротничком из песца, теплые шерстяные сапоги и шапочку немного набекрень. Сергей Вадимович одевался бог знает во что: то наденет насквозь промасленный полушубок, то грязную телогрейку, а то, на удивление всему Таежному, шагает в контору в лыжной куртке, да еще и простоволосый, так как даже в сорокаградусные морозы не признавал ни шапок, ни кепок. В добавление ко всему Сергей Вадимович оказался «моржом» — купался в проруби трижды в неделю, окруженный восторженными мальчишками, сосредоточенными стариками и веселыми от его чудачеств мужчинами. Такое многолюдье продолжалось две-три недели, потом к купаниям Сергея Вадимовича привыкли. Когда исчезли зрители, Нина Александровна решилась взглянуть на купающегося в проруби мужа, но дело обставила так, словно наткнулась на него случайно во время лыжной прогулки.

Бегала на лыжах Нина Александровна тоже трижды в неделю, после самых напряженных уроков в школе; владела лыжами она хорошо (коренная сибирячка!), компаний в спорте не признавала, а маршрут был выбран раз и навсегда: поле за школой, длинная вереть за улицей Пролетарской, вершина холма и берег реки — всего километров пятнадцать, для ее возраста вполне достаточно. Во время лыжной прогулки она надевала белый пышный свитер, красную шапочку, лыжи у нее были импортные, ботинки двухцветные, и даже строгие старшеклассники признавали, что математичка на лыжах смотрится здорово: длинные ноги, покатые плечи, узкие бедра и высокая грудь. Впрочем, Нина Александровна и сама знала, что выглядит на лыжах отменно, и это тоже повлияло на ее решение поглядеть на купающегося в проруби мужа.

Произошло это, кажется, в среду, когда солнце пряталось по-зимнему рано, снег от блеска казался стеклянным и воздух звенел от тишины. На пятом или шестом километре к Нине Александровне пришло второе дыхание, тело сделалось легким, лыжи не скользили, а парили над лыжней. Нина Александровна, пригнувшись, скатилась с крутого берега и сразу же увидела мужа.

Сергей Вадимович в это время раздевался — на виду у холодного бесконечного пространства сбросил полушубок, пиджак, рубаху, брюки; оставшись в малиновых плавках, он лихо хлопал себя ладонями по груди и плечам и не на цыпочках, а всей ступней двинулся к проруби — поджарый, все еще загорелый, бугристый от вздувающихся мышц, несерьезный оттого, что на ходу ухал по-сычиному. Нину Александровну он заметил в ту секунду, когда, прижав руки к бедрам, солдатиком ухнул в воду.

— Ух, мамочка моя родимая! — тонко вскрикнул он.

Нина Александровна широким лыжным шагом подбежала к проруби, остановившись, глядела на то, как Сергей Вадимович плавает среди острых льдинок и снежного масла. Он ухал, хохотал, крича почему-то: «Бережись!» — и Нина Александровна поняла, что Сергей Вадимович счастлив, и хохотала вместе с ним. А снежная бесконечность становилась розовой в лучах заходящего солнца, и, наверное, от этого все вокруг неожиданно показалось первобытным, диким —

река, небо, тальники на берегу, сосняк за рекой и зазубренный горизонт. «Да, он счастлив! — продолжала думать Нина Александровна. — Почему же тогда у него открылась застарелая язва? Напряжен? Пере-рабатывает? Не дает стрессам выйти наружу?»

— Ух, бережись!

Почувствовав, что не надо ждать, когда Сергей Вадимович вылезет из проруби, Нина Александровна ласково кивнула мужу, открыто стараясь казатьсястройной, красивой, изящной, побежала дальше своим проторенным путем; она спиной чувствовала, что муж смотрит на нее, была рада этому, а взобравшись на крутое правобережье, радостно подумала о том, что ее теперешняя жизнь становится интересной и просто хорошей, и сразу со снисхождением вспомнила, как необычно и даже курьезно складывались теперь отношения между ней, Ниной Александровной, и директором школы Белобородовой.

...Всему поселку было известно, что Белобородова первая посоветовала Нине Александровне выйти замуж за нового главного механика сплавной конторы, много сделала для того, чтобы Нина Александровна сблизилась с забавным новичком, но та же самая Белобородова после свадьбы перестала называть преподавательницу математики ласковыми именами Нинуля или Нинка, когда они оставались наедине, а перешла на официальное «вы». Более того, именно директор школы Белобородова по прозвищу Скрипуля — так ее называли молодые учителя и учительницы — однажды употребила выражение «четвертая дама поселка», относящееся к Нине Александровне. Впрочем, это так и было, ибо Сергей Вадимович Ларин, главный механик одной из крупнейших сплавных контор области, считался четвертым по значению человеком в поселке: директор конторы, главный инженер, начальник производственно-технического отдела и главный механик. Конечно, в Таежном играли значительную роль председатель поселкового Совета, председатели двух артелей — «Профинтерн» и «1 Мая», — но хозяином в поселке была сплавная контора, которой здесь принадлежало все: река и ее берега, автомобили и производственные здания, тротуары и склады, катера и штабеля леса, погрузочные краны и паром, электростанция и орсовский магазин, детские ясли и детский сад, пельменный клуб и небольшой кинотеатр, запасы дров и даже земля — огромная пустошь, по которой Нина Александровна бегала на лыжах.

Почтительность Скрипули к «четвертой даме поселка» достигла наконец таких масштабов, что она незаметно для учителей освободила Нину Александровну от занятий во вторую смену, оставив в неделю только три вечерних урока. Когда этот виртуозно-ловкий переход был завершен, Белобородова однажды заманила Нину Александровну в свой тесный и пропахший дымом кабинет, фамильярно, как в старые добрые времена, обняв ее за плечи, с игривостью в прокуренном голосе сказала:

— Замужним бабам скидка! Отдохните от второй смены годишко, Нинусь Александровна. Курить будешь?

— Не хочу.

— Молодец! Мужики не любят, когда от баб воняет табачищем.

Стены директорского кабинета были тесно завешаны чертежами, картами, схемами, шкафы ломились от старых классных журналов, на этих же шкафах стояли разнокалиберные глобусы, зеленое сукно стола было прожжено и залито химическими чернилами, и вообще кабинет был похож на Белобородову — деловую и энергичную, но неряшливую женщину. Вот и сейчас Скрипуля курила папиросу «Беломорканал», лихо закусив ее крепкими зубами, но сидела не на стуле, а на

кончике стола, а пепел стряхивала на пол. Плечи у директрисы были прямые и широкие, как бы созданные для погон, подбородок с ямочкой был квадратным, глаза сквозь папиросный дым казались совсем темными.

— Садитесь, Нинусь Александровна! — пригласила директриса, на этот раз подчеркивая бывшую простоту их отношений: только словом «Нинусь». — Садитесь, до урока еще пятнадцать минут...

Дело происходило в послеобеденное время, когда Нине Александровне предстоял один из трех в неделю вечерних уроков, и, наверное, именно по причине вечерних занятий Нина Александровна была одета наряднее, чем одевалась в утреннюю смену, — на ней была замшевая куртка в талию, короткая юбка, ноги обтягивали прозрачные, без блеска колготы телесного цвета. Наряд был почти праздничным, и Нина Александровна чувствовала себя уверенной, спокойной и неназойливой.

— Вы покрасивели, Нинусь Александровна, — негромко, без обычной лихости сказала Белобородова. — Я рада, очень рада за вас, так как больше всего на свете ненавижу неустроенных баб...

За окнами директорского кабинета прогромыхивал гусеницами идущий по улице трактор, через левую стенку просачивался беспокойный гул чем-то встревоженного класса, стол под Белобородовой поскрипывал, а Нина Александровна по-прежнему спокойно глядела на директрису, ожидая дальнейших слов и поступков. Нина Александровна и раньше ни капельки не робела перед Белобородовой, вела себя всегда подчеркнуто независимо, а на уроках, когда Скрипуля являлась с проверкой, умела не замечать ее присутствия. Сегодня Нина Александровна держалась точно так, как это случалось прежде, а вот Белобородова, раньше втайне потешающаяся над мнимой независимостью преподавательницы математики и поэтому подчеркнуто не замечающая ее гордо вздернутой головы, сейчас повела себя иначе. Белобородова осторожно, как бы боясь сделать лишнее движение, спустилась со стола, подойдя к окну, отодвинула тюлевую штору. Немного помолчав, она задумчиво сказала:

— Черт знает как вы холодны, Нина Александровна! — И вдруг резко повернулась. — Если бы вы знали, как я завидую вам, девчонкам рождения конца тридцатых годов!

Это была та самая неожиданность, из-за которой Нина Александровна любила и уважала директора, так как никогда не было дано знать, что скажет и сделает Белобородова, человек несомненно интересный, смелый и умный. Нина Александровна всегда с трудом скрывала восхищение Скрипулей, чтобы его не приняли за подхалимаж. Поэтому Нина Александровна сидела по-прежнему спокойная, уверенная в себе, красивая и действительно замкнуто-холодноватая.

— А может быть, в этом повинна математика, — задумчиво продолжала Белобородова, неторопливо отходя от окна. — Вот что недавно говорил академик Соболев на международном математическом конгрессе. — Подойдя к столу, Белобородова взяла книгу с закладкой между страницами, открыв, отдельно прочла: — «Математика — это реалистический, достаточно подробный и в то же время общий взгляд на вещи и явления. Этот ре-а-лизм обладает неотразимой притягательной силой в глазах молодежи...» Вот такая история, Нинусь Александровна!

Сама Скрипуля преподавала историю, знала предмет назубок, рассказывала так эмоционально, что ребята сидели неподвижно, но вот поди ж ты!.. Нина Александровна невольно переменяла позу — расслабила плечи и одну руку положила на открытое колено.

— А, была не была,— сказала она.— Давайте папиросу, Анна Нилловна.

— Вот это другое дело! — открыто обрадовалась Белобородова и ловко выхватила из пачки папиросу.— Плевали мы на самых распрекрасных мужиков!

Несколько минут они курили молча, с задумчивыми лицами, затем Белобородова, заговорщически улыбнувшись, сказала:

— А ловко вы окрутили добра молодца! В нашенское время... Молодец, Нинусь Александровна!

Нина Александровна тоже улыбулась, немного подумав, ответила:

— Сергей Вадимович очень занятой человек. Ему тоже некогда...

— Конечно, конечно!

Пожалуй, только сейчас Нина Александровна, сделавшаяся «четвертой дамой» Таежного, впервые увидела Скрипулю в таком состоянии, которое мысленно назвала домашним. Белобородова была непривычно женственной, совсем не актерничала, то есть не сидела за столом в позе усталого, но лихого авиационного штурмана, не прищуривалась так, словно смотрела на далекую землю; в лице директора школы появилось много бабьего, деревенского, мужские волевые складки на лбу и переносице разгладились. Она задумчиво глядела на книгу с закладкой, и Нина Александровна подумала: «Специально готовилась к разговору... Что бы это могло значить?» А Белобородова негромко сказала:

— Моей Нельке уже двадцать пятый... Знает английский и немецкий, заканчивает изучение арабского и собирается ехать на практику в Каир... Замуж выходить пока не хочет! — Белобородова поджала губы.— И у нее, простите, Нинусь Александровна, такое же всеотрицающее лицо, как и у вас, хотя вам далеко не двадцать пять... Вы слушаете меня, Нина Александровна?

— Конечно!

Однако Нина Александровна прислушивалась не к Белобородовой, а к себе, чтобы понять, как она ощущает свои тридцать четыре года — есть ли легкость, умиротворенность, безмятежность и та свобода, на которую намекала очень пожилая Скрипуля. Кажется, все оставалось на месте — ясная голова, радостное ощущение здоровья, полное отсутствие тревоги и беспокойства: предстоящий урок в девятом классе прост и заранее обдуман, отношения с мужем выстроены умно, письма матери отправлены, долги уплачены, взносы сделаны, холодильник набит продуктами, Борька сыт, ухожен и одет. А что касается всеотрицающего выражения лица, то о нем стоило подумать на досуге, так как Белобородова была не первым человеком, который говорил Нине Александровне об этом.

— Академик Соболев абсолютно прав,— задумчиво сказала Нина Александровна.— Мы счастливее гуманитариев в том отношении, что более реалистично смотрим на жизнь. Чем меньше иллюзий, тем легче разочарования...

— Во! Во! — подхватила Белобородова и вдруг прищурилась так, словно глядела на далекую землю из кабины самолета.— У моей Нельки тоже никаких иллюзий, голова трезва, как у архиепископа, и я ничем не могу помочь ей, так как — смешное положение! — не уверена, что надо помогать...

Белобородова улыбулась одной из своих начальственно-снисходительных улыбок, опять приняла позу усталого, но лихого штурмана бомбардировочной авиации и, наверное, поэтому — неожиданно для Нины Александровны — перешла на прежний, «досвадебный» тон.

— Ох, Нина, Нинка,— сказала директриса.— Хлебнет же лиха твой добрый молодец! Ты его, часом, не заморозила ли? — И первая хрипло засмеялась своей пошловатой шутке.— Ты не обращай внимания, Нинка, на старую дуру Белобородову, то бишь Скрипулю.

Гусеничный трактор уже прошел всю длинную улицу, стальной лязг почти не был слышен, и звонок на перемену прозвучал так громко, что Нина Александровна поморщилась.

— Вот и звонок,— сказала она.— Если выберется свободная минута, забегайте вечером, Анна Ниловна. Мы с мужем будем рады.

— Спасибо.

Девятый «б» относился к числу дисциплинированных, благополучных классов, а его классная комната была лучшей в школе: из окон виделась заснеженная река, свежие дома новой части поселка, маленькая стройная церковь и синеватые кедрачи за рекой. Однако девятый «б» Ниной Александровной Савицкой был особенно любим за то, что на задней парте, сонный и всегда равнодушный, сидел Марк Семенов — юноша с выдающимися математическими способностями. Конечно, Нина Александровна занималась со всем классом, опытная преподавательница, она умела владеть вниманием каждого ученика, но Марк Семенов был тем человеком, на которого она работала в девятом «б»: он все понимал, чувствовал, умел быть заметным в любой толпе, хотя ничего для этого не делал. Честное слово, только и только ради Марка Семенова Нина Александровна в класс вошла энергичной походкой, боковым зрением увидев Марка Семенова, подчеркнуто небрежно бросила журнал на стол.

— Здравствуйте. Садитесь. Инга Макарова, пожалуйста, к доске.

Пока ученица проходила между рядами парт и выбирала мел, Нина Александровна поняла, что, не желая этого, все еще находится под впечатлением разговора с директрисой и в ушах все еще звучит ее приглушенный голос: «Как я завидую вам, девчонкам рождения конца тридцатых годов!» Во-первых, Нина Александровна думала о том, не предстоит ли ей в ближайшее время, в свою очередь, завидовать девчонкам рождения середины пятидесятых годов, во-вторых, ее, если признаться честно, больно царапнуло полушутливое восклицание Скрипули: «Ох, Нинка, Нинка, хлебнет же лиха твой добрый молодец!» А потом эти разговорчики о холодности, о рациональности людей с математическим складом ума — к чему об этом говорила прикинувшаяся ягненком хитрая баба? Ох, Белобородова умела ценить слова!

Думая о разговоре в директорском кабинете, Нина Александровна напряженно наблюдала за классом, стараясь понять, что было нового в этих мальчишках и девчонках рождения пятидесятых годов, и замечала новое, раньше будничное и до скуки привычное. Несмотря на то, что поселок Таежное располагался за тридевять земель от столицы и больших промышленных городов, все ребята были хорошо и современно одеты; дети высокооплачиваемых сплавконторских крановщиков, слесарей, токарей, сортировщиц и зацепщиц, бригадиров и просто разнорабочих щеголяли в добротных узких брюках или мини-юбках, на девчонках сверхмодные свитерки и кофточки; парни отращивали длинные волосы, у некоторых под носом уже темнел заботливо охраняемый пушок, многие отпустили жидкие бакенбарды, и на весь класс не было ни одних валенок, обязательных в школьные годы Нины Александровны. У парней спортивный вид, девчонки свободно демонстрировали колени в колготках, а какие все они были крупные для девятиклассников! Да, это был тот самый двадцатый век, когда десятилетние казались семиклассниками, а восьмиклассники выпускниками.

— Пожалуйста, отвечайте, Макарова.

Нина Александровна неслышно прошла вдоль парт, разнося тонкий запах хороших духов, опять, как в кабинете Белобородовой, почувствовала себя совсем молодой, почти такой же, как мальчишки и девчонки девятого «б», которые провожали ее откровенно восхищенными взглядами.

— Отвечайте, отвечайте, Макарова!

Рассеянно слушая хорошую ученицу, Нина Александровна приближалась к последней парте левого ряда, на которой в полном одиночестве сидела белоголовая девчонка с как бы прозрачными синими веками, с удлинненным лицом и тонким носом; глаза у нее были опущены, веки трепетали, и вся она была такая, точно издавала негромкий, но отчаянный крик: «Не подходите ко мне, не трогайте меня!» — хотя сидела в безвольной и мягкой позе, как будто в ее стройном теле не было костей. Это была Лиля Булгакова — младший ребенок бывшего главного механика сплавной конторы. С выдающимся математиком Марком Семеновым ее, конечно, сравнить было нельзя, но Лиля была все-таки самой талантливой девчонкой в таежнинской средней школе № 1. Она с первого класса получала только пятерки, прекрасно играла на рояле, пела, читала стихи и сама писала ямбом о восходах и закатах, о любви и расставании. Хороши или плохи были эти стихи, Нина Александровна не знала, но стихи эти у нее — вот странность — вызвали легкое головокружение и воспоминания о лопухом мальчишке ее школьных лет. Кроме того, Нина Александровна иногда чувствовала, что между ней, взрослым человеком, преподавателем математики, и Лилей Булгаковой существует если не похожесть, то непонятная прочная связь, словно они были подругами или сестрами. Сейчас Нина Александровна думала как раз об этом, но мысли не помешали ей наставительно и весело сказать:

— Надо все-таки слушать товарищей, Марк Семенов... В понятие свободы непременно входит уважение к окружающим.

— Виноват, Нина Александровна.

А она все глядела на Лилю Булгакову, поза, глаза и лицо которой по-прежнему кричали: «Не подходите ко мне! Не трогайте меня!» — и думала, что (возможный вариант) у нее самой был такой же вид, когда сидела в кабинете Скрипули, а может быть, она, Нина Александровна, всегда была такой же, как Лиля Булгакова: «Не подходите! Не трогайте меня!»

Здание районного суда имело поношенный, грязный фасад, снег на пологую крышу давил изо всех сил, тополя в скверике грустно сутулились под тяжестью снежных шапок, одно из стекол квадратного окна на фасаде заменили фанерой, на которой чернильными распавшимися буквами было написано: «...ская область... Таежное... ..львар...» Больше ничего разобрать было невозможно, и Нина Александровна, отдыхая после автомобиля и дожидаясь, когда шофер дядя Коля завернет за угол, старалась сообразить, как крышка от посылки, адресованной в Таежное, могла попасть в райсуд.

В темном, тюремного стиля коридоре, заплыванном и пропахшем хлоркой, где не полагалось громко разговаривать и курить, тесными кучками сидели какие-то шепчущиеся люди; молодой человек в пыжиковой шапке журавлиным шагом передвигался на цыпочках; молодая женщина сидела молча и прямо, словно туго надутая воздухом; разбитная тетка, устроившаяся возле окна, смеялась в одиночестве; седой и узкоплечий старик, несмотря на запрещение, курил и пускал дым прямо в судейскую дверь, напротив которой сидел. У него на лице были только две крупные складки — возле губ; все остальное

было мелкоморщинистым. Далее — тоже отдельно от всех, надменная и важная — сидела старуха с повадками тигрицы. Она то и дело медленно поднимала тяжелые веки и так глядела на расхаживающего молодого человека в пыжиковой шапке, что он еще выше приподнимался на цыпочках, словно хотел встать на пуанты.

Бывший муж, в обязанности которого входило обеспечение очередности на суде, ждал Нину Александровну не один: рядом с ним, сидящим, стояла женщина явно судейского вида и что-то быстро и неслышно говорила ему, а он в ответ рассеянно кивал, точно принимал неинтересный, но по уставу положенный рапорт. По лицу женщины Нина Александровна поняла, что их обязательно пропустят без очереди и что суд будет предельно коротким. Поэтому она своим обычным мерным шагом двинулась по коридору, покашляв, добилась того, что бывший муж ее заметил, и только тогда остановилась метрах в трех от него.

— Добрый день, Алексей Евтихианович.

Женщина судейского вида распрямилась, торопясь обогнать самою себя, поглядела на бывшую жену главного врача такими жадными глазами, что Нина Александровна улыбнулась и подумала о том, что суд будет не на ее стороне; это, впрочем, она знала и без откровенно презрительного взгляда женщины. Ведь если судья женщина, если два заседателя женщины, секретарь суда женщина, то в бракоразводном процессе, где муж убегом убежал от жены, последней не миновать позора и поношения.

— Привет, Нина Александровна! — вежливо вставая, поздоровался бывший муж. — Спасибо за точность. Минут через пять мы зайдем... Условно со всеми, даже с очередью, — прибавил он, наверное, для старухи с тигриной осанкой. — Как только дослушается очередное дело, входим мы...

Впервые за шесть с половиной лет — вот сколько времени прошло с тех пор, как они расстались! — Нина Александровна видела бывшего мужа не в больничной палате, и не в пижаме, и не в белом халате, а в костюме. Ну что же? Надо было признать, что Алексей Евтихианович за эти годы превратился в представительного, самоуверенного и цветущего мужчину. Он широко, на отлете, как бы отдельную драгоценность, держал тяжелые руки, словно они недавно были вымыты, обтянуты резиновыми перчатками и он боялся прикоснуться к чему-нибудь нестерильному; на лбу еще глубже прорезались две по-настоящему мужественные вертикальные складки, как на лицах прославленных полководцев и знаменитых государственных деятелей; глаза пояснели, приобрели блеск и цвет, в волосах — он рано начал седеть — за шесть лет седых волос поубавилось, а прическа была другая: смелая, дерзкая челка из тех, какие теперь носят молодые пижоны.

«Изопьем чашу страданий до дна», — шуточно подумала Нина Александровна в тот момент, когда из комнаты заседаний суда выходила тихая молодая парочка. Он, наверное муж, осторожно и бережно прикрыл за собой двери, она, жена, уже, вероятно, в судейской комнате начала двигаться бесшумно, и вот так, не обращая ни на кого внимания и не останавливаясь, они медленно растаяли в конце грязного судейского коридора. «Ну, будет дело! — еще веселее прежнего подумала Нина Александровна. — Держись, Нинка!»

За дверью судейской комнаты ровно через минуту после ухода зачарованной парочки начался бракоразводный процесс гражданина Савицкого Алексея Евтихиановича с гражданкой Савицкой Ниной Александровной, и Нине Александровне предстояло понять, что причина развода одна: муж ушел от жены, испортившей ему жизнь.



Комната для судебных заседаний по контрасту с грязным коридором и зачуханным фасадом оказалась светлой, высокой, современной, чистые, белые стены, хорошие стулья, поставленные в четкие ряды, стол с торжественной скатертью, судейский стул с официальной прямой спинкой и успокаивающие шторы на окнах — зеленые, в крупных складках. А в окружении двух наперсниц — знакомой уже Нине Александровне женщины явно судейского вида и пожилой гражданочки в шерстяном платке — сидело само Правосудие в образе полной, голубоглазой и белотелой блондинки с таким добрым и веселым лицом, что хотелось смеяться, как от щекотки. Худая до болезненности секретарь суда с пальцами, униженными дешевенькими перстнями и кольцами, сидела в стороне и глядела в серую оберточную бумагу, на которой писались судейские документы. Рядом с секретарем суда голубоглазое Правосудие выглядело ангелом высшей кондиции и, наверное, до чрезвычайности походило на ту полную блондинку с ямочками на хозяйственных руках, с которой теперь жил бывший муж Алексей Евтихианович.

Вот, оказывается, какой была судья Нелли Ефимовна Кропачева, избранная во время последней выборной кампании в районные судьи и на фотографии, плохо отретушированной в местной типографии, выглядевшая старой и брюзгливой толстухой. Как только Нина Александровна первой вошла в комнату для судебных заседаний, судья Кропачева еще раз мило улыбнулась (улыбка явно осталась от зачарованной парочки), поднявшись, отвесила вошедшим вежливый и веселый поклон.

— Прошу садиться.

Все остальное произошло с такой ошеломляющей скоростью, что Нина Александровна не успела ничего понять и даже услышать. Судья мгновенно, без точек и запятых, скороговоркой прочла короткое заявление, не дав ни секунды передышки, поглядев направо и налево — наперсницы! — спросила у Нины Александровны, согласна ли она на развод, и как только Нина Александровна промолвила «да», суд встал как по команде и Кропачева прочла решение, да так быстро, так мгновенно, что все это походило не на суд, а на «скорую помощь».

— Суд удовлетворил ваш иск. Последний вопрос: кто будет платить?

— Я! — не дав судье договорить, заявил Замараев, и на этом все кончилось...

Когда Нина Александровна мерным бережно-уверенным шагом выходила из комнаты для судебных заседаний, она услышала, как та женщина судейского вида, что шепталась в коридоре с Замараевым, сказала ему радостно: «Поздравляю, Алексей Евтихианович!» А он, гражданин Замараев, наверное, раскланявшись в ответ на поздравления, барскими шаркающими шагами уже двигался за гражданкой Савицкой Ниной Александровной, но добрался только до середины грязного коридора, потом звук его теплых французских ботинок стал замедляться и как-то незаметно утихил совсем, точно бывший муж растаял в затхлом воздухе. Потому Нина Александровна до конца коридора дошла одна, ей неудержимо хотелось обернуться и посмотреть, что произошло с зимними ботинками Замараева, но она, конечно, не обернулась и вскоре оказалась на улице, где все было сереньким, низким и грязноватым, кроме сверкающей лаком «Волги», принадлежащей Таежнинской сплавной конторе.

— Пожалуйста, Нина Александровна!

Подходя к машине, она почему-то ощущала себя такой же сильной, яркой и стремительной, как новенькая «Волга».

— Отправляйтесь в Таежное! — приказала Нина Александровна шоферу дяде Коле. — Я задержусь...

День в Пашеве выдался теплым, сырым, темным от низких сероватых туч; все вокруг по-прежнему казалось грязным, низким и широким, в ста метрах от райисполкома буксовал на раскисшей дороге большой зеленый грузовик, похожий на гигантскую навозную муху и жужжанием и цветом. Над машиной летали обрадованные суматохой сороки, напоминающие из-за всеобщей серости ворон.

Сначала Нина Александровна не знала, куда ведут ее ноги, шла только для того, чтобы не останавливаться, а потом поняла, что левая нога стремится в райисполком, где Нина Александровна как депутат бывала почти всякий раз, когда приезжала в райцентр. Обнаружив, куда ведут ее ноги, она поняла, чего им, ногам, надо: дела, отвлечения от тяжелых мыслей, энергичного существования.

Остановившись, Нина Александровна по-крестьянски заботливо подумала о том, что, по всей вероятности, затишье в серых и низких тучах кончится мокрым снегом — так они были тяжелы, обременены, перенасыщены. И она пошла быстро в другую сторону... Звук буксующего грузовика постепенно затихал за спиной, сороки тоже угмонились, обнажившийся местами от снега деревянный тротуар, казалось, был бесстыдно голым; над районным маслозаводом висела такая крупная вывеска, какой, наверное, не имели заводы-гиганты; здесь же на воротах, как на таежинской парикмахерской, бессонно разговаривал динамик: «...выпуск станков увеличился...»

Райцентр внезапно кончился — дома оборвались, словно киноплёнка, увиделась небольшая возвышенность, на которую изящно и легко взбегали кресты и звезды большого благоустроенного кладбища. Так вот куда вели теперь ноги Нину Александровну Савицкую! Впрочем, посещать кладбище давно стало для нее разрядкой. Нина Александровна начала подниматься на кладбищенский взгорок, что сейчас, после развода с Алексеем Замараевым, оказалось для нее просто необходимым. Она подумала о том, что вот в эти самые минуты, когда каждая клеточка ее тела так напряжена, что она самой себе кажется сияющей, яркой и сильной, как директорская «Волга», могут наконец на фоне кладбищенских мыслей о бренности всего сущего прийти ответы на неразрешимые пока вопросы ее теперешней жизни. «Жаль только, — издеваясь над собой, думала Нина Александровна, — что кладбище такое благоустроенное, современное, чистенькое. Эх, была бы разруха, упавшие кресты, растерзанные могилы!»

Она вошла в ворота металлической ограды кладбища, подумав, куда идти — направо или налево, — пошла прямо, стараясь не замечать мелочей. Судя по характеру и жизненному призванию Нины Александровны — математика! — она должна была, наоборот, принять с удовлетворением хорошую планировку, порядок, чистоту, которые чрезвычайно ценила во всех других случаях. Почему же она поеживалась от современной планировки райцентровского кладбища с чистыми и прямыми улицами и тремя площадями?

Стараясь понять себя, Нина Александровна остановилась возле простенькой могилы со звездочкой на фанерной пирамиде памятника, с неприхотливой деревянной оградкой и снежными кругами, лежащими друг на друге. Это были венки, положенные на могилу еще до последнего снегопада. Она прочла: «Юрий Семенович Слесарев. 1947—1969 гг. Спи спокойно, наш сын, муж и брат». Выходит, Юрий Семенович Слесарев прожил на грешной земле всего двадцать два года, и Нина Александровна по фотографии представила его во весь рост: высокий, впалогрудый, черноволосый молодой человек с нервным лицом... Она старательно и безбоязненно ворошила собственную

душу — жалко ли ей Юрия Слесарева, его мать, жену, брата или сестру, хочется ли плакать оттого, что Слесарев прожил на этой теплой и круглой земле всего двадцать два года? Оказалось, что Нина Александровна жалела умершего, ей было больно, а от плохо покрашенной фанерной пирамиды сжималось сердце. Все это было так, все происходило правильно, естественно, но почему же тогда с каждой секундой делалось все легче, словно из груди по кусочкам вынимали холодный камень? Ну почему? Значит, она здесь для того, чтобы самой выкарабкаться на поверхность? Нина Александровна начала было считать про себя до десяти, но от злости на Нинку Савицкую не досчитала, а приказала ей жестоко: «А ну выйди-ка вон с кладбища, подлая!»

После того как металлическая ограда кладбища осталась позади, Нина Александровна прислонилась спиной к одинокому чахлому тополю и медленно подумала: «Когда открылась у Сергея язва? Почему я об этом ни разу не вспомнила, чтобы спросить у него? Ведь это такой простой вопрос! Когда открылась язва? Через несколько недель или месяцев после женитьбы на мне?»

На белом свете, то бишь в деревянном городе Пашеве, совсем потеплело; дело дошло до того, что с кладбищенской горушки, пока еще безмолвной, бежал грязно-зеленый и тоненький, словно струна, ручеек, кое-где пробуравивший снег; мокрые и замызганные сороки уже ходили не на ворон, а на взъерошенных сычей; снег на дороге напоминал кашу из неочищенного риса, ветлы, что росли возле молокозавода, подбьгали, и твердые в морозы ветви уже висели по осеннему печально, как у плакучих ив. Поглядев на все это, Нина Александровна пожалела, что отпустила шофера дядю Колю, — ей хотелось стремительно мчаться в Таежное, остановившись возле дирекции сплавной конторы, ворваться вихрем в кабинет Сергея Вадимовича, с порога закричать: «Сергей, когда у тебя открылась язва?» Потом следовало обнять его, пеленая и целуя, вынести на руках из кабинета, не спрашивая согласия, бережно унести на руках в больницу. Не отдавая себе отчета в том, что она делает, Нина Александровна уже совершала быстрые суматошные движения: бежала по раскисшей дороге с поднятой рукой, как это делает человек, когда хочет поймать такси или левую машину. Однако в деревянном городе Пашеве по улицам разъезжало всего два десятка такси, поймать машину могло помочь только чудо или поход на районный базар, где всегда стояло три-четыре автомобиля в ожидании «деревенщины», с которой можно было содрать лишний рубль. Но до рынка было километра четыре — целая вечность шагов, — и Нина Александровна укусила себя за перчатку, поняв безвыходность положения: через час, а может быть, через несколько минут желание «унести» в больницу больного Сергея Вадимовича непременно пройдет... Такси не было, солнца не было, оттепели не было — ничего не было, и Нина Александровна почувствовала себя пустой, как выжатый лимон. Вздохнув, она пошла тихохонько по темной дороге и до тех пор шагала по направлению к Таежному, пока ее не подобрал сплавконтторский «газик», ездивший за деньгами в райбанк. Она села на заднее сиденье, забилась в уголок; вызывая этим удивление и оторопь у шофера и кассирши, доехала до дома, а не до дирекции молча, со стиснутыми зубами, все время повторяя про себя одну и ту же фразу: «Первый звонок! Первый звонок! Первый звонок!»

После ноябрьских праздников в новом современном доме застеклили окна, провели во все комнаты водяное отопление, в кухне и коридоре застлали полы разноцветным линолеумом, а еще через

неделю по центральной улице Таежного — на виду у всех — провезли большую белую ванну, первую в поселке. Сразу же после установки ванны в дом пришли маляры, и в Таежном стали поговаривать о том, что после Нового года или чуть позже дом будет готов к сдаче, да и Сергей Вадимович говорил то же самое, добавляя с усмешкой:

— Мистер Булгаков не дремлет! На днях в райком пойдет коллективное письмо о том, что Ларин ворюга и обогащается за счет государства.

Сергей Вадимович после ноябрьских праздников домой стал приходить минут на двадцать раньше обычного, не пропускал ни одного ледового купания, по утрам с углубленным видом прочитывал целиком три страницы «Правды», он еще больше прежнего повеселел, был по-мальчишески легок, несерьезен и как-то, полушутливо-полусерьезно, фатовато подмигивая, сообщил Нине Александровне:

— А твой Сереженька молодец! Боюсь, как бы мне не вручили за третий квартал а-а-громадную премию. Это, знаешь ли, и честь и нема-а-а-лые деньги. Не купить ли нам, понимаешь ли, пианино да не нанять ли для Борьки учительницу музыки? Хотя бы эту старую гримзу Марию Казимировну. Люблю, знаешь ли, когда бренчат что-то рояльное...

С Борькой, на взгляд Нины Александровны, все пока обстояло благополучно, хотя сын по-прежнему удивлял ее мудрой взрослостью, так как крохотный мальчонка, внешне очень похожий на Нину Александровну, за два-три месяца сумел установить совершенно точные, по-умному необходимые отношения с отчимом. Борька демонстративно «уважал» Сергея Вадимовича, был, конечно, признателен ему за пистолет и прочие материальные радости, но держал себя так независимо, точно постоянно твердил: «Ты отчим, я Борька, вот и все, вот и очень хорошо, и давай-ка жить каждый по-своему». Вместе с тем сын не избегал Сергея Вадимовича, охотно гулял с ним, но не горевал ни секундошки, когда отчим был занят. Одним словом, в доме существовало двое мужчин — каждый отдельно, каждый сам по себе.

— Характер! — однажды уважительно сказал о нем Сергей Вадимович. — Высоко о себе разумеет молодой человек-с... А вот геркулесовую кашу я его заставлю лопаты!

— Каким образом?

— Самым простым.

И через несколько дней после этого разговора, укладывая сына в постель, Нина Александровна услышала нарочито громкий и четкий голос Сергея Вадимовича:

— Мои подвиги объясняются, знаете ли, геркулесовой кашей.

У мужа в это время был в гостях плановик Зимин — подхалим и сплетник, забежавший к главному механику якобы по необходимости, но на самом деле для вербовки нового работника в группу оппозиционеров, почему-то воюющих с главным инженером; начал плановик с того, что выразил Сергею Вадимовичу восхищение его, зимними купаниями: «У вас, Сергей Вадимович, исключительно, грандиозно, невыразимо мощный организм, но это так понятно — вы такой исключительный, такой неповторимый человек!» Все это было произнесено с проносом, с мнимоаристократическими ужимками и честными до фанатического блеска глазами.

— Все дело именно в геркулесовой каше! — с удовольствием прокричал за стенкой Сергей Вадимович. — Кто читает журнал «Наука и жизнь», тот знает, что только геркулесовая каша согревает в проруби... Да, да и еще раз да, как выражается высокоуважаемый экс-механик Булгаков...

— Вы только подумайте! — восхитился плановик и вдруг понизил голос. — Вы только послушайте, Сергей Вадимович, какой предательский шаг предпринял экс-механик. Он, можете себе представить...

Шу-шу-шу, те-те-те! — дальше ничего понять уже было нельзя, и Нина Александровна, аккуратно сложив Борькины джинсы, присела на краешек детской кровати. Сын лежал на спине, сосредоточенно глядя в потолок, шевелил губами, словно считал про себя. Внутренний монолог Борьки непременно относился к геркулесовой каше, и лицо у сына наконец сделалось решительным: ну, мы еще покажем себя! Нине Александровне захотелось захохотать, и, чтобы не случилось конфуза, она приняла строгую осанку.

— Как у тебя с русским языком, Борька? — спросила Нина Александровна. — Что-то Елена Алексеевна на тебя давно не жаловалась. Ты не исправился ли?

— Не, — задумчиво ответил сын. — Домашние задания по русскому мне теперь делает Светка, а на уроках я сам стараюсь.

— Не фантазируй!

— Я не вру, мама. Светка делает мне домашние задания по русскому, а я ей решаю задачи.

— Но это же... Это плохо, Борька!

— Да уж чего хорошего... Знаешь, мама, ты иди, я засну сам...

Когда Нина Александровна вошла в другую комнату, Сергей Вадимович, сунув руки в карманы, разгуливал по диагонали, а плановик Зимин с загадочным видом протирал замшевым кусочком очки в позолоченной оправе. Без очков лицо Зимина казалось добрым и наивным.

— Я не помешаю? — спросила Нина Александровна.

— Напротив! — воскликнул плановик и приложился сухими губами к руке Нины Александровны. — Если бы вы знали, как вас обожает Людмила! Если бы вы знали!

Раздаривание направо и налево комплиментов, целование женских рук, приветственные поцелуи мужчин, поздравительные открытки на пролетарские праздники и все прочие торжества, подарки и сувениры, длинные разговоры по домашним телефонам — все это за последние годы в поселке Таежном было распространено так же широко, как и в крупных городах, причем если согласиться с утверждением, что в Руане юбки на вершок короче, чем в Париже, то поселковый «аристократизм» был в два раза могущественнее столичного, а плановик Зимин являлся мужем наипервейшей светской львицы в Таежном. Именно преподавательница английского языка Людмила Павловна по субботам давала приемы с сэндвичами, встречала гостей в длинном сверкающем платье, вставляла в русскую речь английские словечки, выписывала с большими трудностями (через областную город) журналы «Америка» и «Англия» и даже позволяла себе в тесном женском кругу употреблять нецензурные слова — последний крик моды. Отчаянно влюбленный в жену плановик Зимин, естественно, во всем подражал ей, но будучи на самом деле добрым и глупым, потешал весь поселок. Вместе с тем Сергей Вадимович утверждал, что Зимин хороший работник.

— Если бы вы знали, Нина Александровна, как вас обожает Людмила! — прикладывая руки к груди, клялся плановик. — Она говорит, что вы самая умная, современная и самостоятельная женщина в Таежном. Для Людочки абсолют-но потеряна та суббота, на которой вы отсутствуете.

Однако по глазам Сергея Вадимовича Нина Александровна поняла, что шушуканье с плановиком было не таким уж потешным, как

хотел показать муж. Одет Сергей Вадимович был черт знает во что — протертые до дыр вельветовые брюки неопределенного цвета, из заносенных домашних тапочек видны большие пальцы, а вот на плечи была накинута модная лыжная куртка, которой раньше не было в вещах Сергея Вадимовича. Как только Нина Александровна уселась за свой рабочий столик и включила лампу под зеленым абажуром, муж сказал:

— Вернемся к нашим баранам... Так кто же информировал Булгакова о выходе из строя дизеля на Весеннинском? Это во-первых, а во-вторых, меня поражает оперативность информатора. Уж не пользовался ли кляузник эфиром?

Все это было сказано настойчиво, требовательно, но тихохонько, с улыбкой, с «любезными» глазами, с такой небрежностью, словно Сергей Вадимович именовем кляузника интересовался между прочим, как бы по сучной необходимости, и Нина Александровна предполагала, что именно за этим противоречием скрывался сильный, жестковатый, целеустремленный характер. Ничего иного в муже, кроме сильного характера, Нина Александровна и искать не могла. Конечно, люди ошибались, когда принимали внешнее легкомыслие Сергея Ларина за тщательно скрываемые мягкость и доброту.

— Так как же мы отнесемся к этой детективной истории, дорогой Геннадий Иванович? — прежним тоном спросил Сергей Вадимович.

— Ровно через три дня вы будете знать все! — опять прижав руки к груди, проникновенно заверил Зимин. — Ровно через три дня и ни днем позже...

С этого мгновенья Нина Александровна перестала слушать разговор мужчин, углубившись в свое дело, и вернулась к действительности только тогда, когда Зимин, изысканно откланявшись, ушел и наступило время ужина. Сложив аккуратной стопкой проверенные тетради, она сладко разогнула спину и пошла в кухню сама, так как домработница Вероника наотрез отказалась кормить завтраками, обедами и ужинами мужчину, то есть Сергея Вадимовича, и Нине Александровне пришлось согласиться. С домашними работницами в поселке Таежном было так же трудно, как и в столице нашей родины, ибо поселковый Совет разрешал прописку только тем гражданам, которые собирались работать в сплавной конторе или в одной из двух артелей. Это и помогло Нине Александровне — депутату райсовета — вопреки положению взять в домработницы пышнотелую девицу Веронику, закончившую в родной деревушке восьмилетку. Родители Веронике помогать не могли, и вот для того, чтобы получить образование в вечерней средней школе, она сделалась домашней работницей с зарплатой пятьдесят рублей в месяц, бесплатной кормежкой, двумя выходными днями и раскладушкой на кухне. За время работы в доме Нины Александровны домработница трижды бастовала, угрожая уйти в дом сегодняшнего гостя, плановика, где почти всю женскую работу выполнял Зимин, а Веронике пообещали взамен раскладушки кровать с панцирной сеткой. Бунт домработницы Нина Александровна, естественно, объяснила теснотой дома и раскладушкой, но вскоре выяснилось, что дело в другом. «Этого еще не хватало! — сказала домработница Вероника, когда Нина Александровна однажды попросила ее выгладить брюки Сергея Вадимовича. — Со штанами я еще не возилась... Да я этих мужиков в упор не вижу! И подавать на стол никакому мужику не буду!» Узнав об этом, Сергей Вадимович долго, до слез хохотал, потом начал следствие: «Так из какой деревни эта... как ее?.. Вероника? Из Тискина? Бог ты мой! В деревне осталось сорок жилых домов, клуб похож на

баню, молодого мужика днем с огнем не найдешь, а вот поди ж ты! «Я этих мужиков в упор не вижу»? Вот тебе результат проникновения во все уголки нашей необъятной родины кино, радио и телевидения... В этом Тискине, можешь себе представить, есть телевидение, а кинофильм с белыми телефонами можно посмотреть за тридцать копеек. А имя-то, имя-то! Ве-ро-ни-ка! Кто ж ее родители? Рыбаки! Ну, эти сейчас в цейтноте: рыбы нет и не предвидится... Слушай, какая она? Ведь Вероника за две недели ни разу не изволила попасться мне на глаза...» «Она пышная и соблазнительная. Мой герой Марк Семенов с нее не сводит глаз...»

Одним словом, Нине Александровне пришлось смириться, и вот она, напевая легкомысленное, пошла в кухню — тесную и по-деревенски мрачную комнату с одним крошечным окном и дурацкой, ненужно громоздкой плитой. Здесь Нина Александровна несколько секунд постояла неподвижно, как бы собираясь с силами, но затем с решительным и обстоятельно-строгим лицом надела резиновые хирургические перчатки, так как, несмотря на готовый ужин, всегда приходилось не только разогревать, а что-нибудь доделывать за Веронику. «Буду кормить мужчину!» — насмешливо подумала Нина Александровна и, не выдержав, расхохоталась, пробормотав невнятно:

— Жующие челюсти.

После этого Нина Александровна завела смешную кухонную игру, глупую, но почему-то необходимую, то есть, перед тем как накрыть на стол, она — математик — прикинула несколько вариантов, так сказать, транспортировки ужина в их супружескую комнату. Действуя бестолково, можно, конечно, бегать из кухни в комнату несколько раз, но интеллект современной женщине на то и дан, чтобы древние обязанности можно было выполнять с наименьшей затратой сил. Раздумья о рациональной подаче ужина у Нины Александровны всегда вызывали новый приступ веселья.

— Вот такие дела, голубушка!

Забавно, что непритязательный в одежде муж питал необъяснимую слабость к хорошей посуде и сервировке. Он, естественно, никогда не говорил ей об этом, но Нина Александровна давно заметила, как смягчается подбородок Сергея Вадимовича, когда на столе появляется тонкий фарфор, красивый поднос, хрустящие салфетки, серебряные столовые приборы. А вот очередной парадокс: любя барскую сервировку и тонкие кушанья, Сергей Вадимович был совершенно равнодушен к обстановке квартиры. Поэтому в их общей комнате было до пустоты упрощенно — огромный низкий диван-кровать, на котором вдоль и поперек могли улечься четверо, квадратный, без всяких украшений шкаф для белья и платья, маленький письменный стол с книжными полками над ним, торшер в углу, журнальный столик, два кресла; никаких ковров, занавесок, портьер, дорожек не было. Кроме того, Сергей Вадимович не мог терпеть верхний свет, и купленная Ниной Александровной по случаю люстра с лжехрустальными подвесками была подарена Веронике, по-сорочьи влюбленной в блестящие вещи.

Войдя в комнату с подносом в руках, Нина Александровна весело покосилась на мужа, поймав себя на том, что играет роль умелой и привычно ловкой хозяйки, на самом деле умело начала сервировать круглый стол: положила две бумажные и две полотняные салфетки, по две вилки и по два ножа (маленькие и большие), тарелки с золотыми ободками, тонкие чашечки, вазу с шоколадными конфетами и печеньем. «Как в лучших домах Филадельфии!» — похохатывала втихомолку Нина Александровна, сообразив, что сегодня

она только дважды сходит на кухню и обратно, то есть сделает, выражаясь языком грузчиков, всего две ходки. Она уже почти целиком накрыла стол, когда Сергей Вадимович заметил ее присутствие в комнате.

— Ага,— обрадовался он, шелестя областной газетой «Красное знамя»,— ужин приехал!.. Спасибо, Нинуся!

Если в «Правде» Сергей Вадимович из шести читал только три страницы, областную газету он изучал от первой строчки до последней; при чтении у него на лбу собирались продольные морщины, глаза делались постными, а нижняя губа отчего-то капризно оттопыривалась.

— Так, так... Ужин приехал... Приехал ужин...— рассеянно бормотал муж.— Ужин приехал...

Дочитав последнюю строчку, Сергей Вадимович сложил газету в восемь долек, подумав, куда положить, аккуратно устроил ее на валике кушетки и только тогда плотоядно потер руку об руку: ужин приехал! К его чести, Сергей Вадимович не был тем фельетонным мужем, который стал верным хлебом карикатуристов,— не читал газету во время еды, всегда замечал, во что одета Нина Александровна, и во время еды был говорливо-мил. Сейчас, например, он окинул взглядом жену, оставшись довольным ею, с шумом подъехал к столу вместе со стулом. Затем опять потер руку об руку и начал потешно мигать:

— Гениально! Достопочтенная Вероника перелистнула очередную страницу «Книги о здоровой и вкусной пище». Как сие яство называется?

— А бог его знает... Минуточку, Сергей, я принесу остальное.

Сделав, как она выражалась про себя, вторую ходку, Нина Александровна села напротив мужа, начав развертывать туго накрахмаленную салфетку, вдруг остановилась, так как Сергей Вадимович беззвучно хохотал. При этом он широко открывал рот, показывая белые крепкие зубы и безупречно розовый яркий язык, свидетельствующий, как это ни странно, о безусловном здоровье его желудка.

— Гарбузов-то, Гарбузов-то! — сквозь смех проговорил он.— Гарбузов-то, как выражаются в Таежном, облажался... Допился, представь себе, до того, что приписал к плану шесть тысяч кубометров пилочника. Шутка ли, а?

Не зная никакого Гарбузова, впервые услышав эту фамилию, Нина Александровна тем не менее поняла мужа, среди знакомых которого числились только сплавщики и лесозаготовители. Его слова нужно было истолковать в том смысле, что некий руководящий деятель какой-то сплавной конторы по фамилии Гарбузов сделал приписку к месячному или квартальному плану, о чем и было сообщено в областной газете «Красное знамя».

— Нет, каково, а, Нинусь! Приписать шесть тысяч кубометров. Это не баран начихал, не кот наплакал и не таракан на... Прости!

— Да уж,— поморщившись, заметила Нина Александровна.— Типичный лесосплавной юмор, Сергей Вадимович.

Мужа она называла по-разному — то по имени-отчеству, то Сергеем, зависело это от настроения Нины Александровны или поступков мужа, но «Сергей Вадимович» употреблялось чаще, может быть, потому, что так мужа называл весь поселок, да и полное имя больше соответствовало его внутреннему и внешнему содержанию. «Муженек-то у тебя сложный, эклектичный! — совсем недавно сказала директор школы Белобородова, умеющая временами впадать в торжественность и безвкусицу.— А как называет его твой отпрыск?» «Борька называет мужа Сергеем! — ответила Нина Александровна и



запоздало удивилась вопросу Белобородовой.— А разве возможен иной вариант?»

— Пожалуйста, возьми салфетку, Сергей Вадимович.

Сегодня Нина Александровна приняла железное решение прервать настойчивые и разрушительные наблюдения за своим новым мужем, то есть не замечать, как он сидит, двигается, не прислушиваться к изменениям голоса, не обдумывать каждое слово, в общем, «снять посты наблюдения и дозорных». Бог знает как она устала от своей вечной бдительности!

— Пахнет соблазнительно,— деловито заявил Сергей Вадимович, с удовольствием разбираясь в вилках, ножах и салфетках.— Кстати, глубокоуважаемая Вероника со мной, можете себе представить, завела переписку... Вот зачти-ка, что она пишет в записке, обнаруженной в кармане моего полушубка...

Четкими ученическими буквами домработница Вероника требовала, чтобы в новой трехкомнатной квартире ей была отведена угловая комната с видом на речку. В противном случае она снова угрожала перейти на жительство к Зиминым, где работы в три раза меньше, а хозяйка дома Людмила «не такая большая зануда, как ваша новая супруга». Кончалось же послание так: «Я со всех сторон вольная, у кого хочу, у того и живу. Мой большой привет Вашей супруге, Вероника Сысоева». В записке насчитывалось всего две пунктуационных и одна грамматическая ошибки, зато лексика была такой, что Сергей Вадимович стонал от восторга:

— Меморандум, нота, двести тридцать шестое серьезное предупреждение... Между прочим, я тоже нахожу Веронику соблазнительной. Значительны ли успехи твоего гения Марка Семенова?

— Он обречен,— в тон мужу ответила Нина Александровна.— Вероника заявила, что ее интересуют только сорокалетние мужчины с положением... Послушай, Сергей, а ведь нетрудно догадаться, кто информировал Булгакова об аварии дизеля.

Он моментально сухо поджал губы:

— Кто же?

Нина Александровна, по своему обыкновению, не торопилась с ответом. Она аккуратно отрезала и подцепила на вилку деликатный кусочек неизвестного кушанья, тщательно прожевала и только тогда насмешливо покосилась на Сергея Вадимовича.

— Еще четырнадцатого августа, то есть в день аварии, мне было все известно,— сказала она.— Дизель остановился в половине четвертого, виноват в этом Иннокентий Мурзин, который оставил его без присмотра почти на сутки. Он женат на племяннице Булгакова и, естественно, со страху позвонил старику.

Сергей Вадимович замер с ножом и вилок в руках:

— Ах вот как! Забавно.

— Беда в том, Сергей Вадимович, что Иннокентий Мурзин был пьян, о чем ты, естественно, не знаешь... Водку они купили ночью в Дерябове у знакомой продавщицы...

— Как это — ночью?

Нина Александровна удивилась:

— Обыкновенно! Сели в лодку с подвесным мотором и съездили в Дерябово...

Все-таки уютно, славно, тепло было в их небрежно обставленной комнате; пощелкивали кирпичи печки, выходящей сюда из кухни теплой стороной; из настроенного на радиостанцию «Маяк» приемника звучало что-то из Дворжака, веселое и грустное одновременно, но при этом в доме стояла такая тишина, которая бывает ночью только в таком поселке, как Таежное: чуть слышно лаяла

усталая собака, скрипел по-ночному снег под валенками одинокого прохожего.

— Я бы хотел знать, достопочтенная Нина Александровна,— свирепо проговорил Сергей Вадимович,— по каким таким причинам вы так хорошо информированы в делах моей службы главного механика? Что означает, гражданочка, ваше криминалистическое всезнайство?

Она тихонько рассмеялась, потом притронулась пальцами к руке мужа, подержав их секундожку на теплой коже, неспешно отняла пальцы, так как почувствовала, что ей хорошо сидеть за одним столом с Сергеем Вадимовичем, что ей льстит его удивление и приятна та уважительность, которая звучала в шутливо-свирепом голосе.

— Я живу в Таежном более десяти лет,— сказала Нина Александровна,— а в моих классах сидят сыновья и дочери твоих сплавщиков. Это раз. А во-вторых, у меня учится младшая дочь экс-механика Лиля Булгакова, которую, по неизвестным мне причинам не любит весь класс, а она, в свою очередь, презирает родного отца. Причина этого, наверное, в том, что Булгаков холит только сыновей как возможных наследников его начальничьего баса...— Она сделала крохотную паузу.— Лилия заявила, что никогда не переедет в новый трехкомнатный дом...

Сергей Вадимович мягко положил на пустую тарелку нож и вилку, откинувшись на спинку стула, негромко спросил:

— Почему же Лилия не хочет переезжать в новый дом?

— Она всегда говорит «да», если отец произносит «нет», и наоборот...— Нина Александровна опять помолчала.— Если хочешь знать мое мнение о Булгакове, то он в принципе порядочный и добрый человек. И...

— И хорошо работал?

— Ну, оценить его руководство я не могу, однако знаю, что Булгаков работал добросовестно — сутками пропадал в конторе... Конечно...— Нина Александровна сделала третью паузу, размышляя, стоит ли произносить те слова, которые сами просились на язык.— Конечно, Сергей,— все-таки сказала она,— ты работаешь интереснее и лучше Булгакова... Об этом давно судачит все Таежное.

— Мерси! Будем чаевничать?

— А как же!

Разливая чай, она со сладкой медлительностью скупердяйки опять мысленно подводила итоги своего сегодняшнего благополучия: да, у нее появился умный, легкий и любящий муж, сын Борька приспособился к новой обстановке, письма от матери поступали исправно и были в последнее время полны уважения к дочери, нашедшей наконец-то истинное счастье, в школе дела обстояли отменно благополучно, впереди ожидалась радость переезда в современную квартиру с ванной и огромной кухней, ее собственный муж в областной газете был назван в числе лучших работников лесосплава. Итак, выражаясь языком той же газеты, в которой хвалили Сергея Вадимовича, имелись налицо одни только успехи, бесконечные плюсы, а вот где же скрывались минусы, наличие которых предполагалось, так сказать, диалектикой жизни? Улыбаясь этим несерьезным мыслям, Нина Александровна между тем пила чай с ржаными сухарями — конфеты и прочие сладости она не любила — и, сама того не понимая, незряче глядела мужу в лицо, что было с неудовольствием замечено Сергеем Вадимовичем. Ей уже показалось, что она так и не сможет найти пресловутые минусы, как вдруг вспомнились уверенные и хорошо продуманные слова Скрипули: «Ох, Нинка, хлебнет же лиха с тобой добрый молодец!» Подумав об

этом, она бросила внимательный взгляд на Сергея Вадимовича и, увидев, что он снова легкомысленно безмятежен, деловито спросила:

— Ты думаешь, что Булгаков не утомится после коллективного письма в райком?

— Ого-го! — удивился муж. — Да ко мне, видимо, на днях нагрянет с проверкой зампред райисполкома Стамесов, курирующий лесную промышленность...

Игоря Петровича Стамесова Нина Александровна хорошо знала, он ей раньше немножко нравился и в одной веселой компании однажды шуточно ухаживал за ней. Не преследуя определенной цели, скорее всего по инерции Нина Александровна все-таки выяснила, что представляет собой видный мужчина из райцентра; оказалось, что он женат на умной и красивой женщине, любит ее, имеет троих детей.

— Стамесов — это хорошо, — задумчиво сказала Нина Александровна. — Если будет удобно, организуй мне с ним встречу... Стамесов, кстати, из тех, кого вокруг пальца не обведешь: объективен и умен.

— Хорошо, — согласился Сергей Вадимович и вдруг добавил: — Слушай, Нинусь, а ведь у тебя не голова — совет министров.

— Сейчас я уберу посуду, — поднимаясь, неожиданно сухо сказала Нина Александровна. — Ты знаешь, теперь я посуду мою сама. Вероника заявила, что после ужина посуду надо мыть немедленно. «Грязь затвердевает» — вот что она сказала...

Нина Александровна с посудой расправилась быстро — не сделала ни одного лишнего шага по кухне, ни одного ненужного движения, так как все давно было продумано и доведено до совершенства. Моя посуду и устанавливая ее на проволочную сушилку, она по-прежнему думала о Сергее Вадимовиче. «Он забавный, интересный и, кажется, волевой человек, — размышляла она. — И я чувствую, что тороплюсь в кровать... Это хорошо!» Муж на самом деле был ей приятен и желанен: нравились его сильные руки, плоский затылок, коротковатая шея, детская привычка спать на спине, а главное, то, что в любви Сергей был не слишком опытен, как всякий занятый настоящим мужским делом человек. Одним словом, минусы начисто отсутствовали, как ни повертывай, Сергей Вадимович оказывался безупречным, что, конечно, настораживало, ибо Нина Александровна терпеть не могла круглых отличников. «Что со мной творится? — внезапно подумала она. — Я рассуждаю так, словно он мой ученик». Нина Александровна поняла, что с первой секунды знакомства с будущим мужем следит за ним напряженно и зорко, как за подозрительным «камчаточником», анализирует каждое слово и жест, поступок и отсутствие поступка. Она огорченно поджала губы: «Сороконожка... Запуталась в ногах!» — и сразу после этого заставила себя ни о чем не думать.

Закончив мытье посуды, Нина Александровна вернулась в комнату.

— Вот и все, Сергей, пора спать.

— Айда, Нинусь.

Когда она проходила мимо мужа к платяному шкафу, чтобы достать постельное белье, он перехватил ее по пути, и они коротко обнялись и поцеловались — нежно и обещающе.

За несколько дней до приезда в Таежное заместителя председателя райисполкома Игоря Петровича Стамесова, в четверг, когда

Нина Александровна давала в день три урока — все в первую смену, — в большой и жаркой по-зимнему учительской произошел тягостный эпизод, сыгравший в дальнейшем жизненном укладе и умонастроении Нины Александровны такую большую роль, что она не могла предвидеть и сотую часть нежелательных последствий.

День тогда выдался серенький и мерзопакостный, с самого утра над поселком путешествовали бесплодные тучи, зловеще кричали отупевшие от непонятной погоды вороны, деревья тяжело поникли под смерзшимися снежными шапками, и все это было таким, что по тихой учительской бродила будничная тоска.

Учительская! Кто не знает эти комнаты в средних школах. В них обычно стоит несколько ободранных фанерных шкафов, заваленных сверху изношенными географическими картами, старыми классными журналами, тетрадами, измочаленными учебниками и разнокалиберными, серыми от пыли глобусами; кто не помнит непомерно длинный стол, покрытый красной скатертью из материала, на котором пишут мелом праздничные лозунги, щелястый желтый пол, возле порога стертый подошвами учеников, входящих на «взбучку»; непременный фикус в большой кадке с землей, из которой торчат окурки, неожиданно щеголеватые занавески, испачканные фиолетовыми чернилами; кто не видел на стенах таких учительских графиков дежурств по школе; планов работы пионерских дружин, ведомостей успеваемости по классам с разноцветными треугольничками в клетках, списков ответственных за противопожарную безопасность и так далее и так далее.

Неприятный эпизод произошел во время третьего урока, минут за двадцать до конца, когда в учительской ждали своего часа всего три человека — Нина Александровна, пожилая преподавательница истории Екатерина Викторовна Цырина и литераторша Люция Стефановна Спыхальская. Преподавательница истории, сидя под фикусом, сосредоточенно читала газету и что-то в ней подчеркивала красным карандашом «великан», литераторша Люция Стефановна, положив руки на колени, смотрела, как за окнами грустно плывут тучи, и мурлыкала сквозь зубы модную песню. Кроме этого, Люция Стефановна занималась верчением, расстегиванием и застегиванием второй сверху пуговицы на облегающей высокую грудь нейлоновой кофточке.

Собственно говоря, Люция Стефановна Спыхальская тем и славила, что всегда и везде занималась второй сверху пуговицей на кофточке, причем эта знаменитая и смешная привычка имела точное объяснение. Дело в том, что у Люции Стефановны была очень красивая грудь, такие демонстрировали знаменитые кинозвезды итальянского экрана, а вот все остальное у литераторши было сугубо обыкновенным: коренастая коротконогая фигура, длинные крупные руки, широкая мускулистая шея и деревенское круглое лицо с носом-кнопкой. В этом, наверное, была повинна мать-сибирячка, втайне от поселка жившая с неким Спыхальским. В последний год войны отец литераторши был призван в ряды Войска Польского и убит бандитами уже после войны. Вот тогда-то и выяснилось, что второклассницу Людмилу Трифонову на самом деле зовут Люцией Стефановной Спыхальской. А крутить, расстегивать и застегивать вторую пуговицу на кофточке Люция Стефановна начала после того, как директор школы Белобородова грубо с глазу на глаз заявила: «Прошу, голуба моя, не являться в классы с бальным декольте. Видит бог, у тебя есть что показывать, но в мальчишеской уборной все четыре стены испорчены карикатурами на твое декольте... Прошу не мигать

от возмущения! Я тебя семь лет учила уму-разуму, я тебе не чужая... Застегни немедленно вторую пуговицу!» Вот с тех пор Люция Стефановна и привыкла расстегивать вторую пуговицу перед выходом из школы и застегивать ее, как только ноги становились на школьное крыльцо; проделывать эту операцию приходилось часто, это постепенно вошло в привычку и наконец достигло такой степени, что школьный остряк Моргунов, преподаватель физкультуры, изрек крылатую фразу: «Застегнуто-расстегнутая пуговица». Директрису Белобородову это уже не волновало — кинематографическое декольте Люции Стефановны теперь всегда было прикрыто рукой, совершающей знаменитый процесс кручения, расстегивания и застегивания.

Люция Стефановна в замужестве прожила только год. Она тогда училась в институте, на ней женился сокурсник. Жили они, конечно, на частной квартире, для чего Люция по вечерам работала курьершей в редакции областной газеты, но как только были получены институтские дипломы, муж поспешно уехал к родителям на Кавказ. С тех пор Люция Стефановна потеряла всякую надежду на семейную жизнь, хотя была интересным человеком: обладала острым и глубоким умом, понимала толк в юморе, прекрасно знала свой предмет — советскую и зарубежную литературу, получала по почте все толстые журналы, переписывалась с каким-то известным писателем и владела доброй сотней книг с автографами других литераторов. Естественно, что Нина Александровна к Люции Стефановне относилась с особой симпатией, хотя, как теперь говорят, приятельницами они не были.

Когда до звонка оставалось минут пятнадцать, Нина Александровна, закончив подготовку к очередному уроку, пересела к Люции Стефановне, положила руку на подоконник и тоже начала смотреть на зимнюю улицу, где все оставалось прежним — кричали вороны и плыли низкие тучи, брела по центру улицы пегаая корова с изломанным рогом, такая печальная и одинокая, что хотелось отвернуться, а на школьной площадке нелепо растопыривали руки-метлы снежные бабы, слепленные малышами; на метеорологическом участке осторожно вращался флюгер, и на него смотреть было тоже неприятно, словно флюгер, как и корова, были центрами всемирной тоски.

— Много у нас талантливых ребят,— неведомо по какой ассоциации печальным голосом сказала Люция Стефановна и осторожно вздохнула.— Егор Петрицев будет художником, Василий Яковлев — поэтом, твой Марк Семенов станет светилом новосибирского Академгородка.— Еще раз вздохнув, Люция Стефановна медленно подняла глаза на Нину Александровну.

— Будни, Лю,— подумав, ответила Нина Александровна.— Слушай, неужели Марк Семенов совершенно безнадежен? Четверочку бы, а, Лю?

Понимая, что это пошло и недостойно их тонких отношений, Нина Александровна и Люция Стефановна иногда называли друг друга Ни и Лю, и чаще всего это происходило вот в такие тоскливые минуты бытия.

— Марк в литературе и русском языке туп, как безгорбый верблюд,— медленно произнесла Люция Стефановна.— Он делает мало орфографических ошибок, зато никогда не научится пунктуации. Марк не ставит запятые даже перед «а» и «но».

Флюгер вращался все медленнее и медленнее, тучи тоже замедлялись, и было такое чувство, что сердце в груди бьется осторожно, как бы стараясь быть неслышным в тишине учительской.

— Что, Мышица все-таки женится на Светочке? — наконец спросила Нина Александровна.

Преподавателя физкультуры все в школе — учителя и ученики — называли Мышицей, ибо он именно так произносил слово «мышца». Жениться Мышица собирался на недавней выпускнице Светлане Ищенко — такой красивой девушке, каких Нина Александровна не видела ни в жизни, ни в кино. Ей-богу, Светлана Ищенко сделалась бы Мисс Мир, если бы не была такой безынициативной и непроходимой дурой. Вместо того, чтобы вывести себя на люди, она терпеливо ждала, ничего не делая — ленивая дура! — когда Мышица женится на ней. Преподаватель физкультуры Моргунов-Мышица был таким же дураком, как и Светлана, но у него хватало ума не жениться с налету на девчонке несусветной красоты.

— Кажется, обратно женятся, как выражается Мышица, — сказала Люция Стефановна. — Но если бы ты видела, Ни, какую куртку достал себе Мышица, ты бы пришла в оупение. А уж Светочка Ищенко...

Они заговорщически улыбнулись друг другу и одновременно посмотрели под фикус, где по-прежнему сосредоточенно читала газету и подчеркивала карандашом «великан» какие-то важные строчки преподавательница истории Екатерина Викторовна Цырина. В чем Нина Александровна и Люция Стефановна были абсолютно солидарны, так это в нелюбви к Екатерине Викторовне. О, это была опаснейшая штучка! Во-первых, доносица, во-вторых, клептоманка на особенный манер (она утаскивала только чистые ученические тетради в клеточку), в-третьих, у нее был такой громкий и визгливый голос, что у слушателей звенело в ушах.

— Откуда же появилась куртка? — громко спросила Нина Александровна. — Из очередной посылки, как всегда загадочно сообщает Мышица?

— Угу. Куплена в Севастополе на черном рынке каким-то дальним родственником, — обычным голосом ответила Люция Стефановна, но слова «на черном рынке» выкрикнула, да еще и повторила: — Именно черном рынке, именно!

Это объяснялось тем, что историчка Екатерина Викторовна, доносица и клеветница, была глуховата, и молодые учителя над ней издевались так, как сейчас делали Нина Александровна и Люция: произнесут громким голосом нечто запретное, скажем прозвище директрисы Скрипуля, а все остальное говорят пониженными голосами. От этого Екатерина Викторовна несказанно страдала. «Черный рынок... Севастополь... женится» — от таких слов, ей-богу, можно было сойти с ума, не зная, к кому они относятся.

— Сегодня Мышица как раз щеголяет в новой куртке, замшевых ботинках и в таких носках, что можно очуметь, — насмешливо продолжала Люция Стефановна. — Галстук шириной в ладонь. Так что от столицы мы не отстаем!

Круглое лицо Люции Стефановны с плебейски курносом носом было иронично, умно и интеллигентно; кожа на лице была тонкая, бледная, уже немного поблекшая. Люция Стефановна снова повернулась к окну и затаилась в неподвижности. В молчании прошло несколько длинных секунд, затем Нина Александровна уловила резкое и болезненное изменение в настроении Люции Стефановны, словно от нее подуло ветерком тревоги, несчастья и обреченности. Внешне это никак не проявилось, но Нина Александровна ощутила такое беспокойство, какое случается иногда среди ночи, когда неизвестно отчего проснешься и не знаешь, кто ты, где ты и что ты есть такое. Нина Александровна невольно подняла руку, чтобы предо-

стерегающе положить ее на плечо Люции Стефановны, но не успела; Люция Стефановна тонкоголосо произнесла:

— О, если бы ты знала, как иногда хочется выстирать мужские носки!

Зимняя тоска за окном, глухота по-своему несчастной Екатерины Викторовны, упоминание о мужских носках, пыльный фикус в углу или предстоящая женитьба Мышицы, а может быть, такая сложная ситуация, понять которую никому постороннему не было дано, — кто знает, что вызвало слова Спыхальской. Люция Стефановна все крутила, расстегивала и застегивала дрожащими пальцами вторую сверху пуговицу на кофточке.

— Прости, — наконец очнувшись, шепнула Люция Стефановна. — Прости!

— Лю, слушай, Лю... — начала было Нина Александровна, но тут же прикусила губу. — Ах, черт побери!

Нина Александровна вдруг увидела себя как бы со стороны — длинноногую, нарядную, красивую, благополучную, самоуверенную, холодную. Сидит нога на ногу, старательно скрывает чувства, втайне от самой себя относится к Люции Стефановне с великолепной снисходительностью как к неудачнице и дурнушке. А у самой есть сын, муж, перспектива новой квартиры, положение четвертой дамы поселка. Боже мой, боже мой, какая самоуверенная дрянь!

— Люция, дорогая... Секундочку, Лю... Ах, как нехорошо!

Но уже звенел звонок, и уже Люция Стефановна, похудевшая за секунду, торопливо поднималась, чтобы исчезнуть в шуме и многолюдности перемены, а Нина Александровна все сидела у окна, испытывая желание стать такой же несчастной и некрасивой, как Люция Стефановна, оглохнуть, чтобы скрыться в тени пыльного фикуса, или растоптать свой эlegantный костюм — недавний подарок Сергея Вадимовича. Она ничего не слышала и не замечала до тех пор, пока на всю учительскую не раздался самоуверенный баритон:

— Привет, привет, привет!

Это входил в комнату записной остряк и сердцеед Мышица — действительно в наимодейшей куртке с золотистыми пуговицами, осененными одноглавыми орлами; замша аристократически бархатилась, галстук был шире ладони, носки на самом деле пестрые, и Нина Александровна почувствовала к Мышице такую же душевную ненависть, какую ощущала к самой себе. Войдя в учительскую, Мышица небрежно бросил на длинный стол классный журнал, увидев Нину Александровну, расплылся в особенной, специальной, улыбке:

— Нине Александровне мильон приветствий! — И застыл с распростертыми руками, словно бы окаменев от восторга. — Ах, какой туалет!

После фильма «Доживем до понедельника», в котором преподаватель физкультуры был изображен карикатурно-зло, Мышица, несмотря на свою непроходимую глупость, поступил необыкновенно здраво: стал откровенно преувеличивать и свою глупость, и любовь к дамам, и трафаретность записного остряка, что позволило ему совершенно раскрепоститься, не потеряв при этом ничего в глазах окружающих, которые теперь только элегически вздыхали: «Мышица есть Мышица!»

— Нина Александровна, дозвоьте присесть с вами рядом?

Пахло от Мышицы «Красной Москвой», лицо кавказского типа было красивым, глаза черные и выразительные, но тем более, тем более... Специально не обращая внимания на физкультурника, Нина Александровна первая радостно и вежливо поздоровалась с Верой

Трофимовой Царевой — преподавательницей химии, почтительно раскланялась с Еленой Алексеевной — учительницей естествознания, по-девчоночьи сделала реверанс Анне Семеновне — преподавательнице математики и своей бывшей наставнице. Потом Нина Александровна сдержанно кивнула завучу Петру Петровичу Галкину и уж тогда неторопливо повернулась к Мышице, так как отмщения жаждало все: новая куртка, жгучее брюнетство, стройное тело спортсмена, глупость, мороченье головы красавице Светлане Ищенко, дурацкой расцветки носки! Крови Мышицы — вот чего хотела Нина Александровна и поэтому, посмотрев на него и убедившись, что физкультурник не предчувствует беды, начала спокойно ждать, когда учительская вместит в себя весь наличный преподавательский состав и в ней сделается шумно, как на восточном базаре. На это ушло всего две-три минуты, и, чтобы прервать шум, гам и крик в учительской, надо было сделать что-нибудь очень заметное или быть просто-напросто Ниной Александровной Савицкой — высокой, красивой и значительной женщиной, поступки и слова которой никогда не проходили незамеченными для окружающих. Поэтому Нина Александровна неторопливо отошла от Мышицы, не делая ничего лишнего и подчеркнуто заметного, приблизилась к разговаривающим завучу Петру Петровичу и двум учительницам и остановилась возле них в такой позе, которая могла быть истолкованной как желание заговорить.

Этого было достаточно, чтобы учительская слегка притихла, а как только шум улегся, то и до тишины было рукой подать — тут уж все происходило со скоростью геометрической прогрессии. Нина Александровна именно так и подумала, когда услышала вокруг себя тишину. Ни наслаждения, ни торжества она при этом не почувствовала, но все-таки было приятно, что ей удалось сосредоточить на себе внимание без особого труда. И вот завуч Петр Петрович, прервав разговор с двумя учительницами, повернулся к Нине Александровне:

— Я вас слушаю.

— Петр Петрович,— в звонкой тишине, нарочно растягивая слова, обратилась Нина Александровна к нему.— Петр Петрович, я должна вас информировать о том, что ученицы моего класса жалуются на преподавателя физкультуры Моргунова...— Она сделала крохотную паузу, успев подумать: «Правильно работаешь, Нинка!» — и продолжала: — Дело в том, Петр Петрович, что Моргунов во время уроков хватает девятиклассниц за колени, якобы демонстрируя, как надо правильно выполнять упражнение...

Нине Александровне не надо было видеть лиц, чтобы знать, как учительская реагирует на ее убийственные слова. Ниной Александровной, несомненно, была довольна ее наставница и друг — Анна Семеновна; страдала стыдом за другого человека предобрейшая учительница естествознания Елена Алексеевна; любовалась Ниной Александровной молодая и робкая географичка Нинель Григорьевна, и была втайне возмущена происходящим современная англичанка Людмила Ивановна Зимина, выдающая себя за раскрепощенную прогрессистку, свободную, например, в вопросах секса, так как она почти год провела на практике в туманном Лондоне. Открыто возмущаться Зимина инцидентом не могла, боясь Нины Александровны как огня. Сам Мышица сидел ни жив ни мертв — этаким раздавленным несчастьем брюнет пляжного типа, — а что касается завуча Петра Петровича, то он откровенно растерялся и только постанывал:

— Я... я... я учту ваше замечание... я... я...

Пока завуч Петр Петрович якал и заикался, раздался победи-



тельный звонок, и Нина Александровна, деловито помахивая классным журналом, который раньше держала за спиной, сквозь ликующий звонок и тишину пошла к дверям с таким видом, точно это не она взорвала в учительской пластиковую бомбу. Нина Александровна беспрепятственно вышла в коридор, но здесь снова замешкалась — перед глазами опять стояла несчастная Люция Стефановна, а в ушах звучало надрывное: «Если бы ты знала, как иногда хочется выстирать мужские носки!» Все это по-прежнему большим эхом отдавалось в груди, и длилось бы это, наверное, бесконечно долго, если бы из соседнего класса не вышла знаменитая, то есть заслуженная и так далее, учительница Серафима Иосифовна Садовская, никогда во время перемен не бывающая в учительской. Увидев ее, Нина Александровна так обрадовалась, что чуть не бросилась к Серафиме Иосифовне на шею, но удержалась потому, что невозможно же обниматься с женщиной, которая зимой и летом носит тяжелые мужские сапоги, кашляет стариковским басом от бесконечного курения, а руки у нее такие, словно она не преподавательница русского языка и литературы, а колхозная доярка. Однако Нина Александровна была по-девчоночьи влюблена в Садовскую, именно ей, единственному человеку на свете, несла, как говорится, все радости и печали. Знаменитая учительница платила Нине Александровне дружбой, увидев ее теперешней, сразу поняла, что Нина Александровна чем-то взволнована, хотя внешне хочет казаться холодноватой.

— Здравствуй, Нина! — первой поздоровалась Садовская и погрозила пальцем. — А ну не шалить!

И этих слов было достаточно, чтобы Нина Александровна вошла в десятый «а» своей обычной походкой и весело поздоровалась с учащимися:

— Добрый день! Любовь Веретенникова, прошу вас пройти к доске.

Когда Веретенникова уже стучала мелом и морщила невысокий лобик, Нина Александровна вдруг подумала: «Стирать мужские носки? А что в этом такого особенного — стирать мужские носки? Вот глупость-то...»

— Прощу жить в быстром темпе, Люба, — сказала Нина Александровна ученице. — Темп, темп, друзья мои!

## 5

Заместитель председателя райисполкома, ведающий вопросами лесной промышленности, Игорь Петрович Стамесов приехал в Таежное довольно рано — в десятом часу утра, — поселившись в небольшой заезжей, для начала решил прогуляться по центральной улице, чтобы размять уставшие в «газике» ноги и посмотреть на поселок, в котором не был месяца три. Одет Стамесов был в модную дубленку, на ногах имел импортные теплые ботинки, шапка на нем была, конечно, пыжиковая, но не новая, а примерно двухгодичной носки. Со стороны Стамесов производил впечатление человека спокойного, интеллигентного, простого — так он скромно шел по улице, так уважительно здоровался со знакомыми.

О приезде заместителя Нина Александровна узнала случайно: увидела, как он прогуливается по Таежному. Оказавшись на одном деревянном тротуаре со Стамесовым, она могла бы встретиться с зампредом, если бы продолжала свой обычный путь к школе, но Нине Александровне подумалось, что встреча со Стамесовым перед его разговором с Сергеем Вадимовичем может оказаться преждевре-

менной и даже вредной. Поэтому Нина Александровна свернула в первый попавшийся переулочек, уверенная, что Стамесов ее не заметил, проводила его одобрителем взглядом, жалея о том, что конфликт с бывшим механиком Булгаковым, видимо, лишил их прежних легких и приятных отношений.

Утро в тот день выдалось погожим. От вчерашней метели не осталось и следа — над поселком ярко синело высокое небо, дымы из труб поднимались в небо прямыми столбиками, собаки веселыми пушистыми клубками катились по дороге, грузовые автомобили бежали быстро, успев утрамбовать вчерашний снег. В узком переулочке прохожих совсем не было, по обе стороны стояли стройными свечками заснеженные ели, в уютных палисадниках черемухи и рябины были закутаны снегом так заботливо, словно это было сделано человеческой рукой; в деревьях возились снегири. Вчерашний снег на низких заборах казался вкусным, совсем похожим на мороженое, и, поколебавшись немного, Нина Александровна остановилась, сняв замшевую перчатку, осторожно положила в рот горстку рассыпчатого снега — запахло весенней талой водой, кончик языка пощипывало, и лицо у Нины Александровны сделалось лукавым, затаенным, как бывало в детстве, когда она совершала предосудительный поступок. Однако в переулочке было тихо, прохожих по-прежнему не замечалось, и она почувствовала разочарование, подумав: «Мне теперь все можно!»

Впрочем, Нинка Савицкая и в далеком детстве могла без страха совершать такие поступки, которые были недоступны другим детям, так как ее мать, пережившая трех мужей, последовательно осуществляла, как она выражалась, идею свободного воспитания единственной дочери. Так что с восьми-девяти лет Нине разрешалось ходить одной по небольшому городу Сельцо, куда они к этому времени переехали, купаться в тех местах Оби, где ей вздумается, дружить с любыми девочками и мальчишками, с конца мая ходить босиком, есть все что попадет, пить некипяченую воду и по-мальчишески коротко стричь волосы. Обязана она была делать только два дела — ложиться спать ровно в десять часов и держать в идеальном порядке свою комнату. Школьные дневники дочери мать проверяла еженедельно, при появлении двоек и троек спокойно выгибала левую бровь: «Останешься на две недели без кино и карманных денег...» Мать работала директором небольшой швейной фабрики, всю жизнь, как бы ни менялась мода, носила строгие английские костюмы и была таким властным человеком, что два отчима Нины Александровны к девочке относились бережно и даже пытались ее баловать. Мать Нина Александровна по-своему любила, часто — уже подростком и юной девушкой — советовалась с ней, так как мать прекрасно знала жизнь и людей, и Нина Александровна у нее многому научилась.

Последний отчим Нины Александровны стал настоящей любовью матери, и дочери давно было ясно, что это последний муж директора швейной фабрики Фаины Ивановны Савицкой. Отчим работал в городском музее, имел степень кандидата наук, опубликовал несколько книг о деревянном городе Сельцо, Нарыме, купеческом Ромске. Он носил сильные очки, был по-ученому сутул и рассеян, и только близкие люди знали о том, что последний отчим Нины Александровны в середине Великой Отечественной войны раненым попал к немцам в плен, был в лагере смерти, трижды приговаривался к уничтожению, но по счастливой случайности выжил. От лагеря у него осталась холодящая сердце особенность: у отчима всегда были сбиты до крови костяшки пальцев правой руки, так как он во сне сжатым

кулаком ударял в стенку, да так сильно, что брызгала кровь, но от этого отчим не просыпался...

Доев пахнувший весной рассыпчатый снег, Нина Александровна надела все еще теплую замшевую перчатку, помахивая сумочкой-портфелем, неторопко пошла назад, чтобы вернуться на главную улицу поселка. Здесь для наблюдательной Нины Александровны были заметны следы появления в Таежном заместителя председателя райисполкома Игоря Петровича Стамесова. Ну разве не по причине его визита полурусью протмчался по деревянному тротуару председатель поселкового Совета Белобородов — муж директрисы? И неужели было тайной для кого-то, что именно из-за Стамесова на окнах орсовского магазина появились чистые занавески, а возле здания сплавной конторы стояло сразу три «газика», и уж, конечно, не без причины сама директриса Белобородова толкалась возле крыльца поселкового Совета, делая вид, что ожидает мужа!

Когда до школы оставалось всего два квартала, Нине Александровне стал виден строящийся дом, о котором, решив главные вопросы, непременно заговорит зампред Стамесов. Крыша была уже покрыта шифером, участок огорожен свеженьким забором из остроконечных досок, вместо привычной калитки были возведены ворота, способные пропустить автомобиль; окна дома были по-дачному широки, на них лучшие плотники Таежного сделали ставни и даже украсили их дорогостоящей затейливой резьбой, против которой Нина Александровна возражала, так как это могло окончательно разозлить Булгакова, но Сергей Вадимович легкомысленно хохотал: «Воевать, так уж бить в барабан, сударыня! Родная сплавконтора строит — что хотим, то воротим... А Булгаков, между прочим, начал закладывать за воротник... Ребята, знаешь ли, уже трижды видели его под здоровой мухой...» Во время этого разговора на Сергее Вадимовиче была надета замызанная куртка студента стройотряда, под ней смятая, хотя и чистая рубаша, расстегнутая на груди; одним словом, вид у Сергея Вадимовича был как раз такой, какой должен был иметь человек, сделавший выигрышный ход в борьбе с озверевшим противником. Все это было, конечно, привлекательно, но Нина Александровна, поморщившись, сказала: «Кому есть дело до того, что Булгаков льет... Откровенно говоря, Сергей, мне не нравятся методы, которыми ты...» Она недоговорила, заметив, что Сергей Вадимович стряхнул пепел сигареты на пол и сделался серьезнее, чем был секунду назад. Тогда Нина Александровна примирительно улыбнулась. На том и закончился разговор об окнах с затейливой резьбой.

Все это произошло две недели назад, резьба на окнах, естественно, осталась, но, как и ожидала Нина Александровна, вызвала прилив особенной энергии у экс-механика Булгакова, а директор школы Белобородова разыграла по этому поводу целый спектакль. Встретив Нину Александровну на школьной лестнице между первым и вторым этажами, директриса с восторгом сообщила: «Нет, есть еще у русского плотника порох в пороховнице! Я ведь, Нинонька Александровна, считала, что искусство резьбы по дереву в Таежном навеки утрачено, а как только увидела окна вашей будущей квартиры, поняла, что еще не все потеряно. Bravo! Bravo!»

И вот Стамесов приехал в поселок, сейчас, наверное, уже сидел в каком-нибудь сплавконторском кабинете, а Нина Александровна разглядывала новый дом. При ясном утреннем солнце, свежерубленный, он почему-то голубел, словно был куском льда; высокий, казалось, подпирал острым коньком крыши западный край неба, а остроконечная ограда в сочетании с резными окнами делала дом окончательно похожим на терем-теремиче. Он был до такой степе-

ни хорош, что строптивая домработница Вероника, особа чрезвычайно тщеславная, втайне гордилась тем, что ей предстоит жить в лучшем доме Таежного. Ей-богу, попахивало уже тем, что Вероника вот-вот начнет подавать на семейный стол завтраки, обеды и ужины в присутствии Сергея Вадимовича. «Ни-и-и-на Алекса-а-андровна,— как всегда растягивая слова и произнося их таким тоном, словно делала открытие, недавно сказала Вероника.— Ни-и-и-на Александровна, а ведь Сергей Вадимович на артиста Зубкова похожий... Ну прямо вылитый он! Вот только несерьезный. И чего он все шутит да шутит? Я его за это побаиваюсь... У нас в восьмилетке такой же учитель был: хохочет-хохочет, а потом — двойка! И опять хохочет... А так Сергей Вадимович, в общем-то, ничего, не гордый...»

Наконец Нина Александровна оказалась возле школы. Здесь топтались на оголенной земле несколько опоздавших парнишек, на крыльце — простоволосая и без пальто — стояла уборщица тетя Вера и смотрела на опоздавших грозно: ее в школе все боялись. Увидев Нину Александровну, тетя Вера крикнула:

— Вас к телефону не дозовутся! И что это все седни припоздывают!

Телефон в школе был один — в кабинете Белобородовой. Звонил по нему Сергей Вадимович, но сразу же передал трубку Игорю Петровичу Стамесову, попросившему, как выяснилось, соединить его с Ниной Александровной.

— Я приветствую вас, Нина Александровна! — веселым голосом заговорил Стамесов.— Чем же я вам не угодил, если обходите стороной старого знакомого? Ай-ай! Думаете, не видел, как вы свернули в переулок? А еще депутат райсовета, опора советской власти в Таежном. Ай-ай, как нехорошо!

Из-за громкой телефонной трубки весь этот разговор слышала Белобородова, и Нина Александровна на мгновение замешкалась, не зная, какой тон беседы выбрать при директрисе. Сначала ей показалось, что надо разговаривать серьезно, с едва приметной долькой шутливости, но, бросив взгляд на напряженную Белобородову, решила наплевать на все и вся.

— Замужние женщины не должны бросаться к одиноко прогуливающимся мужчинам,— кокетливо сказала Нина Александровна.— Но если бы я знала, что вы меня заметили, Игорь Петрович... Ох, неужто бы я пренебрегла такой возможностью!

Они еще несколько минут легкомысленно и весело поболтали, а в конце разговора Стамесов предложил повидаться в любое удобное для Нины Александровны время для разговора по депутатским делам.

— А если сегодня часиков в семь? — спросила Нина Александровна.

— Где?

— В поссовете, то есть в кабинете Белобородова, если вы не возражаете.

— Отлично, Нина Александровна! До свидания!

Она неторопливо положила трубку на рычаг громкого телефона, скрыв уважительную мину, восхищенно сказала директрисе:

— Вы не человек, а метеор, Анна Ниловна. Пятнадцать минут назад вы стояли на поссоветском крыльце, а вот уже сидите на кончике стола... Bravo! Bravo!

До встречи с заместителем председателя райисполкома Стамесовым, часов около пяти после полудня, Нина Александровна повидалась с мужем в неурочный час, то есть слишком рано для обоих,

и без предварительной договоренности. Правда, Сергей Вадимович из утренних отрывочных разговоров знал, что жена будет дома около пяти, а Нина Александровна, в свою очередь, поняла, что муж хотел бы повидаться с ней, прежде чем Нина Александровна пойдет на встречу со Стамесовым. Таким образом, они часов в пять встретились дома, и она сразу заметила, что Сергей Вадимович особенно небрежно и подчеркнута неряшливо одет: где-то откопал старенькую клетчатую ковбойку, ноги обул в кирзовые сапоги, натянул дешевые брюки с пузырьками на коленях, но зато был до блеска выбрит, подтянут и как-то по-военному прямоплеч. От него так и разлило этакую богемностью, этакую неряшливостью интеллектуала высокой пробы, этакую отрешенностью.

— Здорово, здорово, хозяйка! — еще на пороге низко поклонился он и сделал ручкой.— Наше вам с кисточкой!

Все это значило, что дело серьезно, что разговор со Стамесовым был тяжелым, и Нина Александровна только коротко вздохнула:

— Ну?

— Стамесов мне понравился,— чуть замедлившись, ответил Сергей Вадимович.— Новая формация... Одним словом, ты права. А вот мои дела... Тяжеле-е-е-е-хонько, гражданочка. Чи-и-и-и-ризвычайно тяжелехонько!

Нина Александровна сидела в удобном кресле возле газетного столика, ноги держала скрещенными и курила длинную сигарету «фемина» из тех десяти блоков, что ей привез из недавней командировки в Ромск Сергей Вадимович. Сигареты эти Нина Александровна любила и выкуривала за день штук пятнадцать. При этом Нина Александровна знала, что умеет курить красиво — длинная сигарета в длинных пальцах, слегка затуманенное лицо, позавчерашнее выражение глаз. Кроме того, сигарета позволяла хорошо и спокойно думать, а что касается Сергея Вадимовича, то он курил простенькую «Новость», говоря: «И крепче, и короче, и черт возьми, дешевле».

— Слушай, Сергей,— опуская руку с сигаретой, спросила Нина Александровна.— А ты не встречался с теми двумя рабочими, что подписали клеветническое письмо?

— Ты с ума сошла! Это же унизительно и сейчас же станет известно всем бездельникам. Не хватало еще того, чтобы они мне сели на шею!

— Ты, пожалуй, прав,— подумав, ответила Нина Александровна и слегка улыбнулась.— Я все-таки баба, если делаю ставку на общение...

— Умница! — обрадовался Сергей Вадимович.— Жанна д'Арк!

Он расхаживал по комнате весь в сизом дыму, энергичный, стремительный, кажущийся особенно рослым оттого, что Нина Александровна сидела в низком кресле. И непонятно почему муж сейчас казался отменно красивым: матовое от мороза и ветра лицо, яркие глаза, прядь волос, как пишут в плохих книгах, картинно упавшая на крутой лоб. О красоте мужа Нина Александровна думала, пожалуй, впервые, так как раньше не считала его красивым да и не любила красивых мужчин... Нина Александровна удовлетворенно засмеялась.

— Ты чего? — удивился Сергей Вадимович.

— Да так...

— Молодец! — воскликнул он и подмигнул.— Ты еще не знаешь главного! Их степенство Булгаков поймали меня на реальном злоупотреблении. Я, прости, незаконно приплачивал некоторым механикам катеров... Как известно, команда крупного катера имеет право содержать техничку-буфетницу, а мы это дело того... Ликвидиро-

вали! Ребята сами убирают и готовят пищу, а зарплата технички-буфетчицы идет в их собственный карман... А?!

— Кто же расписывался за уборщиц?

— Тещи, тети, двадцатипородные сестры...

— Но ведь это рационально!

— И обэжээсно!

Вот тебе и Анатолий Григорьевич Булгаков, к которому Нина Александровна, в общем-то, относилась всегда хорошо! Сейчас же она нахмурилась, попросив мужа остановиться, не сновать челноком по комнате, сказала:

— Если говорить откровенно, я понимаю Булгакова. Видишь ли, Сергей Вадимович, он борется за жизнь. Это уже медицинский факт, что преждевременный уход от дел убивает человека... Булгакову просто необходима кипучая деятельность.

Он закивал:

— Да, да, да! Но...

— Что?

— А то, что переплатой денег механикам дело не кончается. Булгаков поймал меня на крохотной приписке к плану капремонта.

На кончике дамской сигареты «фемина» повисла длиннющая палочка сгоревшего пепла — признак хорошего табака, — и Нина Александровна осторожно потянулась к пепельнице. Ей сегодня сигарета отчего-то доставляла большое удовольствие, не хотелось, чтобы курение кончилось, и она смаковала каждую затяжку. Ничего не ответив мужу на очередное признание, она наконец умудрилась выпустить из губ, сложенных сердечком, сразу три кольца дыма один одного меньше; кольца не исчезая поплыли навстречу Сергею Вадимовичу, и она вдруг почувствовала, что настроение почему-то стало хорошим, даже отличным.

— То-то Булгаков повеселел, — протяжно сказала Нина Александровна. — Вчера я встретила его в читальном зале библиотеки. Сидел за «Неделей» в подтяжках... Я немедленно юркнула в туалет, чтобы укоротить юбку. — Она показала. — Сделала вот так коротко...

— Ну и...

— Он вел себя как мужчина! — торжественно объяснила Нина Александровна.

— Те-те-те-те! — потешно залопотал Сергей Вадимович. — То-то ихняя любовница ходит по Таежному козырем. На днях демонстрировала даренную Булгаковым кофточку... Я тоже не рубь двадцать стою! Любовница — это шестерка в моей игре... Почему ты молчишь, гражданочка? Тебе не интересно, какой туз у меня на руках?

Нет, Нине Александровне было очень интересно, какой козырь имеется в запасе у мужа против Булгакова, но ей уже надоела сегодняшняя манера разговаривать друг с другом: все эти недомолвки, этот якобы существующий подтекст, это самолюбование, какие мы, дескать, умные, тонкие и образованные, все эти Жанны д'Арк. Видит бог, такое общение друг с другом было пижонством и, как подумала Нина Александровна, плебейством.

— Вот что, Сергей, — сказала она решительно. — Давай-ка проще... Боишься Булгакова?

Он — умница! — понял ее сразу.

— Не боюсь, но ухо надо держать остро, — почти серьезно ответил муж. — И у меня есть недруги, хотя я всегда честно работал...

Вдохнув, он затянулся сигаретой «Новость», внезапно сделавшись усталым, и «домашним» голосом произнес:

— Я тебе не все рассказывал, Нина. В конце августа я вопиюще незаконно уволил механика Пакирева.

— За что?— не моргнув и глазом спросила Нина Александровна, знающая наизусть историю с механиком.— Как это тебя угораздило?

— Пакирев работал под моим началом в Звезданской сплавной конторе и... Одним словом, он разносит дурацкие сплетни... Вот какие дела, старушка!

Старушкой Сергей Вадимович называл Нину Александровну в лучшие минуты их недолгой семейной жизни, и она поняла, как дорого стоил мужу разговор со Стамесовым. Сейчас он и внешне изменился: подбородок выпятился, глаза потемнели, плечи, наоборот, заузились, словно стало холодно. Однако Сергей Вадимович тускло продолжал:

— Пакирев не только подал на меня в суд, но по совету Булгакова написал письмо в обком партии, копия генераль-но-му прокурору СССР!.. Кроме того, увольнение Пакирева как раз и сделало сплетни похожими на правду... Большой глупости я сделать не мог!

Нина Александровна во все глаза глядела на мужа и опять задавала себе дурацкий вопрос, отчего все-таки Сергей Вадимович за эти последние дни сделался красивым. Ей-богу, сколько она его знала, не было ни малейшего признака красоты, но вот же стоял в центре комнаты красавец из красавцев — лицо матовое, глаза по-восточному темные и влажные, черты лица, обострившись, стали чуть ли не классическими.

— Чем кончился разговор со Стамесовым?— спокойно спросила Нина Александровна.

— Благополучно!

После этого Сергей Вадимович сел на стул возле обеденного стола и начал глядеть на Нину Александровну так же внимательно и напряженно, как смотрела она, стараясь понять, отчего это в муже обнаружилась не подходящая ни к месту, ни ко времени альбомного толка красавица. Молчание длилось довольно долго.

В коридоре послышался металлический стук, громкий предупреждающий кашель, и в комнату вошел Борька с коньками на валенках. Он с ног до головы извалялся в снегу, с валенок и коньков текло на пол, и Нина Александровна от возмущения прижала к щекам руки:

— Борька!

— Я, мам, только за одним словечком. Разреши, мам, покататься по реке. Лед крепкий.

Проговорив эти слова, Борька покосился на отца, как бы призывая Сергея Вадимовича к мужской солидарности, но именно это и погубило мальчонку. Нина Александровна хотела уже было сказать: «Иди кататься» — как Сергей Вадимович заявил:

— Мы позавчера взрывали на реке лед, чтобы обезопасить флот. Поэтому возле берегов кататься нельзя...

Дождавшись, когда затихнут железные шаги сына по коридору и сенцам, Нина Александровна заметила, что у нее потухла сигарета. Значит, она так была занята делами мужа и сына, что забывала заглядывать. «Ай-ай-ай, как нехорошо!»

— Через час-полтора я встречу со Стамесовым,— сказала Нина Александровна и поднялась с кресла.— Сегодня не день, а марафон. Я с самого утра в бегах!.. Я так и не поняла, разговаривал ли ты с зампредом о доме. Что сказал Стамесов?

Сергей Вадимович хохотнул, мужицким жестом почесал затылок и со вздохом ответил:

— Хотел говорить о доме... но... Одним словом, не нашел места для этого чертового дома.

За окнами быстро темнело; заснеженные черемухи в палисад-

нике уже сделались голубыми, контрастными, снег отчего-то розовел, хотя небо было бесцветным, и Таежное через оконные стекла казалось невсамделишным, как бы нарисованным акварелью.

— Мне надо подготовиться, Сергей,— сказала Нина Александровна и села за свой маленький столик.— Ты когда вернешься?

— После десяти...

## 6

В школьных, депутатских и других делах Нина Александровна Савицкая, надо признаться, была такой пунктуальной, исполнительской и точной, что ей самой было противно и смешно, когда приходилось раз двадцать за день вынимать из сумочки-портфеля громадный блокнот бюрократического образца. Этот блокнот (вернее, несколько десятков таких) она выклячила в Ромске у двоюродного брата — майора милиции, как только увидела, что на разлинованной странице блокнота были такие графы — «что сделать», «где быть», «кому позвонить» и «кого вызвать». Понятно, что последняя графа Нину Александровну заставила развеселиться, так как никого кроме двоечников и хулиганов она не могла по-милицейски вызвать в несуществующий кабинет, но все остальные графы она заполняла каждый день до отказа, особенно графу «что сделать», и постепенно привыкла свои бюрократические замашки оправдывать суеливостью и сложностью двадцатого века. Впрочем, время на самом деле было такое напряженное, что человеческая память не могла удерживать и четверти необходимых встреч, дел и разговоров.

Итак, депутатские дела! Она открыла блокнот, прикурив еще одну сигарету, начала работать, радуясь теплу, тишине и одиночеству; через две-три минуты лицо у нее сделалось суховатым, отсутствующим, затуманенным — это было полное сосредоточение. Давно привыкшая к тому, что работа доставляет ей радость, удовольствие и, больше того, счастье, Нина Александровна только сравнительно недавно научилась не тратить много энергии на ощущение — вот странность-то — именно счастья. Ведь еще год-два назад счастье, которое она получала от работы, заставляло учащенно биться сердце; словно в огне пылали лоб и уши, утомительно-сладко кружилась голова, и хотелось без нужды куда-то бежать, что-то делать энергичное, громко разговаривать и смеяться. Это, конечно, мешало сосредоточиться, отвлекало, и она долго тренировала себя, чтобы научиться сдерживать счастье от работы. И вот наконец долгожданное пришло, и работала Нина Александровна, будучи по-прежнему счастливой, с таким полным отсутствием реальной обстановки, что труд казался мгновением: вот она садилась за стол, вот она делала первые шаги в работе и вот уже наконец отключалась.

Сегодня с Ниной Александровной произошло то же самое, и только заведенная внутри самой себя «машина времени» заставила ее оторваться от работы ровно через полтора часа, хотя казалось, что она только-только открыла блокнот-книгу. Надо было идти в поселковый Совет, где ждал Стамесов. Собираясь опоздать минут на десять, Нина Александровна подсчитала, что ей вполне хватит времени, чтобы переодеться, попудриться, причесаться по-вечернему — она не красила глаза и губы — и неторопливо дошагать до поссовета. Что надеть? Подойдя к шкафу, Нина Александровна вспомнила о подчеркнуто богемном наряде мужа и вдруг заколебалась между строгим английским костюмом, который она надевала очень редко, в особых случаях, и кофточкой из нейлона, с большим декольте и замшевой мини-юбкой. Только через три-четыре минуты она реши-



ла остановиться на английском костюме, тоже, впрочем, с оптимально короткой юбкой.

Поселковый Совет, который возглавлял муж директрисы Белобородовой, недавно переехал в новый дом, просторный, но недостаточно рациональный, как считала Нина Александровна: комнат в нем было предостаточно, все они были теплыми и даже уютными для официального учреждения, но в здании существовал, как было и раньше, длинный, пустой, гулкий коридор, в нем пахло канцелярией, состарившейся бумагой, силикатным клеем, краской, известкой и плохой штукатуркой. Среди этих учрежденческих, нежилых запахов приятно было чувствовать запах овчины и солярки, который нанесли сюда за день сплавконторские механизаторы.

Заместитель председателя райисполкома Игорь Петрович Стамесов одиноко сидел на дерматиновом диване и как только Нина Александровна приоткрыла двери, быстро поднялся, с протянутыми руками пошел навстречу, улыбаясь и не досадуя на ее опоздание.

— Здравствуйте, Нина Александровна! Рад вас видеть!

На правах старых знакомых они довольно подробно оглядывали друг друга, и Нина Александровна сразу оценила то обстоятельство, что Стамесов вечером отказался от французских теплых ботинок: надел валенки. Переменил ли он темную командировочную рубашку на теперешнюю сорочку с галстуком, она не знала, так как на улице видела его в дубленке, да притом издалека. Она также поняла, что Стамесов оценил значение английского костюма.

— Присаживайтесь, Нина Александровна,— сказал Игорь Петрович, чувствуящий сейчас себя хозяином белобородовского кабинета.

После этого он должен был бы сказать о том, что Нина Александровна хорошо выглядит, и она сделала паузу, чтобы он мог сказать это, однако Стамесов сел на прежнее место и сказал:

— А холодновато, Нина Александровна. Как бы завтра не вдарил тридцатиградусный. Все к тому идет.

Моментально изменив настрой и оценив слова о погоде так, как их следовало оценивать, Нина Александровна занялась мини-юбкой. Она рассудила здраво, что если Стамесов не сказал, как хорошо она выглядит, то за это его надо немедленно проучить. Поэтому она рассчитанным движением положила ногу на ногу, оголив высоко колено.

— Да, пожалуй, вы правы,— сказала Нина Александровна.— Слышите, какой скрип?

Сквозь окна кабинета действительно доносился канифольный скрип снега под ногами прохожих, и это говорило о том, что мороз крепчает, увеличивая звукопроницаемость воздуха. Было даже слышно, как в сплавконторской запани бухает лом — это обдалбливали катера; и уж совсем отчетливо разговаривал на крыше соседней с поссоветом парикмахерской уличный радиодинамик.

— Что новенького в райисполкоме?— вежливо спросила Нина Александровна.— Как Ненилов? Вышел из больницы?

— Нет еще, к сожалению.

Ненилов был председателем райисполкома, с ним Нина Александровна много раз работала на выборах и сдружилась с полным, хитроватым и всегда усталым человеком; у него была гипертония, да такая, что верхнее давление поднималось временами до двухсот, и он сейчас отлеживался в райбольнице, где два года назад стал главным врачом бывший муж Нины Александровны.

— Предполагается, что Ненилов выйдет через неделю,— сказал Стамесов.— Скорее бы, а то мы совсем запарились.

Это, кажется, было сигналом к началу делового разговора, и Нина Александровна неторопливым движением вынула из сумочки-портфеля блокнот и четвертушку бумаги, на которой по пунктам было перечислено то, чего нельзя было упустить из доклада заместителю председателя райисполкома: она давно убедилась в том, что, если такую бумажку не составишь, главное останется «умно-стями на лестнице».

— В основном намеченный план выполнен,— проговорила Нина Александровна.— Если позволите, начнем с культурно-массовой работы...

Четко, лаконично, без интонационных излишеств и всяческих словесных украшений Нина Александровна рассказала о том, что проделано для улучшения культурно-массовой работы в Таежном, затем, чуточку повысив голос, она обратила внимание Игоря Петровича на недостатки и собственные упущения в работе, а уж после этого, сделав энергичную паузу, перешла, как она считала, к самому главному.

— Я сделала выборку по депутатским приемам и депутатским письмам,— сказала Нина Александровна.— Главная проблема — д-р-о-о-о-о-ва! Кругом тайга, на берегу лежит восемь тысяч кубометров дровяника, а на каждом депутатском приеме из пяти человек четверо жалуются на нехватку дров. Вот извольте взглянуть на письмо солдати Сопрыкиной, которая носит дрова на собственном горбу...

Пока она рассказывала, Стамесов осторожно, чтобы не заскрипеть пружинами дерматинового дивана, поднялся, подошел к председательскому столу и сел на белобородовское место с задумчивым и сосредоточенным видом, хотя пять-шесть минут назад у него было совсем простецкое лицо и выглядел он так, словно не собирался пересаживаться за председательский стол. Конечно, вопрос с дровами был важен и требовал немедленного разрешения, но сейчас у Стамесова выражение лица было более официальным, чем требовалось для обсуждения дровяной проблемы.

— Сколько лет женщине?— спросил он между тем прежним спокойным и доброжелательным голосом.

— Двадцать, но разве в этом дело!— резко ответила Нина Александровна и скрестила руки на груди.— Придется ставить вопрос о дровах на исполкоме. Мое терпение лопнуло!

И в этот момент она наконец поняла, почему Стамесов пересел за стол и почему в общении не было прежней легкости: в этом виновата была она и только она, а ни Сергей Вадимович, ни новый дом, ни Булгаков, ни все остальное. Осознать неестественное положение ей помогла вдруг пришедшая на ум фраза из записных книжек Ильи Ильфа: так боялись подхалимажа, что с начальством были просто грубы. И английский костюм, и нога на ногу, и мини-юбка, и преувеличенно сухой тон — все было рабским и свидетельствовало об обратном, о том, что она, оказывается, придавала значение начальственному положению Стамесова, чего с ней раньше никогда не случалось.

— Что будем делать с дровами?— совсем строгим и сухим голосом спросила Нина Александровна, почувствовав, что перемена тона в сторону смягчения будет еще большей ошибкой.— Что будем делать с дровами?

— Я вот тоже об этом думаю,— по-прежнему просто сказал Стамесов.— Нужны срочные меры, а помочь может только... только Сергей Вадимович, если изыщет возможность снять с производства два-три трактора, чтобы вывезти дровяник с территории шпалозавода. Иных резервов у дирекции сплавконторы нет...

Умница! Молодец! А вот она, дура набитая, бесповоротно испортила отношения со Стамесовым. Ничего, абсолютно ничего не надо было делать перед встречей с ним: ни надевать английский костюм, ни входить в кабинет прямой, как тростиночка. Какой надо быть идиоткой, чтобы из-за жалкой перспективы занять новый трехкомнатный дом утратить главный принцип собственной жизни — оставаться всегда и везде самой собой!

— Где сейчас Сергей Вадимович?— как ни в чем не бывало спросил Стамесов.

Она для чего-то посмотрела на часы.

— В конторе.

Когда Стамесов начал по телефону разговаривать с ее мужем, Нина Александровна опять поймала себя на том, что вслушивается в каждую стамесовскую нотку, не пропускает ни одного оттенка на его лице, ни одной перемены в позе. Как это стыдно, недостойно!

А между тем Стамесов уже заканчивал разговор, и напоследок только переспросил:

— Значит, завтра-послезавтра поможете, Сергей Вадимович? Так срочно, как только появится первая возможность! Ну что же, хорошо. Спасибо!

Несомненно, что Сергей Вадимович как главный механик одной из крупнейших сплавконтор области на иерархической лестнице стоял, пожалуй, не ниже Стамесо́ва, но Стамесов — увы! — был первой ступенькой расследований булгаковских жалоб, и от того, как он будет докладывать итоги поездки в районе, много зависело в дальнейшем. И все-таки...

— Вот мы и достали дрова,— деловито сказал Стамесов.— Завтра утром я поговорю еще и с районом... А теперь, Нина Александровна, давайте-ка просто поболтаем.

Поздно, поздно, дружок! Начинать вот это «просто поболтаем» ей самой надлежало бы с той минуты, когда она сегодня увидела на улице прогуливающегося Игоря Петровича Стамесо́ва, к которому надо было немедленно подойти и с прежней свободой завязать обыкновенный человеческий разговор. Н-да-а, милая моя! О людях надо думать лучше, дорогая Нина Александровна, а самую себя расценивать следует пунктом ниже, чтобы видеть окружающих крупнее, умнее и добрее. Не надо мнить себя исключительностью, вот что!

— Где теперь Вахрушин?— все-таки спросила Нина Александровна, чтобы прервать тягостное молчание.— Он как в воду канул. Стамесов многозначительно поднял брови.

— О, Вахрушин теперь в Ромске. Без лестницы не достанешь!

Павел Вахрушин недолгое время работал третьим секретарем райкома партии; это он-то и ввел Нину Александровну в ту компанию, где она встрети́лась со Стамесовым. Переехавший в Ромск Вахрушин в свою районную бытность считался самым веселым человеком из начальства в деревянном городе Пашеве. Он пел тенором, мастерски рассказывал, знал сотни тонких анекдотов, пил только армянский коньяк, любил играть «в бутылочку» — холостяк все-таки! — и, по критериям Нины Александровны, был интересным мужчиной.

— Не скучно вам там без Вахрушина?— с последней надеждой на самую себя спросила Нина Александровна, но тут же поняла, что напрасно,— голос прозвучал фальшиво, а Стамесов предельно вежливо ответил:

— Конечно скучно. Мы теперь реже собираемся вместе...— И по барабил пальцами по столу.— Ромск, Ромск!

Этим дважды повторенным названием областного города Стамесов нечаянно нанес Нине Александровне еще один удар, так как она, стыдящаяся в этот момент за каждое слово, сказанное в гулком кабинете, настроенная на то, чтобы разнести себя в пух и прах, по самой элементарной ассоциации вспомнила фразу, сказанную ею, Ниной Александровной Савицкой, сокурснице по университету, когда они встретились в Москве, где жила и работала сокурсница. Нина Александровна тогда возвращалась из туристической поездки по Италии, была взволнована увиденным, но все-таки проявила мелкую, унижительную зависть к столичной учительнице, словно бы под принуждением сказала: «Лучше быть первой в поселке, чем последней в Москве!» За эту фразу она себя казнила все последующие годы, и вот в ушах опять прозвучали болезненные до головной боли слова: «Лучше быть первой...» Тыфу!

— Я тоже реже стала бывать в компаниях,— окончательно махнув на себя рукой, сказала Нина Александровна.— Семейная жизнь все-таки...

Только теперь, рассчитавшись с самой собой, Нина Александровна увидела, как был хорош, просто и всепонимающе мудр Игорь Петрович Стамесов, внутренне похожий на саму Нину Александровну, когда она бывала «в форме». Он снова сидел на дерматиновом диване в отдыхающей позе, свободно держал руку на валике и славно улыбался — человек как человек.

— Я вот о чем думаю, Нина,— доброжелательно сказал Стамесов.— Я думаю о новом доме, вокруг которого разгорелись такие страсти... Женившись на вас, Сергей Вадимович несомненно имеет право на получение лучшей квартиры, тем более что он крупная фигура в сплавной конторе...— Стамесов сделал паузу.— По чистой случайности дом отошел в ведение местного Совета — это осложняет дело...— Стамесов сделал такой жест правой рукой, словно хотел, чтобы Нина Александровна слушала его еще внимательнее.— С нашей точки зрения, законнее отдать новый дом гражданке Савицкой, проживающей на самом деле в тяжелых жилищных условиях. Думаю, что комиссия по жилищным вопросам вам не откажет... И Булгаков успокоится, коли он руководствуется только вопросами престижа.— Стамесов посмотрел прямо в глаза Нине Александровне, задумался, потом сказал:— Надеюсь, для вас, Нина, не имеет значения, кому принадлежит квартира. Не так ли?

— Так! — почти сразу ответила Нина Александровна и даже повторила: — Кому принадлежит дом, естественно, не имеет никакого значения.— И почему-то наклонила голову, так как подумалось: «Весь вечер пою с чужого голоса».

— Значит, и это дело в шляпе! — бодро отозвался Стамесов.— Дом есть, дрова привезут — обыкновенное, но крупное счастье... Чего же вы хмуритесь, Нина?

Она ответила:

— Не хмурюсь, а считаю...— Она непонятно улыбнулась.— Ах, как много квартир нынче числится за женщинами!

Теперь Нине Александровне было совсем нечего делать в просторном белобородовском кабинете, и она сняла ногу с ноги, тайно одернув юбку, приняла решительную позу ухода.

— А ведь мне надо бежать, Игорь Петрович,— сказала она.— Борька-то не накормлен...

Они крепко и весело пожали друг другу руки, и Нина Александровна пошла к выходу, зная, что через несколько секунд начнется новое мучение — «лестничная мудрость». Она не ошиблась: уже на крыльце поняла, что сделала еще одну глупость — не назвала ответ-

но за Нину Стамесова Игорем. Усмехаясь, она подводила итоги: провал, фиаско, всерайонное позорище! «Дура! Мокрая курица! Мещанка!» Хотелось тут же сбросить с себя английский костюм, дурацкую мини-юбку и сплясать на них дикарский танец. Нинка, Нинка Савицкая, во что ты превращаешься на глазах у пораженного человечества!

А на дворе вызвездило, похолодало, затишилось. Подняв воротники и торопясь, шли многочисленные прохожие, освещенные сверху и сбоку луной, в сплавочной запарии продолжал бухать по льду тяжелый одинокий лом, слышалось, как ровно, по-комариному поют дизели на электростанции, а динамик на парикмахерской рассказывал о песенном творчестве поэта Сергея Острового. Через громадные окна парикмахерской было видно все, что происходило внутри, и Нина Александровна удивленно остановилась: в кресле сидел Сергей Вадимович, которому в это время надо было разговаривать по телефону с Ромском. «Ага! Тоже пробрало!» — радостно подумала она, так как непритязательный к одежде Сергей Вадимович никогда не стригся в Таежном, а старался делать это в Ромске, где бывал часто. «Ага! Тоже пробрало!» — снова с торжеством подумала Нина Александровна, ибо стрижка у поселкового парикмахера была падением. Сергей Вадимович, видимо, тоже так серьезно относился к происходящему, что ощущал необходимость перемениться. «Ага!» — в третий раз ликующе подумала она и вдруг охнула: в кресле сидел не Сергей Вадимович, а его шофер, во всем подражающий начальству. Шофера звали Петькой Ивановым, был он по-деревенски прост, но внешне уже напоминал главного механика сплавной конторы: затрапезная куртка, смятая рубашка, замызганные брюки и потертые кирзовые сапоги. Подмигнув самой себе, Нина Александровна насмешливо подумала: «Ой, нет ли таких же кирзовых сапог на вас, гражданин Савицкая?.. «А где твой дом, гуцулочка? — повторила про себя Нина Александровна строку из песни.— А где твой дом, гуцулочка? Кар-па-а-ты! А кто твой брат, гуцулочка? Карпаты!»...»

Звезды пауками сидели на выгнутом небе, луна настороженно висела над стрехой парикмахерской, повсюду раздавался скрип, скрип, скрип — вся ночь была обнесена скрипом, точно высоким частоколом...

Вернувшись домой, Нина Александровна с отвращением, как чешую, содрала с себя сверхмодный английский костюм, бросила его в угол шкафа. Стамесов, новый дом, Сергей Вадимович, шофер в парикмахерском кресле, похожий на мужа, а главное... Она усмехнулась, голосом домработницы Вероники вслух сказала:

— Этого еще мне тут не хватало!

Ну, а ежели серьезно? Отчего муж в рекордно короткий срок сделался кинокассавцем? От круглосуточной напряженной работы, от борьбы за новый дом или от любви к жене, то бишь Нине Александровне Савицкой? Кстати, что случилось с Сергеем Вадимовичем, если он в домашней обстановке теперь редко бывает серьезным — все ерничает и шутит, легкомысленно хохочет и старается казаться до предела фатоватым?..

(Продолжение следует)



---

---

Ф. ЧУЕВ



## ИЗ НОВОЙ КНИГИ

\* \* \*

Скоро будем ходить в рубашках,  
снова будем мы влюблены,  
снова небо, как промокашка,  
пубавит кляксы весны.

Есть такая простая радость:  
выйдешь утречком в феврале,  
втянешь воздух —  
на целый градус  
потеплела жизнь на земле!

### ПУШКИ

Пушки стояли насмерть,  
трубя стволами победу.  
Русская артиллерия  
славилась все века.  
Выжжены аэродромы,  
танков в достатке нету,  
что до войны успели,  
сделали. А пока  
страну выручайте, родные,  
пехоту прикрыв огоньком.  
«Ваша пушка спасла Россию» —  
будет сказано в сорок втором.

А человек усталый,  
с быстрым умом в глазах,  
давший силу металлу, —  
в кубанке кубанский казак.  
Гриву огня укротил он  
и снарядил снарядом.  
На майском победном поле  
пушка стоит, жива.  
В думах мемориальных  
ей возвышаться рядом  
с нашей славной «катюшей»  
и самолетом «ИЛ-2».

Как по стеклу царапины,  
в небо букеты вкраплены,  
словно ковыль высокий,  
в небе цветет салют.  
Вспомните конструктора Грабина  
в праздничный час особый,  
когда орудия бьют.

### ЛЕЙПЦИГСКАЯ НОЧЬ

*М. Харлампиеву.*

Был в раме за стеклом немецкий старый вид,  
текла глухая ночь, глаза устало слиплись,  
был Лейпциг за окном, и Миша говорит:  
— А ну давай пойдем посмотрим этот Липецк!  
...На крышах и мостах подсвеченный туман,  
на струнах дождика играет тонкий ветер,  
и лейпцигская ночь, как баховский орган,  
торжественно звучит меж наших междометий.  
Очерченная даль возвышенных прудов,  
как росная подлунная подкова,  
асфальтовая жизнь осенних городов  
меня всегда влекли и требовали слова.  
Запомнить я хочу, пока еще не стар,  
и сохранить гравюрными словами  
троих ночных друзей, немецкий тротуар,  
дымящиеся пары в целлофане.  
И долго с нами шли, тонюсенько стуча,  
и слушали стихи семь синеглазых, юных,  
и мой российский слог, от сердца прозвучав,  
взял дружеский аккорд на европейских струнах.

\* \* \*

Наблюдаю, протараня  
светлый сумрак высоты,  
аккуратное старанье —  
виадуки и мосты.

Город бьется подо мною  
в белоинейных сетях.  
Мерзнут памятники стоя  
на парадных площадях.

Город выловлен, как рыба,  
белым сейнером зимы —  
шевелиющаяся глыба,  
чешуя огней и тьмы.

В разгорающихся звездах,  
в плотной пасмури плыву  
и растягиваю воздух,  
как тугую тетиву.

В небесах мое спасенье  
от молчания и слов,  
голубое невезенье,  
светлый сумрак облаков.

\* \* \*

Снега вспухают мартовской водицей,  
пускает осень новый корешок.  
Весенним утром человек родился,  
от матери к отчизне перешел.  
Сын потеснил упругое пространство,  
и русский ветер мальчика обнял.  
В квартире будет суетно стараться  
взволнованная в сумерках родня.  
Окрепнут мысли, плечи раздадутся,  
наполнится вселенной голова,  
душа пройдет эпоху революций  
и перечтет по-новому слова.  
И пусть рукам другой потрогать опыт,  
и пусть ему глядеть не так, как я,—  
все это  
будет мыслить и работать,  
все это будет Родина моя.





---

---

Л. ПАНТЕЛЕЕВ

★

## МАЛЕНЬКИЙ ОФИЦЕР

*Рассказ*

Этот рассказ вошел в недавно законченную книгу Л. Пантелеева «Дом у Египетского моста». Он автобиографичен, как почти все, написанное этим писателем («Республика Шкид», «Ленька Пантелеев», «Наша Маша», «Маршак в Ленинграде», «Записные книжки», рассказы и дневники военных лет, «Шварц» и др.). В предисловии к собранию сочинений Л. Пантелеева К. Чуковский писал: «Если оглянуться на все, что написано Пантелеевым за его долгую жизнь, можно заметить, что его произведения в огромном своем большинстве так или иначе изображают его самого. Он — один из персонажей своей беллетристики... Три четверти написанного им — это очень пестрые осколки его автобиографии».

Рассказ «Маленький офицер» несет в себе заряд ненавязчивой, смягченной юмором поучительности, то есть сохраняет свойство, которое всегда отличало работу Л. Пантелеева, обращенную и к детям и к взрослым.

**У**ел первый год войны — той, что теперь в учебниках истории называют первой мировой. Но тогда еще не знали, что будет вторая, поэтому для нас это была просто война с немцами, или с тевтонами, как их часто ругали в газетах.

В те дни я, как и все, кто меня окружал, был настроен весьма воинственно, гордился, что папа мой в Галиции на передовых. По утрам, открывая «Петроградскую газету» (еще совсем недавно она называлась «Петербургской газетой»), прежде чем прочитать сообщения штаба верховного главнокомандующего с Западного и Кавказского фронтов, я очень бегло и неохотно пробежал глазами список убитых офицеров и более внимательно — списки раненых. Не признаваясь в этом даже себе самому, я искал и, пожалуй, не прочь был бы увидеть в длинном газетном списке фамилию некоего Еремеева И. А., поручика. Нет, избави боже, я не хотел, чтобы отцу оторвало руку или ногу, не хотел, чтобы он приехал домой калекой, но какое-нибудь легкое ранение в плечо или, скажем, в верхнюю часть бедра — это, говоря по правде, меня устраивало. Во-первых, это значило бы, что отец вернется домой, а во-вторых, вернется не просто офицером, а офицером-героем.

Раненых в то время в городе было еще не так много, они всюду обращали на себя внимание, в трамваях мальчишки, в том числе и я, при появлении раненого офицера вскакивали, спешили уступить место. Восхищенными глазами провожали мы этих людей на костылях или с черными эбонитовыми палками или с рукой, согнутой под острым углом и засунутой, как в муфту, в черную креповую повязку, перекинутую через плечо.

Конечно, завидовали мы не только раненым. Возвращаясь после уроков из училища, я часами простаивал на широком Троицком проспекте, где в те дни восхитительно пахло мокрым шинельным сукном, сапогами, махоркой, где с утра до ночи занимались солдаты-новобранцы: маршировали, пели про канареечку-пташечку, бегали, кричали «ура», ползали на животах по булыжинам мостовой, щелкали затворами, прокалывали штыками соломенные чучела, рассчитывались «на первый-второй», снова бегали, снова шагали и снова с присвистом пели про канареечку-пташечку, которая жалобно поет...

Дома, кое-как пообедав, наскоро приготовив уроки, я опять обращался к военным делам. Хотелось, конечно, поиграть в войну, но играть было не с кем. Вася был маленький, он мог только бегать и кричать «ура», а Ляля—та только-только начинала лепетать, она, я думаю, даже понятия не имела, что идет война.

Приходилось играть в солдатки, которых я сам и мастерил. Уже второй год мама выписывала для меня детский журнал «Задушевное слово», и каждую пятницу почтальон приносил мне вместе с тоненькой тетрадкой журнала солидный пакет бесплатных приложений. В этом году я получил среди прочего очень много листов для вырезывания. На этих еще слегка липких, еще пахнущих литографской краской листах были изображены солдаты и офицеры всех родов войск: пехота, артиллерия, казаки, уланы, самокатчики, мотоциклисты... На отдельных листах были отпечатаны зеленовато-серые пушки, полковые кухни, санитарные повозки, а также рвущиеся снаряды, похожие на букеты завядших цветов или еще больше на черные, в красных пятнах веники. Все это, вырезанное и склеенное, можно было расставлять на полу или на столе, устраивая целые сражения. Тем более что в бесплатных приложениях были не только русские, но и наши противники — немцы и австрийцы. Правда, противники эти главным образом убежали, показывая спины с зелеными ранцами, или сдавались в плен, поднимая раскинутые в стороны руки.

Вырезывание и склеивание было занятием нелегким. Чтобы изготовить десяток таких солдат и офицеров, требовалось час-полтора времени. Гораздо легче было солдатиков рисовать, особенно тем способом, каким это делал я: две палочки — ноги, палочка — туловище, еще две палочки — руки, что-то вроде кочерги или цифры 4 — винтовка с прикинутым штыком, коротенькая горизонтальная палочка — голова вместе с фуражкой, и вот солдат уже готов, вооружен, обмундирован и может хоть сейчас идти в бой. Такие фигурки выходили из-под моего пера тысячами. Ими, как муравьями, были усеяны страницы всех моих учебников и тетрадей, поля газет и даже белая доска моей маленькой домашней парты.

Конечно, я не только играл. Я читал газеты, следил за ходом военных действий, крохотными бело-сине-красными бумажными флажками отмечал на карте продвижение наших войск и черно-красно-желтыми флажками — передвижения неприятеля. В «Петроградской газете», а также в журналах «Нива», «Лукоморье», «Всемирная панорама» я читал о подвигах русских чудо-богатырей, среди которых на первом месте стоял, конечно, донской казак Кузьма Крючков— тот самый, что в одиночку захватил в плен одиннадцать тевтонов. Но самое сильное волнение вызывали в моей душе рассказы о героях малолетних, о юных разведчиках. В каком-то журнале я видел фотографию мальчика моего возраста. Этот «сирота Ваня» был снят в высоких солдатских сапогах, в барашковой шапке с кокардой и в гимнастерке с погонями. На груди у него висела большая круглая медаль. Отличился этот сирота тем, что «подносил патроны». Правда, гораздо чаще в глаза мне попадали сообщения вроде следующего: «Линейные жандармы N-ской

железной дороги сняли с крыши товарного вагона ученика IV класса Пензенского реального училища А. Голубева, державшего направление в сторону фронта. Юный патриот водворен в родительский дом». Или: «В городе Т., в прифронтовой полосе, задержаны два гимназиста, Суров и Лентовский. Мальчики, по их словам, пробирались на передовые позиции, чтобы стать юными разведчиками».

Но даже и эти незадачливые гимназисты и реалисты вызывали во мне жгучую зависть. Еще бы — ведь их, этих снятых с вагонной крыши неудачников, в «Петроградской газете» именовали юными патриотами! Не один раз мелькали и в моей голове мысли о побеге на фронт. Но до поры до времени мне казалось, что мечтам моим никогда не осуществиться. Нет, я не считал себя отпетым трусом. Пойти в разведку, поднести патроны — на это у меня храбрости, пожалуй, хватило бы. Боялся я не пуль и не австрийских или немецких штыков. Пугало меня другое. Я был застенчив. И при этом еще ужаснейшим образом картавил. Для меня пыткой было зайти по маминой просьбе в аптеку или в булочную. А тут не аптека и не булочная, тут — фронт! Я холодел от одной мысли, что, прежде чем туда попадешь, надо к кому-то обращаться, надо выпрашивать у прохожих или у носильщика на вокзале, где, в какой стороне этот фронт находится.

Но вот один маленький случай, одна мимолетная встреча в Гостином дворе все решила.

Однажды после обеда мама поехала за какими-то покупками, кажется за шелковой узенькой лентой для модной тогда вышивки «ришелье», и взяла меня с собой. Возвращаясь, мы шли по Садовой в сторону Сенной и, подходя к Банковской линии, увидели под аркадой Гостиного двора какое-то оживление, какое-то копошение людей. В этой говорливой толпе преобладали дамы. Слышались возбужденные голоса, кто-то всхлипывал. Забыв о своих хороших манерах, я с ходу и довольно ловко втиснулся в эту благоухающую и шуршащую шелками толпу. Втиснулся и застыл очарованный.

Даже сейчас, столько лет спустя, ясно вижу эту картину.

У ворот, ведущих внутрь Гостиного, прижавшись спиной к белой стене, опустив голову, повиснув на двух костылях, стоит очень красивый, бледнолицый, с черным, шелковистым, упавшим на мраморный лоб чубом мальчик лет четырнадцати — пятнадцати. На мальчике мягкого светло-серого сукна офицерская шинель с золотыми пуговицами и с красными отворотами, на плечах золотые погоны, на каждом по две звездочки. И самое удивительное, даже почти волшебное: на груди у мальчика повис офицерский Георгиевский крест на черно-оранжевой георгиевской ленточке.

Чувствуя себя пигмеем, ничтожеством в своих коротеньких штанишках и в синей матросской курточке, я стоял, полуоткрыв рот, и не сразу заметил, что у ног мальчика на каменном полу галереи лежит козырьком кверху ладная офицерская фуражечка с красным околышем. Фуражка была до краев наполнена деньгами. Там блестело серебро, желтели бумажные рубли, зеленели трешки. Мне показалось даже, что в этом ворохе бумажных денег мелькнул уголок «красненькой», десятирублевки. И тоже не сразу обратил внимание на пожилую женщину в трауре, стоящую на том же углу, в двух шагах от маленького офицера. Прижимая к глазам комочек платка, женщина плакала и сквозь слезы что-то рассказывала окружившим ее дамам.

— Это мать... мать,— восторженным шепотом объяснила моей маме высокая дама в пенсне.— Мать юного героя!

А в фуражку все падали и падали деньги. Мама моя тоже открыла портмоне и высыпала из него все, что там было, всю мелочь.

— Мерси,— глухо и чуть-чуть в нос сказал мальчик, тряхнув смоляным чубом.

Кто-то за моей спиной спросил у него:

— Господин подпоручик, простите, а за что вас наградили Георгиевским крестом?

— За героический подвиг, мадам,— так же глухо ответил он.

— Сколько же вам лет? — спросил кто-то другой.

— На Ильин день исполнится четырнадцать.

— А где вас ранило? На каком фронте?

— В Галиции. Под городом Лимберг.

Подумать только: в Галиции! Там, где мой папа! Мне хотелось спросить у мальчика: а как же, каким образом ему удалось попасть в Галицию? Где ему выдали шинель, фуражку?.. Но разве мог я задать хоть один вопрос этому великолепному, бледному, как Печорин, подпоручику и георгиевскому кавалеру?!

Вечером после этой встречи в Гостином дворе я долго не мог заснуть. Было твердо и окончательно решено: я бегу на фронт!

К побегу следовало готовиться. Я знал, что прежде всего в этих случаях начинают сушить сухари. Но, увы, я был такой маменькин сынок, что понятия не имел, как это делается. Я знал, что ванильные сухари покупают в булочной Венцеля на Лермонтовском или в кондитерской Иванова у Мариинского театра. Но ведь не с этими же сухарями люди бегут на фронт! Сухари надо сушить самому. И вот я стал потихоньку выносить из столовой, а случалось, и из кухни куски черного хлеба, ситного или французской булки. Эти ломти и горбушки я складывал украдкой в ящик своей маленькой белой парты, стоявшей у первого из трех окон детской. Однако очень скоро выяснилось, что черный хлеб таким образом сушиться почему-то не хочет. Дня через три, выдвинув ящик парты, я отпрянул и сморщил нос: из ящика пахнуло чем-то очень нехорошим. Темно-коричневые ржаные ломтики были покрыты густым биризовым налетом плесени. Зато белый хлеб засыхал отлично. Горбушка франзолика съезживалась, на ней появлялись трещины, она делалась твердой, как грецкий орех, я с хрустом грыз ее, и уже в одном этом хрусте было что-то мужественное, фронтное, солдатское.

Не помню, сколько мне удалось заготовить таким способом сухарей. Кажется, довольно много: фунта, может быть, два или три. Но ведь чтобы пуститься в путь, одних сухарей было недостаточно. Начитанный мальчик, я знал, что беглецы и путешественники берут с собой обычно, кроме сухарей и воды, соль, спички (а еще лучше кремень и огниво), хорошо отточенный нож, компас и географическую карту. Перочинный ножик, правда не особенно острый, у меня был. Раздобыть соль и спички большого труда не представляло. Географическую карту Российской империи после некоторых колебаний и небольшой сделки с совестью я решил выдрать из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. А вот где мне достать компас, я не имел понятия и даже не знал, в каких магазинах ими торгуют.

Но тут случилось еще одно событие, исключительно радостное: приехал на побывку мой папа! Если не ошибаюсь, это был первый его приезд в Петроград с начала войны. Для меня эти три или четыре дня были днями блаженства. Нет, не было ни поцелуев, ни особенно ласковых слов, ни особенно душевных разговоров. Но уже одно то, что отец находился дома, что в квартире опять пахло его папиросами «Яка», его вежеталем, его фронтовой шинелью, его сапогами, кобурой, портупеей, что по утрам я слышал за дверью столовой его глуховатый голос и особенное, его, отцовское позвякивание ложечкой в стакане,— уже одно это переполняло меня радостью.

Никогда не забуду солнечный мартовский, а может быть, уже и апрельский день, так прекрасно начавшийся и так ужасно кончившийся. Возвращаясь из гостей, кажется от бабушки, мы шли вдвоем с отцом сначала по набережной Фонтанки, а потом по теневой, южной стороне Невского — в сторону городской Думы. Слышу и сейчас, как нежно и вместе с тем мужественно позвякивают его шпоры. Мне кажется, что все, кто идет нам навстречу, смотрят на него, оглядываются, любят его: какой он красивый, мой отец, какой высокий, статный!.. Но главное ждет меня впереди. Мы проходим мимо Аничкова дворца, и вдруг солдат, застывший на часах у дворцовых ворот, щелкает каблуком, еще больше вытягивается, вскидывает ружье и берет на караул. Перед кем? Перед моим папой! Гордость буквально ошпарила меня. Больше всего меня восхищает, как легко, спокойно, просто и вместе с тем четко и уважительно козырнул отец, отвечая на приветствие лейб-гвардейца.

После этого молчать больше я не мог. Меня распирало желание хоть как-нибудь, хоть намеком, хоть полунамеком поделиться с отцом моими патристическими настроениями и распиравшими меня тайными замыслами. Стараясь не отставать от него и идти с ним в ногу, я стал сбивчиво рассказывать, что вот, мол, недавно мы с мамой были в Гостином дворе, покупали что-то и видели там маленького офицера.

— Какого «маленького»? — спросил отец, не поворачивая головы. — Низенького роста, что ли?

— Да нет, — сказал я. — Просто маленький. Мальчик еще.

И я рассказал обо всем, что мы с мамой видели: о мальчишке-подпоручике, о золотых погонах, о Георгиевском кресте, о старушке в траурной вуали...

Отец глухо посмеялся, похмыкал, пофыркал.

— Глупости, — сказал он. — Никакой этот мальчик не офицер.

— Как?!

Помню, я не только удивился — я испугался.

— Как? Почему глупости? Почему не офицер?

— А потому что в четырнадцать лет подпоручиком стать нельзя.

— Нет можно! — воскликнул я, сам удивляясь смелости, с какой позволяю себе разговаривать с отцом. — Можно! Его потому что за подвиг... произвели... За героический...

— А ты это откуда знаешь?

— Он сам сказал.

— Сам? «Произвели за подвиг»? Так и сказал? — Отец опять пофыркал, похмыкал. — Стрелок он, а не герой, этот твой подпоручик.

— Что значит стгелок? — не понял я. — Ну вот... Ведь все-таки, значит, он стгелял?

— Да. Стрелял. Только не из ружья.

— А из чего?

— Не знаю из чего... Стрелками называют мазуриков, обманщиков. Это нищие, которые притворяются калеками, чтобы разжалобить баб.

— Нет!!! — вдруг закричал я. И остановился. И еще раз во весь голос закричал: — Нет! Нет! Не-е-ет!!!

— Ты что? — сказал папа. — Ты что кричишь? С ума сошел? — Он взял меня за руку. — Идем. Люди смотрят.

Но я не мог идти. Что-то со мной случилось. Не шли ноги. Никогда раньше со мной такого не бывало. Отец пробовал вести меня, но я как связанный повис на его руке. И худо мне стало, закружилась голова, скрутило что-то в животе.

— Меня тошнит, — провякал я, вцепившись в папину руку.

— Эх ты, — сказал папа.

Он оттащил меня за угол. И там на газончике, у ограды дворцово-

го сада меня стошнило. Отец постоял, подождал, дал мне чистый платок.

- Ну что — легче стало?
- Да, благодагю вас,— простонал я.
- Идти можешь?
- Кажется...

На Невском отец подозвал извозчика, посадил меня на сиденье. Извозчик спросил адрес, почмокал губами, пролетка дернулась и мягко покатила по торцовой мостовой.

Отец слегка придерживал меня за плечо. За всю дорогу он только один раз спросил, лучше ли мне, и я сказал, что да, лучше, хотя как раз в эту минуту мы проезжали мимо Пажеского корпуса, а напротив был Гостиный двор, и мне опять вспомнился этот стрелок, и опять меня стало давить и мутить, но я сжал зубы и справился с этой гадостью.

На Фонтанке, пока отец расплачивался с извозчиком, я юркнул в ворота, добрал до подъезда и, хватаясь руками за перила, поднялся на второй этаж. Мне было стыдно смотреть отцу в глаза. Но, как мне показалось, и ему тоже почему-то было стыдно.

Маме ни он, ни я ничего не сказали. Уйдя в детскую, где Вася и Ляля шумно играли в лошадок, бегали и звенели бубенчатыми вожжами, я сел за парту, хотел вынуть книгу, но в эту минуту пришла горничная Стеша и сказала:

— Вас папочка зовут.

Скинув свой защитный френч и повесив его на спинку стула, отец сидел за письменным столом, курил и поигрывал серебряной почерневшей вставочкой.

— Ну как?— сказал он с какой-то кривоватой усмешкой.

Я осторожно прикрыл дверь, подошел к столу.

— Хогошо. Благодагю вас.

— Очухался?

— Да,— усмехнулся я так же кривовато.

— Я вот что хотел,— сказал отец, покашливая, постукивая вставочкой и глядя куда-то в сторону, за окно.— Вообще-то, ты знаешь, всякие бывают чудеса на свете. У нас, например, в полку один полячок, тоже лет четырнадцати—пятнадцати, до унтера дослужился...

Я стоял, опустив голову, и, не глядя на отца, старательно выковыривал ногтем канцелярскую кнопку, которой был пришит к столу отставший уголок зеленого ломберного сукна.

— Не крути! Оставь! — рассердился отец.

Я испуганно посмотрел на него и опустил руки по швам.

— Понял, что я сказал?

— Я не кгучу.

— Я не об этом. А я о том, что черт его знает, может быть, и в самом деле не стрелок этот твой маленький подпоручик. А? Как ты думаешь?

Я опять опустил глаза.

— Я тебя спрашиваю.

— Я не знаю,— сказал я.

— Ну, в общем, шут с ним, с этим подпоручиком,— сказал папа.— Я не о нем хотел... Я вот о чем. Скажи мне честно: ты на войну пойти мог бы?

Я поднял глаза.

— Да. Мог бы.

Теперь и он смотрел на меня. Мне показалось, что глаза его слегка заблестели, повеселели.

— Не испугался бы?

— Думаю, что нет.  
— А ранить могли бы тебя?  
— Могли.  
— Еще бы. На войне это, ты знаешь, раз-два. А теперь скажи: без руки, без ноги ты милостыню просить пошел бы?  
— Нет, — ответил я не задумываясь.  
— Вот, брат. В этом весь вопрос. Русский офицер, да и не только русский, а вообще всякий благородный человек христорадничать не станет. Даже если ему и очень худо придется.  
— Да, — сказал я. — Я ведь тоже немножко удивился.  
— Чему удивился?  
— А что мальчик этот деньги собигает.  
— Поди сюда, — сказал папа.  
Я подошел. Он обнял меня и поцеловал куда-то в висок. Я неуклюже прижался к нему и тоже с наслаждением поцеловал его жесткий, колючий, пахнущий вежеталем ежик.

Теперь я больше всего боялся, что найдут сухари и что папа обо всем узнает. Надо было куда-нибудь их деть, эти сухари. Выбросить в мусорное ведро, отнести на помойку? Нет, этого я не мог сделать. Я очень давно, едва ли не с пеленок знал, что выбрасывать хлеб — самый страшный грех. С вечера я украдкой набил сухарями карманы штанов и матросской куртки, а утром, когда Елена Ивановна, наша бонна, одевала Васю, чтобы вести нас в училище, спустился во двор и незаметно прошел в курятник. Куры сидели под потолком на своем сером, заляпанном белой извешткой насесте, а большой рыжевато-черный петух с красной бородкой и с таким же сочным красным гребешком расхаживал взад и вперед по курятнику и, поглядывая наверх, что-то сердито и оживленно объяснял своим подругам.

Я высыпал сухари в угол, где в пыли и паутине стояли какие-то битые тарелки с водой. Петух подошел, клянул сухарь и, метнув на меня не то гневный, не то презрительный взгляд, с новой энергией забегал по курятнику, выговаривая что-то своим дамам. Выйдя во двор, я подтянул ремешки ранца и поспешил к воротам — догонять Елену Ивановну и Васю.



---

---

ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ

★

## ЦИКЛ «СТАРЫЕ МАСТЕРА»

### СТЕПЬ БАКАНАСА

Спокойно здесь, ты говоришь,  
степь в тишину погрузла.  
Прислушайся — встает камыш  
у высохшего русла;  
и сладкий сок бьет из песка  
в нутро корявой дыни;  
тень саксаульного листка,  
ревя, цветет в пустыне.

Здесь не кричат — ты говоришь.  
Мир не опишешь криком,  
сегодня утром эта мышь  
шуршала о великом.

Она наткнулась на зерно  
у корня тамариска,  
песком граненное оно,  
я видел его близко.

Теперь ей голод ничо чем,  
мышь не спеша пасется.  
А ястреб узкий, как зрачок,  
в слепящем диске солнца.

Он расширяется черно,  
падет — о мышь обжечься.  
И я нашел свое зерно,  
прохладное как жемчуг.

### РАВНОВЕСИЕ

Снежинка на лицо упала —  
остановились поезда,  
замолкли аэровокзалы,  
в горах обрушились обвалы.  
Непоправимый образ женский —  
одна морозная звезда.





## 2

Ночь — тень твоя,  
 И ты один, как новшество,  
 снежинкой тьма ревниво прожжена,  
 один и ночь — анализ одиночества,  
 нет мира в тишине, напряжена.  
 Мы для ночей, во тьме мы молодеем,  
 все, что утеряно, приобретаем снова,  
 внезапной немотой изведав слово,  
 мы смыслами несуетно владеем.

Таращится бессонница ночей,  
 пытая грубой памятью события.  
 Зачем сомнения? Восторг зачем?  
 Зачем живем на свете,  
 не забыть бы.

Открылась крышка ящика Пандоры,  
 несчастья разлетаются по свету,  
 чтоб не вернуться боле к Мусагету, —  
 звенели струны старого пандура.  
 Когда он о тебе заговорит,  
 в твоей душе утонет черный клавиш  
 и лунный отзвук глаз посеребрит,  
 а это значит попросту — ты плачешь.

. . . . .

## 3

Торчат прямые сосны над песками  
 как мачты затонувших кораблей.  
 Хлестнем коней! Пусть вихрится  
 за нами  
 багровая листва календарей.

И вновь,  
 могуч, безжалостен, недобр,  
 гривастый конь вторгает в душу топот,  
 кричат дутары,  
 дробный вопль домбр,  
 «о, ради бога» — обжигает шепот.  
 И вправлено стекло. И рухнул дом.

...Утихли волны северного понта,  
 снег лег на желтый лик земли  
 как пудра.

Усталая белуга горизонта  
 качает удочку березы.  
 Утро.



---

---

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

★

## БЫЛИ И НЕБЫЛИ\*

Роман

3

**В**оскресным солнечным днем Каля Могошоаей — аристократическая улица Бухареста — была заполнена открытыми, нарядно убранными экипажами. В час безделья — между завтраком и обедом — эту улицу занимала местная знать: русские офицеры здесь почти не показывались. В открытых пролетках, ландо и фэтонах располагались дамы общества, приезжие кокотки и наиболее преуспевшие из каскадесс, что хлынули в Румынию не только из России, но и со всей Европы. Расфранченные, набриллиантенные и нафабранные мужчины гуляли по тротуарам; в экипажах оставались только старцы в сюртуках и мундирах, украшенных орденами. Здесь обсуждались новости, рождались сплетни, завязывались знакомства и начинались интриги. Среди фланирующей публики бегали девочки-оборвашки, бойко предлагая господам букетики свежих подснежников.

Возле модной кондитерской Фраскатти стоял худощавый молодой человек в потрепанной сербской шинели с чужого плеча, старом солдатском кепи и растоптанных опанках. Несмотря на полубродяжий вид, держался он достаточно надменно, чтобы обезопасить себя от расспросов полицейских, с насмешливым презрением наблюдая за шумной и блестящей толпой светских бездельников. Судя по всему, попал он в этот район случайно, но то ли ему некуда было спешить, то ли еще по какой причине, уходить пока не торопился.

На панели неподалеку от странного молодого человека, на которого косились все — мужчины с нескрываемой брезгливой настороженностью, а дамы даже с интересом, — остановился открытый пароконный экипаж, в котором восседал сухой старик с непомерно толстыми губами и живыми, пронзительными, очень еще зоркими глазами. Цепкие руки его лежали на набалдашнике трости, и он все время шевелил пальцами, любуясь игрой крупного бриллианта на безымянном пальце правой руки. Рядом с коляской стоял полный средних лет мужчина, обмахиваясь соломенной шляпой.

— Австрийцы — народ, по крайней мере, европейский, цивилизованный, — говорил он, и в тоне его слышалось застарелое подобострастие. — А эти степные варвары, что посылают вперед себя орды диких казаков, — это же угроза скорее Европе, чем Турции. И мы как древнейшая нация Европы...

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

— Да, да, вы правы,— рассеянно отвечал старик, бегая острыми глазками по пестрой толпе.— Я, как вам известно, не поддерживаю нашей турецкой партии и во многом расхожусь с ее лидером Ионом Гиком, но он все же во многом прав, во многом. Мы не только древнейшая нация, наследники римлян,— мы аванпост Европы, и нам следует помнить, что наша Мекка — Париж, а не Москва.

— Но князь, увы, не может не считаться с простолюдинами,— вздохнул собеседник.— А вся чернь в восторге от этих гуннов, что ворвались в нашу несчастную Румынию.

Бегающие глазки старика окончательно остановились на черноволосой, очень хорошенькой цветочнице лет двенадцати. Коричневый палец отклеился от трости и поманил ее, ослепительно сверкнув бриллиантом.

— Что у тебя, моя миленькая?

— Уно бени,— торопливо сказала девочка, тотчас подбежав к экипажу и протягивая цветы.— Уно бени, домине.

— Уно бени? А вот это хочешь? — старик с ловкостью менялы завертел перед глазами девочки серебряным полуфранком.— Ну посмотри, посмотри, как блестит. Хочешь получить его?

— Дай! — радостно закричала девочка, подпрыгивая и стараясь схватить монету.— Домине, добрый домине, дай!

— Дать? Ну лезь в экипаж. Лезь, не бойся.

Девочка неуверенно встала на подножку, но старик отклонился, и до монеты она так и не дотянулась. Завороженная серебряным блеском, девочка сделала еще шаг, оказавшись уже в экипаже.

— Целуй,— сказал старый аристократ, протягивая ей коричневую сухую руку.

Девочка секунду помедлила, борясь с искушением, а потом быстро, точно украдкой, чмокнула протянутую руку.

— Молодец! Ты смелая девочка, вот тебе за это.

Серебряная монета перешла к девочке и тут же исчезла где-то в многочисленных складках ее юбки. Цветочница хотела прыгнуть, но старик достал вторую монету, на этот раз золотую.

— Теперь эту заработай,— сказал он, держа золотой в правой руке, а левой обнимая девочку за талию.— Но за это целуй сюда.— Он коснулся золотым толстых выпяченных губ.— Ну? Ты же смелая девочка...

— Целуй, дурочка, целуй скорей,— заулыбался стоявший рядом господин с соломенной шляпой в руке.— Домине добрый, он даст тебе много золота, если ты будешь слушаться его.

— Садись рядышком, вот так,— понизив голос, бормотал старик, усаживая девочку.— Ну что же ты? Это ведь золото. Настоящее золото!

Крепко прижимая к себе девочку, старик уже сам тянулся к ней толстыми выпяченными губами. Упираясь обеими руками в украшенную орденами грудь, девочка отчаянно вертела головой, испуганно повторяя:

— Не надо, домине, не надо, не надо...

Кучера на козлах не было. В поисках его собеседник с соломенной шляпой уже оглядывался по сторонам:

— Кучер! Кучер, живо сюда! Трогай, кучер!

Но раньше кучера возле экипажа оказался молодой человек в сербской шинели. Бесцеремонно оттолкнув услужливого господина, он левой рукой рванул старика за орденосную грудь, а правой наотмашь влепил сочную пощечину.

— Сладострастная мумия...

Он еще раз встряхнул старика. Аристократ сполз на пол, девочка выскользнула из экипажа, тут же словно растворившись в толпе.

— Убивают!— закричал господин у коляски.— Грабеж! Полиция!

Он схватил молодого человека за руку, подоспевший кучер ударил сзади, сбил с ног. Безмятежная толпа, не обращавшая внимания на девочку, вдруг согласно с визгом и криками кинулась на ее защитника. Ему не давали встать, топтали, били тростями, кололи зонтиками. Лежа на мостовой, молодой человек молча и яростно отбивался от набежавших со всех сторон кучеров. Силы были явно неравные, но тут с тротуара в свалку одновременно бросились двое: загорелый и обветренный молодой человек в модном костюме и небольшого роста, ловкий и складный румынский капитан. В четыре кулака они мгновенно расшвыряли нападающих, подняли с мостовой волонтера. Кругом угрожающе шумела разгневанная толпа, визжали женщины, откуда-то слышались полицейские свистки.

— Бежим,— сказал румынский капитан.— За кондитерской проходной двор.

Они беспрепятственно добрались до кондитерской, немного покружили по дворовым лабиринтам и вышли на спокойную соседнюю улицу.

— Благодарю,— сказал молодой человек, отряхиваясь и приводя себя в порядок.— Глупейшая история.

— Вы действовали в высшей степени благородно,— сказал румын, пожимая ему руку.— Я Вальтер Морочиняну, капитан Восьмого линейного полка, и вы всегда можете рассчитывать на меня. Судя по виду, вы недавно из Сербии?

— Да. Я был ранен в последних боях, долго лечился. Сейчас пробираюсь на родину.

— Могу ли я узнать ваше имя?

— Поручик Гавриил Олексин.

— Очень рад, что оказал помощь соотечественнику,— улыбнулся молодой человек в модном костюме.— Позвольте отрекомендоваться в свою очередь. Князь Цертелев.

— Счастлив нашему знакомству, но вынужден вас оставить,— сказал капитан Морочиняну.— Кажется, в свалке я заехал по физиономии любимчику нашего князя Карла, а он немец и плохо понимает шутки. Надеюсь, увидимся?

С этими словами капитан отдал честь, остановил извозчика и поспешно укатил прочь. Русские остались одни.

— Как вас занесло на Каля Могошоаей? — спросил Цертелев.

— Я не знаю города,— пожал плечами поручик.— Искал, где пообедать.

— Вы очень богаты?

— В кармане франк с четвертью.

— На это вы не пообедаете даже в портовом кабаке,— улыбнулся князь.— Однако я тоже голоден и приглашаю вас с собой. Кстати, я как раз направлялся на обед.

— Благодарю, но боюсь, что мой наряд...

— Оставьте церемонии, поручик. Вы из Сербии, этим сказано все.

— И все же, князь, это неудобно,— упорствовал Гавриил.— Знакомство наше шапочное, а мне, право же, будет неуютно рядом с таким франтом, как вы.

— Это маскировка, Олексин: мне положено быть в форме урядника Кубанского полка с шеvronами вольноопределяющегося, но в подобном виде в рестораны, увы, не пускают. А компания за обедом будет сугубо мужская: два корреспондента, казачий урядник, поручик из Сербии и... и еще один очень приятный собеседник.

Разговаривая, князь Цертелев уверенно вел Олексина тихими улочками в обход шумного аристократического квартала. В конце концов они все же вышли в этот квартал, но в его наиболее респектабельную, а потому и тихую часть, и свернули к ресторану. Ливрейный швейцар с откровенным удивлением уставился на потрепанную одежду поручика, но беспрепятственно распахнул перед ними тяжелые зеркальные двери.

— Это единственный ресторан Бухареста, где прислуга не говорит о политике,— сказал Цертелев, когда они миновали гардероб.— Правда, их молчание хозяин включает в счет.

— Господи, ну и вид у меня,— озадаченно вздохнул Олексин, рассматривая себя в огромном зеркале.

— Таковский крест на вашей груди важнее самого модного фрака, Олексин,— успокоил его Цертелев.— Прошу прямо в зал, нас давно уже ждут сотрапезники.

— Пожалуйста, князь, не проговоритесь за столом об этом инциденте.

— Не беспокойтесь, поручик, я старый дипломат. Видите троих мужчин за столом у окна?

Гавриил сразу заметил этот стол, мужчин и невольно остановился: лицом к нему в распахнутом белом кителе сидел генерал Скобелев. В соседе справа он тут же узнал князя Насекина, и только левый сосед — рыжеватый, с корреспондентской бляхой на рукаве мехового пиджака,— был ему незнаком.

— Господа, позвольте представить моего друга поручика Олексина,— сказал князь Цертелев, крепко взяв Гавриила за локоть и чуть ли не силой подведя к столу.— Он только сегодня вернулся из Сербии.

— Олексин?— Насекин медленно улыбнулся.— Эта фамилия преследует меня не только во сне, но и наяву.

— Я тоже как-то слышал эту фамилию,— сказал Скобелев.— Где, где, где, напомните?

— В Туркестане, ваше превосходительство. Я тот офицер, что доставил вам именной указ.

— Прекрасно, значит, мы знакомы,— улыбнулся генерал.— Прошу, господа, обед я заказал на свой вкус, уж не посетуйте.

— Прошу простить, что явился столь неожиданно...— начал было поручик, садясь напротив.

— Отставить,— проворчал Скобелев.— Вы сражались в Сербии, мы с Макгаханом тоже достаточно нюхнули порошу в Туркестане, их сиятельства в расчет брать не будем — и получается добрая встреча боевых друзей. Вы еще помните Туркестан, дружище? — Он хлопнул по плечу сидящего слева рыжеватого корреспондента.

— У меня дурацкая память: я забываю только то, что нельзя продать газетам,— улыбнулся Макгахан.— Впрочем, одну историю мне так и не удалось напечатать: все редакторы в один голос заявили, что это тысяча вторая ночь Шахерезады, хотя я был правдивее папы римского.

— Попробую вам поверить, хотя, видит бог, это нелегко,— насмешливо сказал Насекин.

— Клянусь честью, джентльмены. История эта произошла в незабвенном для меня городе Хиве, где я имел счастье познакомиться со Скобелевым,— начал Макгахан.— Однако в то время как моего друга за мелкие прегрешения не впустили в Хиву, я вступил в нее с отрядом генерала Головачева и после осмотра цитадели вместе с ним же пристроился на ночевку в ханском дворце. Должен сказать, что хан хивинский бежал от русских войск столь поспешно, что оставил победителям свое главное сокровище — гарем. Узнав об этом, суровый Голо-

вачев выставил к дверям гарема усиленный караул и безмятежно завалился спать, отделенный от ханских гурий лишь невысокой глинобитной стеной.

— Представляю ваше состояние, Макгахан,— улыбнулся в густые бакенбарды Скобелев.

— Да, джентльмены, я был молод и безрассуден. Мог ли я спать, когда в трех футах от меня прекрасные из прекрасных горько оплакивали предательство своего мужа и повелителя? Мог ли я не использовать хотя бы один шанс из тысячи, лишь бы только своими глазами увидеть лица, которыми до сей поры любовался один царственный супруг? И вот дождавшись, когда богатырский храп повис над двориком, я тихо поднялся с ковра, сунул револьвер в карман и осторожно прокрался к стене. Не буду говорить, сколько времени я потратил на бесполезные блуждания в поисках второго, неохраняемого входа в святая святых ханского дворца: было бы бесчеловечно столь злоупотреблять вашим доверием. Достаточно сказать, что моя настойчивость принесла плоды: я обнаружил таинственную дверь и замер подле нее, вслушиваясь. И что же я услышал, джентльмены?

— Храп генерала Головачева? — предположил Цертелев.

— Смех, джентльмены! Серебристый чарующий женский смех, от которого сердце мое застучало, как паровая машина, а в жилах вскипела кровь. Я был у цели, я касался руками сокровищницы, и мне лишь оставалось воскликнуть: «Сезам, отворись!»

— На каком же языке вы намеревались воскликнуть?— снова заинтересовался Цертелев.

— Вы скептик, князь,— вздохнул Макгахан.— Язык страсти доступен всем женщинам мира. Я подумал об этом и смело постучал в дверь.

— Перед тем как она откроется, я предлагаю закусить,— сказал Насекин.— Необходимо подкрепить свои силы.

За столом все были достаточно молоды, чтобы есть и пить с аппетитом и удовольствием. На поручика никто не обращал внимания, он быстро освоился и ел за двоих, без церемоний.

— Мясной экстракт Либиха — чудовищная вещь,— вдруг сказал Макгахан, содрогнувшись от отвращения.

— Почему вы вдруг вспомнили о Либихе?— поперхнувшись от смеха, спросил Скобелев.— Вам мало того, что стоит на столе?

— Вероятно, он угощал этим экстрактом гурий ханского гарема,— улыбнулся Цертелев.

— Кстати, Макгахан, раз уж вы постучали, так входите,— ворчливо сказал князь Насекин.— Ничего нет хуже, чем остановиться на пороге наслаждения.

— И забудьте наконец о Либихе,— с улыбкой добавил генерал.

— Не так-то все было просто и ясно, как ваш смех,— вздохнул Макгахан.— Я отбил себе руку, прежде чем мне открыла какая-то ведьма с глиняным светильником в руке. Она что-то затараторила, но в глубине за ее согбенной спиной по-прежнему звучал призывный женский смех. Я молча отодвинул старуху и пошел на этот смех как на маяк. Миновал длинный и узкий коридор и неожиданно увидел картину настолько фантастическую, настолько сказочную, что она до сей поры отчетливо стоит передо мною.

Принесли суп, и рассказчик замолчал. Подождал, когда разольют его по тарелкам, когда уйдет прислуга. Все начали есть, а он лишь попробовал и продолжил:

— Я увидел двор футов в сто длиной и пятьдесят шириной, на одной стороне которого было возвышение, сплошь покрытое коврами,

подушками и одеялами. Именно этот угол двора был залит бледным светом луны, освещая около двадцати красавиц...

— Не надо никого обманывать, Макгахан,— опять проворчал Насекин.— Убеден, что вы пересчитали всех гаремных дам по пальцам, а нам вместо четкой цифры предлагаете знаменитое «около». «Около двух человек было ранено», как недавно сообщила наша уважаемая пресса.

— Вы правы, князь, это дурная привычка,— сказал Макгахан.— Их было ровнехонько двадцать две штуки, но три оказались старыми и безобразными, почему я и остановился где-то возле двадцати. Лежа в прелестных позах на подушках, они болтали и смеялись, но, к сожалению, мне не пришлось долго ими любоваться, потому что за моей спиной прокаркала что-то ведьма со светильником. Надо было видеть, джентльмены, как грациозно замерли вдруг эти прелестницы, какой вслед за этим поднялся смех и визг, как они заметались, пока на них не прикрикнула одна из красавиц. Они сразу замолчали, а она, взяв в руки светильник, смело подошла ко мне и остановилась в шаге, серьезно и строго рассматривая меня с головы до ног.

— Надеюсь, вы не оплошали, дружище?— улыбнулся Скобелев.— Между прочим, если вы и впредь будете отказываться от супа, то в конце концов оплошаете.

— Она оказалась любимой дочерью индийского раджи, похищенной в раннем детстве?— поинтересовался Цертелев.

— Я не сочиняю, я излагаю сущую правду. Я не знаю, откуда она родом, но звали ее Зулейкой, что я установил после долгой смешной путаницы. Эта Зулейка провела меня на возвышение дворика, усадила на подушки и стала угощать чаем. Остальные обитательницы гарема расселись вокруг и принялись очень внимательно разглядывать меня, обмениваться замечаниями и хихикать. А я выпил две чашки чая, съел какую-то тягучую сладость, после чего был выдворен из гарема под конвоем всех трех фурий.

— И все приключение?— разочарованно спросил Скобелев.— Я-то развесил уши, готовясь услышать, как прекрасные узницы передавали вас из объятий в объятия.

— Чего не было, того не было,— серьезно сказал Макгахан.— Я вернулся в наш двор и завалился на ковер рядом с безмятежно храпевшим генералом Головачевым. Но каково же было мое удивление, когда рано утром дежурный офицер сообщил, что гарем пуст! Все его обитательницы исчезли таинственно и необъяснимо, пройдя не только цитадель, но и город, занятый русскими войсками.

— Они бежали от вас, Макгахан,— убежденно сказал Насекин.— Вы так боялись напугать их действием, что перепугали бездействием, а это самый большой страх, который испытывают женщины.

— Я рассказал вам этот анекдот не ради забавы,— продолжал Макгахан.— Меня до сей поры тревожит один вопрос: что же понимают женщины под личной свободой? Любовь? Но когда вас двадцать душ, какая уж тут любовь. Долг? Но хан первым бросил их и сбежал. Покорность? Но никто не понуждал их бежать из охраняемого гарема. Что же тогда, джентльмены, что?

— Если бы вместо чая вы пили любовный напиток, вы бы не мучились над подобными вопросами,— сказал генерал.— Женщины любят силу, вот и все. И стоило вам ее применить, как они тут же пошли бы за вами.

— Представляете, Макгахан, вы привезли бы в Европу целых двадцать две жены,— улыбнулся Цертелев.— То-то была бы сенсация!

— Я не хочу шутить на эту тему,— недовольно поморщился американец.— Женщина не только источник наслаждения, женщина —



часть мужчины, часть его существа: недаром Библия упоминает о ребре Адама. Представьте на миг, что никаких женщин нет и не было, что мы размножаемся, скажем, почкованием...

— Как скучно! — заметил Цертелев.

— Возможно, но я о другом. Представьте мир мужчин: что вы найдете в этом мире? Средства для убийств себе подобных, для охоты и рыбной ловли, шкуры для сна и одежды и... и, пожалуй, все.

— Вы забыли вино и карты, — серьезно подсказал Скобелев.

— Вы шутите, а я утверждаю, что мы, мужчины, всегда готовы довольствоваться необходимым, если рядом нет женщины. Женщина — стимул цивилизации и ее венец — вот о чем я толкую, джентльмены. Ради нее писались законы и романы, возникали державы и открывались Америки. Ради женщины, только ради женщины, все остальное чужь; мы бы до сей поры не вылезли из пещер, если бы наши дамы не захотели этого. Вы утверждаете, что женщины любят силу? Нет, джентльмены, это мы любим слабость, будучи сильными, любим верность, будучи неверными, любим нежность, будучи грубыми. Мы, а не они — вот в чем парадокс!

— Обед зашел в тупик, — вздохнул Скобелев. — Я полагал, что он пройдет под знаком Стрельца, а его унесло под знак Девы. Право же, будет куда поучительнее, если поручик расскажет, где он оставил половину своего уха.

— В Сербии, ваше превосходительство, — нехотя сказал Гавриил. — Затем был плен, побег, снова бой и пуля в плечо. Я так долго валялся по госпиталям и больницам, что сейчас хочу только домой.

— Жаль, что я не у дел, — с грустью сказал генерал. — Я числюсь начальником штаба в дивизии собственного отца Скобелева-первого, понимаете это как полупочетную ссылку. Но в отличие от вас, поручик, я не хочу домой. Я хочу на тот берег, туда, где так нуждаются в нашем с вами опыте. Или вы настолько утомились, что больше не слышите стонов из-за Дуная?

— Ну почему же, — сказал Олексин. — Просто мой полк сейчас в Москве.

— Вы знаете болгарский язык? — спросил вдруг Цертелев.

— Одно время я командовал болгарским отрядом.

— Вам известно, что генерал Столетов формирует болгарское ополчение?

— Я слышал кое-что за границей.

— Михаил Дмитриевич, я прошу вас рекомендовать моего друга Столетову, — серьезно сказал Цертелев. — Полагаю, что там он будет на месте.

Скобелев испытующе смотрел на Олексина. Поручик с напряжением выдержал его пристальный взгляд, не торопясь ни отказываться, ни соглашаться.

— Ваш друг не готов к решению, князь, — сказал генерал. — Стоит ли что-либо навязывать человеку помимо его воли?

— Вот вы и подпалили крылья, архангел Гавриил, — бледно улыбнулся Насекин. — Помню, как вы гордились ими в Москве.

— Я давно обронил их, князь, — вздохнул Гавриил. — Я простой пехотный офицер с некоторым боевым опытом. И если болгары и впрямь нуждаются в нем, я готов попробовать еще раз.

— Что попробовать, поручик? — спросил генерал.

— Попробовать понять, для чего я убивал и для чего убивали меня.

Скобелев весело улыбнулся, тут же деликатно прикрыв улыбку ладонью.

— Ваше превосходительство!

К ним спешил штабс-капитан с сильным, но резким и неприветливым лицом. Цертелев махнул ему рукой:

— Сюда, Млынов!

Млынов подошел. Щелкнув каблуками, сухо поклонился.

— Извините, господа, я за его превосходительством. Михаил Дмитриевич, вас срочно просит его высочество главнокомандующий.

Скобелев резко выпрямился, глаза его радостно сверкнули.

— Вот и обо мне вспомнили.— Он торопливо вытер усы, бросил на стол салфетку и встал, застегивая китель.— Прошу простить, господа, но главнокомандующие не любят ждать даже генералов.

Он уже выбрался из-за стола, когда глаза его остановились на поручике Олексине. Спросил через плечо у адъютанта:

— Ты в экипаже, Млынов?

— Так точно, Михаил Дмитриевич.

— Поедешь со мной, поручик,— генеральским, не терпящим возражений тоном сказал Скобелев.

## 4

Дежурный адъютант ввел Скобелева в кабинет главнокомандующего и тут же беззвучно вышел. Скобелев громко и ясно — все Романовы любили эту громкую ясность — доложил, но Николай Николаевич, мельком глянув на него, оборотился к кому-то невидимому:

— Государь не простит нам напрасных жертв.

Из угла плавно выдвинулась фигура начальника штаба генерала от инфантерии Артура Адамовича Непокойчицкого. Скобелев только сейчас разглядел его и молча поклонился.

— Напрасных жертв не бывает, коли все идет по плану, ваше высочество.

Речь Непокойчицкого была гибкой, сугубо доверительной и проникновенной. Он никогда не повышал голоса, никогда не спорил и никогда не настаивал; он всегда словно только подсказывал, напоминая известное, забытое лишь на мгновение.

— Да, да, планы, ты прав. Соблюдение планов и дисциплина — святая святых армии. Святая святых! — Бесцветные глаза главнокомандующего остановились на стоявшем у дверей Скобелеве.— Где ты был, генерал?

— Обедал, ваше высочество.

— С вином и с бабами? Знаю я твои солдатские замашки.

— С вином, но без баб,— резко сказал Скобелев.

Непокойчицкий остро глянул на него, из-за спины Николая Николаевича неодобрительно покачал головой. Взял со стола какую-то папку:

— С вашего позволения я хотел бы подумать над вашими предложениями, ваше высочество.

Это было сказано вовремя: великий князь уже начал багроветь и надуваться, готовясь разразиться гневом. Слова начальника штаба, а также его спокойный, умиротворяющий тон переключили медлительный и тяжелый, как товарный состав, ум главнокомандующего на другие рельсы.

— Да, да, предложения, предложения,— озабоченно сказал он.— Ступай. Мы все будем думать. Все.

Непокойчицкий вышел. Николай Николаевич строго посмотрел на дерзкого генерала, милостиво кивнул:

— Проходи и садись.

Скобелев прошел в кабинет и сел, нимало не заботясь о том, что сам великий князь остался стоять и что широкие белесые брови его

строго поползли навстречу друг другу при виде столь быстрого исполнения его приказа. Однако на сей раз ему хватило здравого смысла не раздражаться.

— Государь недоволен тобой, Скобелев,— сказал он, огорченно вздохнув.— Да, да, не спорь! Ты упрям, своенравен и способен вывести из терпения даже моего брата. Кто разрешил тебе покинуть Журжу?

— Я полагал, что для этого достаточно согласия моего непосредственного начальника.

— Ты генерал свиты его императорского величества, а не капитан генерального штаба!

— Именно это я хотел бы напомнить вам, ваше высочество,— вспыхнув, сказал Михаил Дмитриевич.

Он хотел добавить что-то еще, но усилием воли сдержал себя, упрямо продолжая сидеть. Николай Николаевич озадаченно посмотрел на него и нахмурился.

— Дерзок,— он еще раз вздохнул,— однако, кроме дерзостей, я бы желал услышать объяснения.

— Ваше высочество,— умоляюще сказал Скобелев,— какой я ни есть, я генерал действий, а не салонов. Действий, а их нет. В казачьей дивизии, которой командует мой отец, осталось два полка: ингуши, как вам известно, отправлены с марша обратно в Одессу. И эти два полка несут караульную службу. Вы мне предлагаете заняться разводом караулов? Хорошо, я исполню ваше повеление, но, осмелюсь заметить, без желания и страсти. Дайте мне хоть бригаду, хоть полк, ваше высочество! Клянусь вам, я способен на большее, клянусь!

— У меня нет свободных полков.

Скобелев промолчал. Великий князь внимательно глянул на него, затем отошел к большому, заваленному картами письменному столу и начал просматривать какие-то записи, сверяясь с картой. Потом сказал:

— Что перед нами, Скобелев?

— Передо мной стена,— хмуро ответил генерал.

— Я не шучу,— терпеливо пояснил главнокомандующий.— Перед тобой, возможно, и стена, а перед нами — Дунай, величайшая река Европы. И вся Европа смотрит со злорадством, как-то мы через него перескочим. Подобной задачи еще не приходилось решать ни одному главнокомандующему.— В голосе Николая Николаевича зазвучала тщеславная нотка.— Каковы турецкие укрепления? Где их батареи? Сколь у них орудий и какого калибра? Где расположены резервы и каково их количество? Вот вопросы, которые необходимо изучить. Ты согласен со мной, Скобелев?

— Совершенно согласен, ваше высочество,— тотчас же откликнулся генерал, слушавший последние слова великого князя с особым вниманием.— Задача действительно чрезвычайно сложна, но мы обязаны решить ее во что бы то ни стало. Громить Турцию надо здесь, на этом театре; на Кавказе нет возможностей для маневра.

— Правильно,— одобрительно заметил Николай Николаевич.— Поди сюда.— Подождал, когда Скобелев подойдет к столу, пальцем провел по карте.— Вот твой участок, генерал. Хотя ты и без должности, но помни: твой это участок. Охрана, наблюдения за противником, рекогносцировки — все с тебя спрошу.

— Благодарю вас, ваше высочество,— без энтузиазма отозвался Скобелев.

Великий князь уловил его разочарование. Покачал головой с несоизмеренно большим лбом, вздохнул:

— Жди. Даст бог, переправимся, тогда и пригодись. И без повеления государева или моего из Журжи ни ногой. Ни на обеда, ни к бабам, лучше к себе вози.

Скобелев тихо вздыхал, упрямо глядя мимо великого князя в окно. Там то и дело мелькали верховые, подкатывали пролетки, бежали расторопные ординарцы. Экипаж, который доставил его к главнокомандующему, стоял почти напротив окна, генерал видел дисциплинированно ожидавшего своей участи Олексина.

— Ваше высочество...

Кажется, он перебил Николая Николаевича: тот замолчал, обиженно и удивленно подняв брови. Но Скобелев не обратил на это должного внимания: он не забывал об обещаниях, данных подчиненным.

— В экипаже против окна сидит боевой офицер. Воевал в Сербии, где командовал болгарями, дважды ранен, а сейчас вне службы. Может быть, его целесообразно направить...

— Я сам знаю, кого куда направить!— резко перебил великий князь.— Я не терплю протекций, и вы это должны знать, Скобелев.— Он позвонил; вошел дежурный адъютант.— Позовите... Укажите ему, кого позвать, генерал!

Через минуту поручика ввели в кабинет. Он четко представился и замер у порога под неторопливым, проверяющим взглядом главнокомандующего. Сербскую шинель он оставил в коляске, стоял перед великим князем в потрепанном волонтерском мундире с Таковским крестом, но Николай Николаевич, казалось, не замечал этого креста, а с безразличным недоумением косился на разбитые опанки.

— Олексин? Из каких же Олексиных?— резко спросил он наконец.

— Из псковских, ваше высочество.

— Из псковских? Что-то помню, помню. Твой отец императора Николая Павловича на дуэль вызвал?

Кадык великого князя двигался и булькал, точно жил отдельно от большого грузного тела. Гавриил как-то сразу увидел только этот кадык и ничего больше. И сказал:

— Мне неизвестен этот анекдот, ваше высочество.

— Упрямая порода, упрямая!— с некоторой долей странного одобрения сказал Николай Николаевич.— Ступай к Столетову. Передай, что я велел дать тебе роту.

— Благодарю...

— Ему же не на что добраться до Столетова,— вдруг перебил Скобелев и, подойдя к Олексину, протянул кошелек.— В долг, поручик, не кипятитесь и не вздумайте отказываться. Вернете с первого жалованья.

— Нет, Скобелев, ты положительно мне непонятен,— с огорчением отметил великий князь, когда Олексин вышел.— Ступай в Журжу и сиди там, покуда не позову. И не смей своевольничать, слышишь?

Скобелев молча поклонился и вышел из кабинета.

## 5

6 мая ярко светило солнце, только на юге, за Дунаем, где-то над далекими Балканами хмурились низкие косматые тучи. С утра в лагере болгарского ополчения шла приподнятая суета: ополченцы начищали амуницию, офицеры озабоченно переговаривались, унтеры придирчиво проверяли подчиненных. Все готовились к празднику.

Задолго до объявленного времени к ополченскому лагерю, расположенному в полутора верстах от города Плоешти, стали собирать

ся жители. С женами и детьми в торжественном молчании шли болгары-изгнанники; с песнями спешили принаряженные румыны и армяне, цыгане и венгры. Прибывший из города генерал-майор Николай Григорьевич Столетов с трудом пробрался через окружившую лагерь шумную праздничную толпу.

— Это стихия,— строго указал он своему начальнику штаба подполковнику Рынкевичу.— Отведите для публики особые места и поручите соблюдение порядка толковому офицеру. Кто дежурит по лагерю?

— Караул третьей дружины.

— Передайте дежурному офицеру мое напоминание об особой ответственности.

— Будет исполнено, Николай Григорьевич.

— Его высочество прибудет в два с половиной часа пополудни. К этому времени должны быть закончены все приготовления.

Неторопливый, обстоятельный Рынкевич чуть склонил лысеющую голову, повторив:

— Будет исполнено.

Генерал Столетов выше всех военных доблестей ставил аккуратность и исполнительность, почему и постарался окружить себя людьми серьезными и основательными. Одобрительно кивнув подполковнику, старательно записывавшему каждое его распоряжение, сказал:

— Подполковника Калитина ко мне.

Подполковника Павла Калитина Столетов отмечал особо. Подполковник был неразговорчив, энергичен, требователен и заботлив. В действующую армию прибыл из Туркестана, где показал себя не только отважным, но и осмотрительным офицером.

— Честь имею, ваше превосходительство.

— Самарское знамя будет передано на хранение первой роте вашей дружины, подполковник. Таково решение главнокомандующего. Подберите знаменщика.

— Благодарю за доверие, ваше превосходительство.

Подполковник знал, кого благодарить: решение великого князя было подсказано Столетовым. Калитин был весьма горд оказанным ему доверием, но его простое, вечно хмуро-озабоченное лицо не отразило никаких эмоций.

— Лучшего знаменщика, чем унтер-офицер Антон Марченко, предложить не могу. Бесстрашен, честен, старателен, предан. Готов поручиться за него перед вашим превосходительством, а если угодно, то и перед его высочеством.

— Вашего слова достаточно, Калитин. Объясните унтеру церемониал.

Церемониал особо беспокоил Николая Григорьевича, поскольку был исключительным и во многом отличался от традиционных армейских торжеств подобного рода. Существовало множество лиц, не имеющих к армии никакого отношения, но связанных с формированием ополчения, а потому и обладающих правом присутствия при освящении знамени. Да и само это знамя было необычным, что тоже в какой-то степени пугало сложившийся веками ритуал, оставляя место чему-то, не предусмотренному никакими артикулами. В торжественном священнодействии появлялась возможность стихийной самодеятельности, что вселяло тревогу в тренированную логикой и армейским порядком душу Столетова.

Знамя, которое сегодня предстояло вручить впервые в истории сформированным по образцу современной армии болгарским дружинам, тоже было результатом стихийного творчества. Его расшили шелками жительницы далекого города Самары, предназначая для вос-

ставшего болгарского народа еще прошлой весной, но вручить так и не успели: восстание было быстро и беспощадно потоплено в крови. Сейчас самарцы дарили его тем, кто не просто уцелел после разгрома апрельского восстания, а родился из него, впитав в свои сердца кровь, слезы и боль истерзанной Болгарии,— первым боевыми частям болгарского ополчения. И именно потому, что эти боевые части были прямыми продолжателями апрелевских повстанцев, в символике боевого Самарского стяга ничего не пришлось менять. Воплощенная в шелке идея полностью отвечала духу, настроениям и надеждам всех патриотов Болгарии.

Для торжественной передачи знамени из Самары прибыли городской голова Кожевников и гласный самарской думы Алабин; взволнованные предстоящей церемонией, они с утра мыкались по лагерю, по простоте душевной не понимая, что мешают подготовке. Корректный и очень сдержанный Столетов, неизменно вежливо улыбаясь, уже начинал непроизвольно дергать щекой, встречаясь с самарскими представителями на каждом шагу.

— Господа, для паники нет оснований. Возьмите себя в руки и перестаньте нервничать.

— А его высочество будет? Не передумает? — пугался Алабин.

СOLIDНЫЙ Кожевников был спокойнее. Поглаживая широкую бороду, успокаивал:

— А как же можно без них?

Болгарские священнослужители архимандрит Амфилогий Михайлов, назначенный дивизионным благочинным, и дружинный священник 1-й болгарской бригады отец Петко Драганов, которым предстояло провести длинное и сложное богослужение, держались куда спокойнее самарских представителей. В этом сказывались не только их навыки, но и та боевая выучка, которую они получили еще в прошлом году. Оба представителя болгарского духовенства были участниками апрельского восстания, оба командовали своими прихожанами, отражая натиск башибузуков, а Петко Драганов был в боях и против регулярных турецких войск, защищая Дряновскую обитель. Они уже облачились в приличествующие торжеству парчовые одежды и теперь с невозмутимым терпением ожидали начала.

Командиры выводили дружины, выстраивая каре, в центре которого стоял большой стол, накрытый церковными пеленами. В левой части стола размещались Евангелие, крест, походные дружинные образа и чаша со святой водой; правая половина пока была пуста. На эту половину стола самарские представители должны были положить полотнище знамени, но Столетов распорядился, чтобы и эта акция была выполнена с торжественностью, когда войска построятся и все будет готово для начала церемонии. Поэтому городской голова Самары безотлучно находился в штабной палатке у подготовленного для переноса стяга, а гласный Алабин ходил по пятам за командиром ополчения, вздыхал и с тревогой заглядывал в глаза:

— Не едет? Почему же не едет?

— Я уже докладывал вам, что его высочество прибудет в два с половиной часа пополудни, а сейчас около двух.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство?

Перед Столетовым вырос дежурный офицер. Несмотря на официальный рапорт, он с трудом сдерживал улыбку.

— Прибыл полковник Артамонов с почетными гостями.

— Расположите их слева от свиты его высочества, впереди дружинных колонн.

— Слушаюсь.

— Вы чем-то взволнованы, поручик?

- Все сегодня взволнованы, ваше превосходительство.
- Но не все улыбаются при докладе командиру.
- Виноват, ваше...
- Едут!— издалека закричали махальщики.— Едут!
- Поручик, проводите гостей,— поспешно распорядился Столетов.— Коня!

Со стороны города приближались несколько колясок и верховых офицеров в окружении конвоя терских казаков. В первом экипаже сидели Николай Николаевич старший, генерал Непокойчицкий и великий князь Николай Николаевич младший—сын и личный адъютант главнокомандующего. Столетов протяжно выкрикнул команду и, подскакав, отдал строевой рапорт. Главнокомандующий вышел из коляски, в сопровождении Столетова обошел выстроенные войска, здороваясь и поздравляя с великим днем каждую дружину. Ополченцы громко кричали «ура». Закончив обход, великий князь и Столетов подошли к столу.

- Все готово?
- Так точно, ваше высочество.
- Гость прибыл?
- Стоит левее вас. Высокий, в болгарской боевой одежде.
- Распорядитесь со знаменем.
- Слушаюсь, ваше высочество.— Столетов сделал шаг вперед, громко отдал команду:— Дружины, смирно! Господа офицеры!

Сверкнули на солнце клинки, замерли ополченцы. В полной тишине из палатки вышли оба самарца, неся на руках развернутое знамя. Пройдя к столу, они аккуратно расстелили полотнище на правой части, поклонились главнокомандующему и отошли к свите.

- Готово, святой отец?— негромко спросил великий князь.

Архимандрит с достоинством склонил голову.

- Барабанщик, бой на молитву!— резко выкрикнул главнокомандующий.

Началась неторопливая торжественная служба, установленная для освящения знамен и штандартов. Ополченцы, гости и многочисленные зрители, окружившие лагерь со всех сторон, молились истово и проникновенно. У многих на глазах стояли слезы, и то были не слезы умиления, а слезы гордости за возрождающуюся болгарскую армию.

Молебствие окончилось. Городской голова города Самары Кожевников торжественно подал на блюде главнокомандующему молоток и серебряные гвозди. Великий князь трижды перекрестился и вбил в древко первый гвоздь. Гвоздь пошел криво, но Николай Николаевич все же благополучно достучал его до конца и передал молоток сыну. Затем гвозди вбили генералы Непокойчицкий и Столетов, оба самарских представителя. В полной тишине звонко стучал молоток. После Алабина Столетов хотел передать его своему начальнику штаба, но великий князь остановил его:

- Сейчас время болгарам.— Он оглянулся на почетных болгарских гостей, стоявших левее свиты и, побагровев от натуги, громко выкрикнул:— Вбей и ты гвоздь в святое знамя, Балканский Орел!

Из группы почетных гостей вышел черноусый, с обильной проседью, но еще статный и крепкий старик в расшитом шнурами боевом болгарском наряде, перехваченном широким поясом, из-за которого торчали богато изукрашенные рукояти ятаганов. Это был знаменитый гайдуцкий воевода, гроза Балкан Цеко Петков, тридцать два года воевавший с турками. По обе стороны воеводу торжественно поддерживали два молодых гайдука; лицо того, который шел справа, бы-

ло изуродовано широким шрамом. Взяв из рук великого князя молоток, Цеко Петков снял шапку, в задумчивости провел ладонью по густым усам и, молодо выпрямившись, повернулся к замершим в строю ополченцам:

— Да поможет бог этому святому знамени из конца в конец пройти несчастную землю болгарскую! Да утрут этим знаменем наши матери, жены и сестры свои скорбные очи! Да бежит в страхе все нечистое, поганое, злое перед ним, а за ним да встанет над Болгарией вечный мир и благоденствие!

Сильный голос воеводы дрожал и прерывался от волнения, и это волнение передалось всем, даже главнокомандующий невольно приосанился, милостиво закивав. Цеко Петков наставил гвоздь, с силой ударил по нему молотком, и в этот момент с далеких Балканских гор отчетливо долетел раскатистый удар грома.

— Добрый знак, добрый! — крикнул воевода, преклонив колено и целуя полотнище знамени.

— Ур-ра! — восторженно подхватили ополченские дружины. Тысячи черных шапок одновременно взлетели в воздух. Это было явным нарушением чинного церемониала, и Столетов в растерянности посмотрел на великого князя. Мгновение помедлив, главнокомандующий поднес ладонь к козырьку фуражки, и тотчас же все офицеры, щелкнув каблуками, отдали честь старому болгарскому воеводе, а Николай Николаевич младший лично подхватил его под локоть, помогая подняться с колен.

— Дружины, смирно! — протяжно скомандовал Столетов, и сразу наступила тишина. — Подполковнику Калитину и знаменщику унтер-офицеру Марченко вбить последние гвозди!

В последний раз прозвучал стук молотка. Великий князь завязал бантом ленты знамени и высоко поднял его над головой. Мощно зарокотали барабаны. Столетов, Калитин и Марченко опустили на колени.

— Вручаю вам боевое знамя болгарского ополчения, — громко сказал главнокомандующий. — Не посрамите же его ни трусостью, ни предательством, ни несправедливыми делами. И пуще жизни храните его честь, чтобы никогда ни одна вражеская рука не смела к нему прикасаться!

— Клянусь! — первым сдавленно сказал Калитин, пряча мокрое от слез лицо в скользком шелке знамени.

Ударили отбой. Ополченцы надели шапки и тут же взяли ружья на караул. Раздался грохот барабанов, громко бивших поход, восторженное «ура», и унтер-офицер Антон Марченко торжественно пронес Самарское знамя мимо строя и остановился возле первой, отныне знаменной роты 3-й дружины. После короткого перестроения вновь зарокотали барабаны, и дружины взвод за взводом торжественным церемониальным маршем продефилировали мимо главнокомандующего.

— Благодарю. — Великий князь был очень доволен. — Отменная выучка, отменная организация и отменный порядок. Пригласи от моего имени на обед тех офицеров, которых сочтешь нужным поощрить. Еще раз спасибо, Столетов, порадовал!

Список офицеров для званого обеда составлял подполковник Рынкевич. Он сидел за походным столом, витиеватым чиновничьим почерком выводя фамилии. А Столетов все еще не мог успокоиться и нервно вышагивал по штабной палатке.

— Главнокомандующий особо отметил порядок, — сказал он, оставившись напротив начальника штаба. — Как фамилия дежурного офицера?



— Сию минуточку, Николай Григорьевич.— Рынкевич заглянул в списки.— Караул был наряжен от Третьей дружины. Дежурный офицер — ротный командир поручик Олексин.

— Включите его в списки приглашенных и выразите ему при случае мою признательность.

— Будет исполнено, Николай Григорьевич,— сказал подполковник, аккуратно занося фамилию отличившегося офицера в списки приглашенных на торжественный обед от имени великого князя главнокомандующего.

6

Поручик Олексин так и не попал на праздничный обед. Сдав дежурство и еще не получив официального приглашения, он тут же возле караулки встретил молодого, нарядно одетого гайдука с обезображенным шрамом лицом.

— Жду вас, поручик. Вот мы и свиделись наконец.

Гавриил молча обнял Стойчо Меченого. Постояли, улыбаясь и с удовольствием разглядывая друг друга.

— Я знал, что непременно встречу вас, Стойчо, на этой войне,— сказал Олексин.— Или, по крайней мере, услышу о ваших делах.

— Я за вами, поручик.— Меченый взял Гавриила под руку.— С вами хочет познакомиться мой воевода Цеко Петков.

— Кажется, тут намечается какое-то торжество.

— Воевода отговорился, он не любит официальных приемов в присутствии августейших особ. Мы собрались скромно в своем землячестве.

Разговаривая, молодые люди миновали лагерь, направляясь в город. Гавриил подумал было, что следовало доложить о своем уходе командиру дружины Калитину, но решил, что подполковник и так сочтет его уход оправданным.

— Как поживает ваша сестра, Стойчо? Она все еще в отряде?

— Вышла замуж,— улыбнулся Меченый.— А мужа вы знаете — Бранко.

— Прекрасная пара. Передайте им мои поздравления, если случится.

— С удовольствием. Мы хотим как можно скорее вернуться в Болгарию. Мы очень нужны там.

— Придется прорываться с боями?

— Вряд ли. Кирчо знает тропы, а туркам сейчас не до нас. Вы не встречали Отвиновского?

— Отвиновский погиб почти у меня на глазах. Турки окружили роту, а среди пленных его не оказалось.

— Тогда он ушел,— сказал Меченый.— Пробрался через Сербию, Болгарию, разыскал нас.

— Что вы говорите, Стойчо!

— Да, это так. Сражался вместе с нами против турок, а потом Кирчо провел его к Дунаю и переправил к вам.

— Зачем?

— Он хотел во что бы то ни стало попасть в Россию. На Волынь, что ли. В какое-то имение, к какой-то кузине. Говорил, что дал слово побывать там.

— На Волынь? — Поручик долго шел молча.— Знаете, Стойчо, Отвиновский бесспорно человек чести, но сколько же в нем холодной жестокости... Впрочем, я не прав, на войне другие мерки.

— На войне как на войне,— пожал плечами гайдук.

— Да, на войне как на войне,— вздохнул поручик.— Но прийти к

матери и сказать, что я сам, собственными руками...— Он запнулся.— Я видел много смертей и много ужасов, но так и не понял, как же следует поступать.

— Вероятно, все зависит от обстоятельств.

— Не знаю,— задумчиво сказал Гавриил.— Никак не могу разобраться, какая разница между человеком, который воюет, и человеком, который спокойно сидит дома. Один не только имеет право, но и обязан убивать, а другого за это же ждет бесчестье и каторга. А что, в сущности, меняется? Совесть? Нравственные принципы? Вы можете убить человека не в бою, Меченый?

— Смотря какого человека,— усмехнулся Стойчо.— Странные у вас мысли для боевого офицера.

— Полагаете, они мешают мне воевать?

— Они мешают вам жить, поручик. Думать об этом будете после войны.

— Нет, Стойчо, думать об этом надо всегда. Всегда, даже в бою. Иначе мы рискуем превратить род человеческий в банду убийц и грабителей.— Он помолчал и неожиданно добавил:— Турки казнили Карагеоргиева. У него была мучительная смерть, очень мучительная.

— Вечная память,— помолчав, сухо сказал гайдук.— Мы пришли, поручик. Пожалуйста, не говорите с воеводой о морали и праве человека на убийство: на его теле двадцать восемь турецких ран.

В небольшом зале скромной болгарской кафаны собрались только мужчины. Большинство было в форме ополченцев или в живописном гайдукском наряде, но среди них мелькали сюртуки, безрукавки и куртки обывателей, с почетом принимавших у себя легендарного Балканского Орла. Сам почетный гость сидел во главе стола; когда Меченый представил ему Олексина, воевода встал и протянул Гавриилу глиняную кружку с вином:

— На здраве!

— На здраве! — хором откликнулся стол.

Отхлебнув изрядный глоток, Петков разглядел пышные, переходящие в густые бакенбарды усы и молодо улыбнулся.

— Садись, поручик, ты всегда будешь желанным гостем за болгарским столом. Мне было семь лет, когда турки до полусмерти избили моего отца. Я кричал и плакал от гнева и боли за него, и моя старая бабка сказала мне: «Не плачь, мальчик, ты еще доживешь до того времени, когда из-за Дуная придет большой дядя Иван и выгонит с нашей земли всю турецкую погань». Я дожид до того дня и плакал сегодня второй раз в жизни, но плакал от радости. Запомним этот день, болгары! Запомним лица наших братьев, отложивших в сторону многотрудные дела свои, чтобы взять меч и помочь маленькому народу сбросить османское иго. Честь им и слава!

Уже много месяцев Гавриил жил в каком-то безразличии. Он не вспоминал о далеком доме и избегал шумных компаний. Он никому не писал, ни от кого не получал писем и не ждал их более. Ему было все равно, принимать участие в этой войне или уехать куда-либо подальше от театра военных действий. Отныне он подчинялся судьбе, не пытаясь сопротивляться. Он словно плыл по течению, отдавшись ему с равнодушной покорностью. Он не просто устал бороться, он разуверился в том, что когда-то составляло смысл его борьбы, а искать какой-либо иной, новый смысл не было ни сил, ни желаний.

Он не пытался понять причин своего подавленного состояния, но сейчас чувствовал потребность вспомнить, когда же это началось, где лежал рубеж между его вчерашним и сегодняшним «я». Причиной тому была встреча со старыми друзьями, которые, к его удивлению, остались такими же, какими Гавриил помнил их еще по Сербии.

Нет, он внутренне сломался не тогда, когда валялся в лагере для военнопленных, не тогда, когда зарезал турка, и даже не тогда, когда опустил в мутные воды Моравы отрубленную голову Совримовича. Наоборот, тогда он испытывал холодную ненависть и нетерпеливое желание мстить. С этими чувствами он вышел к своим, к остаткам разгромленного корпуса Хорватовича, сколотил отряд и, отступая по лесам, на свой собственный страх и риск бил турок где только мог. Огнем и упорством прорвался к регулярным частям, еще сдерживающим турецкий натиск, получил участок обороны и держал его с ожесточением, удивлявшим многих из русских волонтеров: «Вы фанатик, поручик». «Побывайте в турецком плену, господа». «Но вас боятся ваши же солдаты!»

Он знал, что его боятся. С ним не было тех, прежних, кому он мог довериться. Ни болгар Стойчо Меченого, ни опытного Отвиновского, ни рассудительного Совримовича, ни преданного Захара. Он мог рассчитывать только на собственную отвагу, собственный опыт и собственную рассудительность, добиваясь от своих бойцов не преданности, а подчинения. И когда в бою кто-то из волонтеров бросился назад с криком: «Обходят!..» — он не стал никого уговаривать. Ни секунды не колеблясь, он всадил пулю в спину паникера, сразу остановив начавшееся бегство. «Вы шутить не любите, поручик», — сказал командир бригады полковник Карташов после боя. «Рота удержала позиции, господин полковник». Поаковник был стар и добродушен, красные от бессонницы глазки его смотрели устало и жалостливо. «С чем домой-то вернетесь, голубчик? Русского ведь убили. Русского». — «Трус не имеет отечества». — «Сколько вам лет?» — «Двадцать четыре». «Двадцать четыре, — вздохнул полковник. — Как жить-то будете с этаким вулканом в душе?» «Думаю, как воевать, а не как жить. Это важнее». «Нет, голубчик, нет, — вздыхал полковник. — О жизни надо думать, всегда о жизни. Даже в аду кромешном». За этот бой поручик получил Таковский крест. Сербы ставили его в пример, предлагали повышение, но он не оставил своих. Он не искал более карьеры, он искал боя.

Вскоре дорогу к ним почему-то забыли те, кто доставлял еду и патроны. Более недели бригада отбивалась считанными залпами и штыками, питаясь несоленой, кое-как сваренной кониной. Полковник Карташов рассылал посыльных, но они не возвращались. На офицерском совете он предложил отступить, но Гавриил решительно воспротивился, увлек за собой большинство, и командир бригады развел руками: «Вы сами выбрали свой жребий, господа».

Вскоре турки предприняли решительное наступление. Рота Олексина остервенело отбивалась до вечера, а что было потом, Гавриил узнал уже впоследствии. К исходу того страшного дня, когда оставались одни штыки да обреченное упорство, он был тяжело ранен. Рота легла почти вся, прикрывая тех, кто волок на шинели истекавшего кровью командира.

В госпитале поручик узнал, что им не передали приказа на отход. Посыльный струсил, порвал пакет, адресованный Карташову, и бежал в тыл. Кажется, там, в забытьи, на грани жизни и смерти Олексин впервые задумался о восторге, с которым пришел на сербскую войну, и о крушении идеалов сейчас. В бреду к нему приходили те, кого уже не было в живых, кого он посылал на смерть, и Гавриилу нечего было сказать ни в свое оправдание, ни в оправдание их гибели.

Война кончилась куда тише и скромнее, чем началась, и хотя турки так и не посмели вступить в Белград, Гавриил чувствовал себя побежденным и раны его заживали плохо. Рассеянные по Сербии русские волонтеры стягивались в лагерь, залечивали раны, небольшими

партиями пробирались на родину. Перед возвращением в Россию полковник Карташов разыскал Олексина в госпитале. «Скверно,— сокрушенно вздыхал он, горестно качая лысой головой.— Ах ты боже ты мой, как же все скверно. Вот видите, книжицу целую именами погибших исписал. Листаю синодик сей каждый день: сын крестьянский, сын купеческий, сын дворянский — вся Россия тут. Клятву себе дал: как отечества достигну, так непременно всех родителей погибших навещу. Лично о геройстве сынов их поведаю, панихиды отстою. Чести служили мы, голубчик, чести». «Смерти, а не чести,— сказал Гавриил.— Война — это торжество смерти». «Неужто так полагаете? — тихо спросил полковник.— Страшная это мысль, Гавриил Иванович. Страшная!»

Отставной полковник Карташов не достиг отечества, не известил родных погибших подчиненных и не отстоял по ним ни одной панихиды. Накануне отъезда его убили мародеры, польстившись на грошовое волонтерское вознаграждение.

Нелепая гибель Карташова потрясла поручика. Отныне любая война представлялась ему жестокой бессмыслицей, любая насильственная смерть — преступлением. Он возвращался в Россию с твердым намерением никогда более не служить тому делу, которое отныне полагал бессмысленным и бесчеловечным. Но помимо его воли сложилось так, что он вновь надел мундир. А сейчас сидел среди тех, для кого война была не просто профессией, а самым смыслом существования, кто с гордостью вел счет убитым врагам и мечтал о том, чтобы счет этот увеличить. Он не очень хотел идти сюда, опасаясь шумных разговоров и расспросов. Но здесь, в маленьком зале кафе, на его молчаливую сосредоточенность никто не покушался. Нет, его не забыли, к нему были очень предупредительны и внимательны, но все делалось легко и тактично, никто не досаждал излишней опекой, и Олексин скоро почувствовал давно утраченный покой. Через стол от него сидел веселый Митко, хитро подмигивавший ему, когда взоры их встречались; правее улыбался хмурый Кирчо, а слева он чувствовал и плечо и ненавязчивое внимание Стойчо Меченого. Поручик ел привычную скару, пил румынское вино, слушал песни и ощущал себя среди своих.

Было уже поздно, когда в кафану вошел полковник Артамонов в сопровождении поручика Николова. Сдержанно поздоровавшись, сел к столу, вежливо пригубил предложенное вино и негромко сказал:

— Вам придется задержаться у нас, господин Петков. По моим сведениям, турки перекрыли дороги, и мы не можем рисковать вашей жизнью.

— На Балканах осталась моя чета.

— К ней как-нибудь проберутся Меченый и Кирчо. А вас мы просим пожить пока в лагере среди ополченцев. Там много молодежи: они горячо рвутся в бой, но еще не нюхали пороху. Вам есть чему поучить и от чего предостеречь их, воевода.

— Когда же я вернусь на родину?

— Вместе с нами, господин Петков. После форсирования Дуная.

— Когда же это будет? — спросил Митко.

Полковник медленно повернулся в его сторону. Посмотрел, сказал, помолчал:

— В свое время, юнак.

Воевода тяжело вздохнул, покачал большой, с густой проседью головой:

— Так, это решено. Я посылаю к вам человека, полковник. Кирчо сказал, что он дошел до вас. Где он и что с ним?

— Вы говорите о пане Отвишовском? — Полковник чуть улыбнулся.— Он испросил у меня разрешения навестить друзей на Волини.

— Он вернется? — спросил Олексин.

— Планы Отвиновского мне неизвестны, поручик. От того места, куда он так рвался, не очень-то далеко до Польши. Не удивлюсь, если он окажется там. Зайдите завтра ко мне, Меченый, я укажу место переправы. На этом позвольте откланяться. Дела.

Артамонов встал, поклонился воеводе, кивнул остальным и вышел. Все молчали.

— Скажите, Николов, Отвиновский действительно поехал на Вольты или... — Меченый вдруг оборвал вопрос, придав этим ему какую-то особую многозначительность.

— Я сам сажал его на поезд, — нехотя сказал поручик. — А где он окажется потом, не знаю.

— Вот потому-то я и спросил, — хмуро буркнул Стойчо, выразительно посмотрев на Олексина.

За столом повисло молчание.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Воинский эшелон из платформ, занятых артиллерийскими орудиями, фурами и зарядными ящиками, из теплушек с конским и людским составом и двух классных вагонов для офицеров нещадно трясло и бросало на узкой заграничной колее. Офицеры пробирались из купе в купе, цепляясь за стенки и потирая ушибленные места.

— Казнь египетская, а не перегон, — ругался капитан Юматов, боком влетая в купе. — Нет, господа, я за старые способы передвижения. Тише едешь — целее будешь.

— Вы ретроград, капитан, — сказал Тюрберт. — Начинается век бешеных скоростей, это только цветочки.

— Ну, даст бог, до ягодок я не доживу, — проворчал капитан.

Он был старше других офицеров, картам и выпивкам предпочитал книги, за что к нему относились с изрядной долей иронии. В отличие от него собравшиеся у Тюрберта полковые приятели воспринимали дорожные неудобства как развлечение.

— Очень удобно спать, господа, — разглагольствовал розовощекий прапорщик. — При толчках отсеиваются всякие волнующие сновидения.

— Если бы нам грозила только скорость, я бы приветствовал век грядущий, — сказал черноусый майор с длинными восточными глазами. — Но я боюсь, что ученые бестии в конце концов низведут наше искусство до ремесла. И для того чтобы, скажем, попасть с первого выстрела в гарцующего на коне вражеского полководца, понадобится посмотреть в какую-нибудь хитрую зрительную трубку. И любой безграмотный остолоп будет стрелять несколько не хуже выпускника академии. Как, Тюрберт, вы согласны жить в таком веке?

— Я встречу этот век в возрасте пятидесяти двух лет, — сказал Тюрберт, аккуратно подпиливая ногти. — К тому времени я безусловно буду счастливым мужем и отцом трех... нет, маловато — пяти детей и, конечно же, генералом. — Он полюбовался ногтями и спрятал пилочку в футляр. — Думается мне, что майор спутал искусство артиллерийского офицера с искусством артиллерийского наводчика. Наводчик целится и стреляет, а офицер указывает, куда целиться и когда стрелять. Поэтому офицерское искусство бессмертно: оно не зависит ни от каких ученых трубок. Оно основано не на механике, а на долге и чести.

— Эка хватили! — Капитан Юматов с усмешкой покачал головой. — Это все буквалистски понятые философии, материи и иллюзии,

господа бомбардиры. Уж ежели додумаются до трубок, о которых говорит майор, так додумаются и до ваших донкихотских представлений о чести.

— Как это вы себе мыслите? — спросил Тюрберт. — С помощью клистира для мозгов или еще как?

— Клистир для мозгов будет наверняка, — улыбнулся майор. — Тут, Тюрберт, вы заглянули в корень.

— Дальность стрельбы, — подняв палец, важно сказал капитан. — Дальность стрельбы — вот в чем вся штука.

— Что дальность стрельбы? — не понял прапорщик. — Вы говорите загадками.

— А то, вьюнош, что эта самая дальность перевернет все наши морали вверх тормашками. Вот сделает господин Крупш пушку длиной с версту и доведет ее дальность до того, что из Берлина можно будет стрелять по Петербургу. Ну и при чем тут тогда ваша честь, долг, мораль, жалость и прочая ахинея? Когда наводчик не видит, где рвется его снаряд, он, господа бомбардиры, свободен от всех грехов разом. Коль не видишь и не слышишь, так и не разумеешь — вот каков результат. Бабах — и полтысячи душ разнесло по вселенной, так и в ре-ляциях писать станут, то-то радость читающей публике. А каких именно душ — детских или женских — пушке все равно.

— Страшная картина, — усмехнулся Тюрберт.

— Но правдивая, — сказал майор. — В самом деле, что можно противопоставить желанию господ стратегов выигрывать войны любой ценой?

— Честь, — упрямо тряхнул головой подпоручик. — Если люди не растеряют ее, так и Крупш такой пушки не сделает. И никто не сделает, если сохранится понятие чести и благородства. Однако если допустить, что тезис отцов иезуитов «цель оправдывает средства» восторжествует в каждодневной жизни, я ни за что уже не поручусь.

— Ага, — сказал Юматов, — все же допускаете это через «однако». Значит, и ваша душа смущена, Тюрберт, смущена духом практическим, коим, как сквозняком, из всех щелей несет. Чувствуете этот ветер, господа бомбардиры? Это ветер века грядущего: отдайте ему честь и... и сдайте ему сабли.

— Это почему же, позвольте? — обиделся вдруг прапорщик. — Это я не понимаю. Почему мы должны сдать сабли?

— Потому что капитан Юматов опять всю ночь просидел над Спенсером, Шопенгауэром или еще над каким-либо очередным заумным немцем, — сказал Тюрберт. — И это вместо того чтобы безмятежно играть в винт.

— Кстати, насчет винтика, — оживился майор. — Может...

Открылась дверь, и в купе заглянула усатая, красная то ли от ветра, то ли от усердия физиономия унтер-офицера Гусева.

— Виноват, ваши благородия, — сдерживая дыхание, сказал он. — Водички не найдется?

— Ты откуда взялся, Гусев? — удивился Тюрберт.

— Так из вагона своего, ваше благородие. Сперва по крыше, потом, стало бгть, по платформе, нотом обратно по крыше, а там и к вам. Мне бы водички.

— Пить захотелось? — строго спросил капитан. — А ну дыхни!

— Да не извольте думать, тверезый я, — сказал Гусев с досадой. — Мне бы ведра два.

— Ого! — сказал прапорщик. — А мы всю в самовар вылили.

— Что случилось, Гусев? — спросил Тюрберт.

— Да так... — Гусев замаялся. — Сами справимся, водичка была бы.

— Говори, в чем дело.

— Да ящик зарядный горит на платформе,— с большой неохотой сообщил унтер.— Да вы не беспокойтесь, ване благородие, там уж расчет тушит.

— Ящик? — Подпоручик вскочил.— Пять нудов снарядов, соображаешь? Если рванет, эшелону конец, балда стоеросовая. Веди!

Следом за Гусевым, виновато бормочущим: «Да не извольте же вы беспокоиться», Тюрберт, майор и юный прапорщик кинулись из купе. Капитан Юматов открыл окно и по пояс высунулся из него, пытаясь разглядеть, где горит. Но платформа с зарядными ящиками была прицеплена через теплушку от классного вагона и увидеть из окна, что там творится, было невозможно. Убедившись в этом, Юматов закрыл окно, сел у столика и хладнокровно закурил.

В тамбуре молчаливый денщик Тюрберта колдовал над самоваром, оберегая его от вагонной качки. Увидев Гусева и ворвавшихся следом офицеров, вытянулся и лаконично доложил:

— Закипают.

— Вся вода тут,— сказал Тюрберт.— Дотащивъ?

— Дотащу. Только подайте, как на крышу взлезу.

Унтер открыл дверь и ловко полез на крышу. Тесный тамбур сразу наполнился грохотом колес, стуком и скрежетом металла. Ногой сбив горячую трубу, Тюрберт схватил самовар и, свесившись со ступенек, аккуратно за ножки поднял его над головой. Вагон немилосердно бросало, из-под крышки самовара выплескивалась горячая вода. Тюрберт громко ругался, но терпел: майор держал его за расстегнутый мундир.

— Бери, Гусев!

— Сейчас, ваше... Зацеплюсь только.

— Осторожней, на меня не плесни. Да бери же ты, холера, горячо ведь держать.

— Ну беру, беру.

Передав закипающий самовар Гусеву, Тюрберт тут же стал подниматься на крышу, подтягиваясь на скобах. Прапорщик хотел было последовать за ним, но майор бесцеремонно отбросил его, крикнув:

— Запрещаю! Ступайте в вагон и успокойте офицеров!

Пока майор взбирался на крышу, прапорщик успел пробежать вдоль всего вагона. Он распахивал двери каждого купе и кричал:

— Спокойно, господа! Сейчас взорвемся!

На узкой, круто выгнутой крыше вагона пывыряло, трясло и мотало так, что Тюрберт не мог встать на ноги. Рядом на четвереньках стоял майор, уцепившись за вентиляционную трубу, а Гусев, сидя на корточках, держал отчаянно дымивший самовар на вытянутых руках и выжидал мгновение, когда можно будет выпрямиться и одним прыжком перепрыгнуть на крышу соседней теплушки.

— Положеньице! — кричал майор.— В жизни не попадал в такую передрагу! Чего вы ржете, как жеребец, Тюрберт?

— Не могу!..— На подпоручика напал безудержный приступ смеха.— Смертельный номер на крыше вагона!..

— Ну, господи, благослови! — крикнул Гусев и прыгнул на соседний вагон, по-прежнему держа дымящий самовар на вытянутых руках.— Сигайте, ваше благородие! — радостно кричал он оттуда.— Подсобите с самоваром, мне одному не управиться!

— Чай будем пить на платформе, майор! — Тюрберт вскочил, оттолкнулся и с грохотом упал на соседнюю крышу.— Прыгайте, майор!

— Не получается! — Майор несколько раз честно пытался встать и изготавиться для прыжка, но вагон бросало, и он тут же испуганно падал на колени, цепляясь за вентиляционную трубу.

— Черт с вами, майор!..

Пригнувшись, Тюрберт бежал по крыше. В конце его подбросило внезапным толчком, но он успел присесть и ухватиться за железо.

— В рост-то не бегай! — с укоризной кричал Гусев. — Ты ж длинный, ваше благородие, ты ниже пригинайся, ниже! Держи самовар!

Тюрберт принял самовар. Теперь подпоручик лежал на краю крыши и отчетливо видел платформу, заставленную ящиками и орудиями. Один из ящиков горел, ветер раздувал пламя, и искры летели во все стороны. Вокруг него суетились солдаты, шинелями, шапками, а то и просто руками сбивая огонь. Он исчезал, из-под толстых досок шел густой белый дым, а потом вновь летели искры и вырывались языки пламени: ветер начинал пожар заново.

Гусев уже спустился на платформу. Он стоял на вагонных буферах, широко расставив ноги. Сзади его в обхват держал артиллерист в раздутой колоколом и прожженной во многих местах рубахе. Унтер тянул вверх руки и надсадно кричал:

— Кидай самовар! Самовар, говорю, кидай! Кидай, поймаю!

Тюрберт изловчился и, раскачав самовар, выпустил. Гусев ловко поймал его за горячие бока, перехватил и уже за ручки потащил к горящему ящику, а солдат перелез на его место, чтобы помочь подпоручику спуститься на платформу.

Вскоре с огнем и искрами было покончено. Пламя залили водой, обгоревшие места укутали шинелями; довольные солдаты сидели вокруг ящика, еще не чувствуя холода на пронизывающем ветру.

— Ну, теперя, ребята, все. Задохся он.

— Вода — первое дело.

— А я думал — не поспеем. Пра слово, думал — взорвет!

— Слава богу, обошлось. Слава богу!

Тюрберт дул на ошпаренные ладони, морщился. Возбуждение его еще не улеглось, холода он пока тоже не чувствовал и даже не запахивал мундир. Гусев принес шинель, набросил ему на плечи.

— Укройся, ваше благородие. Застыгнешь.

— Мерзавцы, — беззлобно сказал подпоручик. — Как все это случилось?

— Должно, искра. С паровоза. Ишь как он разошелся, что твой самовар.

— Усиль караул, Гусев. На станции набери воды в ведра, вели дневальным ящики поливать.

— Слушаюсь, ваше благородие. — Унтер добродушно улыбнулся. — Что, руки ошпарил? Дуй сильнее, до свадьбы заживет.

— Нет, Гусев, ошибаешься, как раз до свадьбы-то и не заживет, — весело сказал Тюрберт. — Свадьба у меня через десять дней, вот какая история. Эй, ребята, слазайте кто-нибудь на классный вагон да майора снимите, а то он там до самых Плоешт на карачках просидит.

## 2

— Как проехать к господам Совримовичам?

— Чого? — переспросила классическая свитка с вислыми запорожскими усами. — Мабуть, вам до пана Андрия Совримовича? Так его же нету. Он же вже битый.

— Да в Климовичи ему, в Климовичи, — поспешно вмешалась породная запорожцева жинка. — То на Климовичи вам, верст семь або десять.

— Довезешь?

— Ни, не повезу, — сказал запорожец. — То ж в Климовичи, а мне не в Климовичи.



Отвиновский не умел уговаривать. Отказ он всегда воспринимал в его окончательной форме и поэтому тут же повернулся спиной к запорожцу.

— Та куда ж вы, пане милостивый? — расстроилась добрая баба. — То ж мы не в Климовичи, а ось та бричка, так та в Климовичи.

— И она не в Климовичи, — упрямо не согласился запорожец.

— Да чога ж не в Климовичи, когда зараз в Климовичи? И кони те из Климовичей, бо у их сроду овса доброго не было

— То у нас овса сроду не было, а у их...

Отвиновский уже шагал через разъезженную площадь к одинокой бричке, запряженной парой поджарых коней. Вечерело, накрапывал дождь, и вокруг не было ни души. Но бричка стояла возле питейного заведения, и Отвиновский не сомневался, что рано или поздно владелец ее отыщется.

Владельцем оказался угрюмый верзила, заросший по самые брови бурой, сроду не чесанной шерстью. Он потребовал полтину вперед, тут же торопливо выпил еще и взгромоздился на передок.

— Но, халявы!..

Заморенные кони тащились с убийственной неторопливостью, бричку трясло, и Отвиновский, сунув саквояж под сено, шел по обочине. Однако вскоре началась такая черноземная грязь, что пришлось-таки пристроиться позади пропахшего всеми кабацкими запахами необъятного кожуха **вЪзницы**.

— Кто в именье живет?

— Чого?

— Кто, говорю, у Совримовичей сейчас?

— Люди.

— Какие люди? — не понял Отвиновский.

— А уси — люди. И чоловики — люди и жонки — люди.

— И много их там?

— Кого?

— Да людей, кого же еще?

— А кто их знает. — Возница гулко икнул. — Хороша горилка у шинкаря. С духом. А у их горилки немає.

— У кого?

— Та у их, у жонок. — Верзила передернул вожжами. — Но, халявы! Пан на войне загинул, зачем им теперь горилка?

— Значит, одни женщины остались?

— Чого?

— В именье, говорю, одни женщины теперь?

— Не, двое их. Стара да паненка. А горилки немає. И горилки немає и радости немає. Черно.

— Черно, — вздохнув, повторил Отвиновский.

— Как в печи нетопленной. — Возница сокрушенно покачал головой. — Был пан — так и печь топилась, нет пана — так и хлеб с водой. Коли усих чоловиков побьют, то и уси печи погаснут.

Отвиновский промолчал. Он еще в отрочестве взял в руки оружие и с той поры убивал и делал все, чтобы не убили его самого, но никогда еще война, ставшая судьбой, не обнажалась перед ним столь ясно и беспощадно, как обнажилась она в корявых словах подвыпившего верзилы. «Значит, когда гибнет человек в его доме гаснет огонь, — думал он. — Как просто все: смерть — и потухший очаг. И нет тепла в доме. И женщины молча сидят у остывшего пепла и жуют хлеб, запивая холодной водой. И, может быть, совсем не от бедности, а оттого, что не для кого более готовить обед. Сколько же мы потушили очагов и сколько еще потушим...»

Он распрощался с возницей у старых, с облупившейся штукатуркой кирпичных столбов, ворота с которых были давно сняты, и по заросшей дороге пошел через запущенный сад. Дорога вывела его к одноэтажному, несуразно длинному дому с двумя крыльями; было уже темно, но во всем доме только в двух окнах горел свет. Он остановился у крыльца, долго вытирал ноги, ожидая, что кто-нибудь пробежит по двору, выйдет, окликнет его, что хотя бы залает собака, но вокруг было тихо, сыро и печально. Он вздохнул, старательно отряхнул макинтош от дождевых брызг и постучал в дверь.

Открыла чернявая толстая женщина в переднике, испачканном мукой: то ли кухарка, то ли прислуга за все. Он представился, спросил госпожу Совримович, но баба смотрела настороженно и молчала.

— Кто там, Тарасовна? — спросил женский голос, показавшийся ему усталым и безразличным.

— Да вас спрашивают.

— Такпусти.

— Да не бачила я их прежде.

— Проведи в комнату, пусть обождут.

Кухарка нехотя посторонилась. Отвиновский мимо нее протиснулся в переднюю, снял макинтош и шляпу, повесил их куда указали и прошел в маленькую комнату, заставленную старой и случайной мебелью. Дверь за ним закрылась, и он остался один, не зная, куда сесть и следует ли вообще садиться. Впрочем, скоро открылась другая дверь, и в комнату вошла пожилая рыхлая дама с седыми волосами, густыми, еще черными бровями и заметными усиками. Отвиновский поклонился и назвал себя.

— Я друг вашего сына.

— Мой сын погиб, сударь,— строго сказала барыня.— Однако же садитесь.

— Он погиб у меня на руках,— сказал Отвиновский, садясь на подозрительно зашатавшийся стул.— Я дал ему слово повидать вас и рассказать...

Он замолчал, заметив, что госпожа Совримович со странным ужасом смотрит на него. Увидел, как жалко дрожат болезненные мешки под круглыми темными глазами, как судорожно дергаются губы, и торопливо повторил:

— Да, да, он умер у меня на руках...

— Оля! — вдруг громко крикнула барыня.— Оля, поди же сюда, поди! У нас друг Андрюши, он видел, как погиб, как погиб... Собственными глазами!..

Потом, вспоминая это мгновение, Отвиновский всегда связывал его с шорохом, а не стуком, словно Оля летела к нему, шурша крыльями, а не стучала каблучками по истертому полу. Она и вправду влетела: развевающийся подол еще оставался в другой комнате, а сама Оля уже стояла перед ним.

Совримович называл ее красавицей и успел признаться, что был влюблен. Как все влюбленные, он преувеличивал красоту той, о которой мечтал: красивыми у Оли были одни глаза — черные, глубокие, в пол-лица. Перед Отвиновским стояла очень живая, вероятно, смешливая и стремительная барышня с детской грудью, длинной нежной шеей и нервными худыми руками, которые она сплела пальцами и так стиснула, что суставы стали совсем белыми.

— Вы друг Андрея?

Взгляды их столкнулись, и она замолчала. Не в замешательстве, ибо для него не было никаких резонансов, а по той таинственной причине, по которой зачастую мужчина и женщина, лишь однажды заглянув друг другу в глаза и еще не будучи знакомы, без всяких размыш-

лений и доводов рассудка узнают того, кого неосознанно ждали всю жизнь. Узнают судьбу свою и общую, уже неотделимую от своей, уже единую для двух сердец, и оба эти сердца в такое мгновение начинают биться согласно и восторженно. И поэтому молодые люди продолжали молча смотреть друг на друга. Оля первой опустила глаза и, покраснев, спросила:

— Значит, вы с ним вместе были там? В Сербии?

— Да, мадемуазель.— Отвиновский в задумчивости провел ладонью по лбу, не понимая, что с ним происходит и отчего так радостно забилося сердце.— Я познакомился с ним в штабе Черняева, когда Андрей уже носил черную косматую бороду, потому что ему взрывом опалило лицо...

Он замолчал, подумав, что говорить нужно не о том, что претерпел Совримович на чужбине, а о чем-то хорошем, добром, уютном. Но им — и кузине, в которую безнадежно, как вдруг подумалось Отвиновскому, был влюблен Совримович, и его матери, — им сейчас важно и дорого было все о близком человеке, погибшем где-то далеко-далеко от дома, в чужой земле и на чужой войне. И он весь долгий вечер рассказывал им все что знал, что пережил сам, шаг за шагом приближаясь к тому моменту, когда он сказал: «Прощайте, друг» — и нажал спусковой крючок револьвера. Сейчас Отвиновский все помнил, все видел и все слышал и, рассказывая, все время лихорадочно думал, как же ему обойти эти последние страшные секунды. Он столько лет воевал, столько лет был лишен семьи, общества, общения с милыми, воспитанными женщинами, что давно уже научился обманывать даже во спасение, и теперь с ужасом ожидал, что рано или поздно он признается в том, что он сам, собственными руками застрелил Андрея Совримовича.

Но разговор уже переставал быть плавным. Он уже прыгал и разветвлялся, отходя от случаев с Андреем, переключаясь на иные случаи, обрастая подробностями. Первое время Отвиновский не решался говорить о другом, коротко отвечал на вопросы и снова возвращался к Совримовичу. Но потом понял, что слушательницам нужны именно подробности, а не сам рассказ; им чисто по-женски хотелось знать, с кем дружил их Андрей, что ел и пил, где спал и тепло ли одевался. И вздохнул с облегчением: он и не предполагал, что женщины, оказываясь, всегда интересуют подробности жизни, а не подробности смерти.

Теперь рассказов хватало на все вечера, потому что он начал рассказывать о жизни. Смерть конечна и однозначна, а жизнь не имеет ни концов, ни начал, и Отвиновский вдруг сам ощутил эту безграничность и обрадовался ей. Он словно переживал заново то, что когда-то происходило с ним, но происходило торопливо и напряженно, в постоянной борьбе, а потому походило скорее на какой-то набросок жизни, чем на нее самое. И только сейчас, в воспоминаниях, он жил неторопливо и осмысленно, внимательно вглядываясь в людей и события. Ему казалось, что только теперь он начинает понимать и этих людей и все, что происходило тогда.

Старая барыня была очень больна и вставала только к вечерним рассказам. А днем Отвиновский часами гулял вместе с Олей по старому, запущенному саду. Звенели птицы, звенели соки в деревьях, звенела молодая листва — звенела сама жизнь в эти прекрасные весенние дни.

— Мы всегда жили очень скромно.— Теперь Оля все чаще рассказывала о себе.— Когда Андрей учился, все деньги уходили на учебу, но это было как-то привычно. А когда он погиб, нам пришлось продавать последнее и экономить на дровах. Сейчас мы живем

в самой серединочке дома, а крылья всю зиму не топились, пустуют и разрушаются. Я хотела идти в гувернантки или в компаньонки, но здесь мало кому нужны такие нахлебницы. Вы думали когда-нибудь о богатстве?

— Нет,— сказал он.— Я не знаю, о чем я думал. О свободе? Нет, я не думал о свободе, я просто хотел ее, как голодный хочет куска хлеба. Хотел, даже не мечтая.

— А о чем вы мечтали?

— Мечтал? — Он задумался.— Я не умею мечтать. Я умею стрелять, скакать на лошади, рубить с обеих рук. Вы сказали о богатстве, а я не знаю, что это такое и зачем людям нужно богатство. Людям нужно есть и пить, одеваться и иметь теплый угол — вот, пожалуй, и все, что им нужно. А богатство... Я бы собрал все богатства какие только есть и купил бы на них хлеб и одежду для тех, кто голоден и раздет.

— Рядом с нами живут очень богатые люди, однажды я была у них...— она запнулась,— по делам. Меня приняла сама хозяйка, а я смотрела на ее уши. В каждой серьге у нее сверкало по бриллианту, на который можно было бы накормить и одеть половину уезда.

— Вы пытались получить службу?

— Золушек приглашают на балы только в сказках,— грустно улыбнулась Оля.— Мне было сказано, что если бы я была французской или англичанкой, то они бы, пожалуй, подумали, как мне помочь.

— А еще где-нибудь вы искали место?

— Искала.— Оля невесело усмехнулась.

— И там тоже отказали?

— Напротив, там обещали райскую жизнь.

— И что же?

— Я убежала. Бегом и немедленно.

— Почему? — Он спохватился: — Извините, я не имею права расспрашивать вас.

— Отчего же? Мне предложили большое жалованье и даже намекнули на богатые подарки, если я... хорошо пойму свои обязанности. И за все это я должна была читать романы хозяину дома.

— Всего-навсего?

— Всего-навсего. По вечерам и перед сном. А хозяин — шестидесятилетний старик с такими глазами, что я бежала оттуда три версты без передышки. А теперь жду, не придется ли бежать обратно. Простите, мне не следовало об этом говорить, но ведь вы сказали сущую правду: человеку не нужны богатства, ему нужно лишь есть, пить, одеваться и иметь свой угол.

Он ничего не ответил. Долго шел молча, потом спросил неожиданно:

— Вы собирались замуж за Андрея?

— Тетя мечтала об этом,— нехотя сказала Оля.

— И Андрей,— кивнул Отвиновский.— Я знаю, он успел сказать, что был влюблен в вас.

Оля промолчала. Шла чуть впереди него, сосредоточенно глядя под ноги. Потом вдруг остановилась.

— Скажите, господин Отвиновский, это была мучительная смерть? Тетя боится расспрашивать вас о его последних минутах, а сама говорит о них и плачет.

— Нет,— помедлив, сказал Отвиновский.— Конечно, смерть есть смерть, но не надо думать о ней, мадемуазель. Мне у вас так хорошо, как еще никогда не было, может быть, как раз потому, что я стал думать о жизни.

— И что же вы о ней стали думать?

Он хотел заглянуть в ее удивительные глаза, но она упорно смотрела мимо.

— Если бы у меня был дом, я бы увез вас с собой,— угрюмо сказал он.— Да, увез бы, потому что я эгоист. Мне хорошо с вами и плохо без вас. Пусто, как в нежилом доме. Бога ради, простите...

— Почему? — Теперь она в упор смотрела на него огромными темными глазами.— Почему вы думаете, что вам плохо без меня?

— Потому что я много лет жил без вас и мне было плохо,— тихо сказал он.— Это была не жизнь, это была... Я не знаю, что это было, вероятно, сплошная война, а теперь — мир. В моей душе теперь мир, Оля, и я хочу унести этот мир с собой. Но я не знаю, как это сделать.

Она продолжала молча смотреть на него, точно пытаясь проникнуть внутрь и заглянуть в самое сердце. Он не понял ее взгляда и лишь виновато развел руками.

— Я солдат, мадемуазель Оля, я не умею разговаривать с барышнями, и вы можете прогнать меня. Но я сказал вам сущую правду. Я больше никогда не вернусь к этому разговору, даю вам слово.

— Пора обедать.— Оля повернулась и пошла впереди него к дому.— Только, прошу вас, не давайте больше таких слов.

— Оля! — Он нагнал ее, рискнул взять за руку.— Оля, обождите.

— Завтра,— она впервые рассмеялась застенчиво и счастливо.— Завтра днем здесь же, хорошо?

Мягко высвободила руку и, подобрав платье, легко и молодо побежала к крыльцу. Отвиновский глядел ей вслед, радуясь и удивляясь этой прорвавшейся в ней грациозности.

После обеда Отвиновский обычно валялся на диване, читал или просматривал старые журналы, но сегодня не мог ни лежать, ни читать. Он то бродил по комнате, натываясь на мебель, то выходил в сад, часто доставая часы и очень досадуя, что так медленно тянется время.

После сна по заведенному исстари порядку пили чай с вареньем, а разговоры начинались потом, когда недоверчивая Тарасовна — старая и одинокая нянька Андрея Совримовича, жившая в доме на положении члена семьи,— убирала со стола. Сегодня Отвиновский ожидал этого с особым нетерпением, говорил легко и интересно, смотрел в Олины глаза, и она не опускала их, а лишь прикрывала ресницами, чуть заметно улыбаясь ему. В этот вечер он говорил о поручике Олексине, о болгарах, Стойчо Меченом и его сестре Любчо. Ему хотелось, чтобы Оле понравились его друзья, и рассказ его звучал восторженно и увлеченно, и они не сразу расслышали стук во входную дверь.

— Пана гостя спрашивают! — крикнула из передней Тарасовна.— В экипаже приехали!

Никто ничего не успел сказать, как в комнату вошел офицер в сопровождении двух жандармов. Жандармы остались у порога, а офицер отдал честь и шагнул к столу.

— Прошу прощения за незванный визит, сударыня, я лишь исполняю долг. Господин Збигнев Отвиновский?

Отвиновский уже все понял. В последний раз долгим взглядом посмотрел в глубокие, испуганно раскрывшиеся черные глаза, медленно встал и уж более не заглядывал в них. Не видел растерянности, ужаса, отчаяния, слез, которые вдруг переполнили их до краев.

— Что вам угодно?

— Мне приказано арестовать вас и под охраной доставить в Киев. Потрудитесь сдать оружие и все находящиеся при вас бумаги.

— В чем дело, господин офицер? — встревоженно спросила госпожа Совримович. — Этот господин друг моего сына и мой гость, и я хотела бы знать...

— Очень сожалею, сударыня, но этот господин — государственный преступник.

— В чем же меня обвиняют? — Отвиновский спрашивал сейчас не для себя, а для Оли. — Я прибыл в Россию вполне легально, мне выдано разрешение из штаба действующей армии.

— Повторяю, что мне приказано лишь арестовать вас. Прошу оружие и бумаги.

— Оружия у меня нет, а бумаги находятся в саквояже. Позвольте достать их оттуда.

У него было оружие: заряженный револьвер лежал в саквояже. Трое в комнате, один, по всей вероятности, с лошадьми возле экипажа: четыре выстрела — и он свободен. Он выходил из худших переделок и с четырьмя неопытными жандармами справился бы без особого труда.

— Это ваш саквояж? — спросил офицер.

— Да.

— Достаньте бумаги сами. Вещи можете взять с собой.

Этот жандармский офицер был столь молод и наивен, что собственными руками протягивал ему его спасение и свою смерть. Отвиновский открыл саквояж, сунул туда обе руки, нащупал револьвер. Осталось лишь взвести курок, а первый выстрел — прямо в обтянутую голубым мундиром грудь — можно было сделать и не доставая револьвера. Прогремит выстрел, рухнет офицер, жандармы растеряются, и у него будет достаточно времени, чтобы уложить их обоих. А там четыре шага до входной двери, еще выстрел, коляска, добрый конь — и темень. Пустынные дороги, леса, пустоши, болота и где-то совсем недалеко — Польша, а значит, спасение. Оставалось только взвести курок...

Но он не мог его взвести. Бежать на глазах у женщин, ничего так и не объяснив им и оставив за собою четыре трупа, — нет, такой ценой не стоило покупать свободу. Такое бегство подтверждало, что он преступник, лишало его чести, а ею Отвиновский поступиться не мог. И поэтому раньше всех бумаг он выложил на стол заряженный револьвер.

### 3

Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич старший вставал в пять утра: как многие из Романовых, он мнил себя прямым последователем Петра Великого. В шесть — после туалета и завтрака — начальник штаба Артур Адамович Непокойчицкий уже докладывал ему о перемещениях войск, турецких контрмерах, действиях речных флотилий и — особо — о состоянии Дуная.

— За истекшие сутки уровень воды понизился еще на три фута, ваше высочество. Старожилы из местных уверяют, что через неделю, много — десять дней, Дунай войдет в берега.

Николай Николаевич аккуратно заносил новые данные на огромную, лично им исполненную и любовно раскрашенную цветными карандашами схему. И по этой схеме получалось, что турки все еще не потеряли возможности помешать будущим русским переправам сверху: в нижнем течении реки их флот был уже частично уничтожен, частично оттеснен к морю.

— Последняя дыра. — Карандаш скользнул по схеме. — Заткни ее и, помолясь, будем готовиться перепрыгнуть.

— Я уже отдал распоряжение капитану первого ранга Новикову об установке минных заграждений, ваше высочество.

— Отряди ему в помощь Струкова,— подумав, сказал главнокомандующий.

— Слушаюсь.

В соответствии с этим решением 7 июня в одиннадцать часов вечера от деревни Малу-ди-Жос отошла флотилия из десяти паровых катеров и шести весельных шлюпок, нагруженных минами. Подойдя к местечку ПарAPAN, моряки приступили к минированию Дуная, заняв преимущественно остров Мечку отрядом спешенных казаков и пехотинцев. Башибузуки, охранявшие турецкий берег напротив ПарAPANа, открыли было огонь по минам, но дружные залпы казаков и пехотинцев быстро сбили их с береговых позиций, заставив отступить вглубь.

Через несколько часов, уже на рассвете, турки выслали паровой фрегат, вооруженный пятью орудиями. За ним в кильватере шел бронированный монитор с двухбашенным пушечным вооружением, намереваясь огнем с близкого расстояния потопить и разогнать суда заградительного минного отряда. Одновременно с этими мерами противник из Рущука отправил берегом конную батарею: турки всерьез были обеспокоены разворотом минных работ на Дунае.

Паровая шлюпка «Шутка» под командованием лейтенанта Скрыдлова, назначенная в охранение минному отряду, стояла за мысом заросшего лозой и камышом острова Мечки. Лейтенант Скрыдлов и его механик прапорщик Болеславский, сидя на надстройке, безмятежно болтали с увязавшимся с ними в качестве охотника Василием Васильевичем Верещагиным, к тому времени не только известным художником, но и георгиевским кавалером, получившим орден за личную храбрость в боях под Самаркандом. Василий Васильевич угощал офицеров испанским хересом и рассказывал о Париже, откуда только что прибыл.

— Бог мой, живут же люди! — восторгался наивный прапорщик, не бывавший нигде далее Бухареста.

— Вижу дым, ваше благородие! — крикнул матрос. — Сверху пароход!

— По местам! — Скрыдлов вскочил. — Василий Васильевич, прошу немедленно покинуть «Шутку».

— Давай команду, — улыбнулся Верещагин. — С шуткой и помирать не страшно.

— Василий Васильевич, я требую...

— Вижу фрегат! — прокричал Болеславский. — Здоровенный фрегатище, господа, с пушками!

— Отваливай! — скомандовал лейтенант. — Полный вперед, на сближение! Минеры, не зевать! Ну, Василий Васильевич, у меня ведь и спрятаться негде.

— Хлебни. — Верещагин протянул бутылку. — Хороший херес, правда?

Шлюпку уже трясло и било на волнах: на полных оборотах она шла навстречу темной громаде фрегата, все увеличивая скорость. Оттуда грохнул залп, снаряды разорвались позади шлюпки, а пароход вдруг стал резко сбавлять ход, отваливая к турецкому берегу.

— А, не нравится тебе, мусульманская душа! — радостно кричал Скрыдлов. — Давай обороты, Болеславский, давай!

— Вали к нему вплотную, чтоб из пушек не накрыл, — посоветовал Верещагин.

Он аккуратно допил херес, бросил бутылку за борт и поежился:

в лицо бил ветер, с волн срывало водяную пыль; на «Шутке» все уже были мокрыми.

Шлюпка вырвалась вперед так стремительно, что турки не успели со вторым залпом: Скрыдлов уже проскочил в мертвую зону, куда не могли лечь турецкие снаряды. Но из-за отвалившего борта фрегата вынырнул монитор: пушка носовой башни медленно двигалась, нащупывая цель. Лейтенант круто заложил руль.

— Держитесь, Верещагин!

Снаряд с монитора разорвался у правого борта, окатив шлюпку водой. И почти одновременно с фрегата раздался ружейный залп, пули с треском кромсали обшивку. Скрыдлов судорожно вздрогнул.

— Ранен? — спросил Верещагин.

— Готовсь! — крикнул лейтенант минеру, стоявшему на носу. — Спокойно, Виноградов, не спеши только!

— Есть не спешить!

С минера залпом сбило фуражку, но сам он остался невредим. По команде Скрыдлова он подключил контакты к шесту, на конце которого была закреплена мина, и изготовился.

Лейтенант вел шлюпку прямо на фрегат, застопоривший машины и жавшийся к берегу. Расстояние уменьшалось с каждым оборотом винта, и Верещагин видел ужас на лицах турецких моряков. Они уже не стреляли, а повалили к противоположному борту, и даже капитан бросился с мостика вниз, на палубу.

Второй ружейный залп раздался с монитора. Брызнули разбитые в щепы ручки штурвала, еще раз болезненно скривился Скрыдлов, а Верещагин ощутил вдруг сильный удар в зад.

— Ну, нашла место, — проворчал он. — Ни сесть, ни лечь.

Из плеча лейтенанта торчала, как стрела, большая щепка, кровь заливала китель, но он ни на что не обращал внимания. Его целью, его задачей, всем смыслом его жизни был сейчас турецкий фрегат. Он подвел «Шутку» почти вплотную, круто развернул, чтобы разойтись бортами.

— Рви!..

Минер ткнул миной в борт парохода рядом с колесом, замкнул контакты, нырнул за бронированную блинду, но взрыва так и не последовало.

— Нету! — крикнул он. — Провод перебило!

— Черт!.. — выругался Скрыдлов. — Рви «по желанию», еще раз подведу! — Повернул к Верещагину мокрое, побелевшее от боли и напряжения лицо. — Чего стоишь? Готовь крылатую!

Василий Васильевич, припадая на правую ногу и громко ругаясь, выбрался к борту, где за броневыми блиндами хранились плавучие крылатые мины. С монитора вновь грохнул орудийный выстрел, картечь с визгом пронеслась над водой, корпус шлюпки дрогнул.

— Все провода перебило! — прокричал минер с носа. — Взрывать нечем!

— Черт! Черт! Черт!.. — в отчаянии кричал Скрыдлов, колотя кулаком по штурвалу.

— В машинном вода! — донесся крик Болеславского.

— Задний ход!

«Шутка» медленно пятилась назад. Лейтенант развернул ее носом к своему берегу: провода электрозапалов были оборваны, вести бой стало невозможно. Фрегат молчал, напуганный опасной близостью миноноски и невероятной дерзостью ее экипажа, но монитор медленно наползал сверху по течению, продолжая стрелять и отрезая шлюпке путь к спасению.



— Не проскочим,— сказал Верещагин, кое-как втащившись в рубку.— А мне, пардон, задницу продырявило.

— Сколько продержимся? — не слушая его, крикнул Скрыдлов прапорщику.

— С полчаса! — глухо отозвался Болеславский.— Фуражками вычерпываем..

— Атакую монитор! — крикнул лейтенант.— Виноградов, под соедини батареи напрямую! Как столкнемся, рви руками!

— Есть рвать руками!

— Полный вперед! Не унывай, ребята, второй смерти не будет!.. Ну, Василий Васильевич, прыгайте за борт, «Шутка» кончилась. Берите второй пробковый пояс, и дай вам бог удачи. Может, картину про нас напишете.

— Картину про нас уж кто-нибудь другой напишет,— проворчал Верещагин, неприятно ощущая текущую по ногам кровь.— Жалко, хереса больше нет. Хороший был херес..

Дрожа всем корпусом, «Шутка» отчаянно спешила навстречу бронированному монитору. С него раздался еще один, по счастью совсем уж неприцельный, выстрел, и броненосец, заметно сбавив ход, стал отваливать влево, уступая фарватер.

— Уходят! — восторженно кричал минер Виноградов.— Струсили, нехристи окаянные!.. Жми, ваше благородие, у меня все готово! Жми, я рвану! Я их к аллаху ихнему с полным удовольствием доставлю!

Видя, что монитор разворачивается вверх по течению, фрегат тут же дал задний ход. Оба турецких судна, вооруженных артиллерией, бесславно отступали вверх перед отчаянным натиском практически безоружной русской миноноски.

— Все,— с облегчением вздохнул лейтенант, закладывая шляпку к своему берегу.— Еле стою, пятка у меня оторвана. Только не говорите никому.

— Давай я поведу.

— Я моряк, Василий Васильевич. Я штурвал и мертвым не отдам. Сзади вас в нише фляжка. Там, правда, не херес, а наша родимая, но все равно дайте глоток.

— Что же ты раньше молчал, чертушка? — недовольно сказал Верещагин, доставая фляжку.— Из меня, понимаешь, кровяца хлещет, как из кладеного кабана, а ты жадничаеть.

— Раньше никак нельзя было. Раньше бой был.

Вскоре полузатопленная шляпка ошвартовалась у пристани, и с берега грянуло «ура» в честь моряков. Отсюда внимательно следили за всем ходом боя, и санитарные экипажи уже ожидали раненых. Но раньше врачей и санитаров на «Шутке» оказался Скобелев.

— Все видел, герои! — восторженно крикнул он, обнимая болезненно охнувшего Скрыдлова.— Молодцы! Молодцы, моряки, спасибо и поклон вам!

— Поосторожнее, Миша,— хмуро сказал побледневший от потери крови Верещагин.— У него три ранения да заноза в плече, а ты как медведь, право.

— Вася, друг ты мой милый, герой Самарканда и Дуная! — Генерал ценил храбрость превыше всех человеческих качеств.— Дай я тебя поцелую!

— И меня не надо,— непримиримо ворчал художник.— У меня пуля там же, где была у Мушкетона, если ты не позабыл еще «Трех мушкетеров».

— Нашел что подставить! — расхохотался Скобелев.— Санитары, бегом!

Он дождался, когда раненых — а среди них оказался и прапорщик Болеславский — отправят в госпиталь, вскочил на коня и, не разбирая дороги, помчался к Парапану. В Парапане оказался только что прибывший адъютант главнокомандующего полковник Струков, награжденный за Барбошский мост золотым оружием. Скобелев хмуρο выслушал его представление, спешился, отозвал в сторону. Спросил обиженно с глаза на глаз:

— Стало быть, опять тебя вместо меня?

— Михаил Дмитриевич, ну помилуйте, ну я-то тут при чем?

— Вырвал ты у меня золотое оружие из рук, Шурка,— горестно вздохнул Скобелев.— Обидно.

— Война только начинается,— улыбнулся Струков.— Все еще впереди, потерпите.

— Это у тебя все впереди, а у меня, кажется, все уже позади. Ну скажи, чего он на меня взъелся? Из Журжи приказал не выезжать. Вот в Парапан прискакал — и то поджилки трясутся: как бы опять нагоняй не получить.

— Но это же ваш участок.

— Участок мой, а послали тебя. Не доверяют. Хоть ты тресни, не доверяют более Скобелеву.

— Ваше превосходительство! — донесся крик с берега.

— Сахаров бежит,— сказал Струков.— Что там еще?

— Ваше превосходительство! — кричал на бегу капитан генерального штаба Сахаров.— Казаки говорят, турки возле наших минеров батарею к бою разворачивают!

— В шляпки! — гаркнул Скобелев, мгновенно забыв все обиды и первым бросаясь к пристани.

В шляпки садились наспех, не разбирая кто и откуда. Кроме матросов-весельных, в них набились казаки, капитан Сахаров, командир 54-го Минского полка полковник Мольский, прискакавший доложить, что его полк на подходе, и Скобелев со Струковым. Понимая, как дорога каждая секунда, матросы гребли изо всех сил, весла выгибались дугой. Двухверстное расстояние было пройдено за кратчайший срок, когда турки еще только снимали орудия с передков и растаскивали их по номерам. Но Скобелеву этого было недостаточно, он понимал, что вся минная флотилия будет сожжена и разгромена, если капитан Новиков не прикажет вовремя отходить. А моряки не видели и не могли видеть с воды турецкую батарею, закрытую скатом берега, потому-то турки и разворачивали ее неторопливо и тщательно. чтобы стрелять в упор и наверняка.

До острова оставалось сажень около ста, а катера стояли еще дальше и выше по Дунаю. Тяжелые шляпки сносило течением, они с трудом выдерживали направление на остров Мечку, где в бездействии, поскольку башибузуки отошли, толпились полторы сотни людей, а их шляпки оказались отведенными за песчаную косу, на мелководье. На то, чтобы сообщить Новикову об опасности, предупредить стрелков об отходе и перетащить их шляпки из-за косы на глубокую воду, требовалось время, и Скобелев, каждое мгновение ожидавший прицельного артиллерийского залпа по катерам, уже не мог тратить его впустую.

— Тащите шляпки на руках через косу! — крикнул он, ни к кому, в сущности, не обращаясь, так как в этой ситуации не было ни начальников, ни заместителей.— Стрелки пусть немедленно открывают огонь хоть в воздух, только бы турок отвлечь!

Прокричав это, он вскочил и головой вниз бросился в воду. Вынырнул и, забыв об уплывающей по течению генеральской фуражке, быстро поплыл наперерез к катерам капитана Новикова.

— Куда вы, генерал?— растерялся полковник Мольский.

— Полковник Мольский, вы старший! — крикнул Струков.— Тащите шлюпки, спасайте людей!

И вслед за Скобелевым полетел в воду. То ли плавал он лучше, то ли просто был сильнее, а только вскоре нагнал генерала и плыл рядом, громко отфыркиваясь.

— А ты зачем? — сердито спросил Скобелев.

— С вами вместе,— улыбнулся Струков.— А то опять обиды разведете, почему мне одно, а вам другое. Теперь либо вдвоем потонем, либо двоих ругать будут.

— Понятно,— хмыкнул генерал.— Для придворного лизоблюда ты неплохо держишься на волне.

— Благодарю, ваше превосходительство.— Полковник по пояс выпрыгнул из воды, крикнул: — Новиков! Новиков, уводи катера!.. О, да тут мелко, Михаил Дмитриевич. Становитесь на ноги, не тратьте силы.

Со стороны острова раздался дружный ружейный залп. Оттуда не могли видеть турецких артиллеристов, но, как было приказано, стреляли, отвлекая внимание. Этот огонь, а также вид бредущих по отмели мокрых и грязных полковника и генерала еще издали заинтересовал моряков. Предчувствуя недоброе, опытный Новиков тут же начал свертывать минные работы.

— Отваливай! — кричали Скобелев и Струков.— Турки батарею разворачивают! Отваливай!

— Понял! — донесся далекий отклик.— Ухожу! Ждите ялик!

На острове продолжалась азартная пальба. Привлеченные ею турки первый залп дали не по катерам, а по острову, опасаясь возможного десанта. Стреляя они с закрытых позиций, снаряды падали частью в воду, частью рвались в камышах. В грохоте, сумятице и неразберихе капитан Новиков хладнокровно свернул работы и теперь уводил свои катера из зоны возможного обстрела.

— Ну, одно дело сделано,— сказал Скобелев с облегчением.

Он стоял по грудь в воде и ждал, когда подойдет легкий ялик. Струков достал из кармана кителя портсигар, открыл: там была каша из размокших папирос.

— А продавали за непромокаемый.

На ялике подошел черноглазый ловкий матрос. Помог взобраться в лодку.

— Куда прикажете?

— К острову!

Когда добрались до острова, казаки и матросы уже перетасили почти все шлюпки на глубокую воду. Оставались еще две, но турецкие артиллеристы, упустив катера, обрушили на остров беглый огонь. Было убито двое, семеро ранено и вдребезги разбита одна шлюпка.

— Отходить немедленно,— сказал Скобелев.— Кто не поместится в шлюпках, тащить за собой на ружейных ремнях.

Перегруженные сверх всякой меры шлюпки медленно отваливали от острова среди сплошных снарядных разрывов. Струков и Скобелев на ялике замыкали караван.

— Дай ка погреюсь,— сказал Струков, садясь на весла.— Ох, давненько я фрейлин не катал по царскосельским прудам!

Скобелев оценил выпад, весело улыбнулся:

— А ты ничего, Шурка. Ладно уж, владей золотым оружием, дарю!

— Благодарю вас, Михаил Дмитриевич,— усмехнулся полковник.— Эй, матрос, махорка у тебя есть? Дай закурить его превосходительству, чтоб он зубами дробь не выбивал.

— С нашим удовольствием,— заторопился матрос.— Только ведь трубка у меня. Не побрезгуете?

— Был бы табачок хорош.

— Тютюн добрый, из Крыма.— Матрос быстренько набил трубку, раскурил, протянул генералу.— Пожалуйте флотского, ваше превосходительство.

— Спасибо, братец.— Скобелев, попыхивая трубкой, развалился на корме в позе Стеньки Разина.— Плавнее, плавнее подгребай, недо-тепа. И не брызгай!

— Р-рады стар-раться! — улыбался Струков, налегая на весла.— Ох и влетит же нам с вами за эту прогулочку, Михаил Дмитриевич. По первое число влетит!

## 4

За «прогулку» влетело, но, как всегда, одному Скобелеву.

— Ты что — поручик? Урядник вроде Цертелева? Почему сам в воду полез?

— Мгновения берег, ваше высочество.

— А если бы утоп? Русский генерал сам собой в Дунае утоп — то-то радости туркам было бы!

— Так ведь не утоп же.

— А мог! Мог! — Великий князь глядел строго, но строгость была напускной, и Скобелев это чувствовал.— За геройство прощаю, за самоуправство наказываю. Завтра государь прибывает в Плоешти, но ты его встречать не будешь. Ты в Журже будешь торчать безвылазно. Безвылазно, Скобелев!

— Слушаюсь, ваше высочество,— с облегчением сказал Скобелев, радуясь, что дешезо отделался.

Для встречи царского поезда на перроне Плоешти были выстроены генералы и особо отличившиеся полковники. Александр II с чувством расцеловал Непокойчицкого, стоявшего первым согласно должности, обнял Шаховского:

— Тебя благодарю особо, князь, ты первых героев России подарил. Напомни имена.

— Полковник Струков, ваше величество. Барбошский мост — его заслуга.

— Подойди, полковник,— позвал следовавший за государем главнокомандующий.

— Знаю о тебе,— сказал Александр, когда Струков подошел.— Однако уж, кажется, награжден за это? А кого сам отличил?

— Урядник Евсеев и казак Тихонов достойны Георгия, ваше величество.

— Представь мне их сегодня же. Герои не должны ожидать награды.

— Слушаюсь, ваше величество.

От вокзала до дома плоештинского обывателя Николеску, выбранного под временную резиденцию императора за огромный сад, по обе стороны улицы были шпалерами выстроены болгарские дружины. Они стояли недвижимо, держа на караул тяжелые винтовки системы Крнка, и Александр время от времени поднимал руку и кричал:

— Молодцы! Молодцы, болгары!

За коляской следовал конвой и почетный эскортофицеров гвардии. Гвардейцы ехали молча, учитывая торжественность момента, восторженные крики жителей, толпившихся за черными рядами ополченцев, и присутствие высших чинов армии и государства. Тюрберт, только что вернувшийся из Петербурга, не смотрел по сторонам, сдерживая

нетерпеливого, то и дело сбивавшего аллюр и норовившего скакать боком кровного жеребца. Жеребец был свадебным подарком тестя, и подпоручик еще не привык к нему.

— Вот Самарское знамя, Тюрберт,— сказал скакавший рядом капитан Юматов.

Тюрберт равнодушно скользнул взглядом по знамени и рослому знаменосцу и вдруг невольно придержал коня, ломая ряд. Впереди следующей болгарской роты с обнаженной саблей стоял ее командир, и лицо этого командира показалось подпоручику удивительно знакомым.

— Что с вами, Тюрберт?

— Ничего,— сказал подпоручик, отпуская жеребца.— Показалось, что лицо знакомо еще по Сербии. Только чушь, этого не может быть...

Перед вечером Александр и главнокомандующий уединились в кабинете. Николай Николаевич расстелил знаменитую схему, показал расположение корпусов и дивизий, артиллерии, резервов и обоза.

— Как видишь, все изготовлено к прыжку.

— Никополь? — спросил государь.

Великий князь загадочно улыбнулся. Легким движением карандаша не без самодовольства очертил турецкие крепости правого берега.

— И Никополь, и Руцук, и Силистрия — все ждут. Я бомбардирую Никополь и держу в Турну-Магурели корпус Криденера. Веду усиленную разведку Руцука и возвожу возле Журжи осадные батареи. Мало того, через несколько дней я начну переправу в Галаце, и турки из всех крепостей двинут туда резервы. А это будет всего лишь демонстрация, и я запутаю турецкий штаб настолько, что они потеряют веру в собственных шпионов.— Он вдруг понизил голос.— Плоешти кишит турецкими шпионами. Там, где появляюсь я, все кишит шпионами!

— Значит, возле Галаца будет лишь демонстрация переправы? — спросил Александр, давно знакомый с болезненной подозрительностью брата.

— Да, но об этом знаем только мы с тобой да Непокойчицкий.

— Ты сознательно жертвуешь людьми?

— Жертвую малым, чтобы уберечь главное. Это стратегия.

— Это идея Непокойчицкого?

— Да, я принял ее.

— А где же будет настоящая переправа?

— Позволь мне доложить об этом позже.

— Ты еще не принял решения?

— Окончательно я приму его завтра на месте. Если не возражаешь, я возьму твой поезд и сегодня же ночью с полным соблюдением тайны отбуду в... Разреши мне умолчать о конечном пункте последнего совещания, он очень близок к предполагаемому месту переправы. Дело ожидается серьезное, и я боюсь, что турки могут раньше времени узнать об этом. Сейчас они мечутся по всему берегу, перегоняя резервы из одного пункта в другой, завтра ринутся в Галац, куда я брошу Восемнадцатую дивизию, а когда узнают правду, будет уже поздно. Дорогой брат, кругом лазутчики, кругом шпионы, поэтому я вынужден молчать даже перед своим государем.

Александр долго смотрел на любовно и старательно раскрашенную схему. Его не обижало то, что главнокомандующий не сказал о своих планах ничего существенно важного даже ему, своему государю. Он думал сейчас не об этом и даже не о предстоящем форсировании Дуная — он думал о словах, которые обязан был сказать сейчас. Слова эти должны были стать историческими, но ничего исторического в голову, как на грех, не приходило.

— Береги патроны,— сказал он, так ничего и не придумав.— Эта

современная мода на скорострельное оружие очень неэкономична и родилась от неверия в солдат. А солдат должен стрелять прицельно и точно и чаще ходить в штyki. И да благословит бог все твои труды на благо отечества, как я благословляю тебя.

В огромном саду, со всех сторон окружавшем дом Николеску, в этот вечер был разбит походный бивак сводного конвоя его величества. Горели костры, сад был ярко иллюминирован, приглашенные офицеры гвардии, сопровождавшие Александра от вокзала, ждали выхода государя подле террасы.

Он появился в сопровождении великого князя главнокомандующего уже в сумерках. Офицеры воодушевленно крикнули «ура», но Александр поднял руку, призывая к молчанию.

— Сначала я хочу исполнить самый приятный долг государей и поблагодарить нижних чинов за геройскую службу, — сказал он. — Где твои герои, Струков?

В стороне от блестящей офицерской группы скромно стояли два бородатых казака. Струков махнул им рукой, и они, старательно топая, подошли к Александру и замерли, выпятив груди.

— Что за дьявольщина? — удивленно прошептал Тюрберт. — Мне все время мерещатся знакомые лица.

— Перекреститесь, — сквозь зубы сказал Юматов.

— Благодарю за геройскую службу, — говорил тем временем император, пристегивая к казачьим мундирам Георгиевские кресты, поданные дежурным флигель-адъютантом. — Ура в честь первых героев этой войны, ура!

— Ура! — коротко и дружно рявкнули гвардейцы.

— Надеюсь, что еще услышу о ваших доблестных делах во славу отечества, казаки.

— Благодарим покорно, ваше величество! — вразнобой ответили казаки и с топотом вышли из сада.

— Не стойте во фронте, господа, и подойдите поближе. — Александр подождал, пока гвардейцы окружат его со всех сторон. — Я душевно рад видеть всех вас, представителей моей доблестной гвардии, на театре военных действий. Бог благословил нашу справедливую войну доблестью и героизмом сынов отечества всех званий и чинов. Вы видели сейчас героев казаков, а главнокомандующий доложил мне о геройском сражении, которое имела шляпка лейтенанта...

— Скрыдлова, — подсказал великий князь: он любил демонстрировать свою поразительную память на фамилии.

— ...Скрыдлова с двумя броненосцами противника. Бог отметил нас и в этом случае и уберег от гибели, пощадив при этом всех нижних чинов, бывших в бою. Но в вашей доблести и чести я уверен особо. Я желаю дать вам возможность участвовать в делах и отличиться, но не хотел бы, чтобы все вы пошли в первое большое сражение. Поэтому я приказываю вам разделиться на две очереди согласно вашему добровольному желанию. Первая очередь пойдет на переправу, когда ей прикажет главнокомандующий, а вторая — в другое дело уже за Дунаем. Я думаю, что для вас это решение не будет неприятно.

Офицеры молча поклонились, изъявляя свое полное согласие с монаршей волей.

— Доложите, когда установите очередь, мне это интересно. До свидания, господа. Да хранит вас бог в предстоящих подвигах, как хранил он нижних чинов лейтенанта... Скрыдлова, — с напряжением припомнил император и обрадовался.

— С делами не задержу, гвардейцы, — пообещал главнокомандующий, уходя вслед за государем в дом. — От сего дня уж часы считайте.

— Жеребьевка, господа! — объявил полковник Озеров, когда офицеры остались одни. — Поручик Ильин, пишите имена — и в шапку.

Фамилии присутствующих были записаны тут же у террасы при свете иллюминации. Поручик Ильин аккуратно скатал жребии и опустил их в чью-то подставленную фуражку.

— Нас тридцать восемь, — сказал Озеров. — Следовательно, первые девятнадцать фамилий и есть счастливики. Кто потащит?

— Полагалось бы душе безгрешной, — улыбнулся капитан Юматов. — Но поскольку безгрешные души давно уж спят сном праведников, предлагаю, господа, назначить ангелом подпоручика Тюрберта. Третьего дня у него закончилась медовая неделя, и с той поры он вряд ли успел много нагрешить.

— Господа, предупреждаю честно: у меня тяжелая и, главное, своенравная рука.

— Ладно, Тюрберт, тащите.

— Чур, не передергивать!

— И обратите очи горе, когда нащупаете жребий. А то я знавал одного фокусника, так он, господа, сквозь бумажку фамилии читал.

— Ну, господа, благослови! — Тюрберт опустил руку в фуражку, задрал, как велено, лицо к небу и не глядя протянул первую записку поручику Ильину.

— Озеров! — громко прочитал Ильин. — Поздравляю вас, полковник.

— Вы подхалим, Тюрберт, — сказал Юматов. — Привыкли ублажать начальство.

— Случай, — пояснил Тюрберт. — Я щупал свою фамилию: она у меня колючая.

Одна за другой появлялись записки, одна за другой звучали фамилии: капитан Мицкович, поручик Поливанов, капитан Косач, поручик Прескотт... Отзвучали восемнадцать жребиев, и Озеров предупредил:

— Последняя, Тюрберт. Достанете ее, а остальное вместе с фуражкой можете вручить флигель-адъютанту Эндену: это уже второй сорт.

На этот раз Тюрберт перебирал жребии особенно долго, точно и впрямь искал что-то на ощупь. Веснушчатое лицо его покрылось бисеринками пота от напряжения.

— Да скоро вы там, подпоручик?

— Не мешайте, он молится своей звезде, которую зовут Лора.

— Тюрберт, признайтесь, вы колдуете?

— Ну что вы, в самом-то деле?

Тюрберт выгнул записку, сунул Ильину:

— Ну, Павлик?

— Тюрберт! — крикнул удивленный Ильин. — Нащупал-таки себя, каналья!

— Ура! — заорал Тюрберт, вскакивая. — Шампанского, господа! Ставлю на каждого по паре бутылок, хоть упейтесь!

Офицеры гвардии еще пили шампанское под песни, хохот и соленные шутки, когда из черного хода дома господина Николеску одна за другой выскользнули четыре фигуры в длинных черных плащах с поднятыми воротниками. Старательно пряча лица, быстро направились к воротам.

— Стой! — закричал часовой, нехстати оказавшийся поблизости. — Стой, кто такие? Отзовись, стреляю!

Один из четверки шагнул к нему, отогнул отворот плаща.

— Не узнал, морда? Я оборотень оборотеньевич, понятно? Так и доложи дежурному офицеру. Кругом марш!

Обалдевший часовой, мгновение помедлив, опрометью бросился исполнять приказание, а таинственная четверка без помех добралась до вокзала, где под парами ожидал царский поезд. Как только они сели в вагон, поезд без свистков тронулся в путь, быстро набирая скорость. Через час он остановился на глухом полустанке, где прибывших ожидали верховые лошади и очень небольшая охрана.

— Обманули мы все-таки турецких шпионов! — довольно отметил великий князь Николай Николаевич старший, садясь в седло.

— Благодарите меня, батюшка, — сказал сын. — Если бы не моя находчивость, сидеть бы нам всем четверым под арестом в караулке.

Учитывая темень, Непокойчицкий позволил себе насмешливо улыбнуться.

Четверо всадников и конвой бешеным аллюром мчались по темным дорогам. Их часто останавливали многочисленные разъезды и часовые; тогда скакавший впереди начальник конвоя свешивался с седла и шепотом произносил одно слово:

— Зимница...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Бряннов всегда был человеком ответственным и точным. Именно эти качества и спасали его до сей поры не только от отставки, но и от каземата, потому что при всей настороженности и недоверии к вольнодумствующему офицеру начальство не могло не ценить его служебного рвения и профессиональных достоинств. Его послужной список мог быть образцом для многих армейских офицеров.

Странное чувство полной внутренней гармонии, испытанное им на Скаковом поле Кишинева в день объявления войны, не исчезло в армейских буднях. Капитан уже не удивлялся и не умилялся вселившемуся в него твердому ощущению правоты, закономерности и необходимости того дела, которому он сейчас служил.

Путь до Зимницы был тяжелым. Тридцати-сорокаверстные переходы начались еще по весенней слякоти, по засасывающей грязи разъезженных и размытых дорог. На ночевки останавливались в чистом поле, и солдаты валились на мокрую землю, порою так и не сняв ранцев. Палаток не получили, обозы оторвались, негде было ни обогреться, ни обсушиться, но никто из его роты не заболел, а отставшие к полуночи подтягивались и на заре снова оказывались в строю. Солдаты в этом адском походе спали по шесть-семь часов, а Бряннов и его субалтерн-офицеры довольствовались пятью, а то и четырьмя. Надо было разместить людей, напоить хотя бы чаем, как-то устроиться со сном и дожидаться отставших. Еще в самом начале похода Бряннов отказался от положенной ему лошади и шел вместе с солдатами; уже на второй день степенный и немногословный фельдфебель Литовченко раздобыл где-то легкие дрожки, в которые и запрягли теперь смирную брянновскую лошадедку. Дрожки тащились сзади, слабосильным разрешалось сгружать на них ранцы, а то и проехать пять — десять верст. Это было нарушением порядков, но командир полка помакивал, и брянновская 12-я рота, на удивление многим, оказывалась на утренних переключках в полном составе.

— Самоуправствуете, Бряннов? — спросил как-то командир 3-й стрелковой роты капитан Фок. — Изнежите нижних чинов, разбалуετε — не бойтесь последствий?

— Сбитых ног боюсь больше.

— А гнева генеральского? — не унимался Фок, садившийся в



полку особой вьедливостью.— Его превосходительство генерал-майор Михаил Иванович Драгомиров человек академический.

— Полагаю, что и генералу солдат дороже буквы устава.

— Знаете, Брянов, есть солдатофилы по призванию, а есть по самоистязанию. Сдается мне, что вы из второй половины.

— А вы, Фок?

— А я старого закала, и для меня любой из моих стрелков есть лишь инструмент, при оружии состоящий.— Фок удобно покачивался в седле, сверху вниз глядя на месившего грязь Брянова.— Насморк еще не схватили?

— Я здоров.

— Ну помогай вам бог.— Фок тронул коня, нагоняя свою роту, но тут же придержал его.— Между прочим, мои стрелки волокут для меня палатку. Заходите обогреться.

— Благодарю, Фок, я еще в Сербии привык спать под открытым небом.

— Ох уж эта мне волонтерская гордость!

Бряннов жалел и щадил своих солдат, но если бы эти марши были учебными, он бы покачивался в седле впереди своей роты с тем же спокойствием, что и Фок. Но роте предстояли бои, и рота была чужой: ее прежний командир, заболев еще в Кишиневе, освободил капитану всего лишь должность, а не место в ротных рядах, слитых долгой совместной службой. И шагая впереди, Бряннов думал не только об отставших, но и о себе самом, о своем месте в роте.

Место это не определялось ни уставом, ни опытом, ни офицерским званием. Солдаты были дисциплинированны и старательны, делали все, что полагалось делать, но ровно настолько, чтобы не вызывать гнева командира. Он оставался для них по-прежнему чужим; они преданно таращили глаза и вытягивались, но немедленно замолкали, стоило командиру приблизиться к вечернему костру. Бряннов был опытным офицером и прекрасно ощущал эту солдатскую настороженность, это постоянное наблюдение. Его изучали не менее пристально и досконально, чем он сам изучал своих солдат, и никто не торопился с дружескими улыбками. И даже то, что он отдал своего коня для слабосильных и месил грязь наравне со всеми, нисколько не уменьшило солдатской настороженности, а может быть, в какой-то степени и усилило ее.

— Чудит господин ротный.

— Мягко стелет, братцы, каково-то выпимся?

— И крест у него какой-то чудной.

— Ненашенский. А за что дали, поди вон да погадай.

— Тихо, братцы, идет...

— Вот, стало быть, и говорю я куме: здорово, говорю кума... Встать! Смирно!

— Вольно. Садись.

Ветер дул в сторону Бряннова, и он слышал каждое слово. Он не обижался на солдат, скорее наоборот, ему нравилась в них этакая неторопливая основательная приглядка к тому, кто в скором времени поведет их в огонь, от хладнокровия, выдержки, самообладания и опыта которого будет зависеть их жизнь. Легко сходясь с людьми своего круга, Бряннов испытывал огромные затруднения в разговорах с солдатами. Он был человеком чутким и легко чувствовал ту бодреческую фальшь, к которой привычно прибегали солдаты в разговорах с офицерами; она угнетала и оскорбляла его. Он не принадлежал к числу тех «отцов командиров», которые кокетничали простецкими словами, присаживаясь к солдатским кострам и ведя беседы на выдуманном, грубом и пошлом языке, который сами же именовали хам-

ским. Это была чудовищная смесь сальных шуток, мата и простонародных словечек, произнести которые он не смог бы при всем своем желании. Таким, например, был командир 1-й стрелковой роты капитан Остапов — квадратный увалень с оловянными глазами. Он сыпал у костров грязными прибаутками, провоцируя солдатский гогот, очень хвастался этим, а встав поутру в дурном настроении, не знал иных слов, кроме «харя» да «рожа», ругался и сквернословил, а то и хлестал солдат по щекам, как истеричная барынька сенных девок.

— Солдат — дитя неразумное, но испорченное, — говорил он. — У них все помыслы о бабах, господа, дальше фантазия не работает. Коль распустишь — завтра же первой встречной юбки задерут, и карьерка ваша тью-тью. А передо мною они — как перед отцом родным. Боготворят, трепещут и любят, господа, да, любят!

— Как они вас любят, Остапов, это мы после боя оценим, — усмехался Фок.

Фок откровенно сторонился солдат, но зато и не занимался рукоприкладством, чем грешили, по правде говоря, многие офицеры. Он был неутомимо требовательным, быстро и беспощадно взыскивал за любое упущение и никогда не хвалил. В его речи не было даже знаменитого русского «братцы», с которым к солдатам обращались все, начиная с седовласых генералов и кончая безусыми прапорщиками.

— Какие они мне, к дьяволу, братцы? Они механические человеки, при винтовке состоящие. И как механизм им положено масло и щелочь, остальное — излишество. Фельдфебель, рота смазана?

— Так точно, вашбродь, накормил!

— Выдай на привале по банке щелочи, чтоб ржавчину смыло.

— Слушаюсь!

Под щелочью в роте понималась винная порция, под смазкой — еда. И как бы там они ни назывались, а стрелки капитана Фока всегда были своевременно «смазаны» и «выщелочены»: за этими двумя процедурами презиравший не только нижних чинов, но и все человечество капитан Фок следил с неусыпным вниманием.

Стремясь сблизиться, стать своим, а значит, понятным для солдат, Бряннов не спешил подружиться с офицерами. И потому что на это почти не было времени, и потому что попал он в одну из лучших дивизий «по случаю», и это тоже налагало определенную печать на его положение в полку. Правда, о подробностях его назначения знал только командир волынцев полковник Родионов, но Бряннов не мог забыть их первого и пока единственного разговора и понимающей, хорошо спрятанной в усах усмешки полковника.

— Мне приказано дать вам роту, капитан.

— Благодарю.

— Меня-то не за что. Мы, армейцы, далеки от столицы и ко многому не привыкли. Служба у нас скучная, капитан.

— Я не ищущий веселья, господин полковник.

— Какое уж тут веселье. Признаться, удивлен весьма. Поэтому уж не посетуйте, буду посматривать. Помилуй бог, а вдруг спросят: ну как там наш протеже?

— Надеюсь, что не спросят, господин полковник.

— А я, знаете, на себя все больше привык надеяться, так-то оно спокойнее. Ну что же, приступайте.

На этом и кончился разговор. Разговор кончился, а осадок от него остался и точил душу капитана недосказанными словами и замаскированными усмешками.

Ближе всех офицеров, с которыми Бряннов старался поддерживать спокойные товарищеские отношения, как-то вдруг стал штабс-капитан Ящинский. Молчаливый, скорее замкнутый, никогда, даже

в походе, не расстававшийся с книгой. Рота его славилась песнями, до которых сам штабс-капитан был большой любитель. Солдаты пели при первой возможности, будь то в пути или на привале, причем пели действительно хорошие песни, а не ту несусветную полупохабщину, что перекочевала из старой бессрочной николаевской армии. К этой поющей роте на привалах тянулись офицеры: замкнутый Ящинский был неизменно молчаливо любезен.

— Не удивляйтесь, если он с вами за весь вечер и слова не скажет,— предупредил прапорщик Лукьянов, уговорив Брянова подойти к офицерскому костру соседней роты: давно стояли биваком близ Беи.— Он у нас молчун, а вот солдатики его любят.

Штабс-капитан сидел у костра с неизменной книгой. Улыбался подходившим офицерам, жестом приглашал к чаю и молчал. Это никого не смущало, но говорить, когда так вольно и покойно пели солдаты, тоже никому не хотелось; полковые вральи, болтуны и ругатели здесь, как правило, не появлялись.

— Как поют! — восторгался склонный к элегической грусти поручик Григоришвили.— Во всех ротах слова кричат, а у вас — песню поют. Отчего так, Ящинский?

Ящинский молча улыбался. Выпив два стакана густого, пахнувшего дымком чая, Брянов уже собирался идти к себе, как Ящинский неожиданно отложил книжку и с обычной благожелательной своей улыбкой заглянул ему в лицо.

— Я слышал о вас, Брянов.

У костра никого, кроме денщика, не было: грустный Григоришвили увел Лукьянова ближе к поющим. Слова сказаны были тихо, но — со значением.

— Что же именно?

— Я слышал о вас от Василия Фомича Кондратовича.

Брянов промолчал: Кондратович был членом пропагандистского кружка, за участие в котором Брянову в свое время грозили нешуточные неприятности. Он давно ничего не слышал о прежних друзьях и потому что потерял связи, и потому что многое пересмотрел заново, во многом разуверился и от многого отказался. Пока он обдумывал ответ, Ящинский не выдержал первым:

— Я бы не напомнил, если бы вы не отдали солдатам свою лошадь. Тем более что Василий Фомич в тюрьме.

— В двадцать лет человек жаждет переделать мир,— сказал Брянов.— В тридцать он думает уже о том, что переделка мира хороша только в том случае, если миру от этого станет хоть чуточку лучше. В сорок он служит, стараясь добиться этого улучшения хотя бы на своем крохотном участочке. А в пятьдесят он уже нянчит внуков и испуганно вздрагивает от выстрелов в Южной Америке. Вот так он и живет до самой смерти, а потом его внуки открывают заново те же идеалы и идут точно тем же путем.

— А к какому возрасту мне отнести вас, Брянов? — тихо спросил штабс-капитан.

— Пока война — к строевому. Я верю в нее, Ящинский, и давайте отложим все, пока она не кончится.

— Что вы предлагаете отложить? Извините, я не понял вас.

Брянов долго молчал, вороша палкой костер. Красиво и слаженно пели солдаты, и это мешало сосредоточиться. Ящинский терпеливо ждал.

— Всем нам дорого отечество,— сказал наконец капитан.— Мы не выбираем его, как не выбираем мать и отца, которые дарят нам жизнь. Нам досталось большое отечество, мы чувствуем его болезни,

мы пытаемся изыскать средства к лечению его и... и этим служим ему. Хирург, который отпиливает гангренозную ногу, спасает жизнь, хотя и доставляет мучения. Все это правильно, и я приветствую необходимость радикальных изменений, направленных на оздоровление всего организма.

— Но при этом относите себя к возрасту строевому?

— Больной, которого мы полагали безнадежным, встал, чтобы помочь соседу выгнать из дома разбойников. Имеем ли мы в этом случае нравственное право напоминать ему о болезни?

— Да, но ведь самый главный-то симптом его болезни — социальная несправедливость, Брянов.

— История иногда преподносит парадоксы, Ящинский. Самое несправедливое общество сегодня несет высокую справедливость. И во имя этой справедливости мы обязаны забыть несправедливость внутреннюю. Существует тактика и существует стратегия, и стратегия диктует сейчас иные формы.

— Что ж, я понимаю вашу позицию, капитан,— подумав, сказал Ящинский.— Как знать, какие песни зазвучат после этой войны?

Он улыбнулся привычной улыбкой и уткнулся в книгу. Брянов молча откланялся и ушел в свою роту. Ночью ему приснились качели, и он проснулся от собственного крика. К счастью, никто не слышал: рота спала, занавесившись мощным храпом от мира, денщик прикорнул возле потухшего костра. Ночь выдалась теплой и тихой, но вблизи от реки было туманно и сыро.

Бряннов не выспался, заря еще только занималась, но он так и не решился прилечь снова. Он до ужаса боялся этого сна, бывшего когда-то явью...

Это было в последний юнкерский отпуск; он приехал в имение к матери и сестре счастливым, молодой, веселый, влюбленный в дочь начальника училища, старого друга отца. Отец к тому времени уже погиб, мать тяжело переживала утрату и часто болела, но крепостное право отменили совсем недавно, выкупные деньги пока не растратились, и бедность не нависла еще над маленьким барским домом сельца Копыгово Рязанской губернии. Ни бедность, ни несчастья: все было впереди.

Он начал на качелях десятилетнюю сестренку—звонкое, стремительное и ясноглазое существо. «Выше! — кричала она, смеясь.— Выше! Еще выше! Еще!..» И на самом большом махе, когда качели встали почти параллельно земле, оборвалась веревка. Бряннов до сих пор слышал тупой стук: сестренка головой ударилась об угол сарая. Пять дней она не приходила в себя, пять дней лежала неподвижно и отрешенно, а потом оправилась, стала разговаривать, шевелиться, даже ходить, но уже ошупью, навеки оставшись слепой. Вскоре умерла мать, не перенесшая второго удара, и слепая беспомощная девочка с той поры стала крестом Бряннова. И он безропотно нес этот крест всю жизнь, раз и навсегда отказавшись от собственной любви. Нес со спокойным достоинством, никогда не жаловался, ничего не рассказывал, но до холодного пота боялся снов со взлетающими качелями. «Выше! Еще выше! Еще!»...

— Это кто там? Вы, Бряннов? — Из тумана выросла длинная фигура дежурного по полку капитана Фока.— Будите своих офицеров: через полчаса выступаем.

— Куда?

— Кажется, к Зимнице.— Фок был непривычно сдержан и серьезен.— Кажется, мы и есть те самые пешки, которых приказано провести в дамки во что бы то ни стало.

## 2

Вторые сутки русская артиллерия, расположенная в Турну-Магурели против Никополя и возле Журжи против Рущука, вела интенсивный огонь. К этому времени 69-й Рязанский и 70-й Рязский пехотные полки 18-й дивизии под командованием генерал-майора Жукова уже форсировали Дунай узким коридором в районе Галаца, заняв Буджакский полуостров и оттеснив турок на линию Черноводы — Кюстенджи, а 9-й корпус генерала Криденера явно готовился к переправе где-то между Фламундой и Никополем. Турецкая артиллерия ввязалась в длительную дуэль, турецкие резервы металась по всему правому берегу от Никополя до Силистрии, и только в Свишгове было спокойно. Напротив находилось тихое местечко Зимница, где стояли какие-то второстепенные русские части, ничто не предвещало грозы, и поэтому посетивший Свиштов главнокомандующий турецкой армии Абдул-Керим-паша показал свите свою ладонь:

— Скорее у меня на ладони вырастут волосы, чем русские здесь переправятся через Дунай.

Через сутки об этих словах полковник Артамонов доложил Непокойчицкому. Артур Адамович ничем не выказал своего особого удовлетворения, но Артамонов уловил все же чуть дрогнувшие усы. И добавил почти шепотом:

— Я дал распоряжение сеять слух, что переправа главных сил состоится у Фламунды, ваше высокопревосходительство.

— Прекрасно, голубчик, прекрасно. Пусть трое говорят, что у Фламунды, а четвертый — что возле Никополя. Это нам не помешает.

Во Фламунде, небольшой береговой деревушке, целыми днями раскатывали экипажи, скакали конные, бегали пешие ординарцы и посыльные. Центром их движения был хорошо видимый со всех сторон дом зажиточного крестьянина, усиленно охраняемый цепью часовых и казачьими разъездами. Во дворе его толпились офицеры, изредка мелькали генералы, а раз в день непременно появлялся и личный адъютант главнокомандующего Николай Николаевич младший. Все входило в дом, выходило из него, получали какие-то распоряжения, бешено куда-то скакали, и никто не обращал внимания на скромный домишко в сырой низине, невидимый с турецкого берега. Сюда не скакали нарочные и не подкатывали фельдъегерские тройки, здесь не видно было часовых и караулов, но ни один человек не мог спуститься в низину незамеченным: из кустов молча вырастали кубанские пластуны и любопытный в лучшем случае поспешно удалялся после длительных проверок и допросов.

В этот невидимый и неказистый домишко днем 13 июня Николай Николаевич младший в три приема провел начальника артиллерии Дунайской армии князя Массальского, генерала Левицкого, начальника инженерного обеспечения Делпа и генерала Драгомирова. Михаила Ивановича великий князь вел последним, молча и с особыми предосторожностями, встретив генеральский экипаж на подъезде к Фламунде и проведя старого генерала совсем уж нехоженым путем. Подвел к входу, пропустил в избу, сел на крыльцо, прислонившись спиной к дверям, и положил перед собой два револьвера.

— Эй! — негромко позвал он.

Кусты напротив раздались, и в просвете возникло лицо дежурного офицера.

— Предупреди посты: стреляю в каждого, кто хоть на шаг приблизится к дверям.

— Слушаюсь, ваше высочество.

И кусты вновь сдвинулись, не вздрогнув ни одним листком.

В единственной комнате избы приглашенных ждали главнокомандующий и его начальник штаба.

— Вы догадываетесь, господа, что выбор его высочеством уже сделан,— как всегда негромко и спокойно, сказал Непокойчицкий.— Благодаря тщательно продуманной системе дезориентации противник введен в полнейшее заблуждение относительно места переправы главных сил. Так вот, переправа состоится в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июня возле Зимницы силами дивизии Михаила Ивановича. Всем даются сутки на подготовку.

— Об этом решении, кроме нас, не знает ни одна живая душа,— сказал сидевший у стола Николай Николаевич старший.— Даже государю доложат лишь завтра утром.

— Переправа и захват участка на том берегу силами одной дивизии? — удивленно спросил князь Массальский.— Ваше высочество, это дерзко, это отважно, но...— Начальник артиллерии выразительно развел руками.

— Мы долго обсуждали этот вопрос,— пояснил Непокойчицкий.— Большие силы наверняка привлекли бы внимание противника, а малочисленность передового отряда позволяет надеяться и на малые жертвы.

— Беречь патроны,— вдруг значительно сказал главнокомандующий.— Государь специально и очень своевременно указал нам об этом. И я особо напоминаю: беречь патроны. С доставкой их будут трудности, и каждый выстрел стоит денег. Запретите нижним чинам стрелять без команды.

— Безусловно, ваше высочество. Ваша дивизия, Михаил Иванович, будет усилена Четвертой стрелковой бригадой генерала Цвейцинского, двумя сотнями пластунов, гвардейцами его величества, саперами, а впоследствии и батареями Четырнадцатой артиллерийской бригады.— Непокойчицкий мягко переводил разговор в деловое русло.— Порядок переправы, я думаю, обсудим позже, ваше высочество?

— Позже нет времени,— отрезал великий князь.— Наметьте в общих чертах, генералы разберутся сами.

Пока в высших сферах решалась судьба крупнейшей операции, войска, предназначенные для того, чтобы своей кровью открыть ворота русской армии, подтягивались к Зимнице. Вольнский и Минский полки торопили особо; к вечеру 13 июня вольнцы уже расположились на последнем биваке. Все чувствовали, что предстоит серьезное и тяжелое дело, разговоры примолкли, и даже в роте Ящинского не слышно было обычных песен. И ужин был короче и тише, чем всегда, а после ужина вскоре сыграли отбой. Нижние чины, как приказано, залегли под шинели, сунув ранцы под голову, но немногие уснули в эту тихую летнюю ночь. И хоть не было еще никакого приказа, незаметно было и каких-либо необычных приготовлений, но солдатская молва быстро и точно донесла: мы. И кто-то молча лежал, с головой укрывшись шинелью и вспоминая родных, кто-то беззвучно молился или столь же беззвучно плакал. Но еще никто никогда, ни в какие времена и ни перед какими битвами не считал солдатских слез.

Считали патроны.

И Брянову не хотелось быть одному в этот вечер. Обойдя роту, он прошел к офицерскому костру, что горел в лошине. Над костром висел закопченный солдатский котелок, в котором что-то деловито помешивал Фок. Рядом молча сидели Остапов, Григоришвили, прапорщик Лукьянов и штабс-капитан Ящинский.

— Варю пунш, как заповедано дедами перед боем,— пояснил Фок, хотя Брянов ни о чем не спросил его, сев рядом с Остаповым.

— Молиться надо грешным душам, а не пунши распивать,— сказал Остапов.

— Зачем молиться? Зачем о грустном думать? — вздохнул Григоришвили.— Надо о жизни думать, а не о смерти.

— Думать вредно,— улыбнулся Фок.— Все неприятности происходят оттого, что люди начинают думать. Вы согласны с такой теорией, Яцинский? Или у вас в запасе есть собственная?

— Я оставил все теории дома,— сказал штабс-капитан.— Вам угодно знать адрес?

— Кажется, генерал вернулся! — вскочил Лукьянов.— Я, пожалуй, сбегая, господа? Вдруг узнаю что-нибудь.

— Сбегайте, прапорщик,— сказал Остапов. Дождался, когда юноша ушел, выругался.— Все слышали? Вот на этом языке и разговаривайте при мальчишке, философы, мать вашу. Нашли время и место для споров.

— Что это вы сердитесь? — миролюбиво спросил Григоришвили.

— Говорунов не люблю. Развелось их, как мух на помойке, и жужжат и жужжат! А мы офицеры, господа. Наше дело...

— Наше дело — топать смело,— усмехнулся Фок.— Это ведь, между прочим, тоже теория, Остапов. Но поскольку вы, кроме устава, в жизни своей не раскрыли ни одной книжки, я извиняю ваше невежество. Вы счастливейший из смертных, капитан, вы сразу попадете в рай, минуя чистилище, ибо вас уже зачислили в охрану райских куц на том свете.

— Да будет вам, право,— с неудовольствием заметил Бряннов.— Пить так пить, а нет — так разойдемся.

— Правильно,— сказал Григоришвили.— Зачем у вина спорить? У вина радоваться надо.

— Ну, будем радоваться.— Фок разлил пунш по кружкам.— Берите лукьяновскую, Бряннов.— Поднял кружку, став непривычно серьезным.— Я не люблю тостов, господа, но сейчас позволю себе эту пошлость. Мы только что царпались друг с другом по той простой причине, что души наши неспокойны. Их ожидает тяжкое испытание, а быть может, и расставание с бранным телом. Я хотел бы, чтобы души остались при нас, ну а если случится неприятность, чтоб упорхнули они в вечность легко и весело. За нас, господа.

— Вот уж не думал, что вы мистик,— сказал Яцинский.— Циник — да, но сочетание цинизма с мистикой довольно забавно.

— Ошибаетесь, Яцинский.— Фок холодно улыбнулся.— Во мне нет ни грана того, что вы подразумеваете под мистицизмом. А поднимая бокал за наши души, я имел в виду именно их вечность с точки зрения здравого цинизма. Что такое бессмертие, господа? Точнее, что религия называет бессмертием? Это не что иное как благодарная память потомков. Рай не на небе — рай в памяти людской, и если кому-либо из нас суждено вскоре погибнуть, так пусть душа его предстанет не перед богом, а перед потомками.

— Вы кощунствуете, Фок,— строго сказал Остапов.— Это не просто грешно, это...

— Это приступ гипертрофированного себялюбия, не более того,— сказал Бряннов.— Мечтать о собственном бессмертии еще допустимо юношам и старцам, но провозглашать такой девиз в то время, когда вся Россия — вся Россия, господа, едва ли не впервые в жизни своей! — в едином порыве встала на защиту угнетенных, значит думать лишь о себе. Но есть же такие мгновения в истории отчизны, когда думать о себе — худшее из преступлений. Худшее потому...

— Бряннов!.. — Из темноты выбежал взволнованный прапорщик.— Господа, Озеров гвардейцев привел! Значит, все правда, господа, зна-

чит, у нас главное дело, значит, мы — счастливички! Ура, господа!.. Да, Бряннов, вас там какой-то гвардеец спрашивал. Узнал, что я из Вольнского полка, и прямо-таки вцепился. Подать, говорит, мне сюда капитана Бряннова!..

— Тюрберт, — улыбнулся Бряннов. — Не иначе как Тюрберт пожаловал. — Он встал. — Благодарю, господа. До завтра.

## 3

— Ну вот она и пришла, эта ночь, — говорил Тюрберт. — А комары по-прежнему бесчинствуют, в реке плещется рыба, и птицы спят в своих гнездах. Отсюда позволительно сделать вывод, что природе наплевать на историю, хотя расплачивается за нее именно она. Это как-то несправедливо, Бряннов, не правда ли?

Они медленно шли по берегу мимо казачьих пикетов, полупогасших солдатских костров и настороженных патрулей. Тюрберт болтал, а Бряннов помалкивал, с легкой досадой ловя себя на мысли, что гвардии подпоручик излишне суетится перед боем и, чего доброго, побаивается его.

— Знаете, все мы если не тщимся, то хотя бы мечтаем о славе, особенно в юности. И я, грешный, сладостно, до слез порою представлял себе, что меня пышно похоронят и что последующие поколения будут с благоговейным почтением склонять головы над моею могилой.

— Извините, Тюрберт, я только что слышал это рассуждение из уст капитана Фока, — улыбнулся Бряннов. — Это конвульсии эгоцентризма.

— Вы слушали какого-то Фока и недослушали меня, — с неудовольствием заметил Тюрберт. — Я еще не совершил преступления, а вы уже тут как тут с приговором. Этак мы не поговорим, а станем препираться, а потом будем жалеть, что не поговорили.

— Вы совершенно правы, простите. Вы остановились..

— Я остановился на юных мечтах о славе, — сказал Тюрберт ворчливо, — но не успел поставить вас в известность, что сам я с этими мечтами расстался где-то в Сербии. Но начал-то я с природы, которой наплевать на все наши мечты... Вы меня разозлили, Бряннов, и я утерял нить... — Некоторое время он шел молча. — Вы любите жизнь, Бряннов?

— Признаться, не задумывался. — Бряннов неуверенно пожал плечами. — То есть, конечно, люблю, но это же естественно.

— Естественно ваше состояние — жить не задумываясь; любите ли вы это занятие? А я однажды проснулся и увидел на соседней подушке лицо своей жены. Она спала, она не знала, что я смотрю на нее, не готовилась встретить мужской взгляд и... и была прекрасна. И тогда я подумал... Нет, ни черта я тогда не подумал, а просто чувствовал, как меня распирает от счастья. А подумал потом, в поезде, когда спешил сюда.

— Прямо с подушки?

— Не ерничайте, Бряннов, это не ваш стиль. То, о чем я подумал, я могу сказать только вам, и если вы станете иронизировать, то лучше я промолчу.

— Право, больше не буду, Тюрберт.

— А того утра я никогда не забуду. — Тюрберт вздохнул. — Я понял, что самое большое счастье — сделать кого-то счастливым. Есть природы, поцелованные богом в уста, они обладают даром делать счастливыми многих. Но и каждый человек, понимаете, каждый самый обыкновенный человек может сделать кого-то счастливым. Иногда



всю жизнь может — и не делает. Думаете, это эгоисты и себялюбцы? Нет, большинство не приносит счастья другим просто потому, что не знают, как это сделать. Так, может, нужно какое-то новое ученье, которое помогло бы людям, а?.. Впрочем, тут вам и карты в руки, потому что я в этом не разбираюсь.

— Возможно, нужна просто цель, достойная человека?

— Цель? Какая цель? — Тюрберт вдруг рассмеялся. — Ах, вы же о той цели, о которой беспокоится артиллерист.

— Да, я не о стрельбе картечью.

— Понимаю, Брянов, понимаю. Цель?.. — Он подумал. — Цель — это что-то конечное, это всегда результат, а следовательно, и какая-то практическая выгода. А я ведь не о счастье приобретения думаю, господь с ним, с таким счастьем!

— Вы ли это, Тюрберт? — улыбаясь, спросил капитан. — Совсем недавно некий офицер заявлял, что идей расплодилось больше, чем голов, и что идеи вообще чужды нашей профессии. Что же с вами произошло, коли вы вдруг утверждаете обратное?

— Я ничего не утверждаю, я просто очень счастлив и хочу, чтобы все вокруг были счастливы. Не счастливыми — в этом есть что-то, пардон, сопливое, вы не находите? — а просто были бы счастливы. Не думайте, что это каламбур, здесь есть какая-то мысль, которую мне пока трудно высказать, вот я и бормочу привычные слова в надежде, что вы мне подскажите. Ну, для примера, что вы говорите любимой женщине, расставаясь? Пошлое «будь счастливой»? Да никогда! Вы говорите: «Будь счастлива, дорогая!» Улавливаете разницу?

— Нет, — сухо зато ответил Брянов. — Уж не посетуйте, не имею вашего опыта и не улавливаю никакой разницы. Вероятно, суть в том, что понимать под таким пожеланием.

— Как — что понимать? То и понимать. Счастье есть счастье.

— Счастье — категория сугубо относительная, Тюрберт. Для вас оно заключается в том, чтобы сделать кого-то счастливым, для мужика — урожайный год, а для болгарина — падение османского владычества. Я сознательно взял столь различные примеры, чтобы показать вам относительность того, что мы понимаем под словом «счастье». А поскольку термин неабсолютен, то и оставим его для милого житейского обихода. Для девичьих томлений, дамских пересудов и вздохов провинциальных пошляков.

— Похоже, что вы мне дали выволочку, — сказал, помолчав, Тюрберт, — но убей бог не знаю за что. Я искренне хочу, чтобы всем — всем на свете! — было хорошо. Я щедрый сегодня, Брянов, потому что люблю жизнь неистово, вот и вся причина. А чтобы любить жизнь, надо любить женщину, потому что женщина и есть воплощение жизни на земле. И я, вероятно, просто не в состоянии сейчас заниматься холодным анализом, и не уничтожайте меня за это.

— Вы сказали дельную мысль, Тюрберт: каждый человек носит в себе возможность сделать людям добро. Я вас правильно понял?

— Добро — это что-то библейское, — проворчал подпоручик. — Я говорил проще.

— И все же вы говорили о добре, которое каждый может отдать, но почему-то мало кто отдает. — Брянов сел на песок, и Тюрберт, по-медлив, опустился рядом. — Взгляните на тот берег — очень скоро, может быть завтра-послезавтра, мы придем туда. С чем мы вступим на него? С неистовой любовью к жизни, олицетворенной в прекрасной женщине? С искренним желанием сделать кого-то счастливым? Мало, Тюрберт, мало! Вот мы с вами, два русских офицера, сидим перед темницей, в которой много веков томится целый народ... Нет, народ — слишком общее, привычное и абстрактное понятие. Томятся

дети и матери, девушки и старики, нетерпеливая молодость и суровая зрелость. И мы с вами — мы с вами, лично мы, Тюрберт! — первыми собьем замок с этой кошмарной темницы. Первыми! Это ощущение наполняет меня гордостью, Тюрберт. Я хочу в бой, хочу, как никогда ничего не хотел!..

Бряннов говорил взволнованно и приподнято, не стесняясь высоких слов, которых всегда избегал и всегда не любил. Но сейчас в нем словно взорвалось что-то давно накопленное и передуманное. Тюрберт понял его искренность, но все же позволил себе проворчать:

— Какая разница, как называть то чувство, с которым мы завтра пересечем Дунай? Вы жаждете принести болгарам свободу — честь вам и слава. А я хочу сделать их счастливыми. Разве дело в словах?

Бряннов уже успокоился, и привычная сдержанность вернулась к нему. Сказал, чуть усмехнувшись:

— Слова обладают способностью затушевывать истинный смысл, Тюрберт. А в особенности такое неуловимое понятие, как счастье. Стоит ли ради этого рисковать своей жизнью? Нет, не стоит. А вот ради свободы — стоит. Счастье чаще всего бывает чужим, а свобода никогда чужой не бывает. И я счастлив, безмерно счастлив, что Россия, ее народ первыми в мире осознали это. Осознали великое счастье драться за свободу других народов... Почему вы улыбаетесь?

— Вот вы и заговорили о счастье, — с торжеством сказал Тюрберт. — Философствовали, мудрствовали, иезуитствовали даже, а кончили гимном счастью. Эх вы, Макиавелли!

— Поймали-таки! — весело сказал Бряннов.

Он вдруг сгреб Тюрберта в охапку с явным намерением положить гвардейца на обе лопатки. Но подпоручик не давался, и они долго барахтались на песке, с мальчишеским азартом испытывая силу и ловкость друг друга. Тюрберт оказался сильнее, но не обладал брянновской увертливостью и быстротой. В конце концов оба запыхались и угомонились.

— Ну и медведь же вы, Тюрберт.

— Признаться, о чем я мечтаю? Только не вздумайте смеяться, предупреждаю, я чертовски обидчив. Сказать?

— Признавайтесь. Чистосердечное признание — половина вины.

— Я очень хотел бы помочь именно вам в этом бою, — тихо и серьезно сказал Тюрберт. — Даже больше: я б хотел спасти вас, Бряннов. Я бы хвастался потом всю жизнь и рассказывал бы своим внукам, как однажды прикрыл огнем и выручил из беды очень хорошего человека.

— Вы неисправимы, Тюрберт, — мягко улыбнулся Бряннов. — Будем дружить, гвардия?

— Будем, пехота!

Офицеры встали и торжественно пожали друг другу руки. На востоке светлело. Занимался новый день — 14 июня 1877 года.

## 4

В глубокой тишине рассаживался по понтонам первый эшелон десанта — сотня кубанских пластунов, стрелки Остапова и Фока, пехотинцы Ящинского и Бряннова и гвардейцы под командованием полковника Озерова. По сорок пять человек в полуторных понтонах, по тридцать — в обыкновенных. Генерал Драгомиров стоял у причала, пропуская роты мимо себя. Солдаты узнавали его в темноте, подтягивались, шепотом передавая по рядам:

— Сам провожает.

А Михаил Иванович всматривался в старательные молодые лица, размытые сумраком и уже неузнаваемые, с горечью думая о том, сколько внимательных, живых человеческих глаз не увидят завтрашнего дня. Эти мысли не мешали ему верить в победу: он твердо знал, что выиграет дело, что выдержит, что силою, мужеством и жизнями этих вот солдат проломит брешь в несокрушимой обороне Османской империи. Он просто считал, сколькими сотнями молодых жизней он заплатит за эту победу, и печаль тяжким грузом оседала в сердце старого генерала.

— Михаил Иванович! — Кто-то вежливо тронул Драгомирова за рукав.

Он оглянулся: перед ним стоял Скобелев 2-й. В белой парадной форме и при всех орденах.

— Не спится, Михаил Дмитриевич?

— Михаил Иванович, будьте отцом родным, — умоляюще зашептал Скобелев, — возьмите в дело. Не могу, себе не прощу, коли в стороне останусь. Вплыв вон с казаками...

— Голубчик, ну куда же я вас могу? Не приказано и должностей нет. И потом, что это вы в белом?

— Бой есть праздник, Михаил Иванович, по-иному не мыслю.

— Правильно, Михаил Дмитриевич, и я не мыслю. Но днем, а не ночью. Днем, при солнышке.

— Сниму, — мгновенно согласился Скобелев. — Бешмет вон казачий надену, только возьмите, христом богом...

— Как взять, как, в каком роде, генерал? — маялся Драгомиров, любивший Скобелева за отвагу и независимость. — В ординарцы ведь...

— Пойду, — торопливо перебил Скобелев. — За честь почту при вас и при таком деле в качестве ординарца. Прикажете в понтон?

— При мне до утра, — сухо сказал Драгомиров. — Подтяните Минский полк и чтоб разговоров — ни-ни!

— Слушаюсь, Михаил Иванович! — просиял Скобелев. — И благодарю. От всего сердца благодарю!..

А роты все шли и шли, будто 14-я дивизия отправляла на тот берег не восемнадцать понтонов, а добрую половину Волынского полка. Вся идея прорыва главных сил русской армии строилась на быстроте маневра и его внезапности, количество войск ради этого было сведено до минимума, но нетерпение уже охватывало всегда спокойного и невозмутимого генерала и он начинал нервно пощипывать тощий монгольский ус.

— Погрузка закончена, Михаил Иванович, — негромко доложил начальник переправы генерал-майор Рихтер. — Прикажете отваливать?

— Обождите. — Драгомиров снял фуражку, шагнул к тяжело, по самые борта нагруженным понтонам. — Вы уходите, а я остаюсь. Второй эшелон погружу — и за вами. Я хотел бы вместе, да служба не велит, так что на время расстанемся... — Он помолчал, покрутил фуражку в задрожавших руках. — Одно помните — от вас все дело зависит. Либо через Дунай, либо — в Дунай, иного пути у нас нет. Ничего не обещаю, и помощь не скоро придет, и артиллерия не скоро поддержит — сами вы все должны исполнить. Не стреляйте в темноте без толку: целей не видать, а турки сразу поймут, что вас горсточка. А главное, сигналов об отступлении быть не должно и не будет. Никаких сигналов! Колите того штыком, кто сигнал такой подаст, тут же на месте и колите, потому что это либо трус, либо враг. Не ищите своих офицеров, держитесь тех, кто поближе, и выручайте друг

дружку. Помните об этом. С богом! С богом, друзья мои! С богом, герои, до встречи на том берегу — в Болгарии!

Не гремели оркестры, не развевались знамена, никто не кричал «ура». Матросы молча отпихнули баграми тяжелые паромы. Дружно и плавно поднялись весла, громоздкие суда медленно тронулись по протоке к Дунаю, скрытые тьмой и низким островом Аддой, еще загодя занятым ротами Брянского полка. Генерал Драгомиров, держа в руках фуражку, глядел им вслед, пока неясные силуэты не растаяли в ночной мгле. Тогда он вздохнул, перекрестился и надел фуражку.

— Грузите артиллерию немедленно.

К причалам уже подходили грузовые понтоны. Матросы плотно чалили их, устанавливали сходни. Где-то совсем рядом всхрапнула лошадь, послышался тихий ласковый голос ездового:

— Стоять, милая, стоять.

— Минчане подошли, — сказал вновь возникший за плечом Драгомирова Скобелев. — А на этом участке у турок черкесов нет, Михаил Иванович.

— Почему так полагаете?

— Минчане уток вспугнули на подходе, а на той стороне тишина. Черкесы сразу бы всполошились: вояки опытные.

— Слава богу, коли так. Минский полк вам поручаю, Михаил Дмитриевич.

— Благодарю. Только уж и на ту сторону с ними, а?

— Все там будем, — строго сказал Драгомиров. — Путь у нас один: только в Болгарию.

Ездовые осторожно вводили на понтоны испуганно всхрапывающих лошадей, расчеты готовили к погрузке пушки и зарядные ящики. Все делалось молча, без обычных шуток, ругани и команд.

— Лапушки наши заряжены, Гусев? — тихо спросил Тюрберт.

— Лично заряжал, ваше благородие. Карточный снаряд, как велено.

— Бряннов с первым эшелом пошел. Помнишь капитана Бряннова, Гусев?

— Как не помнить, в Сербии, чай, вместе горюшко хлебали.

— Да... Вели ездовым лошадей за храп держать, пока не переправимся. А коли ранят какую — душить всем дружно, чтоб я и вдоха ее не услышал. Всю батарею предупреди.

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие, понимаем, куда идем.

К тому времени передовые понтоны со стрелками Остапова и Фока уже вышли на стрежень. Тучи перекрыли луну, на турецком берегу было тихо, темно и пусто, но верховой ветер принес волну, паромы закачало и стало заметно сносить по течению.

— Навались, гребцы, навались, мать вашу! — сквозь зубы шепотом ругался Остапов.

Однако ветер и разыгравшаяся река уже разорвали единый строй понтонов. Турецкий берег, на котором не видать было ни одного огонька, утонул в кромешной тьме, и офицеры, как ни всматривались, не могли определить ни одного ориентира. Понтоны, медленно пересекая течение, шли в черную неизвестность.

Первым врезался в отмель понтон с сорока пятью стрелками Остапова; нос уперся в песок, течение развернуло корму к берегу, и понтон накренился, черпая воду. Подняв револьвер над головой, капитан первым прыгнул в воду.

— За мной! Оружие беречь!

Он ожидал залпа, окрика, но берег молчал. Остапов брел по пояс в воде, сабля пугалась в ногах. Позади с шумом и плеском шли стрел-

ки. Так они и выбрались на берег, никого не потревожив, не зная, где свои, где чужие. За узкой полоской песка начинался крутой и высокий глинистый обрыв. Распределив солдат, капитан направил охранение вверх и вниз по берегу, а сам с основной группой стал подниматься на откос. Солдаты лезли, втыкая штыки в глину, рубя ступени, подставляя друг другу плечи, цепляясь за корни и неровности. С трудом выбравшись наверх, залегли, вглядываясь в темноту.

— Ни хрена не видать. Все подтянулись?

— Так точно, ваше благородие, все как один.

Ниже гулко ударил выстрел, и тотчас же все вершины доселе затаенно молчавшего вражеского берега отозвались разрозненной ружейной пальбой. Это была настороженная стрельба наугад, по еще невидимому, но ожидаемому противнику.

— Ах вот вы где, мать вашу! — закричал Остапов, вырывая из ножен саблю.— Вперед, ребята! Не стрелять! В штыки их, в штыки!..

Первый выстрел, переполошивший турок и создавший впоследствии особые трудности для стрелков капитана Фока, был, по сути, случайным. Высадившиеся почти одновременно с Остаповым пластуны, пользуясь темнотой, берегом проникли в устье пересохшего ручья Текир-Дере и вышли к турецкому пикету. Турки окликнули, но казачий есаул, шедший впереди, спокойно ответил по-черкесски:

— Свои. С той стороны возвращаемся.

Турки, поверив, подпустили их и тут же были взяты в кинжалы. Уцелел до времени один, находившийся у караулки, успел подать сигнал, и береговые склоны ответили огнем разрозненных винтовочных выстрелов. В устье Текир-Дере начинался ад: турки занимали высоты и, обнаружив врага, начали бить беспорядочным, но массированным огнем. Пластуны сразу оказались прижатыми к откосам.

Сюда, в эту простреливаемую со всех сторон низину, прибило паромы Фока. Вода кипела от пуль, стояла сплошная винтовочная трескотня.

— Стрелки, за мной! — перекрывая грохот, крикнул Фок.— Барбанщик, атаку!

Он бежал по мелководью, со странным, впервые возникшим чувством благодарности слыша дружный солдатский топот за спиной. Раненые падали в воду, но подбирать их не было ни времени, ни возможностей. Дело решали секунды, и Фок, правильно оценив это, решительно вел свои «механизмы, при винтовке состоящие», на штурм обрывов, оцетиненных турецким огнем.

Чуть ниже высаживался Ящинский. Едва ступив на берег, рванул из ножен саблю:

— Вперед, брат...

И, взмахнув руками, упал навзничь, так и не закончив команды. Солдаты бросились к нему, приподняли, но штабс-капитан был уже мертв: пуля попала в висок.

— Отпелись...— горько и растерянно сказал кто-то.

Унтер-офицер, державший на коленях пробитую голову командира, бережно опустил ее на песок и встал.

— Чего столпились? Вперед! Бей их, сволочей, ребята! За мной!

Солдаты приступом взяли обрыв, выбили турок из передовых ложементов и с боем прорвались к стрелкам. Унтер нашел Фока, вытянул, приткнул к ноге винтовку с окровавленным штыком:

— Разрешите доложить, унтер-офицер Восьмой роты Малютка. Командира убило...

— Ложись и докладывай толком.

— Так вы же стоите, ваше благородие.

— Потому и стою, что благородие. Значит, погиб Ящинский?

— Так точно. В висок.

— Сколько с тобой?

— Семнадцать.

— Видишь внизу караулку? Бери своих и штурмуй. Как тебя? Малютка? Уцелеешь, произведу во взрослые. Барабанщик, атаку ящинцам!

Бессистемная стрельба шла по всему берегу. Взыли турецкие сигнальные рожки, вспыхнули смоляные шесты, оповещая гарнизоны о русском десанте. Послышался сильный шум и в Вардине, где стояла вражеская артиллерия. Турки спешно собирали таборы, намереваясь ударами с трех сторон уничтожить немногочисленный русский отряд.

Но пока царил сумятица: как выяснилось позднее, пластуны сумели-таки просочиться за линию турецких охранений и перерезали телеграфную связь. Пользуясь темнотой и суматохой, Остапов без единого выстрела занял виноградники, развернул стрелков в жидкую цепь фронтом к Свиштову и отчаянной штыковой атакой встретил первые турецкие подкрепления, спешно брошенные в устье Текир-Дере.

— Не стрелять! — хрипло орал он, отбиваясь саблей сразу от двух турок. — Не стрелять, сукины дети! Ломи их, в аллаха мать!..

Семнадцать человек, уцелевших с понтона Ящинского, бежали к турецкой караулке молча. Они скатились с правого откоса, турки поначалу то ли не заметили атакующих, то ли приняли за своих, а когда опомнились, было уже поздно. Единственный залп, который успели они сделать, был торопливым и неприцельным; ящинцы так же молча, без «ура» приблизились на штыковой удар, и только тогда унтер Малютка на последнем выдохе выкрикнул, как на ученье:

— Коли!..

Семнадцать штыков с разбегу вонзились в человеческие тела, тут же четко и умело были выдернуты и снова вонзились — уже вразной, уже не все семнадцать. Уже началась рукопашная, уже приходилось и отбивать выпад противника, и подставлять винтовку под удар ятагана, и крушить черепа прикладом. Но этот молчаливый стремительный штурм так ошеломил турок, что, вяло посопротивлявшись, шесть десятков аскеров в панике бежали к водяной мельнице.

Чуть светало. В сером предрассветном сумраке уже прорисовывались кромки турецких высот, темные силуэты понтонов на реке и вершины возле села Вардин, занятые турецкими батареями. Оттуда прогремел первый выстрел, снаряд с воем пронесся над стрелками Фока и разорвался в Дунае, подняв высокий фонтан.

Вся река была усеяна понтонами. Пустые торопливо отгребали назад, к своему берегу, перегруженные с трудом преодолевали течение. Теперь, когда с каждой минутой становилось светлее, турки обрушили на суда яростный ружейный огонь. Продырявленные пулями понтоны набирали воду, команды не успевали ее вычерпывать; все чаще то один, то другой понтон, переполнившись, шел на дно.

Взятие караулки обеспечило правый фланг Фока, но его теснили и с фронта и с левого фланга. Он то и дело поднимал своих людей, бросал их в короткие контратаки и отходил снова, охраняя место основной переправы и боясь оказаться отрезанным от берега. Несмотря на рассвет, он упорно не ложился; высокая его фигура все время маячила впереди цепи. После бесконечных рукопашных схваток мучительно ломило плечо; он морщился, перехватывал саблю в левую руку, пытался растереть занемевшие мышцы. По мундиру расплозалось темное пятно: в последней схватке штык аскера достал-таки до капитанских ребер, но, к счастью, скользнул, лишь надломив

кость и сорвав лоскут кожи. Фок никому не говорил об этом и старался держаться так, чтобы солдаты не заметили, что он ранен.

— Ваше благородие, ложись! — время от времени зло кричали стрелки. — Убьют тебя — все тут поляжем!

— А смотреть кто будет? — огрызался капитан, страдая от боли в растренированной руке, которой досталось сегодня столько работы. — Ваше дело шкуры беречь и исполнять что прикажут.

— А коли приказывать станет некому?

— Коли некому, так в штыки! Все, дружно, а ежели кто замешается, я с него и на том свете спрошу!

Как бы ни было тяжело стрелкам Фока, Остапова и уже успокоившегося Ящинского, а понтоны с того берега шли. Вразнобой, потеряв связь, приткнувшись к случайному месту, они все же доставляли солдат, и солдаты эти, зачастую сразу же теряя офицеров, все же упрямо лезли на обрыв, штыками отбрасывали турок и цепко держали узкую полоску берега. Часть их прибилась к Фоку, десятка два провел в устье Текир-Дере поручик Григорийшвили, раненный в плечо в первой же атаке: вместе с уцелевшими солдатами унтера Малютки он упорно штурмовал засевших на мельнице аскеров.

Благополучно переправился на вражеский берег и командир первого эшелона генерал-майор Иолшин. Вместе со штабными офицерами он сидел под обрывом и страдал от бездействия: руководить боем в такой неразберихе было невыносимо.

Турки ожесточенно атаквали Остапова. Поредевший в схватках отряд его, пополненный пластунами и частью гвардейских офицеров полковника Озерова, упрямо держался за виноградники, перерезав туркам дорогу к Текир-Дере. Остапову пуля раздробила коленную чашечку; он лежал в пыли на дороге, собрав вокруг себя раненых, и, страшно ругаясь, отбивал атаки четкими ружейными залпами. Командование принял Озеров.

— Только не вздумайте стрелять, полковник, — скрипя зубами от боли, сказал Остапов; ему очень хотелось ругаться, он грубил, но в присутствии старшего от мата воздерживался. — Штыками их, штыками!

— Я слышал приказ, капитан. Держите дорогу.

— Ну уж тут-то они только по трупам: мне ногу перебило. А вот вам придется побегать.

— Доктора утверждают, что это полезно для здоровья, — усмехнулся Озеров, уходя в цепь.

— Стрелять только раненым! — вдогонку прокричал Остапов. — Только тем, кто уж и на ногах-то не стоит! Слышите, гвардия?..

Но время текло своим чередом, и как ни внезапен был русский удар, турецкое командование в конце концов разобралось в обстановке. Из трех наиболее активных очагов сопротивления самым неустойчивым им представился участок Фока. И туда, на его измотанных, израненных, и немногочисленных стрелков, турки и бросили подошедшие из Вардина свежие резервы.

Бряннову не повезло с самого начала: понтон, на котором находился капитан с сорока пятью солдатами, закрутило на быстрине с особой затейливостью, развернув почти в обратную сторону. Гребцы, привставая на скамьях, с силой налегли на весла, и весла не выдержали — три хрустнули пополам, и потерявший скорость и управление понтон потащило по течению. Пока гребцы разбирались с веслами, чтоб уравнять количество их с обеих сторон, судно успело уйти да-

леко вниз, потеряв всякую связь с соседним понтоном прапорщика Лукьянова. Когда наконец-таки приткнулись под обрыв, спускавшийся в этом месте к самой воде, в устье Текир-Дере и на высотах вокруг уже кипел бой.

Здесь пока не стреляли, но обрыв был на редкость высок и крут; терять время на подъем, а затем завязывать бой в стороне от основного удара было бессмысленно, и Брянов не раздумывая принял решение — берегом быстро и по возможности скрытно добраться до своих, выйти во фланг туркам и внезапно атаковать их.

Полоска песка была здесь настолько узкой, что временами приходилось идти по воде. Отряд двигался с возможной быстротой, прикрытый от турок кручей; дважды они слышали голоса и топот наверху, но никто их не обнаружил и они не задержались ни на мгновение.

Все ближе и ближе слышалась стрельба и дикие крики атакующих аскеров. Брянов спешил, иногда переходя на бег, и все время неотступно думал о том, как поведут себя эти сорок пять человек, что, сдерживая дыхания, спешили за ним, не отставая ни на шаг и заботливо следя, чтобы не брякало оружие. На бегу он поскользнулся, но не упал, с двух сторон бережно подхваченный сильными руками.

— Осторожней, ваше благородие,— дыхнуло сбоку крепким маршорочным перегаром.

Это был пустяк, обычная товарищеская услуга, но Брянов почему-то сразу поверил, что рота уже его, что она признала в нем своего командира, уверовала в него и теперь без колебаний пойдет туда, куда он ее поведет. Не прикажет идти, а именно поведет, поведет сам, впереди всех; это допущение он на всякий случай оставил про запас. А подумав, тут же отбросил все эти мысли и стал размышлять уже о бое, пытаясь представить себе, где могут зацепиться наши и в каком месте ему следует подняться на обрыв и оказаться у турок на фланге не слишком далеко, но и не чересчур близко, чтобы солдаты успели собраться вместе и отдышаться после крутизны. А бой приближался с каждым шагом, и они уже различали не только отдельные выстрелы, но и свист пуль над головой.

Бряннову некогда было думать о понтонах своей роты: он думал о конкретном бое и о своей конкретной задаче в этом бою. Понтоны разбросало при переправе, часть его солдат оказалась выше Текир-Дере и тут же пристала к остаповцам, часть — в самом устье и переместилась к мельнице, а понтон прапорщика Лукьянова затонул недалеко от турецкого берега. Лукьянов собрал тех, кто выплыл, и, не оглядевшись, тут же полез на обрыв, вышел во фланг туркам, атакующим Озерова, но слишком далеко и поэтому был смят и уничтожен аскерами. Безусый прапорщик долго мучительно хрипел на застрявшем в груди турецком штыке.

А отряд Брянова все еще бежал под обрывом, когда сверху, почти им на головы с шумом скатились двое — свои в изодранных окровавленных рубахах.

— Стой! Кто такие?

— Свои, не видишь? — задыхаясь, прохрипел один из них, но тут же узнал офицера. — Виноват, вашбродь. Раненые мы, турки сбили. Ох ломит он, ох ломит!

— Откуда?

— Стрелки Третьей роты капитана Фока. Ох и жмет турка, ох жмет!..

— Поднять меня на обрыв! — прокричал Брянов. — За мной! На выручку!



Десятки солдатских рук тут же подняли его в воздух. Он уцепился за корни, нащупал носками сапог расселину и полез наверх, подтягиваясь на руках. Он сейчас уже не думал о своих солдатах: он знал, твердо знал, что они ползут следом по крутому, твердому, как камень, глинистому обрыву; он думал о Фоке и его стрелках, что дрались здесь все то время, пока он спокойно шел под защитой обрыва. Ему хотелось крикнуть им, что он рядом, что он спешит на помощь, но подъем отнимал все силы и на крики не оставалось дыхания.

Он взобрался на откос, вскочил на ноги и в нескольких шагах от себя увидел турок. Они еще не заметили его, Брянов мог бы снова упасть на землю и подождать, пока поднимутся все его солдаты, но тут же в сумраке, в огневых вспышках за этими аскерами он увидел и Фока: собрав вокруг себя стрелков и оцетинившись штыками, капитан отчаянно отбивался от нападавших со всех сторон турок.

— Иду, Фок! — все-таки хрипло выкрикнул Брянов, вырвав из ножен саблю. — За мной, ребята!..

И, никого не дожидаясь, бросился в свалку. Ударил саблей одного, с выпадом ткнул второго и вдруг почувствовал, как его отрывают от земли. Не ощущая боли, он рубил саблей кого мог достать, рубил, уже поднятый в воздух, уже распятый девятью турецкими штыками, рубил до тех пор, пока штыки эти не отбросили его тело к краю обрыва. Услышал отчаянный крик всегда спокойного фельдфебеля Литовченко:

— Капитана убили! Бей их, мать в перемать!.. Круши! За командира, ребята! За командира!..

Это было последним реальным звуком, который расслышал капитан Брянов. В следующее мгновение перед ним взметнулись качели и все звуки ушли; он видел сестренку, ее смеющиеся сияющие глаза: «Выше! Еще выше! Еще!..»

Внезапный удар бряновцев во фланг атакующих турок не только спас стрелков, но и позволил им перейти в атаку. Опираясь на штыки, которые вел за собой осатаневший от ярости Литовченко, Фок отбросил турок на прежние позиции. И впервые за эту ночь сел на липкую от крови землю, задыхаясь и бережно опупывая изрезанную штыками левую руку: он отбивал ею выпады аскеров в бою.

— Ваше благородие... Ваше благородие, разрешите обратиться!

— Ты кто?

— Фельдфебель Литовченко, вашбродь. Бряновцы мы.

— Спасибо за помощь, бряновцы.

— Ваше благородие, дозвоьте отлучиться. Товарища вынести.

— Раненым не помогать, ты что, фельдфебель, приказа не знаешь? Пусть санитаров ждут, у меня каждый штык на счету.

— Да не раненый он, вашбродь. Он убитый. Дозвольте...

— Тем более если убитый. Ступай.

— То командир мой, их благородие капитан Брянов.

— Брянов убит?.. — Фок тяжело поднялся, опираясь на саблю. — Врешь! Покажи, где... где лежит.

— За мной идите, вашбродь. Он первым на них бросился, нас не дождавшись.

Литовченко подвел Фока к лежавшему у обрыва окровавленному Брянову. Фок опустил на колени.

— Эх, волонтер... — Он прижался ухом к груди. — Дышит, как жетса?.. Фельдфебель!

— Тут я, ваше благородие, тут. Смотрите, и саблю не выпустил. Как прикипела...

— Вот так с саблей и неси его. Дотащишь один?

— Дотащу. Я перед собой его. На руках.

— Дождешься на берегу санитаров и первой же партии передашь. И ни на шаг от него, понял? Если гнать будут, скажешь, что я так приказал, я, капитан Фок!

И не оглядываясь пошел к цепи, с каждым шагом ощущая, что болит уже не занемевшая от сабли правая рука, не изрезанная до костей левая, не бок, проткнутый штыком,— что болит все его тело. А помощь все не шла, турки собирались в очередную атаку, и до победы было куда дальше, чем до смерти.

## 6

Артиллерийские понтоны—рубленные из бревен платформы, опиравшиеся на тяжелые рыбацкие шаланды,—были медлительны и неповоротливы. Отвалив от берега позже, чем понтоны с пехотинцами первого эшелона, они медленно огибали остров Адду, медленно добирались до основного русла. Уже все береговые склоны опоясались ружейным огнем, уже Фок и остаповцы намертво вцепились в свои щедро политые кровью плацдармы, уже погиб Ящинский, уже поручик Григоришвили, охрипнув от команд и слабея от раны, в шестой раз бросался на птгурм мельницы, а артиллерия, грузно покачиваясь на осевших шаландах, еще только-только миновала стремнину Дуная.

К этому времени чуть просветлело, турки обнаружили испятнившие всю реку понтоны, открыли яростный ружейный огонь, и первые снаряды вражеской батареи, расположенной у Вардина, начали пристрелку. Вода кругом кипела от пуль и осколков, но понтон Тюрберта был пока цел, а на соседнем, которым командовал его субалтерн-офицер подпоручик Лихачев, ранило лошадь. Она дико заржала, забилась, грозя запутать построюмки и разбить ограждение, но артиллеристы, дружно навалившись, придушили ее и тут же скинули в Дунай.

Время шло, а кипевший огнем и боем вражеский берег почти не приближался. Тюрберт нервничал, с трудом унимая растущее раздражение и вызванную этим мучительную внутреннюю дрожь. Он был человеком активных действий, легко ориентировался в боевой обстановке, но терпеливо выжидать не умел и не любил. Понтон был до отказа забит орудиями, лошадьми, зарядными ящиками, люди стояли впритык друг к другу, и он даже не мог подвигаться, чтобы унять эту нервную трясучку и хоть как-то отвлечься. В сотый раз он прикидывал, где они могут пристать, как втащат на обрыв пушки и куда в первую очередь следует направить неожиданный для турок сокрушительный артчетный огонь. И все время советовался с невозмутимым Гусевым:

— На руках втащим?

— Втащим, ваше благородие.

— Главное—пушки. Лошадей пока под обрывом оставим, а снаряды—на руках.

— На руках, ваше благородие, это точно. Ты не беспокой себя понапрасну.

— Представляешь, как там Брянову достается?

— Всем достается. Известное дело, без артиллерии.

— Господи, ну что же так медленно, что же так медленно!..

Тюрберт не знал, что как раз во время этого разговора Фока потеснили к обрыву, Брянов был поднят на штыки, а удар его солдат спас стрелков от неминуемой гибели. Не знал, что аскеры вскоре снова навалились на Фока и прибившихся к нему бряновцев. Фок

то и дело бросал свой отряд в штыковые контратаки, уже не ощущая ни времени, ни боли, ни даже усталости. Все слилось в один кошмарный клубок: атака — рукопашная — короткий бросок вперед и снова штыковой бой. Сабля у капитана сломалась, он теперь отбивался ружьем и с ним наперевес водил в бесконечные контрброски своих грязных, окровавленных, нечеловечески уставших солдат.

А Григоришвили все же ворвался на мельницу. Все тот же унтер Малютка во время последнего штурма успел спрятаться в кустах, при первой возможности взобрался на крышу и, разметав черепицу, через пролом бросился внутрь. И тут же погиб, проткнутой десятком штыков, но на какое-то мгновение отвлек аскеров от окон, и Григоришвили успел с последним отчаянным приступом.

— Пленных не брать! — кричал он, путая грузинские и русские слова. — Бей их, братцы! Бей насмерть!

Получил удар прикладом в голову, отлетел к стене и сел на пол, чудом сохранив сознание. Его солдаты в тесных и темных помещениях добивали последних защитников мельницы. Стоял лязг оружия, хриплая ругань, вопли и стоны раненых и умирающих, а поручик, слыша все это, никак не мог удержать голову прямо: она валилась с плеча на плечо, как у болванчика. Потом наступила тишина, он хотел встать, но не сумел, и тут же кто-то присел рядом:

— Живы, вашбродь?

— Что турки?

— Перебили.

— Немедленно на берег. Найдешь генерала Иолшина, скажешь: путь свободен. Пусть строит дорогу для артиллерии. А мне... воды из Дуная. Хоть в фуражке..

Остапов по-прежнему валялся в дорожной пыли, окончательно обессилев от потери крови и даже перестав ругаться. К нему подползали раненые с оружием, те, которые уже не могли ходить в атаку, но еще могли стрелять. И он отбивался огнем от наседавших из Свиштова турок, а Озеров от них же отбивался штыками. Гвардии поручики Поливанов и Прескотт были уже убиты, сам Озеров ранен штыком. Зажав окурок погасшей сигары, он водил солдат в атаку, сквозь зубы ругаясь по-французски.

А Тюрберт все еще пересекал Дунай...

— Ваше благородие, тонем!..

В сплошном грохоте выстрелов он не расслышал тех, что поразили его понтон, не почувствовал, как пули пробили борта, как хлынула вода в тяжелые шаланды.

— Тонем!..

Тюрберт оглянулся, увидел серые, напряженные лица артиллеристов, пушку, ствол которой был направлен на тот страшный, огненный, кровавый берег. Замешательство его длилось одно мгновение:

— Все за борт! Все! Отплывай подальше!

Расталкивая людей, он бросился к пушке. Присел, снял с запора, наводя на турецкий берег. И сразу пропала дрожь: он действовал, он знал, что ему надо делать.

— Все за борт! Живо за борт!

Понтон уже кренился набок, испуганно ржали и бились лошади. Ездовые ломали поручни, сталкивали лошадей в воду. Матросы покинули тонущие шаланды, и артиллеристы вслед за ними тоже прыгали в Дунай.

— Сбрасывай лошадей, чтоб наводить не мешали!..

— Ваше благородие! Ваше благородие, Александр Петрович, что ты делаешь?! Ведь убьет откатом, не закреплена ведь, убьет!..

Гусев хватал за руки, тащил к борту. Тюрберт вырвался, впервые в жизни ударил подчиненного.

— Исполнять приказ!

— Саша! — забыв о субординации, забыв о сословном неравенстве, забыв обо всем и помня только, что перед ним самый дорогой человек, Гусев упал на колени. — Сашка, опомнись!..

— Вон! — Тюрберт схватился за кобуру. — Застрелю!

— Стреляй, — покорно сказал Гусев. — Лучше в меня, чем из пушки. Смерть это верная...

Тюрберт сунул револьвер на место, отер мокрое то ли от брызг, то ли от слез лицо.

— Там люди гибнут, Гусев. Они нас ждут, нас, артиллеристов, как спасение, ждут как надежду. Там... Там — Брянов, Гусев. Что ж прикажешь, без надежды его оставить? Уходи.

Гусев поднялся с колен. Шаланды наполнились водой, и понтон на какое-то время выровнялся. Ездовые уже сбросили лошадей, попрыгали сами, и на понтоне остались теперь только командир и его старый боевой помощник. Настил заливала вода.

— Прощай, Александр Петрович. — Гусев низко поклонился Тюрберту и, перекрестившись, бросился за борт.

Тюрберт уже ничего не слышал и не видел. Он стоял в воде на коленях, тщательно наводя орудие. Ориентиров не было никаких, он наводил по наитию, но боевое вдохновение его было сейчас великим, прозорливым и прекрасным. Все накопленное им мастерство, весь опыт, вся любовь и вся ненависть сошлись сейчас в его прицеле.

— Держись, Брянов, — шептал он, выравнивая крен. — Держись, друг мой. Держись... И живи!..

И дернул спуск. Рывкнул единственный с русской стороны пушечный выстрел, и понтон разнесло на куски. Обломки его на миг поднялись над водой и тут же канули в пучину.

А единственный картечный снаряд разорвался в цепи атакующих турок. Лижущий крик вырвался из пересохших глоток стрелков капитана Фока. В едином порыве они смяли растерявшихся аскеров, вырвались из смертного кольца и далеко отбросили турок от берега. Правый фланг их примыкал теперь к занявшим мельницу солдатам Григоришвили, а те, в свою очередь, пробились к Остапову. Вместо трех разрозненных береговых участков русские к исходу третьего часа ночи сумели создать общий плацдарм и организовать единую систему обороны.

Как только рассвело, береговая русская артиллерия открыла частый сокрушительный огонь по всей линии турецких позиций. Самое главное было сделано: турки оказались отброшенными от берега; можно было начинать систематическую переправу войск, наращивая силы для удара.

Уже ушли вторые эшелоны десанта, уже субалтерн-офицер погибшего Тюрберта подпоручик Лихачев, благополучно добравшись до берега, втащил свои пушки на обрыв и прямой наводкой громил наступающих из Свиштова турок, уже грузились в понтоны первые санитары. Уже можно было передождать: Остапова подтащили к берегу, Григоришвили вдосталь наполнил воды из солдатского кепи, а капитан Фок наконец-таки смог лечь и вытянуться. Его бил озноб, и хотя он никому не говорил об этом, его стрелки искали шинель и вскоре нашли. Турецкую, окровавленную и короткую. Фок с трудом завернулся в нее.

— Пора и нам туда, — сказал Драгомиров Скобелеву. — Надо по-

смотреть на месте и, пожалуй, приостановить на время движение вглубь.

— Если позволит обстановка, Михаил Иванович. Разрешите мне обойти позиции?

— Видимо, придется.— Драгомиров обернулся к адъютанту.— Доложите генералу Радецкому, что я счел необходимым переправиться на тот берег. Со мной чины штаба и генерал Скобелев-второй. Ступайте. Прошу на катер, Михаил Дмитриевич.

До катера генералы дойти не успели. Молодой подпоручик Брянского полка догнал у причала:

— Ваше превосходительство, артиллерист из подбитого понтона на берег выбрался. Говорит, будто тот картечный выстрел успел произвестить его командир...

Пока шли к берегу, подпоручик с юношеским восторгом и искренней завистью рассказывал о единственном выстреле русской пушки. Первом и последнем выстреле гвардии подпоручика Тюрберта в этой войне.

— ...видел я его, ваше превосходительство: здоров, как бык, одно слово — гвардия. Спокойно бы Дунай дважды переплыл, если бы захотел. А он не спастись — он выстрелить захотел...

Мокрый, еще не отдышавшийся Гусев сидел на песке в окружении брянцев. Увидев подходивших генералов, солдаты вскочили; Гусев поднялся тоже, но, зарывав вдруг, упал на колени.

— Ваше высокопревосходительство, велите все, все ему отдать!..— Он сорвал с груди ордена и, стоя на коленях, протягивал их Драгомирову.— Все ему отдаю, командиру моему Тюрберту Александру Петровичу. Все!..

— Как фамилия? — тихо спросил Драгомиров.

— Тюрберт, ваше высокопревосхо...

— Про Тюрберта знаю и доложу. Твоя как фамилия?

— Унтер-офицер Гусев.

— Надень свои кресты, Гусев, а Тюрберта мы не забудем.

Скобелев шагнул вперед, поднял Гусева с колен, поцеловал в мокрое от слез лицо.

— Спасибо за преданность, солдат. Ранен?

— Никак нет. Велите туда меня. Туда.

— Пойдешь туда. Переодеть, накормить, дать водки, отправить с артиллеристами.

Уже на катере, отваливая от берега, Драгомиров сказал:

— Вот на таких, как этот Тюрберт, и держится армия. Сам погибай, а товарища выручи. Прекрасно! Непременно в реляции отмечу. Подвиг его символический: с дружбой идем, а не с гневом. С великой дружбой...

7

Командир волынец полковник Родионов переправился с последними ротами своего полка во втором эшелоне. Его понтон попал под губительный ружейный огонь, некоторые гребцы были убиты, многие ранены, что сильно замедлило движение. Когда наконец пристали неподалеку от устья Текир-Дере, бой на ближних высотах уже откатился в глубину и наступила кратковременная передышка. Турецкое командование искало новое решение, перетасовывая подходившие резервы и все еще не веря в то, что дело проиграно. Доложив Иолшиту о прибытии и получив приказание обосноваться в центре обороны, Родионов берегом вышел к пересохшему ручью, куда, пользуясь затишьем, солдаты начали стаскивать раненых. Уло-

жив их на песок, тотчас же и уходили, понимая, что смены нет и что каждый штык на счету. И только одна фигура продолжала сидеть возле неподвижного тела.

— А ты почему сидишь?

— Виноват, ваше высокоблагородие, — вскочил фельдфебель. — Исполняю приказ капитана Фока: не отходить от командира, пока санитарам не сдам.

— Стало быть, твой ротный, Литовченко? — Родионов знал всех фельдфебелей своего полка. — Неужто Бряннов?

— Так точно, ваше высокоблагородие. Девять штыков в нем, а саблю не выпустил.

— Бряннов, — со вздохом повторил полковник, опускаясь на колени возле капитана. — Ты слышишь меня, Бряннов?

Бряннов медленно открыл глаза. Он слышал весь разговор, но отвечать не хотел, потому что сил оставалось мало. Из девяти ран две были в живот, он чувствовал их и понимал, что это — смерть. Но думал он сейчас не о смерти и не о жизни: думал о сестре, которая оставалась теперь одна, без всяких средств к существованию, и решал сейчас последнюю задачу. Задачу, как обеспечить ей пенсион, до которого он так и не успел дослужиться. Полковник Родионов был не в состоянии ему помочь, и Бряннов молчал, сберегая силы на тот случай, если удастся поговорить с кем-либо из всемогущих. Этот крест капитан не имел права сбросить с плеч и на пороге смерти.

— Тюрберта, — еле слышно сказал он, с трудом разлепив искушенные губы. — Мне Тюрберта...

— Да, да, — не поняв, вздохнул Родионов. — Ты вон какой, а я-то думал... Спасибо, капитан. — Он коснулся руки Бряннова, не решившись пожать ее, и встал. — Береги его, фельдфебель.

Генерал Драгомиров с офицерами штаба и самозванным ординарцем генералом Скобелевым 2-м добрался до берега без особых помех. Иолшин усиленно занимался строительством дороги для подвоза артиллерии, бросив на эту работу горстку саперов и всех своих офицеров. Дело было важным, но, судя по рапорту, обстановку Иолшин знал плохо.

— Я распорядился, чтобы командиры прислали посыльных, — поспешно добавил он.

Драгомиров промолчал, понимая, что Иолшин упустил из рук командование не по своей вине, но с трудом скрыл неудовольствие. Хотел ответить помягче, но Скобелев ничего скрывать не умел.

— Дорогу строите? — резко спросил он. — Похвально. Только от посыльных чуда не ждите: тот, кто пошлет их, три часа в бою был. Это вам не под обрывом сидеть.

— Извините, генерал, не знаю, в какой должности вы здесь пребываете, но я просил бы вас... — покраснев, раздельно начал Иолшин, но Драгомиров мягко остановил его:

— Потом, господа, потом. Главное — обстановка.

— Разрешите исполнять должность? — с вызовом спросил Скобелев.

— Идите, голубчик, — вздохнул Драгомиров, — от посыльных и вправду толку мало. — Он оглядел Скобелева и с неудовольствием покачал головой. — А обещали бешмет надеть.

— Прятать русский мундир оснований не имею, — проворчал Скобелев. — Ни под бешметом, ни под обрывом.

И, поклонившись, быстро пошел берегом к левому флангу обороны. К отряду капитана Фока.

В самом устье Текир-Дере убитых было немного. Еще издали генерал опытным взглядом оценил крутизну откосов и подивился, что

потери невелики. Участок располагал на редкость удобным для обороны рельефом, но турки плохо использовали это обстоятельство, не укрепив, как следовало бы, береговую линию. «Тут, кажется, повезло», — отметил про себя Скобелев и стал подниматься на обрыв, не ища легкого пуги, а там, где поднимались солдаты. И, пока лез, думал, что повезло удивительно: штурмовать такую крутизну было все едино что крепостную стену. А когда поднялся наверх и огляделся, понял, что поторопился с выводом, что малое число убитых под обрывом не следствие тактического недомыслия турок, а результат быстроты, решительности и отчаянной отваги русских солдат и офицеров.

Генерал стоял сейчас на том месте, которое Фок удерживал в течение трех часов. Сюда отжимали его турки и отсюда, с края обрыва, он вновь и вновь бросался вперед, шаг за шагом расчищая путь. Каждый аршин здесь стоил крови, и трупы громоздились друг на друге, покрывая эти аршины. Генерал перешагивал через мертвых, повсюду слыша проклятия и стоны раненых и умирающих, и земля, пропитанная кровью, тяжело хлюпала под его сапогами. Скобелева трудно было удивить полем боя — он сам ходил в штыковые и водил за собой казачьи лавы, — но то, что он видел сейчас, было за гранью человеческих возможностей. Он шел и считал убитых, ведя отдельный учет для своих и врагов, и по беглому этому подсчету получалось, что на каждый русский штык тут приходилось свыше двух десятков турецких. «Как же вы устояли тут? — с горечью думал он. — Ах, ребята, ребята, досталась вам сегодня работка, какой и врагу не пожелаешь...»

К тому времени турки, перестроившись, вновь открыли огонь со всех высот, но к более активным действиям пока не переходили, и наши передовые цепи устало и затаенно молчали. Пули свистели вокруг генерала, вонзаясь в уже убитых и добивая ползущих, но Скобелев шел, не убыстряя шага и не пригибаясь. Только смотрел теперь не на поле боя, а на занятые противником высоты, по плотности огня определяя линию вражеского фронта, расположение командных пунктов и даже стыки между отдельными частями.

Так он вышел к стрелкам Фока, занявшим гребень высоты. Левый фланг их упирался в глубокую промоину, правый смыкался с расцелиной Текир-Дере, и Скобелев с удовольствием отметил тактическую безупречность занимаемой позиции.

— Молодец, — сказал он Фоку после рапорта. — А за ночь вдвойне: я полем шел, видел.

— Отбиваться буду огнем, — с непонятым ожесточением объявил капитан. — Ставлю вас о том в известность, так что уж насчет экономии патронов извините.

— Есть кому сдать командование участком? — помолчав, спросил генерал.

Фок отрицательно покачал головой. Обычно Скобелев обращался к офицерам запросто, на «ты», любил это обращение, но сейчас чувствовал некоторое неудобство.

— Временно поручите унтеру — и в лазарет.

Фок еще раз покачал головой. Он стоял перед Скобелевым, не по уставному расставив ноги, чтобы не упасть. Левую руку ему кое-как перевязали солдаты, но от потери крови и нечеловеческой усталости его до сей поры бил озноб, от которого не спасала и наброшенная на плечи короткая турецкая шинелька.

— В лазарет нужно всех, — нехотя сказал он. — А всех нельзя, значит, будем ждать смены.

— Всех нельзя, а вам надо.

— А они что? — Фок насильственно усмехнулся. — Извините, ваше превосходительство, мы тут устали немного. Хорошо бы щелочи.

— Чего?

— Водки,— пояснил Фок.— Либо полную смену, либо двойную винную порцию.

— Хлебните.— Скобелев достал из кармана фляжку.

Фок облизнул пересохшие губы. С трудом проглотил комок.

— Благодарю, ваше превосходительство, но на всех нас вашего коньяка не хватит.

— А вы солдат, капитан,— тихо сказал Скобелев, так и не решившись поцеловать Фока.— Первый резерв вам на смену отправлю.

— Не торопитесь обещать, ваше превосходительство.— Фок снова усмехнулся.— Вы еще у Григоришвили не были, Остапова не видели. Повидайте их, а уж там и решайте, чья первая очередь.

— Вы правы,— сказал генерал.— Вы совершенно правы, капитан. Надеюсь на встречу в будущем. Не провожайте.

— Благодарю,— буркнул Фок и, не дожидаясь ухода генерала, сел на землю.

Скобелев шел вдоль позиций, с уважением думая о железном упорстве стрелков и о суровой воле их командира. Стало светло, пули то и дело щелкали совсем рядом, но он не обращал на них внимания. А вскоре перестал думать и о Фоке, часто останавливаясь и внимательно вглядываясь в очертания занятых турками высот. Там уже заметили генеральскую фигуру в белом, уже целились в нее; Скобелев вскоре почувствовал это по густоте обстрела, сердце щемило от близости пролетающих пуль, но он давно уже строго-настрого приказал себе не кланяться им. Усталые стрелки Фока с удивлением провожали его высокую, не сгибающуюся под огнем фигуру, и пожилой сказал:

— Нет, братцы, не видать этому генералу ратной смерти. Заговоренный он, братцы, ей-богу, заговоренный.

Еще на спуске в низину Текир-Дере Скобелев заметил пожар: горела мельница, с таким трудом занятая отрядом Григоришвили. Сам поручик сидел под кустами позади своей жидкой, неимоверно растянутой цепи; перед ним стояло конское ведро, к которому он то и дело прикладывался, как лошадь сквозь зубы втягивая воду. За ночь на щеках выросла щетина, и поручик выглядел сущим абреком. При виде генерала он попытался встать, но Скобелев остановил его и сел рядом.

— Горишь? — спросил он, имея в виду полыхавшее жаром лицо офицера.

— Турок недобитый поджег! — гневно сказал Григоришвили.— Сам поджег, сам и сгорел, дурной человек!

— Кто тебя заменить может?

— Зачем заменять? Что на берегу лежать, что здесь лежать. Унтер хороший был, ваше превосходительство, жаль, фамилию не спросил. Ах жаль!..

— Кто левее тебя?

— Пластуны и гвардейцы — видите виноградники? А дальше Остапов.

— До резервов продержишься?

— Я всю ночь не стрелял, ваше превосходительство, все штыком да штыком. Теперь огнем велел, сил мало.

— Правильно,— сказал Скобелев, вставая.— Ну держись, поручик. При первой возможности выведем из боя.

— Брянов погиб, Ящинский погиб, а мы с Фоком живы,— словно не слыша генерала, лихорадочно сказал Григоришвили.— Перед боем пунш варили. А унтера фамилию не спросил. Почему не спросил, ослиная голова? Теперь всю жизнь виноватым буду.



Он сокрушенно помотал головой, перевязанной лоскутом солдатской нижней рубахи, и наклонился к ведру.

— Дать сопровождающих, ваше превосходительство? — гулко спросил он оттуда, цедея сквозь зубы мутную воду. — У меня двое целеньких есть. Ни разу за всю ночь не ранены, вот чудо-то, ваше превосходительство, правда?

Скобелев от сопровождающих отказался и, бегло осмотрев удобные позиции Григоришвили, вышел на стык его отряда с пластунами, где его сразу же и окликнули, хотя он никого еще заметить так и не успел. Поговорив с кубанцами, двинулся дальше, но вскоре остановился, оглядываясь и вслушиваясь.

Чуть впереди пластунских позиций в глубь вражеской территории уходила широкая промоина. Турок нигде не было видно, и огня они здесь не вели. Подумав немного, генерал бесшумно спустился и, зажав в руке револьвер, осторожно пошел по дну глубокого каньона, настороженно прислушиваясь. Его вела не только присущая ему озорная любознательность. Этот глухой овраг с почти отвесными стенами шел напрямик от берега, разрезая турецкую оборону, и, судя по тишине и безлюдности, не был должным образом оценен противником. Смутная идея уже шевельнулась в голове Скобелева, но для ее осуществления надо было точно знать, куда приведет каньон и не седлают ли турки его противоположный конец. И Скобелев сознательно рисковал, мельком подумав, что должен во что бы то ни стало успеть застрелиться, если нарвется на аскеров.

Каньон тянулся версты две, но ни турок, ни башибузуков не было видно. Затем промоина стала мельчать, разветвляться, явно приближаясь к истоку; удвоив осторожность, Скобелев продолжал идти, а когда дошел до конца, вполз на ближайшую возвышенность, укрылся в кустах и огляделся.

Саженьх в трехстах впереди проходила дорога. По ней спешно двигались разрозненные турецкие части, то и дело скакали всадники, и Скобелев понял, что это рокада, опираясь на которую противник и манипулирует своими резервами в непосредственной близости от позиций. Он тут же отчетливо припомнил карту, представил на ней свой путь и догадался, что дорога эта ведет на Тырново и что именно по ней могут двигаться из глубины основные турецкие подкрепления. Идея, которая смутно представилась ему как задача тактическая, приобрела вдруг значение задачи стратегической; теперь все решала быстрота.

Он скатился в обрыв и, уже ни о чем более не заботясь, побежал назад. Пот застилал глаза, сердце колотило в ребра, не хватало воздуха, но он, внутренне ликуя, не давал себе передышки. Он уже понял бой, он нащупал самое уязвимое место противника, он уже знал, как должно действовать, чтобы поставить последнюю точку в первом сражении на болгарской земле.

Возле своих позиций его чуть не обстреляли пластуны, сильно озадаченные внезапным исчезновением генерала. Наскоро объяснив есаулу, что тому необходимо срочно и по возможности скрытно занять расселину и во что бы то ни стало держать ее до подхода своих, Скобелев напрямик через низину Текир-Дере бросился к Драгомирову.

— Безупречно, — сказал Михаил Иванович, когда Скобелев горюливо объяснил ему идею. — С вашего разрешения, Михаил Дмитриевич, я упрощу задачу. Я прикажу Петрушевскому демонстрировать на Свиштов, пока вы не закончите марш и не перережете тырновскую дорогу. Собирайте Четвертую бригаду, мне докладывали, что она уже переправляется. И — с богом! Только... — Драгомиров озабо-

ченно помолчал.— Выдержат ли фланги возможную атаку турок? Сколько там рот?

— Там нет рот, Михаил Иванович,— сказал Скобелев.— Там раненые солдаты под командованием раненых офицеров.

— Боевые артели,— с академическим спокойствием отметил Драгомиров.— Когда солдат знает свою задачу, он будет выполнять ее под любым началом. Очень интересный момент, Михаил Дмитриевич, очень интересный и в плане теоретическом. Рождалась новая армия, основанная не на слепом подчинении, а на разумных действиях разумных солдат.

— Не знаю, как там насчет теории, а на практике все решает мужество,— сказал Скобелев.— В серых шинелишках. А мы до сей поры имен их выучить не можем.

И пошел на берег собирать прибывающую поротно 4-ю бригаду.

### 8

С утра турки предпринимали отчаянные попытки опрокинуть русских в Дунай. Свежие резервы прямо с марша были брошены в бой против все тех же стрелков капитана Фока. Стрелки выдержали натиск, встретив атакующих прицельными винтовочными залпами: помогла артиллерия с левого берега, обрушившая на турок мощный шрапнельный удар. Фок вынес еще одно испытание духа, ни разу не заикнувшись о помощи.

Убедившись, что в этом месте русские стоят насмерть, турки перенесли атаку в центр, в долину Текир-Дере. Их стрелки поддерживали атакующих массированным ружейным огнем, но отряд Григорисвили защитил позиции, не дрогнув даже тогда, когда шальная пуля добила дважды раненного поручика. Командование принял казачий есаул, неожиданно бросив остатки своих пластунов во фланг атакующим; турки отошли, готовя новый приступ, но было уже поздно. В одиннадцать часов бригада генерала Петрушевского начала наступление на свиштовские высоты.

Солдаты Петрушевского еще на подходе к высотам, в виноградниках, попали под прицельный огонь турецкой батареи, стоявшей у Свиштова. Несмотря на сплошную завесу разрывов, русские упорно продвигались вперед; командовавший турецкой батареей английский офицер в конце концов не выдержал:

— Сколько ни бей это мужичье, а оно все лезет и лезет!

И приказал готовить батарею к отходу.

Пока Подольский и Житомирский полки бригады Петрушевского упрямо лезли вперед, вызывая на себя огонь, Скобелев быстрым маршем вел своих стрелков через каньон к дороге на Тырново. Турки поздно заметили этот маневр, судорожными усилиями пытаясь сдержать натиск Скобелева. Оборона города была спешно свернута: опасаясь глубокого охвата, турки отошли без выстрела. Около трех часов пополудни русские части вступили в первый болгарский город.

Отряд капитана Фока вывели из боя последним. Все его солдаты были либо ранены, либо контужены и молча сидели на берегу возле своего командира в ожидании переправы. Здесь же санитары и перезывали их, а проходившие мимо свежие части замолкали, и офицеры вскидывали руки к козырькам фуражек, отдавая честь тем, кто совершил невозможное. Первая еда и первая винная порция, доставленные с того берега, были отданы им. Они молча выпили свои чарки и устало жевали хлеб.

— Сидите, все сидите! — поспешно сказал Драгомиров, подхо-

дя.— Земно кланяюсь вам, герои, и благодарю от всего сердца. Вы сделали великое дело, которое никогда не забудет Россия.

— Да,— тихо сказал Фок.— А из всех пешек, кажется, один я вышел в дамки.

— Что вы сказали, капитан?

— Извините, ваше превосходительство, галлюцинирую. Разговариваю с теми, кого уже нет.

Ударами колонн Петрушевского и Скобелева, а затем и наступлением на левом фланге свежих частей, сменивших отряд Фока, русские к середине дня 15 июня освободили город Свиштов, перерезали дорогу на Тырново и отбросили турок к Руццуку. Плацдарм на правом берегу Дуная был расширен и углублен, турки отрезаны от береговой линии; русские войска спешно перебрасывались на противоположный берег, и саперы приступили к строительству наплавных мостов.

Замок с темницы народов, исстари именуемой Блистательной Портой, был сбит. Русские кавалерийские части готовились к стремительному броску в глыбу Болгарии для захвата перевалов через Балканский хребет. Ценою восьмисот жизней Россия менее чем за сутки сумела не только форсировать крупнейшую реку Европы, но и твердой ногой стать на другом берегу.

А в галлюцинациях капитан Фок оказался пророком. К вечеру того же победного дня Остапов умер в госпитале от потери крови, а через сутки скончался и капитан Брянов. Из всех офицеров, которые шли пушш перед кровавой ночью переправы, в живых остался один лишь командир 3-й стрелковой роты капитан Фок.

Через сорок с лишним лет он вновь приехал туда, где прошли самые страшные и самые гордые часы его жизни. Жители Свиштова до сих пор вспоминают о седом высоком старике, который каждое утро в любую погоду ходил в устье Текир-Дере, а на обратном пути долго сидел на могиле капитана Брянова.

«Иду, Фок!»...

Бряннову все же удалось исполнить последний, так мучивший его долг. На другой день госпиталь, в котором он лежал, посетил главнокомандующий великий князь Николай Николаевич старший в сопровождении командира волынцев полковника Родионова. Он сразу же спросил о Брянове, и их подвели к лежавшему в забытии капитану.

— Вот он,— с волнением сказал Родионов.— Девять штыковых ран, а сабля так и не выпустил.

— Спасибо, Бряннов,— сказал главнокомандующий.— От имени его величества поздравляю тебя с Георгием.— И, помедлив, положил орден на забинтованную грудь.

— Бряннов, дружище, ты слышишь меня? — Полковник присел на корточки возле головы капитана.— Это сам главнокомандующий, Бряннов.

Бряннов медленно открыл глаза. Собрав все силы, зашептал что-то, и кровавая пена запузырилась на серых губах.

— Что он говорит? — в нетерпении спросил великий князь.

— Сейчас...— Родионов принял ухом к губам раненого.— Он без пенсионера, ваше высочество, а на иждивении у него беспомощная сестра.

— Ты заслужил пенсион, Бряннов,— торжественно изрек Николай Николаевич.— Слышишь меня? Полный пенсион с мундиром. Поправляйся.

— Прощай.— Родионов поцеловал Брянова во влажный лоб.— Жаль, что мы с тобой так и не познакомились по-людски.

Это было последнее усилие, которое удерживало в Брянове искорку жизни. Он умер успокоенным через час после этого разговора.

Первой крупной победе радовались шумно. Кричали «ура», звенели бокалами, устраивали парады и шествия, а в церквах торжественная «Вечная память» заглушалась ликующим «Многая лета!».

И раздавали награды. Щедро — по спискам и в розницу, по встречам и по памяти, за дело и по случаю. По случаю давали, по случаю и забывали: поручик Григоришвили так ничего и не получил, а великий князь Николай Николаевич младший, вся доблесть которого заключалась в том, что он не поспал ночь, присутствуя при погрузке на понтоны тех, кто шел в бой, нацепил Георгиевский крест. Иолшину тоже дали Георгия, как и всем командирам бригад, но Скобелева при этом забыли. Зная его мальчишескую обидчивость, командир корпуса Радецкий специально просил генерала Драгомирова посетить героя первого успеха русского оружия, дабы подсластить царскую пилюлю.

Драгомиров основательно подготовился к неприятному разговору, вооружившись логичными и, как казалось ему, неопровержимыми аргументами. Однако, к его удивлению, никого утешать не пришлось: чрезвычайно гордый личным вкладом в победу, Скобелев воспринял романовскую забывчивость с полнейшим равнодушием.

— Да бог с ним, Михаил Иванович, — отмахнулся он. — Царь забыть может — Россия бы нас не забыла...

## ЭПИЛОГ

15 июня закончились бои на правом берегу. Отбросив турок от Дуная, русская армия спешно наводила мосты. К вечеру 19 июня была переправлена вся сосредоточенная ранее артиллерия, обозы и санитарные части. В ночь на 20-е понтонные мосты закачались на волнах под дробный перестук копыт: в Болгарию нескончаемым потоком вливалась основная ударная мощь России — ее знаменитые кавалерийские полки.

Долго, вплоть до второй мировой войны, военные академии мира изучали опыт этой переправы. Анализировали, раскладывали по полочкам, учитывали все за и против, взвешивали силы сторон, а концы не сходились с концами. По всем канонам военного искусства турки должны были сбросить в воду первый эшелон, высадившийся на неудобный для атаки берег без артиллерийского сопровождения и даже без ружейной поддержки. Должны были — и не сбросили: Россия опять воевала не по правилам.

Не по правилам воевали русский дворянин Бряннов и потомок шведов Тюрберт, украинец Ящинский и немец Фок, поляк Непокойчицкий и грузин Григоришвили и сотни других — русских и нерусских — истинных сынов России. Созданный еще Петром Великим русский офицерский корпус был уникальным по своему многонациональному составу. В этом корпусе, спянном дружбой, обостренным чувством долга и кастовой честью, никто не интересовался, откуда родом офицер, — интересовались его мужеством и отвагой, доблестью и благородством. И солдаты шли за ними в любой огонь, потому что огонь врага уравнивал солдата и офицера, создавая тот необычайный сплав, который никогда не могли понять никакие иноземные специалисты.

Ошеломленные внезапным ударом, турки без сопротивления откатывались к Балканам, надеясь там, в узких горных проходах, остановить наступательный порыв русских. Однако сильные группировки их по-прежнему нависали над Дунайской армией с востока и запада: опираясь на оборону Балканского хребта, турецкое командование рассчитывало концентрированными ударами этих группировок отрезать вторгшегося противника от речных переправ, окружить его и уничто-

жить. По законам стратегии русским предстояло вначале разгромить вражеские ударные соединения на своих флангах и только после этого развивать планомерное наступление в глубь Болгарии.

— Рейд,— сказал Непокойчицкий на военном совете.— Глубокий рейд сильной кавалерийской группы для захвата горных перевалов на Балканах. Я правильно понял вашу мысль, ваше высочество?

Николай Николаевич старший важно наклонил лобастую голову. Генералы переглянулись.

— Турки сохраняют перевес в силах на наших флангах,— сказал осторожный Левицкий.— Этого нельзя не учитывать.

— Мы создадим два мощных заслона — восточный и западный. Их задача — заняв важнейшие опорные пункты, сдерживать противника. Только сдерживать!

В соответствии с этим планом 20 июня на Тырново выступил десятитысячный летучий отряд из драгун, гусар, казаков и шести дружин болгарского ополчения. 24 июня этот отряд нагнал его командир Иосиф Владимирович Гурко; начался стремительный бросок в Забалканье.

Не принимая боя, турки откатывались за перевалы. Война начиналась представляться веселой прогулкой, и казалось, ничего уже не может быть страшнее, чем ночной бой первого эшелона у устья Текир-Дере... Об этом часто говорили в армии. Вспоминали подробности, передавали слухи, сочиняли легенды. Особенно когда дошла весть о похоронах гвардии подпоручика Тюрберта.

Тело его прибило к берегу на левой, румынской стороне: он так и не переправился через Дунай. Отпевали его в Зимнице, в маленькой церкви, окна которой были распахнуты по случаю жары, и торжественные звуки «Вечной памяти» донеслись до царской резиденции.

— Кого отпевают?

— Гвардии подпоручика Тюрберта, ваше величество.

— Артиллерист? Помню, помню, Драгомиров докладывал...

В церкви было мало народу: уцелевшие друзья покойного, несколько офицеров, наслышанных о нем, подпоручик Лихачев да унтер-офицер Гусев, стоявший в ногах погибшего командира. Служба шла своим чередом, когда вдруг вошел император в сопровождении свиты. Свита забила церковь до отказа, а Александр, сделав знак поперхнувшемуся священнику продолжать отпевание, прошел к гробу Тюрберта и стал в головах.

— Странно все же,— сказал после похорон поручик Ильин.— Чтоб государь почтил присутствием не члена августейшей фамилии...

— Почтил! — с раздражением перебил полковник Озеров: он сбежал из госпиталя на похороны и маялся от боли в перебитой ятаганом руке.— Государь не Тюрберта почтил, а подвиг. Высшая доблесть война — сам сдохни, а товарища выручи. Вот эту доблесть государь и отметил...

Начиналось жаркое болгарское лето, солнце пекло немилосердно, и желтая пыль дорог намертво прикипала к пропотевшим солдатским рубашкам. А турок не было. Удивлялись солдаты:

— Ну и война, братцы! Будто гуляем.

— Сбежал турка, видать.

— Те его напугали. Те, что в ночь дрались, путь нам пробивали. Вечная память им, братцы!

— Вечная память,— вздыхали солдаты.

Так, без боев, летучий отряд генерала Гурко перевалил через Балканы и ворвался в Долину роз. Западный отряд генерала Криденера скоротечным штурмом овладел крепостью Никополь. Турки легко сдавали города, отступали, уклонялись от боя, откатываясь на юг. Вот-

вот должна была закончиться эта удивительная война, и русское интенданство решительно вычеркнуло из списка поставок зимнее обмундирование для действующей армии. Все ждали скорой победы и грома колоколов, только старый Непокойчицкий хмурился и озабоченно качал головой.

А пока готовились к победе, турецкий дивизионный генерал Осман Нури-паша, пользуясь бездеятельностью Криденера, перебросил шестьдесят таборов своей отборной пехоты в русский тыл и занял никому не известный доселе городишко Плевну. А из Черногории на пароходах, любезно предоставленных англичанами, другой паша, Сулейман, перевез в Болгарию свою сирийскую армию, оказавшись вдруг на фланге летучего отряда Гурко. И эти две турецкие армии одновременно накинули петли на широко разбросанные русские войска. Узлы этих петель пришлось на город Плевну и Шипкинский горный перевал.

Все еще было впереди. И испепеляющий жар плевненских штурмов, и двадцатиградусные морозы Шипки, и подвиг румынского капитана Вальтера Морочиняну, и полный Георгиевский бант казачьего урядника князя Цертелева. Впереди было боевое крещение болгарского ополчения под Старой Загорой, донесение корреспондентов: «На Шипке все спокойно», превратившееся в поговорку, и звездный час генерала Скобелева 2-го, ставшего национальным героем Болгарии.

Все еще было впереди. Даже знаменитый русский марш «Прощание славянки», написанный штабс-капитаном Агапкиным...

*Конец первой части*



---

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ



## ДРЕВНИЕ ЛИВНЫ

### ОСАДА ЛИВЕНСКОЙ КРЕПОСТИ

Взбесилась Азия кострами,  
Скрипят кибитки и возы.  
Леса вокруг кишат врагами,  
Щиты намокли от росы.

На круче воинов движенье.  
Сошлись мужи с округи всей,  
Чтоб устоять пред иступленьем  
Степных ножей,  
Степных кровей.

Мечами взмахивая яро,  
Ордынцы вверх устремлены,  
И страстью темною к пожарам  
Их полчища обожжены.

Прилив орды гудящей шаток.  
И хана красная стрела  
Средь половецких волчьих шапок  
Взлетала, красная от зла.

Уж крепость гнется от проломов,  
Неотвратимей башен крен.  
И стрелы густо, как солома,  
Устлали землю возле стен.

Святым радением служивых  
Тут стены те возведены,  
Где говор речек торопливых —  
Звон Ливенки и звон Сосны.

От сажи почернели срубы.  
Сквозь пламя, что везде текло,  
Так с башен били верхолюбы,  
Что песни ладились зело.

Гуляют и щипцы и крючья,  
Ордынцев бешеных уча.  
Сигают бревна,

Сея с кручи  
Врагов по речкам сторяча.

Трещат кольчужные рубахи,  
Но Русь давно смекнула в том,  
Как повергать врагов ватаги  
Прямым отточенным мечом.

Три дня на круче польхало:  
И рев, и смех, и вой, и визг.  
И почва рыхлая съезжала  
За каждым падающим вниз.

Они, ордынцы-сыроеды,  
Сожгли селения окрест.  
Их доставал на круче этой  
Топор-колун и острый шест.

И наши никли под мечами,  
Летели стрелы из бойниц.  
Но с каждым днем она упрямей —  
И бледность и суровость лиц.

И вспомнят бойцов вчерашних,  
Хранивших родину свою.  
Когда чем больше в битве павших,  
Верней живым стоять в бою.

Не сникнут,  
Не согнутся даже.  
Кто не дюжей в бою, не хват?!  
И словно стрелы в станы вражьи  
И капли крови улетят.

## ЛИВЕНСКИЙ МОСТ

Послы, сходясь на мосту, условились  
с обеих сторон прекратить неприятель-  
ские действия, освободить пленников, ут-  
вердить мир и союз навеки...

*Н. М. Карамзин,  
«История государства Российского».*

1

Шумит народ веселый  
На ливенском мысу:  
Хотя остались голы,  
Но выжили в лесу.

И, староселов встретив,  
Стоит, задумчив, князь,  
На мертвенные ветви  
Дубка облокотясь.

Князь далеко заметен:  
Под солнечным лучом  
От сабельных отметин  
Посверкивал шелом.



Князь пьет неснешно пиво  
Из полного ковша,  
И конь с янтарной гривой  
Застыл у шалаша —

Не чует ноши грузной.  
Седло горит светло —  
Так серебром искусно  
Отделано седло.

Взошли бойцы в доспехах  
На изголовь холма,  
Лучится ходким смехом  
Приречная кайма.

По оголенным бревнам  
Снуют бородачи —  
Работают проворно,  
На шутки горячи.

Здесь парни в реку стали,  
Оставив черный плот,  
Вколачивают сваи  
Рядами через брод.

И около детинца,  
Забыв про скакунов,  
Слоняются ордынцы  
Меж русских мастеров.

Ордынцы в скачках ловки,  
Но чем помочь нашли:  
Из волоса веревки  
Для бревен привезли.

Не слышно криков ратных.  
Мизинный русский люд  
Шумит, в работе статный,  
В любой работе крут.

В поскони, безоружный,  
Он вовсе не суров.  
И ходит стукот дружный  
Точеных топоров.

Мир добыт долгожданный!  
Их стук летит до звезд.  
Для разговора с ханом  
Дубовый строят мост.

Сосна-река не знала  
Такого за века:  
От белых стружек стала  
Молочною река.

Такие нынче будни  
На порубежье здесь:

С бубенщиками дудник  
Разучивает песнь.

## 2

А в стойбище ордынском  
С шипением гюрзы  
Хан в злобе за кумысом  
Рвет вислые усы.

Была резня лихая,  
От стрел тряслись леса...  
И шапкой-малахаем  
Прикрыл свои глаза.

Разбили под обрывом  
Его у той реки.  
И кречет боязливо  
Глядит с его руки.

Хан с русской стороною  
Резнею изнурен.  
Решился над Сосною  
С Москвой мириться он.

Надменный и елейный,  
Опаслив хан, как вор:  
На полосе ничейной  
Пойдет на разговор.

И поняли в России  
Его затею ту:  
Пусть встретятся  
Послы их  
На ливенском мосту.

Хан тверд! На мир готов он.  
Дает Руси самой  
Хан клятвенное слово  
С печатью золотой.

О братстве сладки речи.  
Он не скупой на лесть.  
Союз их будет вечен! —  
Но Русь познает месть...

Накопит войско тихо —  
Накажет он врагов:  
На Русь накатит иго  
На тьмы и тьмы веков.

Ножи он точит твердо.  
Он сядет на Москве  
У сорока народов  
С ордою во главе.

Пока об этом рано...  
Москве дары он шлет.

И даже полонянок  
Из Крыма он вернет!

Зима не за горою.  
Пока пути прямы,  
Над русскою рекою  
Мост ляжет до зимы.

## 3

И вот с моста дорога  
В степь дикую ушла:  
Катилась в сечах долго —  
До моря пролегла.

И мост, что в дали эти  
Москве помог шагнуть,  
Крутым огнем столетий  
Не смело пошатнуть.



---

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

## ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

Воспоминания

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

«СТАРАЯ ХЕЙДЕЛЬБЕРГ...»<sup>1</sup>

Auf die Berge will ich steigen,  
wo die frommen Hütten stehen,  
wo die Brust sich frei erschließet  
und die freien Lüfte wehen.

*Heinrich Heine*<sup>2</sup>.

Прибежали в избу дети,  
В торопях зовут отца:  
«Тятя! тятя! наши сети  
Притащили мертвеца».

*Пушкин*<sup>3</sup>.

**Л** ишь изредка, кроме метеорологических сводок, мелькнет в печати что-нибудь дельное о значении для человека так называемой погоды. О планетарных связях, о космических самочувствиях, о влиянии солнечных пятен на земные события — пожалуйста, сколько угодно. Вспомнили Чижевского, Федорова, приобщают к списку широкий диапазон мышления гениального Владимира Ивановича Вернадского, обо всех этих мыслителях, об их заглядывании в будущее пишут интересные обзоры, исследования, статьи. Но мне что-то не попадались (может быть, проглядела) печатные размышления и наблюдения о повседневном опыте простых людей над взаимосвязью человека (и общества) с той частью природы, которая именуется погодой. А между тем в житейской практике слышишь на каждом шагу: «Еле хожу, едва ноги таскаю» — и в ответ: «У всех так, это от погоды, на сосуды действует».

<sup>1</sup> «Alt-Heidelberg, du feine, du Stadt, am Ehren reich...» («Старая Хейдельберг, ты утонченная, ты город, богатый славой» — поется в песенке Шеффеля и встречается на каждом шагу в Гейдельберге).

<sup>2</sup> Heinrich Heine, «Die Harzreise». Leipzig. Universal Bibliothek. 1967. S. 5.

В горы я хочу подняться,  
там, где хижины ютятся,  
там, где грудь открыться смеет,  
где свободный ветер веет!

<sup>3</sup> А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том третий. Часть I. Издательство Академии наук СССР. 1948, стр. 117.

Погода — состояние природы и связь состояния природы с самочувствием человека, с его способностью работать, — ощущалась ли она так остро в прежние времена, как нынче, когда я начинаю писать шестую свою главу? Окна мои затемнены густыми стволами сосен и расхламленными лохмотьями елей. Все гниет на земле, подгнивают корни у растений, гниют павшие ржавые листья на заржавелой траве; когда чуть подмерзнет, она скрипит под ногами, как жель. Неизвестно куда делись белка, птицы, ежик, все то живое, что несколько лет назад вылезало из норок, из гнезд, давало знать, как сейчас, о себе. Синичке я вешала куски сала на веревке, она, качаясь, клевала их «на ходу» — и нет синички уже второй год.

Конечно, и я виновата, нет за землей ухода, запустила сад на даче не от небрежности — от старости и бессилия. Но и за вычетом моей вины земля не похожа сейчас на прежнюю, и осень не похожа на прежнюю; в октябре сунулась было зима, наснежила не по сезону и, замученная «спадами», ночным морозом, дневным теплом, ушла от нас, оставив слякоть, гниенье-теплень, ржавчину на растениях.

Но шестьдесят четыре — шестьдесят пять лет назад никому и в голову не пришло бы мерить свою работоспособность, свое самочувствие по каким-то ржавчинам на траве. Не было этих ржавчин. И зима наступала в положенное время, и елки в садах не хламились как лешие, а были гладкие, пахли рождеством, принимали, словно птиц на плечи, белые, чистые, звездные скопища снега. Для меня утро в Москве начиналось со свежего воздуха из городской форточки, заносившего в комнату снежинки. Было темно утренней темнотой здоровой зимы, пронизанной серостью близкого света. Когда фонарь на улице, под самым окном гаснул, сразу менялось чувство ночной темноты на близкое посветленье. И на улице было всегда хорошо и незаметно погоды, как для здорового человека незаметно здоровье.

Без особой охоты, но с состояньем порядка в душе и последовательности в житейских поступках я шла по спокойной улице к своему профессору, уже не курсистка, а кандидатка философских наук, сдавшая последний экзамен на Курсах по скучнейшему в те учебные времена предмету — биологии. Не очень-то хорошо сдала, верней сказать — плохо, потому что все скучали и на ее лекциях, и листая ее учебник, — единственное «удовлетворительное» в дипломе, где все остальное было с высшей отметкой — «весьма». Столько лично пережитого за плечами, пепел огромной любви, десятки исписанных тетрадок, целых четыре напечатанных книги. Но в эту минуту я была просто окончившая Высшую школу девушка с дипломом, шедшая к своему бывшему профессору на уже ставшие для нее бывшими Курсы.

Николай Дмитриевич Виноградов, мой профессор, сидел в кабинете нашей кафедры, где мы, «философички», устраивали иногда разные дискуссии, заменявшие семинары. Он тоже только что пришел, и на усах его еще блестела влага от снега. Перед ним лежал толстый немецкий справочник. Я знала, что речь пойдет о моей подготовке к магистерскому сочинению, диссертации на первое научное звание — магистра. Мне очень хотелось писать о Гегеле. Уже тогда у меня была своя гегелевская тема, заковыристо сформулированная: «Теория становления как содержащего в себе целое — у Гегеля». Профессор много раз слышал о ней от меня и, как всегда, уж наверное учтет это. Но профессор отметил что-то в справочнике и повернул ко мне свое очень мягкое и очень настойчивое лицо:

— Советую вам, если не возражаете, разработать уникальную, очень мало исследованную, точнее — совсем не исследованную тему

в истории философии. Работы будет много. Не только по философии. Вы жаловались, что биологию скучно слушать. А тут придется почитать по естествознанию. Очень интересный философ.

Речь явно шла не о Гегеле. Я сразу настроилась возражать. А Николай Дмитриевич продолжал как ни в чем не бывало:

— Немецкий философ — после крупнейших системотворцев. Тоже создал свою систему. Не по Фихте, не по Шеллингу, не по Гегелю, не по Канту... Его главный труд называется «Фантазия как основной принцип мирового процесса». — И сразу добавил по-немецки: — *Die Phantasie als Grundprinzip des Weltprozesses*.

Мне показалось, что он смеется, что это пародия на идеалистов первой половины XIX века, шутка, больше того — насмешка надо мной, над моей склонностью к Гегелю. Что тут возражать? Тут — разразиться! Нашли время подшучивать! Но он не шутил.

— Я всерьез. Это совершенно всерьез.

И действительно — он говорил серьезно. Мне предлагалась тема для магистерского — о совершенно неведомом, не упоминавшемся в известных нам историях философии каком-то чуть ли не сумасшедшем Якобе Фрошаммере (*Jakob Frohschammer*), создавшем свою систему, где принципом мирового процесса названа фантазия. Каждый здравомыслящий человек понимает, что фантазия произвольна. Разрушается логика бытия, исчезают законы природы. Мировой процесс течет произвольно! Можно еще допустить, что у человека в сознании царствует произвол. Он не мыслит, а все тысячи лет фантазирует. Но природа? Каким органом она фантазирует? Дважды два = четыре — это фантазия? Химическая формула воды — это фантазия? То, что на наших глазах совершается с абсолютной точностью внутренней логики всегда одинаково, то, что не выходит за пределы этой одинаковости, — законы астрономии, физики, геологии, математики, химии — продукты фантазии? Тогда почему в материи нет произвола, в цифрах нет произвола, любой опыт приводит к правилу, закону, закрепляется постоянством результата или отсутствия результата? Почему, например, вы сидите передо мной двуногий, как и я двуногая, а не смесью рыбы и черепахи, сфантазированной вашими мамой-папой и мировым процессом? Почему, почему — и так далее. У меня голоса не хватило разразиться диким протестом перед невероятностью темы, предложенной для научного сочинения. Я охрипла.

— Законы изменяются, время течет. Ничто не остается одинаковым навеки, потому что мы не можем проверить вещи вечностью, которой не видели и увидеть по самой логике бытия не можем. Я сам знаю о Фрошаммере только из двух брошюр его учеников. Он не сумасшедший, а вполне здоровый психически немец. Сочинения его я не читал. Но на вашем месте прежде всего исследовал бы, что именно понимает он под словом фантазия.

Наш первый разговор ничем не кончился. Я шла от него домой в самом «фантастическом» состоянии. Все вокруг меня было такое знакомое, обычное, принятое людьми запросто как факты, постоянные факты, такие, что их никак не сделаешь материалом для философского исследования. Ну, скажем, бежит собака навстречу... зазвенел трамвай таким постоянным уличным звоночком, что его даже обходишь слухом, — все это знакомые, практические вещи. А тысячу лет назад, увидя, как электричеством движется трамвай, эдакий средневековый ученый-схоласт — он... Память ворвалась в мои мысли наглым выводом: он сказал бы «фантастично!». Достижения цивилизации меняются и показались бы людям далеких эпох плодом фантазии. Почему фантазии? Почему не науки, если мыслить логически?

Я шагала вразброд и соскальзывала с тротуара на мостовую, вдруг углубившись в нелепые размышления. Сравнивала с «Абсолютом» Гегеля, с «Я» Фихте, привыкала к странной и нелепой теме, как к чужеродному запаху. Перешла мыслью на понятие случайности, на математическое осмысление того, что кажется нам произвольным, на теорию вероятностей, на статистику больших чисел. И — шла домой обескураженная.

Лины в Москве не было, она сдала экзамены раньше меня и с дипломом кандидатки своих исторических наук уехала к матери. Не с кем было мне поделиться мыслями о Фрошаммере. И вдруг я почувствовала, что мне интересно и даже хочется — на первых порах — выяснить, что понимал Фрошаммер под словом «фантазия», да и что такое фантазия вообще, как нужно ее понимать. В данных мне Николаем Дмитриевичем и просмотренных при нем двух брошюрках, очень скучно, сухим немецким языком написанных, почти не было человеческого материала. Я привыкла видеть моих философов древности, о которых читала питерским рабочим лекции. Видела Аристипа, видела Пифагора — даже как он странствовал по Востоку, погружался в мистику цифр, — почему-то видела и Диогена в бочке, лысого, с потным лбом, Демокрита с темной бородой... видела моего любимца Гегеля и его огромные голубые славянские глаза с поволокой. Но Фрошаммер? О нем в брошюрках, медленно мной перелистанных, — почти ничего; преподавал в Мюнхенском университете, был католиком, нелады с Ватиканом, наложение запрета на отдельные его книги, болезнь глаз, слепнущих под конец жизни, — все это с пятого на десятое, ни последовательного анализа системы, ни хронологии в развитии личности и никакой возможности вообразить его себе...

Вообразить! Не значит ли это пустить в ход свою фантазию? Образы древних философов рождались во мне памятью о прочитанном, иногда вместе с памятью о самом тексте прочитанной страницы, о самих печатных буквах на ней, потому что ведь древние «бюсты», хотя они тоже могли участвовать, были условны, недостоверны, подчинены традициям древнего искусства и часто даже противоречили воображению. Я вдруг вспомнила портрет Спинозы, где-то мною виденный, чуть ли не перед латинской «Этикой», — он совсем не был похож на мое представление о Спинозе, он напомнил мне скорее Вольтера своей сатирической улыбкой и веселым юмором глаз. Но вообразить... начать фантазировать... Если я не могу, как слепая, увидеть внутренне Фрошаммера, потому что нет ничего хоть мало-мальски видимого о нем в данных мне брошюрках, в рассказе Николая Дмитриевича, то, значит, надо, чтоб какое-то видимое зернышко было, надо, чтоб я могла, верней фантазия могла за что-то видимое, вещественное уцепиться, чтоб начать работу воображенья. А если так, значит, она не может быть произвольной, не может быть самопричиной, «*causa sui*», как говорит Спиноза о происхождении Вселенной. Какой же тогда «основной» принцип, если он сам требует основы? Вздор его система. Вздор «Фантазия как основной принцип мирового процесса»!

Хорошо помню, что я тогда сделала. Прочитав для полной уверенности обе брошюры, данные мне моим профессором, я на следующий день вернулась к нему в самом воинственном настроении. Что угодно — только не Фрошаммер. Согласна хоть на самого противного — Кузена какого-нибудь (французскую философию, кроме Паскаля, я тогда не уважала, а Руссо, Дидро и школу энциклопедистов, как и наших революционных демократов Чернышевского, Доб-

ролюбова, считала скорей критиками-мыслителями, а не философиями-профессионалами). Не хочу быть предметом насмешек! Последнее «не хочу» родилось у меня в душе после десятиминутного ожидания прихода Николая Дмитриевича. В аудитории со мной сидели кое-кто из моих подруг по факультету. Узнав, какую тему для магистерской диссертации предложила мне кафедра, они дружно расхохотались.

Пришел профессор — и я тут же, при них, бросилась в атаку. Все время пока шли мы с ним в его кабинет из аудитории, где через десять минут начиналась его лекция, я спешно выбрасывала один за другим свои аргументы против Фрошаммера, чтоб поставить заключительную точку: нет и нет, не могу, не хочу!

— Жаль,— только и успел сказать Николай Дмитриевич,— а я уже заготовил письмо профессору Трельчу в Гейдельбергский университет. Но отложим пока, такие вопросы на ходу не решаются. До завтра...

И я опять шла домой злая, но не только злая. Вспоминаю сейчас, когда пишу все это, обиженную собачку Фликса в доме у Метнеров. Она отвернулась от обидчика, не взявшего ее гулять, но он поднес ей в знак примиренья кость. И хотя мутный взгляд ее обиженных глаз был все еще обращен прочь от хозяина, в поле зрения одного из них попало отражение кости, и она увидела кость и уже глядела на нее. В то утро я наблюдала эту сценку. Я тогда жила у Метнеров — и почему-то мне запомнилась она. Хитрость не хитрость, но раздвоенность собачьего самочувствия — вот что мне запомнилось в тот миг и, как ни странно, хранилось в памяти все прошедшие с тех пор шестьдесят четыре года. Я шла домой, наверное, в таком же раздвоенном «собачьем самочувствии» — не смотрела на «кость», но видела ее боковым зрением, где-то на левом краю моего поля зрения. Костью был Гейдельберг.

Кто в двадцать пять — двадцать шесть лет не встрепенется от мысли о близком путешествии! Поехать в чужую страну! Не на летний месяц, а на годы. Увидеть чужой город, чужие библиотеки, напрактиковаться на чужом языке, побродить с рюкзаком за плечами по выхоженным, выхоленным дорогам Европы, а я любила бродить одна, часами, бесстрашно, хотя не всякая у нас в пригородах, в Подмосковье, дорога обхожена и безопасна, я больше всего на свете, больше чтения книг любила «читать» природу по обе стороны дороги, переворачивать ее страницы на поворотах — и как думалось при этом! Какие удивительные мысли приходили при этом в голову..

Трельч был очень известным ученым. Его предмет был теология — наука, не преподававшаяся у нас в университетах. Ее (богословие) слушали семинаристы, изучали в духовных академиях. Какую помощь мог он мне оказать в изучении Якоба Фрошаммера? А в Гейдельбергском университете, я знала, были очень интересные факультеты, были профессора с мировыми именами и — главное — было много наших русских студентов. У нашего с Линой друга, меньшевика Амирова, был даже какой-то товарищ, приехавший недавно в Москву на побывку из Гейдельберга, где он что-то такое изучал, что — я не знала. Придя домой, я написала Амирову письмо с просьбой привести этого товарища завтра к нам на Курсы для «очень серьезного разговора». Я собиралась в третий раз отказаться от Фрошаммера, но уже с помощью этого студента, потому что в глубине души зародился у меня червячок сомнения. Можно ли как-нибудь, отказавшись именно от этой темы, сохранить Гейдельберг при наличии другой, более разумной, более современной, более научной? Письмо я отослала с посылным.



Амиров в этот год к нам не заглядывал отчасти потому, что уехала Лина, отчасти из-за моей растущей «аполитичности». В этом он был прав. Проглядывая свои дневники тех лет, чувствую неприятную отчужденность от себя самой в этих длинных записях какого-то резонерского характера. Эти записи мог вести коллекционер, если б он коллекционировал не вещи, а культурные выводы от прочитанного в книгах, увиденного на выставках, на сцене, услышанного в беседах. Все, переживавшееся тогда, бралось мною, как у писца, у счетчика, на мозговой станок для формулирования. Узнать, отжать, сформулировать, вывести «мораль» (как в баснях) и записать эту «мораль» сделалось у меня еще до дневников, в начале 1914-го, постоянной потребностью «освоения». Именно так, глубиной освоения, называлась у меня постоянная процедура тогдашней ежедневной жизни. Постепенно она стала казаться мне самым важным человеческим делом. Формулировать, доводить опыт восприятия искусства, книги, серьезной беседы (несерьезных не вести!) до формулировки смысла, полезного назначения этих восприятий. Нанизывать каждое впечатление, как высушенный цветок в гербарий или мертвую бабочку на бумагу,— как богатство познанного, особое, ни с чем не сравнимое богатство — о п ы т. Есть старая мудрость: никогда и ни для чего не делать человека средством. А у меня незаметно становилась вся жизнь, во всех ее восприятиях, как бы средством для умных выводов, вкусовых и нравственных формулировок. Жизнь не для того, чтоб жить, а чтоб делать на каждом ее шагу «точные выводы-формулы»... И обстоятельства тогдашней обстановки начиная с четырнадцатого года как-то способствовали этому.

Дело в том, что от студенческой неоседлости и очень скромного, почти скудного быта я перешла к некоторой зажиточности. Стала больше зарабатывать, получать месячные гонорары из трех газет («Баку», «Кавказское слово», «Приазовский край») как постоянный их сотрудник, случайные гонорары от разных изданий, где меня печатали,— журнала «Северные записки», альманахов, «Биржевки», «Речи», позднее «Русской воли». У меня уже вышли две книги стихов, две брошюры, печатался второй том рассказов в петербургском издательстве Семенова, и я сменила студенческую наемную комнату на «пансион» у ставших мне дорогими друзьями Метнеров — композитора Николая Карловича, его старшего брата философа Эмилия Карловича и Анны Михайловны, жены композитора. Мне дорог был мой трудовой режим, нажитый годами в Петербурге. И я как бы продолжила его, только в высококультурных, более требовательных условиях и без участия в какой бы то ни было общественной работе.

## II

У меня была отдельная комната, регулярное питание, прогулка в определенные часы и нечто совсем новое, чего не было в Питере с Мережковскими,— бытие в творческом коллективе. У Мережковских при самой тесной связи «общего дела» я чувствовала себя на отшибе, чем-то вроде приходящей, как приходят в гости или на службу из дому. Семья Метнеров — тоже трое, своеобразный триумvirат,— общим делом со мной никак не была связана, но мы не только жили под одной крышей, мы ели вместе, за общим столом, общались на общую тему, делили общий дневной, очень выдержанный, режим. Называли друг друга по имени и дошли к этому постепенно, вместе с растущей духовной близостью: Коля, Миля, Анюта, Мариэтта. И опять я была «связная», четвертая, но уже не как звено с внешним миром. Внешние миры у них и у меня были разные.

Центром метнеровского триумвирата был Николай Карлович Метнер, гениальный композитор. Когда я впоследствии увлеченно читала о жизни Брамса и Шуберта, мне все время приходило в голову какое-то «комнатное», замкнутое в четырех стенах представление о кружке «приверженцев», «единомышленников», «сочувствующих», не знаю, как вернее сказать, — сектантски группирующихся вокруг музыкального творца, музыку которого они считают гениальной, разделяемой сообща как нечто вроде общего мировоззрения, общей, дорогой для всех великой ценностью. Такие верные соратники составляли кружки друзей и последователей вокруг Брамса и вокруг Шуберта, на могиле которого стоит надпись, лучше сотен книг характеризующая его музыкальный гений: «Тут похоронено сокровище». Сокровище немецкого народа, но и всего человечества. Мы тоже с немногими верными последователями Метнера в лице его учеников и поклонников, серьезно захваченных его музыкой, составляли вот такой кружок «метнеровцев» вокруг Николая Метнера.

Быт наш — я уже сказала — начинался с открытой утром форточки, с открытых форточек во всей квартире и особого, сейчас исчезнувшего дымка — лесного аромата сухих березовых дров из открытых створок больших голландских печей. Еще до завтрака зажигались они и трещали, стрекотали в печи по-своему, разгораясь и полыхая оранжевыми вспышками. Радиаторы центральной отопления прогнали эту голландскую поэзию веселой трескотни в печи, отодвинулся из памяти ее технический инвентарь — заслонка, кочерга, растопка, зола — и милое слово «золушка», оставшееся в сказке. А мы выходили из спален в свежую, проветренную столовую, с двух сторон омытую холодным зимним воздухом — из печки, втягивавшей отработанный воздух из комнаты, мешая его в своей зубастой грызне березовых дров с притоками кислорода, и из открытой до завтрака фортки. Входя, Коля потирал ладони, согревая руки. Мы умывались холодной водой, и мыло — любимое Колино английское круглое мыло «пирс» — чуть пахло чем-то похожим на заснеженные, замороженные осенние листья. Это все я помню, потому что это было началом нашего дневного режима.

Завтрак протекал неспешно, и с него начиналось общенье. Первая нота музыкального вступления была Колина. Николай Карлович, казавшийся мне идеалом человека, был своеобразнейшей фигурой в музыкальном мире. Большая немецкая — точнее германская — голова, напоминавшая сразу же и портреты Лютера, Гумбольдта, Бисмарка (совсем не схожих между собою), и старинные книжные гравюры с лицами в длинных кудрявых париках, придававших им особую строгую важность. Никаких длинных кудрей у него не было, не было и трубки во рту, а все-таки лицо его, очень открытое, крупное, с наибольшим целомудренным ртом, ясными глазами и чем-то вообще неуловимым, сразу напоминало германца большого культурного ранга. В нем не было (и никогда не вязалось с его обликом) торопливости. Он не спешил вставать, садиться, не ходил беглым шагом на прогулках, а в то же время укладывал в течение дня очень много разнообразных занятий. Главным было творчество. Уходя после завтрака к себе, он несколько часов напряженно komponировал и в эти часы был недоступен ни для кого. Он регулярно гулял, с братом и с фокстерьером Фликсом. У него были свои хобби — астрономия и ботаника. Выписывал ежегодный астрономический календарь на немецком языке, и приятнейшим для него подарком было получить этот календарь до того, как он сам его выпишет. В его комнате за рабочим столом стояло в кадках и горшках, на красивых полках множество растений. Он сам ходил за ними, срезывал побеги, которые «отсажи-

вались», то есть давали от себя ростки, если их сажали в отдельный цветочный горшок. У окна, за этим «зеленым поясом», смотрел в небо небольшой телескоп, и в ясные ночи он уходил к нему, чтоб посмотреть на звезды.

Во всем этом не было ни на атом искусственности, или преднамеренности, или, скажем, подражания Гёте, культ которого установил в доме старший брат, философ-гётеанец Эмилий Метнер. Просто-напросто Николай Карлович любил все это и любовно занимался этим. Первое мое впечатление от него самого, от его большой головы и старомодной положительности не имело никакого отношения к музыке и вообще к его работе. Это было чисто зрительное и пластически-пространственное впечатленье «компактности». Слово «компактность» нерусское, а если переводить, то не похоже будет на то, что мы по привычке вкладываем в него, — «мир с самим собой». Вероятно, в смысле внутренней улаженности, мира с самим собой. А у меня, как, вероятно, и у других, ощущение компактности было чувством прочной собранности — хорошей плотности всех собранных частей у этого творческого человека. День после общей трапезы имел одну важную для меня сторону. Иногда, очень редко, Коля показывал нам новые вещи. Если это были романсы, то у рояля возникала маленькая фигурка Анюты и милым, приятным голосом, глядя в ноты, неполным голосом, — это я неверно написала, — вполголоса, как бы про себя намечала для нас тонкую струйку мелодии, еще без слов, встающей над полноводным Колиным аккомпанементом, как воздушное облачко. Это было для всех нас огромным наслаждением. Но случилось оно не часто.

А главное, чем я особенно дорожила, были неизменные совместные чтения. Слух у меня к тому времени уже понизился так, что уследить за чужим чтением становилось трудно, и читать предлагали почти всегда мне. Читались у нас французские и немецкие книги, работы по философии, романы, стихи — я вдвойне наслаждалась от этих чтений: и самим содержанием их, и, главное, практикой французского и немецкого языков. С детства усвоенные с помощью гувернанток, они, как скрипка, требовали практики, ежедневного упражнения, чтоб не забывался не просто язык, — не забывалась его интонация, его внутренний жест, его произношение вслух. Когда приходили адепты — люди, адаптированные в круг жизни Метнеров, — возникали интересные беседы. И совсем на ночь — наедине с собой, — чтоб не забыть, я заносила все это в дневник, стараясь, как уже сказала, прийти или привести к выводу, к формуле все услышанное и пережитое.

Событиями этой жизни были совместные поездки на Колины очень редкие концерты. Коля играл свои собственные вещи. Игру его я уже давно, в старых своих воспоминаньях о Рахманинове, описала, но приведу с небольшими изменениями и сейчас. Медленно усаживался он за рояль, подтягивая нужную высоту у сиденья (тогда, помню, перед роялем ставились круглые тумбочки). Поднимал свою большую голову, как бы задумываясь. Откинутое лицо с выпуклым лбом, прорезанным горизонтальной морщиной; крепко стиснутые губы, вот он начинает чуть пошевеливать ими, словно шепча что-то себе самому; вынимает чисто выглаженный носовой платок, сунутый ему Анютой в карман в последнюю минуту, и старательно вытирает им пальцы, еще и еще раз. Цепкие, железной хваткой забирающие клавиши, словно горстью охватывающие их, вдруг сразу, с наклоном всего туловища вперед вторгаются его пальцы в первые аккорды. Звук подан так ясно, так голо, словно не в за-

полненном зале, а в мертвой синеве открытого неба, в безмолвии огромных пространств. И вы слышите, как, беря эти чистые кристаллы звуков, выпархивающие у него из-под пальцев, сам творец их сопит; сопение, словно от несомой тяжести, переходит в подтягиванье, подпеванье себе,— забыв все на свете, Метнер начинает грандиозное строительство звуков, работу воздвижения музыкального здания, лепку этажей, кладку камней одной части за другой с постепенным нагнетанием мощи, с нерасторжимой логикой, с уходом в высоту, в высочайшие шпильки виртуозной разработки, а вы сидите околдованный, строя целое вместе с пианистом в своем бегущем, текущем вслед за ним слухе.

У Метнера было собственное туше: он отрицал мягкое, ласковое, смазывающее прикосновение пальцев к клавишам, у него был свой взгляд на искусство фортепьянной игры, своя школа пианизма и стиль, многим казавшийся жестким. Но это жесткое и честное, лишнее сентиментальности касание пальцами клавиш, этот суровый аскетический удар умели выманивать удивительную глубину звуков, шедшую, казалось, из сокровенной глубины ожившего инструмента. Станным образом именно от жесткого туше выигрывали внезапно нежные, лирические фразы его удивительных напевных мелодий... Метнер не имел сумасшедших успехов в концертах. Но от каждого концерта росло число его адептов, росло почетное достоинство его музыки, заставлявшей даже самых завязятых врагов Метнера уважать ее и преклоняться перед личностью ее создателя...

Уезжая вместе после концерта, мы почти всю дорогу молчали. Мое впечатленье «компактности» музыки Метнера, как и его самого, было настолько сильно, что суждение о ней замирало, как волна, набежавшая на гранит. И только утром после завтрака начиналась иногда беседа о прошедшем концерте, о глубине впечатленья, о мнении, услышанном в «кулуарах», все это очень робко, с ощущением своей малости по сравнению с «высотой Гималаев». Но утренние разговоры, становившиеся ключом всего дня, не всегда были несмелыми с моей стороны. Привыкая выводить и формулировать, я иной раз не соглашалась, и тогда в моих дневниковых записях проступало мое собственное возражающее «я». Чтоб читатель яснее увидел характер этих бесед и «аполитичность», изолированность их от всего, что происходило в стране, попробую списать хотя бы одну-две из них со страниц дневника. Написанные старой орфографией, они читаются сейчас без скуки, со снисхождением, относимым к «старине», к «давности». Но честно признаюсь, когда мне пришлось переписывать их н о в о й орфографией, мне стало вдруг скучно. Боюсь, что и читателю будет скучно читать их...

Систематически, почти изо дня в день записи я начала вести только с 1915 года. Постоянное житье у Метнеров на их московских квартирах и в имении Траханеево (на станции Хлебниково), которое они тогда снимали, не было по-настоящему постоянным. Оно прерывалось и очень долгими отлучками к матери в Нахичевань-на-Дону, и полугодом заграничной жизни, и отъездами на лето, но все эти годы, 1914—1916, когда я у них жила,— течение этой жизни было стандартно: те же утренние беседы, то же послеобеденное чтение вслух, те же прогулки, тот же круг адептов, совместные посещения стариков (родителей Метнера), приемы гостей — Гедике, Ян-Рубан, Ильиных, Рахманиновых, то же частое присутствие как ближайшего и любимого члена семьи племянницы их Верочки, ныне Веры Карловны Тарасовой, дочери старшего, самого старшего, погибшего на войне брата композитора Карла Карловича, или Кали, как его звали в семье. И наконец, все эти три года, прошедших в метнеровском

ключе немецкого культурного быта, даже когда я отлучалась из Москвы, описаны у меня в дневниках тоже почти стандартно — формулировками и выводами («моралью») бесед и впечатлений, о чем я уже писала выше. Можно поэтому взять для примера об этой полосе моей жизни кусочки из дневников 1915, 1916 и первого месяца 1917 года, не придерживаясь чересчур точной хронологии и даже относя их частично к четырнадцатому году, а только помня, что все это происходило на фоне первой мировой империалистической войны, голода в стране, выросшего числа забастовок, первых подземных толчков близкой Февральской революции. А все это время утро начиналось с обычной беседы, обычного чтения, формулировок прочитанного, увиденного и услышанного или написанного мною самою вечерами в дневник. Вот, например:

«Сегодня утро началось замечательным разговором с Колей. Сперва о «Леонардо да Винчи» Вольтерского<sup>4</sup>. Коля сказал, что в вольтерском Леонардо слишком мало человеческого. С Леонардо перешли на Микель-Анжело, которого Коля не любит и мало знает. Я взволновалась и стала спорить. Коля находит, что то, что проявляется в твореньях Анжело, при всей идеальной форме их производит на него впечатленье хаотичного, стихийного и злого. Я сослалась на Ночь, на Pietà и на потолок Сикстинской капеллы, особенно на лики Сибилл (пророчиц) и пророков. С Микель-Анжело перешли на универсальных людей, или, точнее, гениев с универсальными потенциями. Коля сказал, что хотя они его потрясают, но по существу ему более чужды, чем чистые художники. В пример привел Пушкина и Гёте. Сказал, что Гёте был более легкомыслен к поэзии, чем Пушкин, для которого поэзия была единственным и священнейшим делом. Спорили тут ожесточенно, и в виде дополнения Коля привел аналогию с Бетховеном — Вагнером. Сказал: «Ничто на свете, кажется, не производило на меня такого потрясающего впечатления, как Парсифаль, но все-таки скажу, что какая-нибудь соната Бетховена мне ближе. В Бетховене нет измены музыке, но эта измена есть потенциально в Вагнере». Далее: «Последние орудия Бетховена, которые все считают гениальным завоеванием, я лично считаю соскальзыванием с верного пути. Отвергаю их и как путь искусства, ибо они привели к таким уродливым явлениям, как Штраус, Рeger, Брукнер, отрицательные моменты у Брамса». Тогда я сделала переход к предыдущей теме и ответила, что искусство есть, конечно, ограничение (святое, добавили мы оба), но что потенция к расширению, к синтетизму, к универсализму столь же свята и необходима в личности человеческой, если даже попытки к ее реализации (в искусстве или в действии — безразлично, ведь и церковь и политейя Платона — такие попытки!), — если даже эти попытки обречены на вечную неудачу. Так что, исходя из святости такой потенции в человеке, нельзя осуждать потребность к ее осуществлению у людей, владеющих каким-либо мастерством. Далее, переходя к Гёте, указала, что лирика Гёте абсолютно чиста и что «универсализм» заложен был в личности Гёте и реализовался в его деятельности, а первичное музыкальное ядро свое он держал всегда в чистоте и в святом ограничении. Взяли пример:

Warum ziehst du mich unwiderstehlich,  
Ach, in jene Pracht...<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Речь идет о книге Акимы Львовича Вольтерского.

<sup>5</sup> Goethe's sämtliche Werke. Лейпциг. Издание Ф. Реклам-младшего. Том I, стр. 33. Из цикла песен.

Зачем тянешь ты меня неудержимо,  
Ах, в то великолепиие (роскошь)...

Коля, указав пальцем на это «ах», сказал: «Вот пример легкомыслия Гёте, ибо Пушкин наверное бы дни и ночи мучился, ставить ему это «ах» или нет». В дальнейшем оказалось, что это «ах» Коля воспринимает как произвольную вставку для размера, разделяющую стих. Так как у меня абсолютно иное чтение и я именно это «ах» люблю как забившееся сердце всего стиха, то опять заспорили. В виде контрпримера указала ему на строку Пушкина из «Пира во время чумы»: «И бездны мрачной на краю...» С одной стороны, это внешний *larsus*, ибо тут перестановка сделана во внимание к рифме и к тому, чтобы «краю» очутилось на краю стиха; далее, насколько такая перестановка искусственна, доказала ее единственность (единичность) и бесплодность: она не вошла ни в разговорную, ни в литературную речь. И все-таки этот *larsus* оказался с а м ы м сильным и центральным местом всей поэмы, ибо выдвинул сразу вопреки общему синтаксису и потому с необычной остротой на первое место не самое бездну, а ее н а к р а ю. Точно такая же сила в постановке этого «ach». «Ach» в начале фразы всегда бессодержательно, и пафос его набирается лишь от последующих слов. Здесь же вначале дан образ непобедимого притягивающего очарования: «*Warum ziehst du mich unwiderstehlich*» — и далее образ «нездешнего великолепия» — *jene Pracht*, а между этими двумя образами естественное, вечное, живое, исторгнутое из глубины сердца «ach». Этому вздоху дано и верное место и решающее во всем стихе, ибо до встречи с ней «бедный юноша был счастлив (*gesellig*) в своей каморке; он и вздыхает, и мучается, и навстречу идет очарованию... И Коля признался, что тут он, может быть, ошибается».

В этой записи я как будто возражаю и отстаиваю себя, но гипноз авторитета Метнера до того велик, что дальше идет сдача позиций: «Разговор с Колей дал мне огромную личную углубленность по вопросу о самоограничении в искусстве. Вообще он, конечно, подвижнически прав, но не прав по отношению к Гёте».

Но есть и более самостоятельные суждения, развивающие тезис, данный Николаем Карловичем, а потом в одиночку с самой собой и с вечерним дневником (из той же тетрадки 1916 года):

«После обеда несколько замечательных слов с Колей. Он дал мне прочитать заметку Пушкина о Сильвио Пеллико, где Пушкин, между прочим, говорит о том, что все слова уже даны, но что дело разума, новое дело наше — в с о о б р а ж е н и и п о н я т и й... Гениальность этого «*Ausdruc K'a*»<sup>6</sup> (зараз дать образ понятию и сообразить его с другим, то есть координировать его с другим). Коля сказал по этому поводу: «Как мне отрадно встретить у Пушкина то, над чем я сам думаю всю мою жизнь. Я совершенно не могу понять людей, наслаждающихся отдельными элементами, отдельным словом,— все дело, по-моему, в связи, в контексте. Ну что такое слово «соображение»? А ведь Пушкин сказал его в такой связи, что оно ослепляет». По поводу наслаждения отдельными элементами Коля привел в пример философа И. Ильина, который способен восхищаться одним каким-нибудь трезвучием. Думала над этой темой; по-моему, наслаждение ч и с т ы м и элементами совершенно физиологично и одинаково доступно зверю и растению, ибо оно не требует памяти. Но лишь только наслаждение становится антропоморфическим, оно требует связи и необходимо предполагает сознание и память. Поэтому мы от чистых элементов можем получать, в сущности, только удовольствие, а не наслаждение, и ежели мы ими восхищаемся, как

<sup>6</sup> Выраженье (в смысле — выражено в слове).

Ильин трезвучием, то мы, стало быть, связываем их с внутренним контекстом (как думает Коля) или же осознаем наше собственное «удовольствие» и наслаждаемся уже процессом его осознания».

Дата этой записи в моем дневнике — 14 января, 1916, четверг, спустя месяц после первой записи, сделанной тоже в четверг, но 10 декабря 1915 года. Только один период не абстрактен в них, но про него в следующей главе. В первую половину войны 1914 года жизнь и смятение захватили меня, но как раз тогда я еще не вела дневников... Я привожу здесь более поздние выписки не только для того, чтоб показать сухую логику и мир абстракций периода моей житейской «аполитичности». Пусть представит себе читатель профессиональное развитие, шедшее наравне с этим углублением в формулировки. Писать надо было ежемесячно пятнадцать статей, по пять в каждую из трех газет, где я сотрудничала. Кроме них, предлагались разные выступления в альманахах, переводы, позже (1916) лекции, редактирование, и на все такие предложения безотказно давались мною работы, иногда удачные, а иной раз возвращаемые обратно. Но жизнь у Метнеров и общение с ними было тоже работой. Если «регламентации» (письма к Лине) были профессиональной прелюдией к качеству литературной деятельности, то стремление к додумыванию любого впечатления воспитывало мое мышление. Для меня самой в этом движущемся вместе с потоком внутренней моей жизни конвейере чуть ли не ежедневного создания формулировок прибавило к особенностям вырабатывавшегося у меня с годами литературного языка нечто очень положительное. Когда, уже после революции, я стала писать советские очерки и рецензии, я почувствовала, как стремление к чисто логической додуманности (формулировке) вошло у меня и в практику наблюдения, то есть переключалось в самую жизнь. Материал послеоктябрьской жизни был для нас абсолютно новым, еще неизвестным, не обжитой. Писать о нем без знания его было невозможно. Знание требовало наблюдения, а наблюдение просто не удавалось без собственного участия в наблюдаемом, то есть в самом процессе созидания советских форм жизни, новых, советских «производственных отношений». Мне кажется, вся предыдущая борьба за абстрактную точность, воспитанная постоянной практикой, помогла мне в умении наблюдать и познать корни советского бытия, те глубинные его корни, которые росли из марксизма, из Ленина. И школа почти математических работ по додуманности, по созданию выводов, «формулировок» сыграла несомненную роль в развитии моего очеркового стиля.

Когда я сейчас, отвлекшись от своего рассказа, сидела и переписывала длинные абзацы из старых дневников со всеми их ятями, твердыми знаками, «і» и прочим — мелкие, бисерным почерком аккуратно исписанные, побледневшие от времени страницы, — мне подумалось: как странно, что в прошлом, какое бы ни было оно, ничто не проходит даром, твердеет в чем-то, как твердеет коралл, мягкий и гнущийся, когда он растет. Все остается, все вырастает в человека, ничто не проходит, все переходит... И вдруг поймала за хвост эту самую мысль в старой моей голове как отголосок былой страсти к формулировкам...

### III

А в те годы — не забудем это держать в памяти — шла первая мировая война, лилась кровь, участились забастовки, усилились аресты, разыгрывались дурные общественные события вроде газетных

страстей вокруг выдуманного дела Бейлиса, росло грязное веяние Распутина и всех иже с ним пока еще в форме слухов, а сопровождалось это голодом, сыпным тифом, холерой, неудачами на фронте, крепнущим раздражением народа на возрастающие трудности жизни, презрением к неумелой, неумной власти, несоответствием настроений общества с криками правых газет о патриотизме. Чувствовались первые колебания почвы перед взрывом Февральской революции. А передовая интеллигенция в Думе...

Но тут я опять хочу отклониться для исторической полноты моего рассказа. Выше сорвалось у меня с пера — не совсем кстати — словечко несоответствие. Это непростое слово, и не сразу открывает оно всю глубину своего смысла.

Как всегда, начиная очередную книгу (или часть) своих воспоминаний, я окружила себя томами пятого издания Ленина, относящимися к тем годам, о которых должна повести речь. Что происходило в них? Что было открыто в них взгляду Ленина, чего мы не знали и не видели, о чем и намеков, может быть, нет в моих дневниках, уже не младенческих, не юношеских, а стародевичьих, когда шли мне самой далеко не молодые годы — двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой и начинался двадцать девятый, а сознавала я себя и была в то время типичной «старой девой»?

Раскрыла том двадцать второй для широты охвата русской жизни с 1913 года. Что было тогда в главном фокусе событий? Борьба вокруг IV Думы и в ней самой. Росло как будто полевание кадетской партии (к.-д. — конституционалистов-демократов) и ее авторитета среди интеллигенции. Известные имена, солидность, внушающая доверие, профессора, крупные юристы, культура, знание, приверженность прогрессу и цивилизации — все это импонировало обывателям и части интеллигенции. Кадетов как-то почтительно отличали от мирно-обновленцев, октябристов, стоячего думского центра. И Ленин всю гневную остроту своего полемического пера направил против опасного врага революции — кадетов, замаскированных «полеванием». Депутаты Думы, руководившие кадетской партией, провели очередное депутатское совещание по анализу политического момента и закончили его коротким выводом и четырьмя «решениями» для действия. Ленин беспощадно остро обрушился на эти «решения», сперва приводя их собственный вывод-резюме. Вывод из совещания, по определению самих кадетов, указал на «возрастающее несоответствие между потребностями страны в основном законодательстве и невозможностью удовлетворить их при настоящем устройстве законодательных учреждений и при современном отношении власти к народному представительству».

Приведя этот вывод, Ленин посмеялся над запутанностью его синтаксиса, сравнив его с клубком ниток, с которым «давно играл котенок» (потребности в законодательстве, которых не может удовлетворить настоящее устройство законодательных учреждений, — что это? потребности в чем? в законах? или потребности в том, чего данные законы удовлетворить не могут, — в труде, хлебе, свободе и т. д.?). Посмеявшись над облепихой слов, делающей смысл этих слов туманным. Ленин прибавил к этому туманному «несоответствию» кадетов еще одно, ясное и понятное: несоответствие «между потребностями страны и беспомощностью либерализма»<sup>7</sup> их удовлетворить.

<sup>7</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 370. Здесь и дальше — статья «Возрастающее несоответствие», напечатанная весной 1913 года в №№ 3 и 4 журнала «Просвещение». Слово «беспомощностью» подчеркнуто Лениным.



И дальше в блестящем разборе четырех кадетских решений он вскрыл эту «беспомощность либерализма».

Но Ленину, видимо, понравились два слова из кадетского резюме: «*возрастающее несоответствие*». Взятые вместе и поставленные рядом, эти два слова необычайно выразительны и динамичны. Одно из них, «несоответствие», само по себе очень сильно. Оно трагично при всех случаях его применения. Вещи, друг другу не соответствующие, разрушают стиль в искусстве, ансамбль в архитектуре, гармонию в музыке, согласие в семье. Разрушительный смысл этого слова сперва — в реальном мире — может быть так глубоко запрятан, что его почти не заметишь сразу и можешь вначале принять за не имеющее значения количество (*Quantite négligeable*), ничтожную разницу, которую можно игнорировать. Но несоответствие имеет внутреннее свойство увеличиваться с годами, с течением времени, потому что каждая сторона растет в свою сторону, а с этим ростом в разные стороны возрастает и разница между ними и несоответствие их друг другу. И «возрастающее несоответствие», так неосторожно упомянутое кадетами, — необратимый процесс; в политике, как и в неудачном браке, он ведет к обнажению полярностей, к их вскрытию, к беспомощности их преодоления методом сладкословия и примиренческих компромиссов. В данном случае — к беспомощности либерализма. И Ленин этими двумя словами — *возрастающее несоответствие* — назвал свою большую статью, направленную против «показного полевения» кадетской думской фракции.

Когда я сейчас, под углом зрения этой статьи, смотрю в свое далекое прошлое, я вижу и возрастающее несоответствие между отвлеченными идеалами русской интеллигенции и классовой направленностью ее поведения; несоответствие между тем, чему она десятилетиями учила молодежь, критикуя и ненавидя страшную действительность царизма, и ее выступлением как общественной силы, в ее поступках и чувствах тех лет. Спустя три-четыре года это растущее несоответствие, в сетях которого оказались и некоторые русские писатели, благородные и прекраснодушные, не понявшие и не принявшие перевернутой в будущее страницы истории, и это несоответствие выросло в саботаж и побег.

Амиров, наш с Линой приятель, был, конечно, прав, назвав мой метнеровский период жизни аполитичным. Я и сама сейчас называю его таким. Но, как показало время, скрытый от меня путь мой в будущее сделался гораздо политичнее, чем путь жизни меньшевика Амирова. Потому что даже в тихой заводи поисков формулы каждого своего впечатленья, в скрупулезных доискиваниях до точности своего, в то время идеалистического мышленья, в схватке с еще не понятой во всей ее глубине темой моей магистерской диссертации я была неведомо для себя самой отчаянной максималисткой, а когда пришло для меня время коснуться политики, оказалась ярким врагом психологии меньшевизма. И еще не будучи социал-демократкой, стала большевичкой.



Итак, в борьбе своей с Николаем Дмитриевичем за новую тему для диссертации мне понадобилась подмога в лице студента, приехавшего из Гейдельберга. Амиров на мою просьбу отозвался сразу и привел его в назначенный час на лестничную площадку наших Курсов. И вот мы сидим на подоконнике втроем, я в середине меж-

ду ними двумя, и я разглядываю сбоку гейдельбергского студента. От него у меня остался в памяти его острый профиль с крепким, безбородым подбородком, и клочок бумаги с адресом: Fahrgrasse, 13. Frau Barth.

— Почему вы сразу отказываетесь? — спросил мой сосед. — Ведь необязательно вам разделить взгляды этого философа. Гораздо легче для магистерской работы взять их под обстрел, рассмотреть критически. Тем более, вы говорите, он или его работы попали в список порочных с точки зрения Ватикана — это сразу поможет в дружеском содействии профессора Трельча, теолога. Да и весь наш университет, имейте в виду, переполнен богословами. Сам я медик. А город Гейдельберг занятый, могу дать вам адрес семейства, где я лично жил вначале. Дешево, но не кормят, дают только утренний завтрак. — И он написал мне на бумажке адрес фрау Барт на Фаргассе, добавив, что там сдается несколько комнат, сами хозяева ютятся в кухне, а в комнатах сплошь студенты из России. — Если вам нужна дешевка, дешевле не найдете. Вообще-то в Гейдельберге дорого, дороже, чем в Лейпциге или Фрейбурге.

Таким был весь разговор минут на десять. Он ушел, а я поднялась наверх к моему профессору для окончательного решения. И пока поднималась, меня захватила идея выступить с критикой, разнести Фрошаммера как последнего системотворца, в его лице раскритиковать вообще создание систем как уже отжившее свое время. Что системы отжили и философы начали углубляться в отдельные вопросы гносеологии, в абстрактные разделы Кантовых «Критик», было в самом воздухе тех лет. Такие неокантианцы, как Хуссерль, Риккерт, Коген, приезжали в Москву, выступали с лекциями. Совсем недавние мои друзья, «собеседники в письмах», как Андрей Белый, утопали в туманной антропософии Рудольфа Штейнера, студенты увлекались молодым Чижевским и культом солнца, и огромная власть надо мной такого кантианца, как Эмилий Метнер, укрепляемая ежедневными письмами из комнаты в комнату, разговорами за столом Метнеров, скрепляемая противоречиями всех наших с ним взглядов, как скрепляются металлические зубцы связью своих вогнутостей с выпуклостями (об этом подробнее потом), — вся эта духовная атмосфера, окружавшая меня, казалось бы, расцепляла круглые, замкнутые в себе идеалистические системы классических философов, которых мы изучали на Курсах. Николай Дмитриевич Виноградов был юмист, так он сам говорил о себе. Кроткий, как Юм, по характеру, критик и скептик, как Юм, в философии — он должен поддержать мою мысль — дать на Фрошаммере сражение всякому системотворчеству! Но я ошиблась.

Выслушав мою тираду, охваченную жаром ее мгновенного возникновенья тут же на лестнице, на пути к его кабинету, он поморщился. Он напомнил мне, как на первом курсе я увлекалась аббатом Галиани и вывесила у себя над столом цитату из его книги «Беседы о торговле зерном».

— Вы делаете ту самую ошибку, против которой остерегал вас Галиани, помните? «Люди делают всегда одну и ту же ошибку — преждевременное обобщение». Книг Фрошаммера еще не читали, философию его знаете только по заглавию и сразу — система! А может быть, она все же не система, может быть, это богословский трактат с еретическим уклоном или подражание Локку во взгляде на роль чувств, воображения, эмпирического восприятия и так далее. Хотите вступить на путь ученого — и сразу прыгаете к выводу, ничего еще не исследовав. Я, конечно, могу предложить вам другую ра-

боту — развить, например, дипломную работу критики Баадером гносеологии Канта, сейчас Баадером начали увлекаться. Но вы сами впоследствии пожалеете о потраченном зря времени. Путь ученого — не минутные увлечения, под влиянием которых стихи пишут. Для ученого тема его работы — это его жизнь. Не сел за стол по часам, а потом закурил, гулять вышел, в кино — совсем другим человеком, с другими интересами на уме. А встал с работы — и ушел в работу. Она с ним на прогулке, за едой, во сне. Содержание жизни.

Он говорил, как всегда, спокойным, мягким голосом, но совсем неожиданно для меня с такой лирической окраской пути ученого. И вдруг опять спросил меня:

— А почему у вас с курсом по биологии не получилось? Не интересует естествознание?

Я вспомнила, как увлекал нас в гимназии Слудский уроками естествознания. Подумала — почему? И сразу вспомнила, как захватывал нас Слудский проблематикой биологии, как держал в курсе новых научных достижений, передавал нам почти драматически, с мимикой, с интонацией о больших диспутах, и всегда можно было видеть, на чьей он сам стороне, и, главное, мы сами сразу в этих спорах ученых становились на сторону Слудского, рядом с ним. Может быть, он не всегда был прав. Но он понимал свой предмет в его развитии, видел возникавшие проблемы, всегда сам с головой уходил в них — он любил свою науку. Тот, кто читал нам на Курсах усталым голосом лекции по биологии, обходил научные споры. Он не касался проблем. По учебнику нудные млекопитающие, позвоночные, расчленение на органы, описание классов, видов, усталое изложение дарвинизма, а какой восторг тайлся для читателя в дарвинском «Путешествии на корабле «Бигль»! В сущности, я по-своему всегда любила предмет, так широко названный в средних школах естествознанием. Сухо, беспроblemно читал нам лектор на Курсах, ответила я Николаю Дмитриевичу, никакой нити он не протянул к философии, никакой связи...

— А для русской философии естествознание было фундаментом, — задумчиво продолжал Николай Дмитриевич. — Герцен, Огарев были в университете естественниками, наши крупные врачи, биологи всегда отличались своим философским уклоном, возьмите Сеченова, Мечникова. Любопытно, что нынешняя теософия, антропософия, все эти Блаватские, Штейнеры, все они кокетничают с природой, со всякими химическими опытами, с микроскопами. Советую вам перед отъездом в Гейдельберг серьезно заняться естествознанием.

Вопрос решился сам собой, без всякой борьбы и спора. Я не знаю Фрошаммера, но уже люблю его. Люблю за то, что он сразу требует работы, за то, что, как в романе, мы с ним не сразу и не равнодушно, а в сопротивлении, в расхожденьях решили взять друг друга за руку. Все эти страницы, боюсь, малоинтересны для читателя. Но я хочу подробно рассказать, как мое поколение приступало к диссертации. Десятки лет спустя, сидя в большой столичной библиотеке, я наблюдала такую картину: сидит юноша, смотрит в переплетенную не то рукопись, не то гектографированную брошюру, смотрит и что-то оттуда переписывает в свою тетрадку. Потом взял полистал такую же рукопись — и снова переписка. Оказывается, рукописи уже защищенных кандидатских диссертаций выдаются в библиотеке и будущий диссертант на ту же тему широко списывает чужие мысли — в свои, как ленивые школьники смахивают сочинение у соседа, умеючи изменяя его. Значит, этот юноша не хочет мыс-

лить самостоятельно, не очень заинтересован в своей теме и она далеко не жизнь для него.

Таким же способом большое количество студентов сейчас пробивается к степени кандидата! И на кандидате останавливается, не собираясь идти в науке дальше. Кандидатским дипломом обеспечивают себе повышенную зарплату, повышенную пенсию. Как непохоже это на наш путь в науку! Мы не «пробивались» — нас оставляли, если в высшей школе мы обнаруживали научные данные, обещавшие дать пользу науке, продвижение в ней. И я совершенно не припомню, была ли у нас материальная выгода, кроме стипендии, но мне, например, никакой стипендии не полагалось, я была курсисткой. И, помнится, единственной, кому мой профессор предложил остаться.

Здесь я должна немного перестроить хронологию своих воспоминаний. Полгода жизни за рубежом, с половины 1914-го и до начала 1915-го, лежат как бы твердым материком или скалистым островом в океане последующих лет, 1915—1917-го. Именно в эти годы я начала всерьез заниматься своей диссертацией, читать, делать эксперименты, думать, а попутно в это же время шла, пока не оборвалась, линия дружбы с Рахманиновым, выделенная в прошлой главе; шла и агонизировала, пока не оборвалась, трудная дружба-самоотдача с демонически вошедшим в мою жизнь, враждебным всем моим взглядам и верованиям Эмилием Карловичем Метнером; нарастала и укреплялась простая человеческая дружба-любовь с будущим моим мужем Яковом Самсоновичем Хачатрянцем (закончившаяся свадьбой 25 мая 1917 года в Нахичевани-на-Дону). А физически — я непрерывно ездила из Москвы в Нахичевань и обратно, живя то у мамы, то у Метнеров, перетягиваясь все больше и больше на юг России, к матери. Ростовское музыкальное училище Аверино, постепенно превращавшееся в Донскую консерваторию, пригласило меня лектором. И я начала преподавать в нем (по возвращении из-за границы) введение в эстетику и историю искусств.

Вместе с Линой проводили мы лето в маленьком тирольском городке Штейнахе-ам-Бреннер, в Теберде, на даче и в имении двух теток в Геленджике и Енакиеве... В эти «смутные годы» главным и очень тревожным состоянием моим было о ж и д а н и е, странное ожидание (греки назвали бы его своим словом, бывшим у нас, философов, в ходу, — «эсхатологией», ожиданием-предчувствием) чего-то такого, что наступало за совершавшимися вещами, за исторической действительностью. В эти именно годы (1915—1916) я написала первый большой роман «Своя судьба». Писала его в Теберде, но мысль о нем зародилась в Штейнахе. Лина рассказывала мне на ночь в дождливые тирольские вечера, по кусочкам «страшный» рассказ о «мистере Блэйке», выдумывавшийся ею от вечера к вечеру, и зернышко этого Линоного мистера Блэйка проросло у меня в моем романе...

А в реальной действительности шла война. Реальная война. И тоже странная. Воспринималась она теми, кто был задет ею не непосредственно, как нечто отдаленное, оставлявшее их в полной личной безопасности, с каким-то чувством «отстранения», подобным чаепитию с блюдечка, когда на кипящий чай и дуть не приходится: он сразу приятно остывает. Там где-то, на далекой окраине, клочок кипятков войны, а тут, у себя дома, был безопасный, «охлажденный» тыл. Самый характер тогдашних «средств уничтожения» был безопасен для внутренней жизни страны: не было могучих дальнобойных орудий, не падали бомбы с неба, не переваливались по земле чудовища танки. Не родилась надобность маскировать дома, затемнять свет в окнах, дежурить на крышах, стрсить под землей бомбоубежи-

ща... «Солдатикам», ходившим в гнилых сапогах и мундирах, нуждавшимся в патронах и ружьях, гибнувшим в Мазурских болотах, отданным на воровство и грабеж интендантов, на ошибки, а кое-где и невежество командования, шли из тыла посылки. Теплые носки, перчатки теплые, сердечные письма, курево (каждый курящий откладывал одну из десяти папирос — для фронта)... А жизнь в безопасном тылу продолжалась как прежде — залитые огнем театры, топот копыт по тогдашним булыжным мостовым, поток пешеходов на тротуарах, огни фонарей, огни в окнах. И только в провинциях — поближе к фронту — беженцы, беженцы, причинявшие лишние хлопоты и беспокойство городским управлениям и домовладельцам... Из всего этого многообразия годов — 1915, 1916, 1917, — о которых более подробно будет рассказано в следующей главе, я пока коснусь всего одной линии, казалось бы наименее важной, — диссертации и работы над ней после возвращения из Гейдельберга в Россию. А потом вернусь в Гейдельберг, во вторую половину года 1914-го...

Покинув кабинет моего профессора, я сразу почувствовала огромное облегчение, как от снятой с плеч тяжести: решено! Еду в Гейдельберг, принимаю Фрошаммера! Еду в неведомый путь мышленья, в незнакомый город, в работу над темой, с которой, как в старину люди говорили о заключаемом с завязанными глазами браке, стерпится — слюбится. Но сперва надо было решить целую кучу мелких задач: оформиться, собрать деньги, починить платье и башмаки, выписать из Германии книгу Фрошаммера — все это было легко, не требовало времени. Но самое главное, и это как раз было трудно, надо было заняться естествознанием. Я понимала, почему Николай Дмитриевич, начав со слова «биология», закончил словом «естествознание», — он как бы подчеркнул более широкий объем второго слова: оно охватывало не один органический, но и мертвый мир неорганического, науки геологии, химии, минералогии. Ведь у Фрошаммера способность «фантазии» как главным принципом деятельности всей Вселенной должны обладать не только субъект, но и объект. Ну а чтоб понять, как может природа (объект) фантазировать, надо серьезно приняться за изучение этого объекта, и уж если на то пошло, начну с камня, самого мертвого материала природы. И с разбора, что понимает Фрошаммер под фантазией. Чем фантазирует человек? Ведь не разумом? Если разумом, то как? И чем может фантазировать камень? И что такое это «что»? Присуще ли оно только антропосу? Только сознающему себя субъекту? Или это просто новый геологический выверт у Фрошаммера, чтоб протащить в философию теурга, творца? Ведь слово «творец» чаще лепится к богу, чем «отец» и «господь»...

В Москве в те годы, кроме Государственного, был еще Университет имени Шанявского, отчасти соответствующий нашим советским народным университетам. Но он был платный, записываться можно было на любой курс любых лекций. Прав он по окончании не давал, но мог дать хорошее общее образование тем, кто правильно выбирал себе целый комплекс предметов, аккуратно ходил на лекции и записывал, консультировал, запоминал услышанное. Я прошла в канцелярию Университета Шанявского. Все возрасты — от стариков до мальчишек. Впрочем, больше зрелых людей и не как у нас на женских, а обоего пола. И воздух особенный: чем-то жадным, любознательным веяло от людей. В программах два предмета захватили меня: минералогия и кристаллография. Я записалась на оба курса, оба курса читал один и тот же ученый, Георгий (Юрий) Викторович Вульф. И тут оказалось, что в метгеровских кругах хорошо знают Вульфа. Мне посоветовали сходить к нему на дом, пого-

ворить, объяснить, почему, закончив философский факультет, я потянулась вдруг в область камня. Дали адрес — Вульф проживал в не совсем обыкновенном доме князя Щербатова (если не ошибаюсь). Дом этот находился — и сейчас стоит — на Новинском бульваре, сочетая в своих двух боковых фасадах и центре нечто вроде старого помещичьего особняка по архитектуре с очень удобным многоквартирным, рентабельным для хозяина «вложением капитала». Среди съемщиков одной из квартир этого дома было и семейство Вульф.

Я не зря пишу так подробно о простом московском здании на обыкновенном московском бульваре. Фантазия не фантазия, но если проживешь, как я, очень долгую жизнь, чувствуешь себя в руках множества совпадений, мешающих фактам и событиям чересчур расходиться друг от друга в пустоту и гаснуть в одиночку без продолжения. У меня самые разные факты оказываются сцепленными, словно жизнь мою пишет драматург, ограниченный законами сцены: определенным количеством действующих лиц (чтобы не исчезали, как в песне «искры гаснут на лету»), определенным числом сюжетных витков (чтоб не разбежались в черноту космоса без окончания) и определенным количеством декораций, чтоб не превратить меня в вечного странника. Сидя в самом начале семнадцатого года в кабинете у Юрия Викторовича, я не думала, что через полтора года буду «под белыми» на курорте в Анапе сидеть на террасе у соседа по даче, вице-президента Петербургской Академии художеств, знаменитого архитектора, который строил этот самый дом, и будет он мне про него рассказывать:

— Князь сделал почти невыполнимое предложение. Он хотел, чтоб я построил для него в Москве нечто вроде его дворянского поместья, английский Manor, но чтоб этот Manor давал ему доход, большой доход, — сразу окупить затраты и складывать дальнейшее в банк. Я хотел было отказаться, но меня увлекла сложность задачи. Кроме того, вы понимаете, времена были уже не те, как писалось в журналах. Деревня разоряется, доходов князю с нее нет, семья его тянется «в Москву, в Москву», как чеховские три сестры, а на сердце, в мыслях — родовое имение, въезд для карет, фасады, лестницы, лепка, русская ширь... даже ball room, зал для балов. Я засел. Сперва рисовал перед собой в воображении. Потом на бумаге. Получилось. Будете в Москве — обязательно сходите посмотрите, если не разрушили большевики...

А я раньше уже была и посмотрела. И я уже была «большевичкой», не будучи социал-демократкой. Знаменитый архитектор не прижился у белых, он уехал с семьей в Иран (мы тогда говорили — в Персию) и оттуда прислал мне отчаянное письмо на многих страницах. Он писал, что погибает в Персии, где никто ничего не строит. Строили древние — не наглядеться, а сейчас уличная пыль, нищета, грязь, нет заказов. Камня, камня, строительного материала, — тоскует по нему руки, мертвец без него мозг: архитектор, поймите вы, должен строить, не может не строить, рожден, чтобы строить... Когда это отчаянное письмо дошло до меня, у нас бурно начинала строиться молодая советская республика Армения, пять лет протекло после нашей беседы в Анапе... И я понесла письмо знаменитого архитектора другу моего мужа, председателю Совнаркома Армении Саркису Лукашину, а тот выписал тоскующего зодчего в Армению, к туфу, к базальту, к мраморам. И тот, кто стал позднее народным архитектором Армении, Александр Иванович Таманян, фактически сделался главным строителем, планировщиком родной ему армянской земли, забыв, кстати сказать, до самой своей смерти построить себе самому и своей семье сносное комфортабельное жилище...

Но я возвращаюсь назад, в кабинет Вульфа. Мы договариваемся о посещении его лекций, он рекомендовал мне свою книжку о симметрии, подарил книжку братьев Браггов о кристаллах, переведенную с английского. Совершенно неожиданно для меня в мою сухую «гуманитарную» атмосферу входит новый, очень плохо известный элемент природы.

Дневники переполнены коротенькими записями о лекциях Вульфа, о пленительных шлифах разных минералов, показанных нам, слушательницам, в микроскоп. Линии и краски этих разрезов камня, темные при свете дня, когда берешь в руки их немые пластинки, внезапно вспыхивают под стеклом микроскопа райской небесной жизнью. Во время Отечественной войны, помню, я собирала на Урале орскую яшму и отдавала полировать (за свой хлебный паек). Меня поразило тогда удивительное сходство красок и линий яшмы с красками и линиями неба над Орском. Так же было и в горах Лори, когда писалась моя «Гидроцентральный»: я нашла фиолетово-голубой агат, обрамленный узорами белого кварца, словно застывшего в нем кусочка кружев. Подняв голову, можно было увидеть фиолетово-голубое небо над горным Лори, словно прошитое белоснежными перышками кружевных облаков. Конечно, это совпадение — небо, отраженное в блестящей поверхности камня как в глянце воды, но я постоянно ищу теперь это странное сродство между небом и камнем в любой местности, где есть они.

Смотреть на лекциях Вульфа шлифы под микроскопом стало одним из больших моих наслаждений, равным посещению хорошего концерта. Но до шлифов мы прошли на лекциях курс оптики, устройство микроскопа, решали разные задачки. В дневниках есть такая запись от воскресенья 7 февраля 1916 года: «Утром в университете нынче было страшно интересно; решали две задачи, одна из них досталась мне (определить показатель преломления у лучей обыкновенного и необыкновенного). Начинаю больше смекать в предмете». На следующий день, 8 февраля: «Вечером в университете лекция замечательно интересна. Вульф дал мне свой курс кристаллографии». А еще через неделю (понедельник, 15 февраля) запись показывает, что мы с Вульфом вышли из рамок официального общения учителя и ученицы, а стали чем-то вроде «хороших знакомых из одного круга общества»: «На лекции Вульфа, где показывались шлифы горных пород на экране. Зрелище упоительное, напоминает снящиеся пейзажи. Потом с Вульфом поехала на концерт Куссевицкого. Коля играл необыкновенно, хотя, кажется, слабее, чем вчера; с концерта все вместе вернулись в карете».

Переход от минералогии к кристаллографии совпал у меня с более длительным отъездом из Москвы в Нахичевань-на-Дону. И тут Вульф, не желая отрывать меня надолго от занятий, предложил необычайное дело в виде урока или «семинара»: самой, самостоятельно вырастить настоящий кристалл! Не только вырастить, но терпеливо наблюдать за его ростом, за отклонениями, какие будут, и если будут, описывать их ему в письмах и, если удастся, сопровождать их собственными рисунками. А сам твердо обещал отвечать на письма, давать советы, следить и помогать. Лечить мое детище, если надо. Он объяснил, что делать и как делать, и дал рецепты, чтоб купила в аптеке все необходимое для дела. Собственный кристалл! Его история тоже сохранилась у меня в дневниках.

Много раз уже в советские годы, даже в пожилом возрасте, я вдруг бросалась снова повторить рождение и воспитание кристаллика. С трудом покупала все по порядку, что записано у меня в днев-

нике. Вспоминала точную процедуру. И у меня ровно ничего не выходило. А тогда — вышло!

Вот история кристаллика. В аптеке мне понадобилась по рецептам Вульфа четверть фунта квасцов. Дистиллированная вода. Фильтровальная бумага. Воронка. Посудинка для выращивания кристаллов. Видимо, аптечным работникам все это было знакомо. Мне спокойно, по очереди доставали нужную деталь и, заворачивая ее в папиросную бумагу, одну за другой клали их на прилавок. Но я уже не помню, какое именно волшебство нужно было для зарождения того первого крохотного кристаллика, который как бы сыграл роль расады растительного мира. У меня только записано, что сперва я создала раствор (не помню, в какой пропорции квасцов с водой): «Проделала все что требуется по письму Вульфа, но за две вещи боюсь: 1) раствор охладился и фильтровать пришлось чуть теплый, 2) не уверена, правильно ли соотношение количества квасцов и воды». Это было в четверг, 17 ноября 1916 года. А на следующий день, в пятницу, 18-го: «Нынче вместо нескольких кристалликов на дне моего раствора оказалось их множество, и все — неправильной формы. Я все же решила продолжать опыт дальше и сейчас поставила в шкаф профильтрованный раствор с одним зародышем-кристалликом».

Вероятно, тут не сходилась первый результат с указаниями Вульфа. Наверное, будь раствор правильной (нужной) насыщенности, зародышей-кристалликов было бы меньше и присущей им формы. Вместо выброски всего как первого блина комом я посеяла в тот же, но сызнова профильтрованный раствор один из полученных кристалликов неправильной формы. Что я думала тогда? В чем отступила от «пути ученого»? Мысленно сразу согрешила на этом пути, почувствовав свою лабораторную работу с неорганическим веществом сразу же как с чем-то живым, органическим. Для меня тут же родилась аналогия кристаллика с возникшим из посеянного семени в накормленную воду живым зародышем — расадой растительного мира. В том живом мире сажают в ящики семена, всходит расада — бледные стебельки-зародыши, — и каждый из них отдельно высаживают в большую мать землю. Мысли мои свернули с «пути ученого». И душевное состояние, должно быть, свернуло с него. Просыпане поутру стало нервным и взволнованным; с постели босиком — к шкафу. А в шкафу...

«Суббота, 19 ноября, 1916. Мой кристаллик изменяется! В том месте, где у него были ранки и неправильности, появилось несколько маленьких граней». Представляю себе, как восторженно, в возрасте уже старой девы записала я эти строки в дневниках. Ощущение жизненности, органичности бытия моего крохотного каменного существа углубилось. Его деформации стали для меня «ранками», чем-то болезненным, патологическим. Написала ли я так Вульфу? Не помню и страшно жалею, что не сохранила его драгоценных ответных писем. Уже это не был лабораторный опыт, заданный «семинар». Это превращалось в нечто вроде «личной жизни». На следующий день:

«Воскресенье, 20 ноября... Кристаллик мой растет. Раньше он был таким (см. рис. 1). Теперь он уже выработал себе внизу пирамидку точь-в-точь такую, какая у него наверху, и стал таким (см. рис. 2). С небольшими скоплениями точек внутри и разрыхлением в среднем поясе. Он сам залечивает себе все дырочки. Ростом его заинтересовалась даже мама».

За три дня — только три дня человеческой жизни — зародилось какое-то неорганическое бытие и стало прямо на глазах видимо, ощу-



щаемо изменяться. Как оно зародилось? Не по-человечески, то есть по-живому, — без акта оплодотворения. А почему я знаю? Был какой-то акт. Была чистая вода, дистиллированная, и был элемент или нечто химическое — квасцы. От их соединения, создання раствора по очень точной пропорции, появился зародыш. А чтоб расти, он должен был питаться своей средой, — акт связи зародыша как семени с нужной ему средой. Ну чем не аналогия с органическим миром? Ведь есть же в ботанике бесполое зарождения...

Так я тогда раздумывала. И дальше у меня в дневниках все больше места уделялось чтению Фрошаммера — уже получила его книгу из Германии — по утрам, тотчас после визита (босиком) к заветному шкафу, где хранился стакан с растущим кристалликом. А он рос! В пятницу, 25 ноября 1916 года я записываю: «В 4 часа мы с мамой пошли в баню и попали в сущий ад по многолюдству; но так как ад этот был наполнен простыми людьми (большею частью прислужкой), то и было в нем хорошо. Я все больше и больше люблю пребывать в коллективах простонародных, мне любо и трогательно видеть бедную одежку, тесемочки вместо резинок, заштопанные ситцевые блузы, платочки, корявые руки, которые старательно приглаживают волосы, тоже какие-то обкусанные, мышинного цвета; замечательно, что волосы очень индивидуальны, и я, например, всегда отличу волосы дамы и волосы горничной, даже притом независимо от прически. Простому люду тяжело живется, и он относится к жизни серьезно, рассудительно и общительно. Это причина (главная), по которой я люблю простых людей и люблю быть с ними. Я их вовсе не жалею и, наоборот, всегда радуюсь им и упрощаюсь. Дома почитала Эйхенвальда «Акустика и оптика».

Нынче кристаллик мой вырос, и особенно вырос у него нос; мама и Лина принимают в нем не меньшее участие, нежели я сама, точно это живое существо. Вот он уже какой (см. рис. 3).

Запись о кристаллике идет после многих рассуждений. Я привожу их, потому что они важны для тогдашнего моего состояния. Читая их сейчас, чувствую раздражение и какой-то душевный стыд за себя, за свою сентиментальную христианственность, за то, что сквозь образ «корявых рук» еще не пробилась великая идея труда, отодвинутая наслаждением от мышленья, светившая мне совсем недавно во всей ее яркости (пятая часть воспоминаний, Рахманинов, довоенные годы...). Даже злость вспыхнула у меня на внушительную букву «ять», с которой писалась тогда «бедность», — хорошо, что бедность стала лишь слабой тенью, лишь отсветом ее бывшего значенья в нашей новой, советской орфографии, когда мы пишем ее через букву «е». Но кристаллик вытянул книзу свой нос, «опустил нос на квинту», как сказала кузина-скрипачка.

Дальше — больше. В среду, 30 ноября 1916 года: «Кристаллик приборел по углам новые грани и очень вырос».

— Кристаллик начал фантазировать! — с триумфом объявила я Лине, на что она спокойно ответила (у нее был свой, установившийся взгляд на Фрошаммера):

— Вздор! Опять какое-нибудь нарушение необходимого соответствия квасцов и воды в растворе. Вода ведь испаряется. Раствор густеет. Вот тебе и начало деформации.

Но я упорно не хотела трогать раствор. Я решила сама сфантазировать и нарушить предписанные мне Вульфом указания. Что будет, если? И взяв крохотный старый зародыш кристаллика из сохранившихся у меня в прежнем растворе, положила его (зажмурив глаза, чтоб не видеть собственного своеволия и чтоб вина пала с плеч субъекта на плечи самого объекта) в раствор, рядом с моим

заболевшим детищем. И вот что сделалось с заболевшим через несколько дней, в воскресенье, 4 декабря: «Нынче мой кристаллик вдруг обтянулся глубоким желобом. Может быть, это оттого, что я подложила в раствор маленького, не дав большому окончательно вырасти? Вот он теперь какой:

30 ноября 1916 (см. рис 4); положила в раствор тогда же (см. рис. 1); и вот что сделалось в воскресенье, 4 декабря (см. рис. 5)».

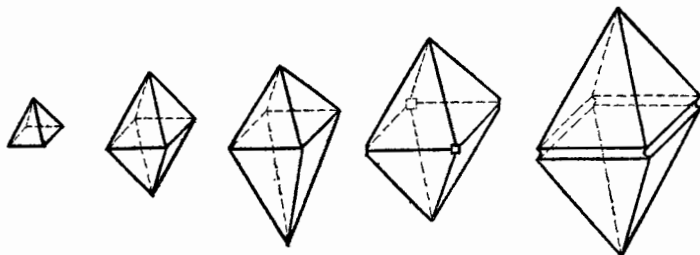


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Что было дальше? Мне пришлось опять профильтровать раствор и сделать новый, более точный. В профильтрованный положила большой мой кристалл, и он тотчас начал залечивать свой желобок, наращивать в нем вещество, пока не пополнил и не сделался вполне нормальным на вид. В новом растворе стала расти маленького, и раствор, видимо, оказался точным — маленький начал расти тоже нормально. На этом, судя по дневнику, прекратилась моя лабораторная работа по Фрошаммеру. События к концу 1916 и началу 1917 года настолько усложнились, что и Фрошаммер и моя магистерская опять отодвинулись от меня, забылись мной на долгие, долгие годы, больше чем на полвека. Но конец, не записанный в дневник, я помню и приведу его для читателя. В те дни, когда еще рос мой кристалл, сам себя исцеляя в профильтрованном растворе, я в дневнике как бы бросила случайную или попутную фразу, в которой сейчас увидела огромный смысл: «Мысль отдыхает, когда ей дана работа». Мысль в ее ритмическом, плавном развитии была воистину отдохом для меня всю последующую жизнь. Страсть к формулировкам, к окончанию определения перешла в страсть мышления (ритм бесконечного пути познания), или, по Гегелю, мое состояние Schluss'a сменилось глаголом «werden»: окончательное определение, приход к концу смысла — счастливым нескончаемым состоянием становления. И совершился этот переход, мне кажется, в долгом разговоре с Линой у шкафа, где в темном углу стоял раствор с растущим кристаллом.

Выписанный мной из тогдашней Германии большой том главной работы Фрошаммера выглядел очень невзрачно, словно изданный самим автором «по бедности» или сочувствующим издателем: бумага серая, ломкая, вроде оберточной, обложка из такой же бумаги, только выкрашенной в тусклый светло-зеленый цвет, сброшюрована книга на гнилую нитку — листы рассыпаются при чтении. На обложке стоит:

Jakob Frohschammer  
Die Phantasie als Grundprinzip  
des Weltprozesses  
München  
Theodor Ackermann  
1877

А к имени автора, Якоба Фрошаммера, прибавлено: Professor der Philosophie in München.

Итак, он читал лекции по философии в Мюнхенском университете.

— Не только это. Обложка дает еще одну информацию, по-моему, архиважную,— сказала Лина, держа эту книгу в руках.— Не выбери я историю, а ставши философичкой, я выбрала бы эту тему для магистерской диссертации именно за эту обложку!

— Не выдумывай,— неуверенно ответила я,— не говори чепухи. Что за шутки в серьезном вопросе!

Но Лина не умела шутить в серьезных вопросах, и я это знала. Мне было любопытно, какую такую информацию выудила она из этой ничтожной и, мне казалось, на медяки изданной обложки. А Лина продолжала водить меня за нос:

— Будь я Шерлоком Холмсом, наизусть знающим всю историю философии, я бы прежде всего...— Она помолчала.

Никакой «истории философии» Лина знать не знала. Чтоб быть в кругу моих интересов, всегда быть со мной, она прочитала в Энциклопедическом словаре по буквам фамилий несколько статей о самых крупных философах разных времен и утверждала, что Брокгауз и Ефрон лучше всякого университета и всех профессоров в мире, кроме, конечно, Дмитрия Моисеевича Петрушевского и средневекового землепользования. Помолчав, она сказала:

— Что ты тут видишь в названии?

— Брехню последнего системотворца,— со злостью ответила я, вспомнив ее последнее чтение Брокгауза на букву «Ш» (Шопенгауэр):

Но Лина с упорством, за которое все мои друзья звали ее Кремльщиной, не обижаясь и не обращая на меня вниманья, внезапно сказала нечто удивительное. Она сказала:

— Тут ни о какой системе речи нет. Системотворцы, позволь тебе сказать, выбирали для своих заглавий имена существительные, кругло, закругляясь в работе, например Шопенгауэр. («Ага,— вернула я,— Шопенгауэр!») Мир как воля и так далее, Кант — критика и так далее, Фихте — «Наукоучение», Гегель — «Наука логики», а уж древние ставили в свои системы бог знает что. Силы природы как основы систем. Ну теперь взгляни, пожалуйста, на это название — похоже оно на другие философии, что именно ставит оно... нет, не так... во что именно ставит оно «фантазию» свою, в какую систему, в какое имя существительное?

Я тотчас при всей своей снисходительности к Лининому Брокгаузу почувствовала в ее простой речи глубокий смысл. Отсутствие онтологического начала в заглавии Фрошаммера! Разрыв связи с метафизическим целым, странное, непривычное у классиков идеалистической философии слово, пахнущее чем-то житейским, натуральным, дарвинистским, материалистическим, естественнонаучным и даже, черт его возьми, историческим, слово «мировой процесс» — не мир как готовое, не онтологический мир, а процесс его! Да, это было ново у Фрошаммера. Это несколько ослабляло даже смехотворное участие фантазии в мировом процессе. Это заставляло думать о фантазии как о свойстве, как о качестве...

— Лина, ты абсолютная дуся.

Так закончился наш разговор. Он происходил за год до окончания войны, меньше чем за год. И он имел очень большие последствия, поскольку заставил меня по-новому взглянуть на свою магистерскую и отозваться на нее спустя шестьдесят два года, когда я вдруг захотела совсем по-иному, учтя прожитую долгую жизнь и

опыт постоянного самонаблюдения, взглянуть и прочесть наконец всего бедного, старого, неизвестного Якоба Фрошаммера.

## V

Но сейчас мы с читателем вернемся несколько назад, в июнь 1914 года, когда еще и во сне не видать войны, все кажется мне спокойным и вековечным, кроме себя самой, собирающей деньги, покупающей заграничный паспорт, суевающейся, выуживающей откуда можно сведения о Гейдельберге, еще пишущей этот город с буквы «Г» и восприимчивой его по-московски, по-русски — городом мужского рода. Читатель заметил, может быть, значение у городов, у слагающегося их образа в вашем понимании, какого пола их название, мужское или женское, словно «пол» их названия становится «полом» самого города, характером его, качеством, особенностями. Можно ли забывать Москву в ее же н с к о м роде — Москву-матушку? Можно ли представить себе строгий и стройный Петербург городом материнского, женственного облика, его проблематику, судьбу, влияние, вхождение в историю ж е н с к и м началом, хотя он сразу же передается вам в мужском облике?

Гейдельберг, когда я собиралась в него, казался мне со своим университетом и твердым знаком на конце, как мы тогда писали в окончаниях мужского рода, серьезным местом жительства будущей эпохи моей жизни, по сравнению, скажем, с веселой Веной, которую я уже тогда знала, или даже с Парижем, очень терпимым и толерантным, с кем можно ужиться самым разным характерам с разными целями, но отпечаток на общем его содержании будет все-таки мужской. И вот распрощавшись с прошлым, послав Лине (Линухе) отчаянную прощальную телеграмму с обещанием писать ежедневно «регламентации», засунув в чемодан все свои блокноты и конспекты, а на шею повесив мешочек с двумя нашими царскими сотнями, которые придется мне потом разменивать в последней немецкой таможе на швейцарские марки, я купила поздно вечером на берлинском вокзале во время коротенькой пересадки первый немецкий путеводитель по Гейдельбергу. И — боже мой! — я узнала, что Гейдельберг — это она. Она! В немецкой песне про нее поется:

*Alt-Heidelberg, du feinel*

Не только она, но вдобавок старая. И не только старая, а еще и тонкая (изящная, утонченная).

Все представленья мои об этом городе были перевернуты за несколько часов до первого знакомства с ней, со старухой Хейдельберг, в теплую июльскую ночь. Отныне большая немецкая буква «Х» должна была заменить милое и привычное русское «Г». Не знаю почему — пусть думают об этом нынешние парапсихологи — приход старой Хейдельберг на место знакомого Гейдельберга страшно повлиял на меня. Но тут примешалось и нечто другое. Перед моим отъездом семейство Метнер уехало за границу. Эмилий Метнер в Дрезден, Анюта с Колей на курорт в Бельгию. Знакомая им семья сдала мне комнату по соседству в большой благоустроенной квартире, где, кроме меня, жила какая-то странная женщина средних лет, необыкновенно ко мне внимательная. Она была некрасива. Особенно портила ее кожа лица, угреватая, серая, пахнувшая противным угристым запахом. Мне ее было жаль — в том приподнятом, восторженном состоянии, в каком я тогда находилась, мне всех людей было жалко и как-то стыдно, что вот я такая счастливая по сравнению с ними... А эта угристая, такая жалкая не переставала быть ко мне внимательной, расспрашивать о Метнерах, особенно об Эмиле, и настойчиво от-

говаривать меня ехать в Германию. Один раз в ванной я потеряла свой мешочек с деньгами. Она принесла его мне, и я заметила, что он был надпорот и снова зашит, в нем ничего не пропало, и не хотелось об этом думать. Я остро жалела ее — бедняге, наверное, никогда за границу не выехать. И потом, выехав, сразу забыла и ее, и эту временную квартиру, и как она в ней очутилась.

Загораясь чем-нибудь интересным, ощущая себя на положении стрелы, уже полной трепета и напряженья на тетиве моей судьбы, я вообще ничего никогда не замечаю вокруг себя. В такие минуты во мне просто нет, словно их на свете нет, ни подозрительности, ни страха, ни «предчувствий», а есть только мгновение пуска стрелы с тетивы... И вдруг в эту темную и безлунную ночь в переполненном немецком купе, пропитанном запахом чужого, не московского табака и чужой, не московской одежды, я вспомнила свою кратковременную московскую соседку. Перед глазами встало ее круглое, серое, угристое лицо, ее странный неподвижный взгляд — и меня охватил ужас. Выйдя в коридор, я высунулась из раскрытого окна. Поезд летел, задыхаясь угольным дымом, летела навстречу копоть, была темная ночь, но не совсем черная, — какая-то полосатая, бушующая ветром, ревущая, страшная, горячая, сухая... Так поезда теперь не ходят, мы не чувствуем их грязного дыханья, они движутся слаженно, комфортно, а тогда за границей, где полагалось быть чище и культурней, чем у нас, он летел, сотрясаясь и шарахаясь, словно лязгая ребрами, в гибель. Старая Хейдельберг бежала рядом по полосатому небу, это ее растрепанные космы били меня с ветром, навстречу неся крик колеса по шпалам: не надо — надо, не надо — надо, это не может быть, это не может быть...

Потом крик стал слабеть, вдали показалось сцепление огней, кто-то позади меня сказал по-немецки: «Хейдельберг, две минуты остановки». Значит, в ветре и копотях, в полосатой черноте ночи я проехала дивную местность, легендарные красоты Бадена и ничего этого не видела, засыпанная угольной пылью и охваченная угристым запахом копоты. Две минуты — ужас сменился у меня практическим страхом не успеть слезть. Я метнулась в купе за вещами, и еще шел поезд, едва сбавив свою скорость, колеса запели на стыках, переходя с колеи на колею, спокойное «мы приближаемся, мы, приближа-ем-ся», как я, высунувшись из окна, уже кричала далекому перрону: «Трегер, трегер (носильщик)!»

Несколько лет спустя какой-то журналист показал мне старый номер русской газеты с фельетоном, где упоминалось мое имя. В фельетоне драматически описана русская наивная поэтесса, ехавшая в купе, наполненном немецкими шпионами, прямо накануне войны, ничего не видя и не понимая, со своими «Гётами и Шиллерами» прямо в пушечное жерло вооруженной Германии, взывая в темную пустоту: «Носильщик, носильщик!» Все было фривольно и наивно, хотя я сама показалась себе похожей как две капли.

Конечно, все кончилось прозаически. На вокзале носильщик уважительно взял мои вещи, спросив при этом: «Studentin (студентка)?» Из темноты вынырнул очередной извозчик с фонариком возле своего сиденья. И я тронулась в путь, вдыхая воздух, дивный, чистый воздух сладковатой близкой реки. В ее волнах качались звезды, отраженные с неба, уже не полосатого. В городе все, казалось, спало. Первое освещенное заведение, похожее на подмосковную трехэтажную дачу, с треугольником чердачка наверху гостеприимно приняло меня и два моих чемодана. «Пансион для студентов», — сказал извозчик, аккуратно вернув мне сдачу. И комната моя в эту первую ночь у старухи Хейдельберг оказалась наверху, как раз в треугольничке черда-

ка. Я сразу легла и крепко заснула, а утром все вокруг было удивительно приятно. Окно прямо на пологую крышу, где рядышком стояли в горшках цветы. Возле них старый кувшинчик с водой и табличка: «Поливайте каждое утро». Кровать в пуховиках и одеяло — пуховик. Девочка лет четырнадцати, постучав, принесла мне теплую воду для мытья, а потом и завтрак. Все мне нравилось: июльское солнышко в окне, хотя в путеводителе было сказано, что июль в Гейдельберге самый дождливый месяц, пахнувшие душистым мылом руки девочки, завтрак на подносе — два яичка, одно в деревянной рюмке стоймя, другое рядом, булочка, кружок масла, а на нем кружок льда и большое блюдо яблочного джема. Кофе пах морковью и цикорием, но расписной кувшин, в котором он исходил паром, блестел на солнце радугой. Я ела с удовольствием, ела и думала — настоящий натюрморт, фламандская картинка. (Nature morte — мертвая природа...)

Вместо дневника (еще в тот год не начатого) у меня перед глазами лежит моя книжка «Путешествие в Веймар». Написана она была по возвращении домой очень старательно, сразу же, по заграничным блокнотам, а пролежала всю войну неизданной и появилась в печати только после Октября. Все фактическое там и соответствует истине: июльский семестр студентов, пейзаж города, живописная река Неккар, замок на горе, отсутствие профессора Трельча и мое решение использовать «каникулы» — пойти пешком в гётеанское, вообще в германское, паломничество в Веймар — через город Лютера Вормс, через город рождения Гёте Франкфурт-на-Майне и, наконец, город расцвета классической германской культуры — Веймар. И все правильно описано, все сохранено в блокнотах — памятники, музеи, дома знаменитостей, собственные рассуждения по их поводу. Даже рюкзак, натиривший мне плечи, описан правильно, со всеми кармашками. И даже грушевые деревья с подпертыми палкой ветками от тяжести плодов по обе стороны Бергштрассе, знаменитой дорожной артерии Бадена, по которой я шла и по которой через несколько дней, грохоча, поползли пушки... Отдаю себе должное: обращала внимание и на политику, списала с газеты первую, правильную и честную, прокламацию немецких социалистов против войны и позднее позорное шовинистическое отступление их.

Все так. Однако старый мой друг более позднего времени архитектор Андрей Андреевич Оль (которого семья моя спасла от белых у себя при отступлении деникинской армии из Ростова), прочитав эту книгу в рукописи, откровенно сказал:

— Не нравится. Вы, как школьница, хотите говорить умные вещи. И вы говорите их. Но знаете — они пахнут чем-то залежалым. Не в вашем духе, не в вашем стиле, не вашим языком.

Я на него обиделась. А сейчас, перечитывая, чувствую, как он прав. «Путешествие в Веймар» — точная книга, все в ней честно-аккуратно, стоит как стояло. И связано умными рассуждениями. Все так. Но... фламандская «мертвая натура». Правду, настоящую правду, не «умную», не от учености, а самую простую правду ощущения, какую чувствуют, должно быть, звери, когда кучей поднимаются бежать от наступления еще невидимого, еще далекого наводнения, урагана или пожара, правду собственных нервных центров в теле я почему-то в этой умной книжке не передала.

Много лет спустя, во время второй мировой войны, Отечественной, мы познакомились и сдружились в эвакуации с замечательной женщиной, Ольгой Дмитриевной Форш. Она была не только яркой писательницей, красноречивой рассказчицей, тонким рисовальщиком, но и мистиком, с бурным темпераментом мистика, на мистицизм которого сама смотрела критически, сквозь очки недоверия, порицания,

иногда утрашенности. Однажды вечером мы разговорились, и я ей передала свое странное «бесчувствие» во время путешествия в Веймар. Помню свои слова и ее ответы.

Мои слова:

— Знаете из Евангелия — Христос идет по воде. Это считают чудом, потому что этого не бывает в жизни, потому что человек не может идти по воде, он проваливается в воду. Но такое с людьми бывает, правда, по-другому, когда почва под ногами трясется, на каждом шагу опасность, смерть за плечами, страшные вещи — болезнь, удар, сумасшествие, молния, операция, словом, опасность рядом, и вы фактически в ней, но вы вдруг как будто в баллоне, в аквариуме, вы проходите сквозь нее, мимо нее, как будто перекочевав в четвертое измерение, словом — вы в безопасности. Полной безопасности. Это — как Христос прошел по воде.

Ее слова (но прежде об одной странице ее биографии, малоизвестной: в Париже она брала уроки у знаменитого в то время оккультиста Папюса. Она много мне рассказывала о нем, часто вырывалось у нее: «Что со мной этот проклятый Папюс сделал!» Вырывалось иронически, полусерьезно, хотя лицо ее при этом темнело). Так вот ее слова:

— Вы очень точно сказали «в баллоне». Папюс нас учил, что человек должен уметь защищаться. Но все эти японские джиу-джитсу и наши русские кулаки он презирал и над ними насмехался. Он обучал нас полному уходу сознания на высшую ступень, в недостижимую изоляцию. Туда, где вы будете как бы проплывать мимо действительности, или, верней, действительность, как панорама в балете «Спящая красавица», будет проплывать мимо вас. Ничто и никто не сможет до вас физически дотронуться.

Мои слова:

— Каким образом он учил этому?

Ее слова (она понизила голос почти до шепота, я приблизила ухо к ее губам):

— Вы ложитесь на кушетку, вытянув ноги, над вами горит электрическая лампочка, но надо простую, без абажура. В комнате, кроме вас, тигр-людоед. Папюс вам говорит: «Повторяйте за мной, повторяйте все время, говорите из горла, сильно, но не повышая голоса, неотступно глядя на лампу: я выхожу из себя, я выхожу из себя, я выпла из себя, я вышла из себя, я иду в лампу, я иду в лампу, я лампа, я лампа». Так он приказывал проделывать часами, много раз в сутки, просыпаясь ночью, утром, в полдень, в сумерки. Потом вы всё быстрее уходили из себя, входили в лампу. Тигр перестал чувствовать человеческий запах, он вставал, мимо вас шел к двери, выбирался из комнаты. Этот тигр, конечно, выдуманная точка, вроде выдуманной цели в тире. При любом тигре, любой опасности вы становились в нее, понимаете, в нее, вам уже ничто не угрожало.

Мои слова:

— Висела под потолком в лампе?

Ее слова:

— Да — в баллоне, на воде, в лампе. Были разные другие упражнения. Я говорю по опыту. Это очень вредно для здоровья. Многие нервно заболели у Папюса. Я ушла от него.

Мои слова:

— Может, это вроде гипноза?

Ее слова:

— Нет, это другое. Гипноз — через сон. Это через сознание, очень сильное обострение сознания...

Мне становилось страшно, когда я ее слушала. И всякий раз все

кончалось ее смехом над собой и надо мной, превращением в шутку. Мы в то время были очень дружны, очень откровенны друг с другом. Жизнь в Свердловске, где родилась моя внучка Леночка, особенно в первый год войны, была так заполнена — по Гесиоду — «трудами и дьями», что не до мистики было. Я работала пропагандистом и агитатором в «Правде», в Совинформбюро, писала во фронтовых газетах чуть ли не ежедневно выступала в цехах, на полевых станах, у шахтеров — дышала чудным, чистым воздухом рабочего труда, общенья с рабочими, — и Ольга Дмитриевна говорила мне иногда, принося нам на блюдечке, повязанном носовым платком, что-нибудь вкусное, изготовленное ее собственными руками:

— Можете не бояться, вас ничто не возьмет, вы ушли дальше Папюса, вы в баллоне здорового мышления, широкого здорового мышления, мирового «здорового смысла».

А на мой день рождения подарила мне свой стихотворный экспромт, который я бережно храню в своем архиве:

#### Мариэтте

В день рожденья, Мариэтта,  
Вам за то я бью поклон,  
Что дерзнула, как комета,  
Озарить литнебосклон.  
Своедравьем и талантом  
Каждый Ваш отмечен шаг,  
И в желанье быть Атлантом  
Вы упрямы, как ишак.

Ольга Форш.

Вот как далеко увели меня воспоминания — из Гейдельберга 1914-го в Свердловск 1942 года! Это было нужно, чтоб хотя приблизительно объяснить читателю, а попутно и себе самой, странное, как в баллоне, ощущение безопасности, с каким я прошла свои шесть месяцев по вулканической почве Европы, не испытывая ни на мгновение страха и ни на йоту подозрения, что реальная опасность для меня существует. За несколько дней до объявления войны спокойно и медленно, совсем не торопясь, хотя жизнь ветром кричала мне в уши: скорей, скорей!! — шла я себе и писала свои «натюрморты» с культурных объектов, а жизнь кричала разными голосами: хозяевами подозрительных трактиров, в которых приходилось ночевать: «Студентка, война будет!»; девушками франкфуртского «хоспица» (более комфортной ночевки): «У нас русские жили — вчера срочно выехали, опасаясь войны»; голосами прохожих: «Тут разных шпионов не перечить — русских, французов»; голосами газет: «Бдительность, бдительность!» За день до объявления войны я еще была в Веймаре, и хозяйка тамошнего «хоспица» для одиноких девушек-христианок с выражением ужаса на лице «посоветовала» мне убраться немедленно. И «убираясь» до отхода поезда в Гейдельберг, я успела еще побывать в «Гёте-Шиллеровском архиве»...

Как спокойно, с высоты своего психологического «вне» описаны у меня ночь на вокзале в Вюрцбурге, где пришлось ночевать на полу в зале третьего класса, битком набитого немецкими солдатами, и на даровщину вместе с ними пить и есть из рук белокурых хорошеньких девушек, разносивших «всем, всем, всем» глиняные чашки со сладким кофе и корзины с большими кусками хлеба. Меня принимали за итальянку, а в те дни все газеты обходило уверенное и восторженное восклицанье: «Italien thut ihr Pflicht!» — Италия выполнит свой долг... Италия молчала... а потом присоединилась к нашим союзникам. Я наблюдала в эти немецкие ночи из окон вагонов при бесчисленных



пересадках, как шпалерами стояли юноши и девушки справа и слева от железной колеи, по которой медленно, по-змеиному, с какой-то торжественностью проползал наш поезд, испуская зазывные свистки. Вагоны его были набиты мобилизованными. В тот день, когда после очередной пересадки поезд подъехал наконец к гейдельбергскому перрону, Германия объявила войну России.

Я жила уже не на дорогом чердаке с окном на крышу. По совету московского медика я перебралась к фрау Барт на Фаргассе, в дешевом центре города, недалеко от университета, в узкую, почти голую (кроме фотографий) комнату, где до меня жил русский студент, срочно выехавший домой. Все русские жильцы фрау Барт срочно выехали. Какой-то гнилой запах стоял в коридоре. Из открытых дверей видны были стены опустелых комнат с надорванными кое-где обоями.

— Мейн гот, мейн гот,— бестолково повторяла моя хозяйка.

С четой Барт я успела подружиться и даже водила их как-то в ресторан, чтоб угостить. Она была высокая, седая, сторбленая, с усами над губой и добрыми, мокрыми глазами. Он, ее муж, был маленький, веселый, в очках, которые часто снимал и вытирал, потому что от его постоянных шуток глаза его тоже мокрели. На первое я заказала в ресторане суп и хлеб (не всегда подававшийся без заказа). Суп они съели. Медленно, почти с благоговением, нагибая тарелки, до последних капель. Но второе — свиные котлеты с картофелем,— озираясь по сторонам и посылая мне виноватые улыбки, быстро упихнули в принесенные ими бумажные мешочки — на ужин, а может, на завтрашний обед. Я только тогда заметила, как бедны их лучшие платья, как огрубели от работы их руки и как — до жалости — они боятся самой жизни, ее завтрашнего дня, будущего...

Старики Барт встретили меня перепуганные. Заходили к ним из «полицей», осведомлялись о русских, «о вас».

— Я сказал,— Барт снял и протер мокрые очки,— что моя жилища очень верующая, говорила со мной много раз о боге и Христе. Знает Библию. Завтра они сами придут говорить с вами.

И на следующий день немецкая полиция отправила меня с сопроводительным документом в Баден-Баден. Прекрасный курорт, славный климатом, музыкой, природой, лечебными заведениями, был превращен в огромный лагерь для интернированных. Как сравнить обе атмосферы эти двух войн, начатых немцами? Выше я написала, как гибли наши солдатики, обворованные нашими интендантами. Еще выше — как немецкая молодежь стояла шпалерами... Но и пребывая в своем затуманенном «вне», я тогда четко видела, что экзальтированно, скорей искусственно вела себя женская половина немецкой молодежи — девушки. А солдаты, спавшие на полу в Вюрцбурге, казались мне озабоченными. Они были тихи. Один из них, уступивший мне лавку, как-то очень застенчиво, перед тем как лечь на полу, неожиданно спросил у меня: «Как вы думаете, бог за войну?» Я, помню, глупо ответила: «Не знаю»...

Нас расселили в Баден-Бадене по пансионатам с трехразовым питанием — русских застряло тогда в Германии, по слухам, около сорока тысяч,— и мы попросту жили себе, жили, ежедневно прописываясь в участках, три раза садясь за стол, гуляя в парке и слушая музыку. Еще до своего паломничества в Веймар я знала, что младшая наша тетя, тетя Саня, с двумя своими детьми и племянницей, прихватив с собой как учительницу для детей мою Лину, находится в Швейцарии. И рвалась из Бадена в Швейцарию. Но во время войны выехать русскому из Германии в Швейцарию было почти невозможно, хотя письма ходили. Из Бадена отчаянные письма мои — к Лине! к Лине! — опускались в почтовый ящик ежедневно. А Лина в это время... Чтоб получить пропуск

из Германии в Швейцарию, надо было быть швейцарцем или родственником, знакомым, поручителем, жившим в Швейцарии, должны были внести в швейцарский банк в виде залога пять тысяч марок. На тот случай, чтоб прибывающий не оказался бедняком и не лег обузой на швейцарское правительство. Пять тысяч марок на руках у тети Сани в те дни не было, а и были бы — она боялась внести их в банк «как залог», чтоб не остаться самой с четырьмя спутниками в положении «паупера».

И тогда Лина...

## VI

...и тогда Лина — спасла мое будущее. Без нее неизвестно, как и куда повернулось бы это будущее и осталась ли бы я вообще в живых, если б пришлось мне три года войны провести в баден-баденском лагере.

Тетя с семьей жила тогда в живописнейшем местечке Фитцнау на Фирвальдштетском озере Люцернского кантона. Чтоб переехать из Германии в Швейцарию, требовалось, как я уже сказала, внести в швейцарский банк пять тысяч марок. Их у тети в наличий не было. Но, кроме этого, нужно было получить в руки официальную бумагу на право въезда, что не всегда удавалось и тем, кто внес деньги. А уж без взноса о разрешении и мечтать было нечего. Швейцария, закованная в свои Альпы, высилась перед беглецами из военной Германии, как крепость за семью замками. Такова была ситуация.

В первый раз из Гейдельберга вместо «назначения» в Баден-Баден я попробовала было самостоятельно махнуть через границу, благо она очень близка была. Ехала безбоязненно, в состоянии «вне». Но на границе что-то вроде страха холодом прошло по моему позвоночнику. До границы ко мне в вагоне подсел подтянутый, в новом, с иголки мундире молодой немецкий офицер и стал вежливо расспрашивать, какой я национальности. Узнав, что армянка, он необыкновенно осведомленно заговорил о древности армянской культуры, об ее историках, о немце Гакстаузене, который записывал армянские сказки и легенды, и вдруг спросил:

— А какой главный город в Армении?

Я тогда ничего не знала ни о Гакстаузене, ни о губернском городишке Российской империи Эривани и смутилась; тщетно поискав в памяти, я нерешительно произнесла:

— Тифлис.

Офицер тотчас встал и, вежливо кивнув мне, вышел. А на границе в наш вагон вошел конвойный и повел меня, захватив мои чемоданы, в пограничный пост.

Этот пост располагался на горке, на вольном воздухе. Стояли стол и скамьи. Сидел толстый человек в расстегнутом на животе военном кителе. Уже без всякой вежливости, вперив в меня тусклые заплывшие глаза, он попросил («битте», пожалуйста!) дать ему ключи от чемоданов, очень ловко открыл их, очень ловко порылся, раздвигая «дамские принадлежности» — старое мое белье, приготовленные на зиму теплые юбки и вязаную кофточку, — пересмотрел тетради и книги, доты на них и с триумфом вытянул из-под всего этого мою слуховую трубку. Тогда еще не было слуховых аппаратов, дающих тугоухим возможность слышать и людей и музыку, но для делового общения у нас были в помощь так называемые генеральские трубки с воронкой на одном конце и с вкладышем в ухо на другом. Сама трубка делалась из какой-то твердой волосистой материи, и когда вы разговаривали с кем-нибудь, звук доносился до вас не хуже, чем по телефону.

Военный повертел мою трубку, спросил: «Для чего?» — и, получив мой ответ: «Чтоб лучше слышать собеседника», откашлялся и в трубку громко, с хрипотцой произнес:

— Так вы говорите, что вы глухая (taub)?

И в этом самом месте немецко-русского допроса меньше чем в секунду, кажется даже — без единого движенья времени, в сознание моем совершилось множество вещей: я увидела, что немец строит мне ловушку, что он при этом наивен и недалек. Я увидела, что выскочила из своего «вне», что вокруг война, острое положение, я у врагов на допросе; шпиономания, растрепанная девица, говорящая, что она армянка, и не знающая, какой главный город в Армении; помощи — ниоткуда, небо наверху пятнистое, небо старухи Хейдельберг, летящей с дымом и вихрем; обстановка пограничной таможни; забитые в тупик колеи рельсов, стоящие вагоны; чувство своего обнаженного со всех сторон бытия и собранное в комок внутреннее начеку — надо быть начеку, умней немца... Это все множество зрительных, душевных, умственных состояний, уместившееся в миллионной доле времени, нет — в отсутствие времени, вспыхнуло без всякой паузы после вопроса в моем ответе. Я возмущенно каким-то обиженно-женским глуповатым голосом вскрикнула:

— Вовсе нет — garnicht, garnicht! — совсем не глухая, только иногда, если тихо говорят...

Немец самодовольно улыбнулся. Он ждал, что я буду уверять его в своей глухоте, даже рецепты врачей из сумочки доставать, вот тогда — подозрительно, шпионка, их сейчас на каждом шагу... А это просто бабенка, вейбхен... И вместо ареста он благодушно подозвал конвойного и меня «согласно направлению» отправил в Баден-Баден.

Что думалось мне, когда я ехала назад, в Германию, от пограничной станции со Швейцарией? Странно, что весь эпизод и свои думы сейчас, спустя шестьдесят три года, я так ясно, словно вчера это было, помню. Конечно, я сказала немцу чистую правду — не глухая, лишь немного тугоуха. Но эту чистую правду я сказала немцу лживым образом, фальшиво, чтоб его обмануть. Что обмануть? Его самонадеянную ловушку. Ход конем. Есть по-русски особое слово как антипод правды — слово «кривда». Я сказала немцу свою правду кривдой... Откуда взялось это во мне? Почему люди не хотят видеть друг друга такими, как они есть, не хотят видеть простую правду, и тогда волея-неволей подаешь им кривую правду, театрально разыгрываешь ее, как это произошло на границе? Мне было стыдно. И мне стало страшно. Действительность превратилась в острие меча, по которому идешь, балансируя, спасая свою шкуру. И отсюда отчаянные письма к Лине из баден-баденского лагеря. А Лина...

16 августа 1914 года она встала ранним-рано, когда все вокруг еще спало. Вышла на прохладную спящую улицу. Небо, рассказала она позднее, было темное, как озеро, и отражалось в озере звездами. Прохожих не видать. Поезд в Люцерн почти пуст. Административный центр кантона был в Люцерне, и к нему, помимо обычных кантональных учреждений, с началом войны пристегнули еще одно название, ставшее главным: Militär und Polizei — военная власть и полиция; а во главе этого гибрида стоял Militär und Polizei Direktor — начальник, объединявший в себе военную и полицейскую власть. Лина приехала в еще спящий Люцерн. Но перед зданием, найденным ею по бесконечным вопросам и скитаниям в полутьме предутренних улиц, уже стояла большая очередь. Люди в очереди отнеслись к ней с участием. Сперва пустив в серединку, где стояли — старики — по полицейским делам, а потом, узнав, что дело у нее «военное», — совсем вперед. И научили подойти, когда придет Militär Direktor, прямо к нему без

боязни и, что бы он ни сказал, идти прямо за ним в его кабинет, а они один за другим пойдут за ней вслед.

Ждать пришлось долго. Рассвело. Засверкала у извилистых берегов вода красивейшего озера, носящего имя Четырех Кантонов. Получили свое цветное оперенье цветы на клумбах. Сошел с подъехавшей коляски пожилой человек в военном мундире. До сих пор Лина рассказывала подробно и с удовольствием со всеми мелочами и оттенками. А дальше она вдруг становилась малословна, и единственное объяснение, данное мне в первый день встречи, было: «Ну дождалась, поговорила как человек с человеком».

У нас в нашем новом мире не в ходу туманное идеалистическое словечко «энтеллехия». В толковом словаре Ушакова на букву «э» оно не значится как не вошедшее в русский язык. Но в те далекие времена, да еще у людей, причастных к философии, оно бытовало и под ним подразумевалась некая сила, точнее — синтез сил умственной, душевной, духовной, плюс данная индивидуальность и плюс еще что-то, что может влиять на состояние, импонировать, быть реальностью, с которой надо и можно считаться. Я употребляла это туманное словечко как обозначение личности. У Лины была простая человеческая личность. Ни при каких обстоятельствах она не теряла ее и не прятала, не маскировала. Вот эта честность прямоты, ничего кажущегося, все как есть было всегда присуще ей, и оно всегда влияло на тех, кто к ней подходил.

Нынешние парапсихологи, все те, кто занят открытием вещей, давным-давно знакомых по опыту огромному большинству простого и честного человечества, заинтересовались бы силой влияния (или воздействия, вызывающего ответную волну человеческой перестройки) Лининой энтеллехии на энтеллехию встречного человека. Ну что могла она рассказать? Она сразу вошла в кабинет этого «директора», пожилого, загруженного массой дел, усталого и невыспавшегося человека, со своим сообщением, что сестра ее сидит у немцев в баден-баденском лагере, а мы, ее родные, сидим тут, в Фитцнау, и ее не пускают без бумажки — Ausweis'a — с разрешением на въезд к ним.

— Деньги за нее внесли?

— Деньги у тети есть, она богатая, но не внесла и не внесет.

— Почему?

— Потому что нас пятеро, с сестрой будет шестеро, деньги нужны на руках. Через месяц уедем в Италию — нет никакой надобности вносить в банк.

— Но где гарантия, что не останетесь на иждивении у нашей республики?

— Да зачем же? Гарантия в самом факте, что все мы домой хотим. Тетя хочет посмотреть Италию, Грецию, детям показать, а потом мы домой вернемся.

— Кто вы такие по национальности?

— Русские.

Сестра сказала «русские», потому что всегда думала обо мне и себе как о русских, и вопрос о национальности просто не дошел до ее сознания.

— Кто ваши родители по происхождению, папа и мама (Papà und Mamà)?

Лина только тогда сообразила, о чем идет речь.

— Армяне.— И через полчаса вышла из кабинета «директора» с аусвейзом в руке.

Вот что я постепенно извлекла из нее.

— Мы с ним говорили попросту, как человек с человеком,— добавила она.

Ее чистая человеческая натура тотчас вызвала чистый человеческий отклик у военного. Они оба оказались в той атмосфере, где нет задних мыслей, скрытно выдвигаемых наперед, не доверяющих действительности, сразу вступающих с ней в дипломатические, тактические, стратегические отношения. Он наслушался, должно быть, множества таких просителей, намучился своими, тоже дипломатическими, тактическими, стратегическими, откликами на их просьбы. Ему было, должно быть, деловое (сразу к делу), прямое, короткое обращение просто облегчением, а переход к ясности и простоте — душевным отдыхом. Он от руки набросал документ, спасший мне мое будущее: «Девушка (фрейлейн) из России, Марианна Шагинянц (по паспортам у нас с Линой еще цеплялось за конец фамилии это старинное армянское «ц»), находящаяся сейчас в Баден-Бадене, имеет разрешение приехать к своим родственникам в люцернскую общину Фитцнау...» И снабдил его внушительной печатью.

Письмо Лины с этой бумагой пришло к баден-баденским властям 20 августа. Их разрешение на отъезд (Genehmigung zur Abreise) попало мне в руки 21 августа; и уже через другую границу, Зинген, а потом паровозиком по чудному, спокойному озеру я очутилась среди своих. Все те из соотечественников, с которыми я находилась в баден-баденском пансионе, и те, кого встретила в парке, возвращаясь из «бецирка» с разрешением в сумочке, восклицали о небывалом чуде:

— Немыслимо, фантастично — без уплаты пяти тысяч в банк! Не похоже на скупую Швейцарию! А мы с женой долбим, долбим, изворачиваемся и так и этак, у нас влиятельные знакомства в Женеве — и до сих пор ничего! Ни звука на множество заявлений!

Жившая у нас в пансионе сухопарая «дама из общества», вдова русского помещика (впоследствии, перекипев в творческом котле, она мелькнула в моем раннем советском романе «Приключения дамы из общества»), десятки раз перечитывая и разглядывая бумажку с разрешением на выезд и коротенькое, торопливое Линоно письмо, упрямо твердила мне:

— Поверьте, ваша сестра — наверное, она очень хорошенькая, красивей вас, — расплакалась перед ним, знаете — слезы по щекам, умоляющий взгляд. А может быть, попросту тетка внесла пять тысяч, а от вас скрыли, чтоб не расстраивать, ведь вам их потом отрабатывать придется...

Но я знала Лину и знала могучее нравственное воздействие ее интеллекта, сразу резко менявшее атмосферу начавшегося с ней общения. Мне тяжело было вспоминать свою собственную беседу с немцем в таможене, где я сразу же подчинилась его настрою, откликнулась в его ключе — грубоватой и глуповатой дипломатии. И поздней много думала о нашем людском, широко распространенном, почти всеобщем неумении говорить как человек с человеком, неумении, проникающем иногда и в книги, какие пишутся... Я думала о том, как скрасило бы, как выправило такое умение нашу человеческую жизнь и, может быть, уничтожило бы даже войну... Про себя я называла и называю это умение атмосферой шекспировской Корделии.

Пять первых месяцев войны, проведенных нами за границей, были хорошей школой для нас. Во-первых, за граница показала нам реальный облик многих «патриотов». Тетя наша была женщиной со средствами, впервые выехавшей за границу. Она останавливалась в хороших гостиницах, мы общались со многими российскими «именитыми» людьми — купцами, банкирами, вдовами генералов, высшим разрядом интеллигенции. Общий «табльдот», где медленно поедались за ленчами, диннерами и суперами по несколько блюд и запивались местными винами, разговор шел иногда о своевременном переводе своего со-

стояния таким-то в заграничный банк из России, об интуициях и предчувствиях, позволивших захватить с собой все свои брильянты, о таком-то и такой-то, не успевших этого сделать, о крахах и прибылях, грабеже интендантов, немецкой крови в царской семье, немцах-генералах в русской армии — и все это с неизменным высокопатриотичным лозунгом «войны до победного конца». Оттенки всего этого, носившие фасад патриотизма, были самые разные, даже активно противощарские, с критикой «своих людей у правительства», но на всю нашу семью это производило тогда тягчайшее впечатление, которым делились мы шепотом в запертых спальнях. И фасадный патриотизм сопровождался при этом уже не фасадным, а самым нутряным, хотя и тесно с фасадом связанным шовинизмом.

В Цюрихе, куда мы на месяц переехали из Фитцнау, я наняла крохотную, чистую и беленькую, как больничная палата, комнату в семье женщины-врача, только что родившей. Мужа ее я не видела. Врач жила со своей молодой сестрой, учившейся на поварских курсах. Квартирка была в хорошей горной части Цюриха, с фруктовым садом и цветочными клумбами. Обе женщины уходили из дому утром, возвращались к двум часам, а ребенок, розовый, пухлый, почти всегда спавший без просыпу, находился в саду в люльке-лодочке, на жестком матрасике, жесткой подушке, покрытый вязаным одеяльцем. Ему, кроме материнского молока, давали фруктовые соки, что наполняло меня ужасом — в Москве такая кормежка грудных считалась чуть ли не убийством. Охранял эту люльку большой престарелый сенбернар. Он сидел рядом со спящим младенцем, почти не вставая. Иногда чихал, отворачивая добрую бело-желтую морду в сторону, и потирал лапой правый слезящийся глаз. Я много раз хотела погладить его, но он начинал рычать.

Цюрихский период был тяжелым в личной моей жизни — это был прощальный месяц гётеанской дружбы моей с Эмилием Карловичем Метнером. Когда мы с тетей двинулись дальше, он, озлобленный, почувствовавший себя немцем, перешел в швейцарское подданство и умер вдали от России уже после Октябрьской революции. А нам предстояло удивительное путешествие. Но при всей остроте моей памяти на любые мелочи своего прошлого я почему-то не сохранила ни красок, ни контуров последовательно разворачивавшихся передо мною картин. Может быть, охоты не было бегать и смотреть все это. Сперва перевал из Швейцарии в Италию. Всю грандиозность его я пережила только недавно, лет шесть назад, когда поистине дух у меня захватило от гигантских масштабов горного хребта вокруг, змеиной колеи над безднами ущелий, по которой полз, извиваясь, поезд, и восторг, похожий на ужас, невольно вырывался восклицаниями от двойной невероятности — величия, чудовищной масштабности природы и гениальности человеческой инженерии, вступившей в борьбу с ней...

А вот что было тогда, шестьдесят три года назад, где мы ехали и как ехали — уже не помню. И от встречи с Италией, первой встречи, тоже ничего не помню. Ночь приезда в Венецию, вокзал, упирающийся в черные воды канала, от огня фонариков на гондолах (тогда еще были только гондолы, а не трамвайчики-электроходики!) черная вода змеилась почему-то зеленым, колыханье гондолы, причал к гостинице. И музей Флоренции, Сиены, Рима, аквариум Неаполя и почти на конце итальянского башмачка — грязный порт Бриндизи, маленький греческий пароход, куда темной ночью мы взбирались по веревочной лестнице, изумрудный Коринфский канал, Пирей, розовый, изъеденный микроорганизмами мрамор Парфенона, Балканы, Волочиск, родная русская земля, мать, открывшая еще темным январским утром дверь на наш с сестрой стук, заспанная, прямо из постели, в ее городе под

Ростовом, Нахичевани-на-Дону, все это было, было, как поется в песне — было и нет его, истаяло в памяти...

А вот о Цюрихе, «месте вечной боли моей от разлуки», как я тогда думала, пронеся свою боль через все итальяно-греческое путешествие, — о Цюрихе надо сказать еще много, потому что именно Цюрих стал местом зарождения во мне будущего нового человека.

Большое, четырехмесячное, плавное, как замедленная съемка, путешествие по лучшим историческим странам мира — открывавшаяся глазу панорама истории человечества больше чем трехтысячелетней давности в ее камнях, изваяниях, раскопанных из могил сокровищах — почти ничего не оставило мне для излюбленных философских формулировок и для исписанных «общих» тетрадок, а месяц в Цюрихе дал огромную пищу для размышлений и весь лежит в памяти, как гейневские строки из бессмертного стихотворения:

Она давно покинула город,  
А дом стоит там же, где прежде стоял...

Именно там, в Цюрихе, где зародились и вспыхнули во мне в давние времена новые мысли, которым предстояло развиваться в недалекие от них годы, уже на пороге своего девяностолетия, в 1977 году, я додумала наконец свою диссертацию и открыла для себя Якоба Фрошаммера (но об этом под самый конец книги).

Когда уходили мои цюрихские хозяева на работу, я засаживалась с утра за приведение в порядок гейдельбергских и баден-баденских блокнотиков. Не то чтоб имели они какое-нибудь отношение к Фрошаммеру. Наоборот, я забыла о нем. Объявление войны положило на время конец моей научной работе. Как бы ни кончилась война, кому понадобится после нее диссертация о неизвестном Фрошаммере? Да и был ли он способен тогда, в грозную минуту для человечества, захватившую весь мир, диктующую свои законы, свои действия миллионам втянутых в войну людей, заинтересовать меня самое? Оставалась профессия писателя, задача обработать хотя бы свои впечатления о культурных центрах Германии в самый канун войны, когда я пешком прошла по знаменитой Бергштрассе. И я, кроме всего прочего, чувствовала какое-то беспокойство за маленького грудного младенца, спавшего в саду в люльке, на попечении старого, с большим глазом сенбернара. Нет-нет да и оторвусь от блокнотов и посмотрю в окошко. А в два часа дня, когда приходили со службы хозяева и оживала квартира за стеной, ко мне заглядывала моя сестра.

Она уже знала Цюрих, как Москву. Наскоро пообедав с тетей — их ленч в гостинице происходил в час дня, — она вела меня обедать, всякий раз в новое место. Мы спускались с ней из горных, аристократических кварталов Цюриха вниз, к реке, делившей город на две части, в узкие шумные переулочки, к многочисленным безалкогольным «едалкам», как Лина любила говорить, под вывесками «Alkoholfrei». В эту пору осени, еще не сбросившей лета, городские переулочки Цюриха были крепко пропитаны особым, постоянным запахом вареной красной капусты. Мы едим красную капусту сырой, в салатах, ошпарив кипятком, сдабривая уксусом, чтоб покраснела как рак, и прибавляем сахарного песка для вкуса. Но в Цюрихе (как и в Германии, кажется, и до сих пор!) она варилась и как вареный гарнир подавалась обыкновенно в неприхотливых столовых с отварною говядиной или свиной. Крепкий запах вареной красной капусты связан у меня до сих пор со старым дешевым Цюрихом былых времен. Даже сегодняшней исковерканный западными фильмами, охваченный, как эпидемией, западной эротикой, наркоманией, бессмысленной тратой сил у молодежи на «все позволено», этот страшный и совсем не похо-

жий на прежний мирный и чистый, «учебный» Цюрих еще пахивает иногда осенью таким знакомым запахом... Лина вглядывалась в витрины, чтоб «подешевле и повкуснее», но тут же в витринах можно было прочесть разные плакаты, печатные и от руки, отвлекавшие внимание от еды. Плакаты русских политических эмигрантов.

— Хочешь, пойдем? — спросила Лина.

Дойдя сегодня (когда пишу) до этого очень важного места, я силюсь вспомнить эту витрину. На ней было сказано: доклад о войне члена думской фракции большевиков... прения... Нас охватило желание услышать, что говорят о войне наши и крайние левые... И лекция нашего докладчика о войне излагала совершенно новую, совершенно неожиданную, потрясшую нас, перевернувшую все наши старые представления точку зрения. Он говорил о необходимости поражения для России в этой войне, сослался на Ленина и назвал только эту, только такую точку зрения истинным патриотизмом. Неужели память моя тут дала осечку? Неужели не сам докладчик, а кто-нибудь из выступавших развил точку зрения пораженцев?

Я уже видела по немецким газетам во время паломничества в Веймар и по-своему остро пережила ренегатство немецких социал-демократов. Они сперва выступили в газете с великолепной прокламацией против войны, а через короткое время сдали все свои социалистические позиции перед прусским милитаризмом и вотировали кредиты на войну. Это всем честным людям показалось тогда подлостью.

Но как бы то ни было, на лекции в цюрихской «едалке» — именно на этой лекции — произошло мое первое знакомство с большевиками, с ослепительным, неожиданным светом их принципиальности, с четкой и ясной доказательностью их правды. Настоящей и убедительной правды. Мы прошмыгнули с Линой на эту лекцию, боясь, что не пропустят, сидели в уголку, только обмениваясь сияющими взглядами. Но нам хотелось самим заговорить, задать вопросы, нас обжигали собственные мысли, вихрем рождавшиеся в мозгу от того, что мы слышали. Ясный анализ действительности, реального положения вещей уже сам, на собственном «корню» рос и развивался в нашем сознании.

Что такое патриотизм, кричавший с каждой газетной страницы, из каждого встречного рта? Патриотизм — patria — страна отцов, отечество... А что встает для нас с Линой, для каждого человека, любящего родину, за этим словом «отечество»? Родная русская природа? Но разве есть она без приложения к ней сил человеческих? В самом густом лесу протоптана тропинка; в ясном небе — дымки из сел, контуры городов, куполы храмов; на речных полноводьях, в морских портах — корабли, корабли, баржи, лодки... Весь материальный мир, созданный трудом и гением народа, вся его материальная культура, все духовные ценности, его прошлое, лучшее в нем, его будущее, лучшее для него будущее, ради которого все мы живем и трудимся, дети свои и чужие, отцы, какими они отложились в нас, мать, начало любви к стране, к родному народу, к родному, выкованному веками языку нашей связи и нашей общности, — разве может быть патриотизм без любви к своему народу, источнику всего, что есть родина?

И вопрос — что же будет с народом, если мы сейчас, в этой войне, победим? Что принесет родине победа в этой войне?

Она принесет укрепление царского самодержавия, укрепление режима, какой стал ненавистным огромному большинству народа, несет в себе угнетение, беззаконие, массовый голод от неурожая, чудовищную эксплуатацию рабочих, воровство неслыханных масштабов, продажные суд, бюрократию, насилие над духом и совестью... все, что уже распалось, что осмеемо общественной кри-



тикой, заклеяно лучшими, передовыми людьми. Укрепление царизма еще на годы и годы ценою народной крови, сотен тысяч тружеников, оставляющих трупы свои на дорогах бессмысленной войны...

А поражение — что принесет оно? Расшатает гнилую систему самодержавия, может стать благом для народа, благом для его будущего — восстанием, революцией, очистительной бурей для создания нового, справедливого строя!

Не знаю, говорилось ли это именно такими словами, но смысл был не только ясен — он входил в сознание как великая и бесспорная истина. Это был первый урок ленинской диалектики. Позднее, вспоминая его, я поняла этот урок еще дальше и глубже, как первую главу учения Ленина о наличии двух культур. И он стал мне компасом на долгую трудовую жизнь — различать подлинный патриотизм от фасадной, фальшивой патриотичности; ленинское учение о наличии в прошлом двух культур — от сползания (или опасности сползания) в теорию «единого потока русской культуры». Для нас, людей творческого труда, это стало проверкой собственной творческой совести...

Но я опять перепрыгнула бог весть на сколько лет вперед, в будущее. А тогда, в тот цюрихский вечер, выходя на тихую спящую улицу вместе с шумной, спорящей толпой молодежи, я только и сказала Лине ее же собственными словами:

— Ну вот и поговорили как человек с человеком.

*(Окончание шестой части)*

Переделкино — Москва,  
ноябрь — 31 декабря 1977 года.



---

---

ОЛЕСЬ БЕНЮХ

★

## ДЖУН И МЕРВИН

Роман

*«Новая Зеландия — не страна, а скорее образ жизни» — так поучает своих юных воспитанников один из героев романа «Джун и Мервин», директор колледжа в Веллингтоне.*

*С образом жизни этой далекой страны, но не с тем, о котором говорит благонамеренно мыслящий директор, а с поглинным — жестоким, бесчеловечным, свойственным капиталистическому обществу, и знакомит нас роман «Джун и Мервин» советского журналиста, корреспондента АПН Олеся Бенюха, давно работающего в Новой Зеландии.*

### Часть первая

1

**Д**евочка присела на корточки и осторожно погладила щенка. Он перестал скулять, завилал обрубок хвоста, поднялся на задних лапах, натянув поводок. Девочка отдернула руку.

«И чего я боюсь? — тут же подумала она. — Он такой славный!..»

И еще раз, теперь уже смелее, погладила щенка. Он лизнул ей руку.

— Извините, мисс, это мой щенок!

Девочка обернулась. Перед ней стоял смуглый, черноволосый мальчик. Как и ей, ему было лет пятнадцать. Он взял щенка на руки, стал чесать его за ухом.

— Ну и что же, что твой? — обиженно спросила девочка. — Я и не думала его увести. Ему было скучно одному...

— Поиграй с ним, если хочешь! — Мальчик протянул ей щенка. — Гюйс любит, когда с ним играют...

Они медленно направились к главной выставочной площадке. Девочка вела щенка на поводке. За ними, впереди них и навстречу им шли люди с собаками разных пород, возрастов, мастей. Взрослые, видавшие виды псы, щедро увешанные медалями и жетонами, брели покорно, понуро. Молодые рвались из рук хозяев, обнюхивали друг друга, повизгивали, влзлаивали. Толкаясь и мешая друг другу, шли нервные доберманы и огромные глуповатые доги, злые таксы и добродушно-нахальные сеттеры, строгие немецкие овчарки, умнейшие лабрадоры-ретриверы. Был последний день ежегодной веллингтонской выставки собак.

— Меня зовут Мервин. А тебя как?

— Джун.

Некоторое время молчали.

— Он забавный, твой Гюйс! — Джун вдруг засмеялась. — Он кто — французский бульдог, да?

— Бостон-терьер, — с гордостью ответил Мервин. — Редчайшая порода!..

Он хотел было рассказать, что конечно же его отец не смог бы купить такую дорогую собаку (сто пятьдесят долларов — целая куча денег!) и что Гюйса они нашли на

берегу безымянной речушки, куда выбрались с отцом как-то в субботу на рыбалку. Щенок был, видимо, выбракованный, а утонуть по воле своих хозяев не захотел. И вот стал теперь таким молодцом!.. Но Мервин не знал, как девочка отнесется к его рассказу, и промолчал...

Было по-летнему жарко, как бывает жарко в Веллингтоне в феврале. Дул теплый северный ветер. Он гнал по голубому небу клочья облаков, трепал жесткие листья рослых, высотой с кокосовую пальму древовидных папоротников, срывал пену с океанских волн.

Недалеко от входа на площадку в двух-трех ларьках продавалось мороженое. Джун невольно замедлила шаг, глядя на ларьки, облизнула пересохшие губы. Мервин нащупал в кармане штанов несколько мелких монет, которые выпросил у отца на билет в кино, и с неожиданной для себя легкостью отказался от любимого развлечения.

— Пару двойных порций, пожалуйста.— Он сунул в руку мороженщика три шиллинга, чувствуя, как краснеют щеки, шея, уши. Ему казалось, что все вокруг — даже толстый мороженщик, смеются над ним: «Тоже ухажер нашелся!..»

«Ну и пусть!..» Красный, потный он подошел к Джун и протянул ей мороженое.

— Жарко,— только и сказал он.

— Жарко,— согласилась Джун.— Спасибо.

— Джу-у-ун!

Немолодая дама в очках беспокойно всматривалась в толпу на подступах к площадке.

Джун подхватила на руки Гюйса и бросилась бежать по одной из дорожек. Мервин едва успевал за ней. Наконец Джун остановилась. С трудом переводя дыхание лизнула мороженое.

— Кто она, эта женщина? — спросил тоже запыхавшийся Мервин.

— Мадемуазель Дюраль, моя гувернантка... Француженка, старая дева...

— Она хорошая?

— Ябеда. Шпионит за мной. Даже в колледже, у моих подружек, пытается выудить мои секреты. А потом доносит отцу.— На лице девочки появилась недобрая усмешка.

— Хуже нет, когда суют нос в твои дела,— согласился Мервин.

Глухо, зло зарычал Гюйс, совсем как взрослый пес. Джун и Мервин быстро оглянулись. Перед ними стояла мадемуазель Дюраль.

— Итак, Джун Томпсон,— тихо произнесла гувернантка,— я, по-вашему, шпионка и ябеда?

Девочка молчала.

— Почему вы молчите? Или вам стыдно за свои слова перед молодым человеком?

— Разве можно стыдиться правды? — Джун. произнесла эти слова громко и твердо.

«А она молодец, эта Джун»,— восхищенно подумал Мервин.

— Пожалуйста сейчас в машину. Дома сами объясните отцу свое недостойное поведение! — сказала мадемуазель Дюраль и, не удостоив Мервина взгляда, быстро пошла к выходу.

— Здорово ты ей ответила! — воскликнул Мервин.

— Здорово? Ничего особенного,— спокойно сказала Джун, направляясь вслед за гувернанткой.— Дома теперь будет очередная буря, с громом, молнией, ливнем. Гулять не пустят целую неделю...

— А если пустят, приходи к нам поиграть с Гюйсом,— негромко проговорил Мервин.— Мы живем на Фарм Роуд в Нортлэнде. Спросишь многоквартирный дом пожарников, тебе каждый покажет. Мой отец пожарник — шофером работает. Приходи! Я тебе марки свои покажу. И рыбок в аквариуме.

— Приду,— сказала Джун.— Если пустят, скоро приду. Я живу рядом — в Карри...

Она улыбнулась, помахала рукой. Большой черный лимузин бесшумно тронулся с места и через несколько мгновений исчез за поворотом.

Мервин долго стоял и смотрел на непрерывный поток машин. Гюйс сидел у его ног, стараясь привлечь внимание мальчика негромким повизгиванием. Но тот не обра-

щал на него никакого внимания. Незнакомое, странное чувство владело Мервином — тревожное и радостное. Ему казалось, что он парит высоко-высоко над островом. Уплывают вдаль среброглавые вулканы и дремучие папоротниковые рощи, каменные каньоны с бурными изумрудными потоками и угрюмые, пустынные фиорды. Древние военные тропы пересекают крутые склоны оранжевых гор, теряются в лиловых долинах, в красно-медных песках пустынь и вновь возникают на берегах сонных озер, чтобы снова исчезнуть возле горящих разноцветными кострами великанов-гейзерев... А где-то далеко, на горизонте по белой ленте широкого шоссе мчится большой черный джмузи...

## 2

— Мервин, тебя во дворе какая-то барышня спрашивает! — крикнул отец с порога. Повесив пиджак на гвоздь в углу крохотной прихожей, он направился в ванную сполоснуть руки и лицо перед ужином. Ухмыльнулся, пробормотал себе под нос: — Была бы жива мать, порадовалась бы. Сын-то жених уж совсем...

— Барышня? Придумаешь тоже, пап... Просто знакомая девочка... из соседней школы, — равнодушно ответил Мервин. А у самого радостно екнуло сердце: «Джун пришла!»

Он наспех причесался, быстренько надел новую рубашку, выскочил во двор. У подъезда стояла Джун в синих шортах, белоснежной блузке, с красной косынкой на шее. На поводке девочка держала длинноногого коричневого пса.

— Привет, Джун, — стараясь не выдать своей радости, сказал Мервин. И покосился на стайку мальчишек, сражавшихся в дальнем углу двора в регби.

Те как по команде прекратили игру и уставились на Джун. Две женщины, вышедшие во двор, чтобы развесить выстиранное белье, тоже во все глаза смотрели на Джун. Оторвал взгляд от мотора своего старенького «остина» пожилой мужчина.

— Добрый вечер, Мервин, — ответила девочка, несколько смущенная всеобщим вниманием.

Помолчали, не зная, как продолжить разговор: стесняло откровенное любопытство окружающих их людей.

— У меня теперь тоже есть щенок, — сказала наконец Джун и погладила голову собаки. — Ее зовут Ширин...

— Красивая морда — как человеческое лицо... Что это за порода? — спросил Мервин.

— Афганская овчарка...

Подбежал Гюйс и с ходу стал знакомиться с Ширин. Народу на дворе прибавилось, все глядели на Мервина и Джун.

— Пошли вниз, на спортивное поле, — предложила девочка. И, не дожидаясь ответа Мервина, крикнула: — Ширин, Гюйс, за мной!

Собаки с лаем кинулись вдогонку за ней. Следом за ними побежал Мервин.

— А подружка-то Мервина, видать, не из бедной семьи, — заметила одна из обитательниц дома пожарной команды, худая, бледная женщина.

— Какая может быть дружба между богатой пакеха<sup>1</sup> и бедным маори? — отозвалась другая, пышногрудая маорийка...

Спортивное поле лежало в котловине между двух холмов. Подростки с близлежащих улиц частенько до одури гоняли на нем мяч после школы. Футбольные команды городских колледжей под буйные крики болельщиков сражались здесь с командами английских, французских, шведских судов. По субботам и воскресеньям молодые матери и отцы совершали сюда вылазки со своим потомством.

Сейчас поле пустовало. Ширин помчалась вдоль его кромки. Гюйс не отставал.

— Твой Гюйс с характером. — Джун смотрела вслед собакам. — Не сдастся! Хотя из последних сил, но бежит рядом.

— Боец, — согласился Мервин.

— Ширин из Афганистана, из Кабула. Так папа сказал.

— У тебя все заграничное, да? — настороженно спросил Мервин.

<sup>1</sup> Пакеха — белый, белая (маори).

— Почему? — удивилась девочка.

— Собака из Афганистана, гувернантка из Франции...

— Ну и что? Ширин мне очень понравилась, и папа купил ее... А мадемуазель Дюраль — она просто несчастная женщина...

— Несчастливая? А про тебя небось прошлый раз наядбедничала?

— Наядбедничала, — подтвердила Джун. — Папа меня поругал немножко. А потом под большим секретом рассказал мне ее историю. — Джун испытующе взглянула на Мервина. — Никому. — Никому.

— У нее была, — Джун оглянулась, будто проверяя, не подслушивает ли кто, и шепотом сказала: — у нее была... трагическая любовь!

— Трагическая любовь? — также шепотом недоверчиво переспросил Мервин.

— Клянусь богом! Мадемуазель Дюраль любила одного юношу. Это было давно, нас с тобой и на свете не было. Она жила в Париже. А там были тогда немецкие нацисты. Она сама и человек, которого она любила, боролись с ними. Немцы его поймали. Долго пытали, а потом расстреляли. Мадемуазель Дюраль чуть с ума не сошла. Вот как она его любила!.. Когда война кончилась, она решила навсегда уехать из Франции. Так далеко, как только можно. А замуж не вышла, потому что до сих пор любит того юношу... Правда, несчастная?

Мервин молча кивнул.

— Папа сказал, что если она иногда и пожалуется ему на меня, так только желая мне добра, — негромко проговорила девочка. — Мне теперь очень жаль ее...

Подбежали собаки. Мервин сбросил рубашку, встал на четвереньки. Он грозно рычал, звонко лаял, собаки с визгом наскакивали на него. Джун, обессилев от смеха, повалилась на траву. Мервин, отогнав распалившихся собак, сел рядом с ней.

— А ты сильно загорел! — прерывисто дыша, сказала Джун.

— Это не загар, — после продолжительного молчания ответил Мервин. — Моя прабабка была маори...

Джун провела пальцем по плечу Мервина. Она легла на спину и несколько минут молча смотрела на проплывавшие над ними плотные, белые облака. Вдали облака темнели, превращались в серые тучи, которые тяжело нависали над горами. А еще дальше гор уже почти не было видно — их закрывала белесая кисея дождя. Потянуло прохладой. Мервин встал, надел рубашку.

— А твои дети тоже будут такие... смуглые? — спросила Джун.

— Разве я знаю? — не глядя на девочку, ответил Мервин. — Может, будут, а может, нет...

— Это красиво. И загорать не надо, — сказала Джун. — Жаль, что у меня кожа такая белая. И загар ко мне не пристаёт...

Мервин помолчал, потом сказал:

— Бабка моя, мать отца, рассказывала мне древнюю маорийскую легенду.. В ней говорится, почему у людей кожа разного цвета. Случилось это давным-давно. Так давно, что помнят об этом только Те Ра, Солнце, да Маунганун, Великая Гора. На благословенной земле Хаваики, родине предков, жили четыре могущественных племени. Мужчины охотились на зверей, ловили рыбу. Женщины растили детей и хранили тепло очага. Манговые и пальмовые рощи приносили обильные плоды. Арики Раху, вожди племен, оберегали мир и покой... Тебе интересно? Ну так слушай дальше...

Однажды бог ветров — Тавхири-матеа — принес издалека и обрушил на страну Хаваики черные тучи несчастья. Улетела птица, и ушел зверь из лесов. Из рек и океана исчезла рыба. Погибли плодоносные деревья... Богиня смерти, Хине-нуи-о-те-по, не падала ни старого, ни малого. Она лишила силы могучих и разума мудрых. И племя пошло войной на племя...

Добрый жрец — тохунга пытался разжалобить бога Атуа, верховного властителя Мира Жизни и Света. «О великий бог! — говорил он. — Не дай погибнуть детям добра и правды!» «О каком добре и какой правде ты говоришь? — гневно отвечал Атуа. — Первое же испытание превратило добро в ненависть и правду в ложь!» «Голод помутит их рассудок. Они не ведают, что творят, — говорил тохунга. — Не дай им умереть с голоду». «Слушай меня, — сказал Атуа, — если четыре стрелы одновременно поразят

олея, между стрелками неизбежна ссора. Я разделю сутки на четыре части и дам каждому племени его время: день, ночь, восход и закат». «А если кто-нибудь попытается завладеть временем другого?» — спросил тохунга. «Их тотчас обличат в нечестности! — отвечал Атуа. — Каждое племя получит свой цвет кожи — по времени суток: белый, черный, желтый и красный». Вот и разошлись по всей земле четыре племени из благословенной Хаваики... Но и по сей день великий Атуа присматривается к потомкам четырех древних племен. Присматривается и раздумывает: чего же все-таки в людях больше — добра и правды или зла и лжи?..

— Ты хорошо рассказываешь, — сказала Джун. — Я люблю легенды. И сказки люблю.. В них люди в конце концов почти всегда бывают счастливы. В жизни почему-то не так..

— Наверно, потому, что в жизни люди чего-то не умеют или не знают, — негромко ответил Мервин.

Джун встала. Ширин и Гюйс послушно ждали, когда им пристегнут поводки. Ветер усиливался. Он растрепал волосы Джун, едва не сорвал с шеи косынку.

— Твой автобус идет! — крикнул Мервин.

Они едва успели добежать до остановки, как начался дождь. Крупные, частые капли забарабанили по дощатому навесу у остановки.

— В субботу приду! — крикнула Джун, вскакивая в переднюю дверь подошедшего автобуса.

Ширин шмыгнула за хозяйкой. Сквозь частые нити дождя Мервин видел, как шофер раздраженно говорил о чем-то Джун. «Ругает за Ширин! Ничего, в такой ливень не выгонит...»

По улице уже мчались потоки мутной воды. Сверкнула близкая молния. Автобус помедлил, словно раздумывая, стоит ли продолжать путь. Наконец тихонько тронулся с места, убыстряя ход, пересек мост и вскоре исчез за выступом нависшей над дорогой скалы.

### 3

Дылда Ричард затянулся сигаретой и лихо выпустил дым через нос. Он был на год старше Мервина, но выглядел как двадцатилетний юноша.

— Теперь ты, — сказал он и сунул сигарету в рот Мервину. — Или боишься?

Мальчики стояли в темном углу мужской уборной колледжа. Уроки давно закончились. Было так тихо, что Мервин явственно слышал, как из крана умывальника капала вода.

— Вижу, что боишься. — Дылда презрительно сплюнул, выругался.

— Ничего я не боюсь! — воскликнул с негодованием Мервин, затянулся и закашлялся.

— Тише ты, — прошипел Дылда. — А еще говорил, что умеешь.

— Умел, — упрямо сказал Мервин, чувствуя, что краснеет. — Давно не курил..

— Может, ты еще и виски пил? — с издевкой продолжал Дылда. — Или, чего доброго, девчонкам под юбку лазил? А? Ну чего молчишь? Расскажи, как целуется твоя невеста из Карори? — Дылда хихикнул.

Это было уже слишком. Мервин изо всей силы ударил Дылду кулаком по лицу. Тот пошатнулся, побледнел.

— Ты... ты что? Из-за девчонки?! — бормотал Дылда, прикрывая окровавленный рот рукой и отступая к кабинкам.

Мервин молча обрушивал на него удар за ударом. А ведь в классе Дылда слыл первым силачом..

Вдруг чья-то рука цепко схватила Мервина за ухо и отлично поставленный баритон произнес нараспев:

— Мускульная разминка благородных интеллектуалов? Не так ли, джентльмены?

Директор колледжа, желчный, худощавый мужчина лет пятидесяти, насмешливо рассматривал мальчиков сквозь сильные стекла очков. За весьма субъективное трактование принципов Песталоцци мало кто в колледже звал директора иначе чем Инквизитор.

Мервин молча корчился — рука наставника продолжала выкручивать ухо. Дылда злорадствовал лишь несколько секунд. Другой рукой Инквизитор дотянулся и до него.

— Должен заметить вам, джентльмены,— ласково говорил директор по мере того, как он и его жертвы приближались к выходу из уборной,— нет на свете порока предосудительнее и греховнее, чем порок тайный.

Он сделал краткую передышку уже в коридоре. Однако пальцы его продолжали крепко держать уши мальчиков.

— Курение, пьянство, прелюбодеяние — три кита, на которых зиждется все зло мира. В нашем колледже любой росток зла будет удаляться с корнем. Но прежде надо познать, что зло есть зло!

Все трое вошли в кабинет Инквизитора. Он приказал мальчикам сесть на диван у окна и сам сел в свое кресло за столом. Минуты две-три Инквизитор перекладывал с места на место какие-то папки, тетради, бумаги. Наконец достал из ящика стола изящную коробку, открыл ее, протянул мальчикам:

— Берите. Настоящая «Гавана».

Дылда и Мервин ошеломленно вертели в руках длинные сигары. Мервину было и больно и стыдно. Угнетало ощущение унижительной беспомощности. Отчаянно горело ухо.

— Позвольте, джентльмены, помочь вам надрезать кончики сигар,— пел баритон Инквизитора.— Вот так. Превосходно. Теперь закуривайте.— Он поднес зажженную спичку сначала одному, потом другому мальчику. Мервин попытался было уклониться, но Инквизитор чуть менее ласково произнес: — Будьте мужчинами, джентльмены. Не заставляйте меня прибегать к вульгарному насилию. Та-ак. Теперь вдыхайте в себя ароматный дым. Та-ак. И еще раз...

Инквизитор снял очки, старательно протер их замшевой тряпочкой, водрузил на свой крупный, в красных прожилках нос и добродушно воскликнул:

— Пока вы упиваетесь сладостным дымом наркотика, я прочитаю вам в назидание отрывок из весьма любопытной книги британца Остина Митчелла «Жирный, сладкий, пьяный рай». Опус сей только что вышел в свет. Всегда прелюбопытно — каким тебя видят из другой страны. Тем более из такой близкой нам, как Англия. Итак, джентльмены, Новая Зеландия — глазами дотошного йоркширского остряка!

Инквизитор еще раз удостоверился в том, что мальчики старательно курят сигары, и начал читать вслух:

— «...Наконец, в распоряжении новозеландца — для отдыха от дел насущных — великолепное лоно природы. И этого лона у него, пожалуй, больше, чем у кого бы то ни было другого на всем белом свете. На каждого жителя приходится целая пляжная миля и восемнадцать песчаных мух... В Гонконге на одну милю шоссевых дорог приходится 243 автомобиля. В Новой Зеландии на каждые 243 ярда шоссе приходится одна само-движущая единица транспорта. Гор столько, что каждый активный скалолаз может иметь свою отдельную гору. Если в Великобритании плотность населения всего лишь 577 человек на квадратную милю, то здесь — их целых 27. Каждый год из одного лишь озера Таупо вылавливается 500 тонн форели, а 100 000 горных оленей нахально играют в прятки с одиноко встречающимися охотниками. Я не завидую войскам противника, который вознамерился бы осуществить вторжение на Новую Зеландию. Все население страны спокойно и просто исчезло бы в горах. И началась бы такая партизанская война, что в течение нескольких дней были бы уничтожены, ну, скажем, все 100 миллионов солдат китайской Красной Армии...»

Мервин с трудом воспринимал смысл слов, произносимых Инквизитором. Поташнивало. Сигарный дым слепил глаза. Сначала медленно, а потом все быстрее закружились слева направо Инквизитор, его стол, окно. Постепенно все слылось в огненный круг, который вращался с бешеной скоростью, рассыпая красные искры...

Очнулся Мервин, должно быть, скоро. Подперев щеку, ласково, с нескрываемым состраданием смотрел на него директор колледжа. Рядом сидел, широко расставив ноги, Дылда Ричард. На его подбородке, рубашке и брюках Мервин заметил какие-то пятна. Пахло рвотой.

— Джентльмены,— сказал Инквизитор, когда Мервин открыл глаза.— В заключение приведу слова только что прочитанного мною автора: «Новая Зеландия — это не

страна, а скорее образ жизни...» Что же касается нашего с вами табачного эксперимента, то следует всегда помнить: познание зла — благо. Но каждое познание дается нелегко — его следует переносить стоически... А теперь я задам вам всего лишь два вопроса — из области, которая близка и понятна каждому истинному патриоту нашей страны. И если вы правильно на них ответите, мне останется лишь пожелать вам приятно провести воскресенье. Ведь сегодня суббота, не так ли?.. Вопрос первый: сколько западных союзных войск участвует в священной битве против красных во Вьетнаме и сколько там наших соотечественников?

После некоторого раздумья Дылда Ричард поднял руку. Инквизитор благосклонно кивнул.

— Всего сто тысяч,— уверенно выпалил Дылда.— Наших — одна тысяча.

— Что ни слово, то ошибка,— сказал Инквизитор.— В вашем возрасте, вместо того чтобы пребывать в состоянии бездумного ребячества, не грешно было бы и самим взять в руки оружие для защиты идеалов демократии!

Некоторое время он молча внимательно разглядывал Мервина и Дылду. Потом сказал:

— Даю правильный ответ: американцев — более полутора миллиона, новозеландцев — более полутысячи. Наших соотечественников немного, но они умелы и отважны. Друзья их хвалят, враги ненавидят...

— Я на днях читал тут про одно подразделение, сэр,— восхищенно воскликнул Дылда.— Называется «Специальный авиаотряд». Работают парни — блеск. За голову каждого Вьетконг особую награду объявил!

Инквизитор с нескрываемым удивлением посмотрел на Дылду, словно говоря: «А ты, оказывается, иногда что-то читаешь сверх школьной программы!» Потом сказал:

— Вопрос второй: почему мы решили принять участие в этой далекой на первый взгляд для нас войне? Мервин...

— Как вы уже сказали, сэр,— для защиты идеалов демократии...

— Красные,— продолжал Инквизитор,— все эти коммунисты, социалисты, профсоюзные деятели и прочие — и без того уже орудут у нас в стране. Но с ними мы справимся. Главное в другом — не дать мировому коммунизму завоевать один континент за другим. Воистину вряд ли скажешь лучше, чем наш министр обороны Маккриди: «Я предпочитаю сражаться на рисовых полях Вьетнама, чем на наших кентерберийских равнинах».

Минуты две-три Инквизитор сидел молча, откинув голову назад, закрыв глаза. Но вот он посмотрел на Мервина и Дылду, потер виски, проговорил:

— Чтобы прочнее усвоить суть происходящего, вы сейчас напишете диктант. Вот ручки, бумага. Готовы? Текст — передовая статья из сегодняшней «Ивнинг геральд». — И начал медленно диктовать: — «...Они все отправились во Вьетнам добровольно. Именно этим обстоятельством можно объяснить, что наши войска сражались, сражаются и будут сражаться впредь с мужеством и отвагой на этом отвратительном во многих отношениях театре военных действий. Им есть чем гордиться. Не так давно сам генерал Крейтон, командующий американскими сухопутными силами в Южном Вьетнаме, направил им собственноручное послание, в котором благодарил за «службу с отличием».

По сравнению с могучими американскими армиями новозеландские экспедиционные силы могут показаться незначительными. Однако проигрыш в количественном отношении новозеландцы с лихвой компенсируют энтузиазмом и боевой выучкой...

Война не может не вызывать отвращения. Однако сколько будет жить на этой плавете человек, столько будут существовать солдаты и армии. Такова человеческая натура и ее неспособность сохранять мир. Новозеландцы во Вьетнаме могут быть удовлетворены тем, что они отлично справляются с незавидной работой. Все это не обходится без потери жизней и без увечий, и об этом должен помнить каждый новозеландец...» Поняли?

Инквизитор погладил ладонью газетный лист, задумчиво посмотрел в окно.

— Я не буду проверять ваши работы. Запомните то, что я вам только что диктовал.



Джун проснулась, открыла глаза. Сквозь неплотно задернутые шторы в спальню лились веселые солнечные лучи. «Проспала! Уже, наверное, полдень!» Села в постели. Стрелки маленького будильника на туалетном столике показывали половину восьмого.

«Еще пять минуточек! — Джун легла на спину, закрыла глаза. — Ведь сегодня у меня двойной праздник — и воскресенье и день рождения». Но сон не шел. Джун встала, подбежала к большому окну, задернула шторы. Сбросила на пол пижамную кофточку и штанишки. Заложив руки за голову, она подставила лицо и тело горячему солнцу. Было очень тихо. Лишь какая-то птица самозабвенно пела в саду за окном.

В дверь постучали. Джун хотела было нырнуть в постель, но передумала.

— Войдите! — крикнула она.

Вошла мадемуазель Дюраль.

— А если бы вошел мужчина? — с нескрываемым осуждением спросила она.

— Я знала наверное, что это вы. Или папа...

— Тебе сегодня исполняется шестнадцать лет. В этом возрасте девушки уже не показываются отцу в таком виде, — строго проговорила француженка. Она внимательно смотрела, как Джун поднимала с пола пижаму, доставала из стенового шкафа легкий домашний халатик. «Красива, — отметила про себя гувернантка. — И изящна. Чувствуется скрытая сила. Сила молодости... Жаль, что я не занималась, как она, в свое время каратэ. Не раз пригодилось бы в жизни». Вслух мадемуазель Дюраль сказала: — Желая, чтобы радость была твоим вечным спутником! — положила что-то, завернутое в сине-золотую подарочную бумагу, на туалетный столик и удалилась. Без единой улыбки. Без лишнего слова.

Когда дверь за ней закрылась, Джун повернулась к зеркалу. Поджав губы, нахмурив брови, она погрозила своему отражению пальцем и повторила трагическим шепотом:

— А если бы вошел мужчина?

И тут же вспомнила, что сегодня мадемуазель Дюраль впервые назвала ее девушкой.

Накинув халат, она развернула сверток с подарком француженки. И на мгновение даже зажмурилась от радости. На черной шелковой подкладке продолговатого футляра завораживающе мерцала нитка бело-розового жемчуга.

«Божественно красиво! Понравится ли жемчуг Мервину? — неожиданно для себя подумала Джун. — И папе, конечно», — поспешила добавить она.

Без одной минуты девять Джун сидела на своем месте за большим овальным столом. Несмотря на размеры, стол казался изящным, даже хрупким в огромной, залитой потоками солнечного света столовой. Вдоль стен тянулись серванты из черного дерева. За их стеклами празднично сверкал фамильный хрусталь. С трех старинных полотен сосредоточенно и угрюмо смотрели вожди маорийских племен. На прямоугольной тумбе стояли часы: кражистое дерево, в его дупле — циферблат, перед ним, на выдвинутом вперед диске — бескрылая птица киви. Раздался мелодичный, приглушенный бой — донг, донг, донг... В такт ему медленно и важно кланялась птица.

С последним поклоном птицы распахнулись двери в коридор, соединявший столовую с кабинетом. Стремительно вошел высокий мужчина лет пятидесяти, отец Джун, Седрик Томпсон. Широкоплечий, с гривой густых седых волос, он был одет с изящной небрежностью — она сказывалась в том, как был повязан галстук, как торчал из нагрудного кармана кончик платка, как свободно сидел на его владельце дорогой серый костюм.

Он подошел к француженке, сказал:

— Доброе утро, мадемуазель Дюраль, — едва коснувшись ее руки полными, яркими губами.

— Доброе утро, — сдержанно ответила та.

Потом он поднял Джун вместе со стулом, на котором она сидела, крепко поцеловал ее несколько раз в губы, в щеки, в нос. Она вспомнила, что так же тепло и ласково ее целовала каждый вечер перед сном мать, когда была жива. Глаза застлало пеленой слез.

— Вот ты и плачешь, доченька, что кончилось детство! — Отец по-своему объяснил ее слезы.

Поставив стул на место, он подошел к одному из окон и подозвал жестом Джун. Прямо против окна стоял темно-вишневый мотоцикл «судзуки». Выхлопная труба, руль, бачок ослепительно сверкали на солнце.

— Ой, папа! — задохнулась потрясенная Джун. Подпрыгнула, повисла на шее отца. Соскочив на пол, обернулась к гувернантке: — Можно, я прокачусь на нем? Ну самую чуточку?

— Разве что чуточку, — улыбнулась мадемуазель Дюраль.

— А завтрак? — нахмурился было отец.

— Если Джун десять—пятнадцать минут порадует, нам это только прибавит аппетита, — проговорила француженка.

Джун кинулась к двери в сад.

— Стоп! — крикнул отец. — Ключи! — Он бросил Джун кожаный футлярчик — девочка поймала его на лету. Вокруг нее волчком вертелась Ширин, нетерпеливо повизгивала.

Минута — и по центральной аллее сада как вихрь промчалась на мотоцикле Джун. Ширин безуспешно пыталась догнать ее. Отец Джун и гувернантка, стоя у широкого окна, следили за девочкой и щенком.

— Будь Джун постарше, подарил бы ей спортивный «мерседес», — она была бы еще счастливей, — сказал Седрик, явно довольный тем, как его дочь носилась по дорожкам сада.

— Ты полагаешь, что чем щедрее подарок, тем больше счастья? — с мягкой укоризной проговорила француженка.

— Ах, ну при чем это здесь? Ты лучше всех знаешь, Шарлотта, что я никогда не поклонялся ни деньгам, ни тому, что можно на них приобрести!..

— Знаю, Седрик, дорогой, знаю. За это и люблю тебя! — Она обняла его, быстро поцеловала.

Седрик попытался притянуть ее к себе.

— Сейчас войдет Джун, — француженка ласково оттолкнула его. — Подумай лучше, как ты будешь сегодня развлекать ее гостей. Надеюсь, ты не забыл, что на обед приглашено человек двадцать.

— Ну и пусть развлекаются как хотят! Без меня детям будет свободнее. У меня сегодня решающая встреча в гольф..

— Гольф придется отложить. Не следует забывать, что ты заменяешь девочке и мать и всех других родственников..

В комнату ворвалась радостная, возбужденная Джун.

— Папочка! — воскликнула она, подбегая к отцу. — Как прекрасно, как невыразимо прекрасно быть сильной и быстрой! Такой сильной и быстрой, что можешь обогнать ветер!

Седрик улыбался, думая о прерванном разговоре с Шарлоттой. Конечно, прелестная француженка и на этот раз была права!..

Мервин торопливо шагал по широкой садовой дорожке. В конце ее виднелся трехэтажный кирпичный особняк. «Как королевский замок! — Мальчик даже присвистнул от удивления. — И башни, и зубчатые стены, и подъемный мост через ров».

Слева, у самого моста, стоял могучий, в три обхвата, дуб. На нем высоко над землей висела грубо отесанная доска. Мервин остановился, задрал голову, долго разбирал выжженную на доске надпись:

«Здесь вершится скорый и правый суд. Если у тебя есть мешок с золотом, положи его под дерево добром. Не то сложишь голову. О золоте же не горюй. В твоих подвалах оно — прах. А пойдут оно на хлеб беднякам и твоей душе во спасение. Робин Гуд и лесные братья».

Ступив на мост, Мервин уже в который раз осмотрел свою одежду. Доволен остался лишь ботинками — он извел на них накануне вечером полбанки ваксы и они блестели как лакированные. Выходные черные брючки он выутюжил на славу. Но они были заметно потерты на коленях. А рукава вельветовой курточки так пообтрепались,

что Мервин вынужден был аккуратно завернуть их выше локтей. На мосту он остановился, посмотрел в темную воду. Изучение собственного отражения вконец расстроило мальчика. Он представил себе, как гости Джун будут шушукаться за его спиной. Повернулся, собираясь бежать назад, но дорогу ему преградил высокий рыцарь.

— Стой! Куда? — грозно крикнул он, подталкивая Мервина рукой в железной перчатке по направлению к замку. Это был самый настоящий рыцарь — в латах, в шлеме с забралом, со щитом. Тяжелый меч волочился по земле. Рыцарь выхватил его из ножен, завертел над головой.

— Ко мне, друзья! — гаркнул он.

Из замка тотчас выбежало несколько человек в маскарадных костюмах «вольных стрелков». Впереди всех бежала Джун, наряженная Робин Гудом.

— Здравствуй, брат! — приветствовала она Мервина. — Если ты честен и смел, иди к нам!

Она взяла мальчика за руку и потащила в дом. В одной из комнат первого этажа на столах и стульях были разбросаны куртки, камзолы, плащи.

— Выбирай, что хочешь, — сказала Джун.

Мервину понравился малиновый плащ. Он накинул его на плечи, подобрал подходящую по цвету шапочку и натянул ее на голову. Церемонно поклонился Джун.

— Теперь, брат Робин Гуд, я позволю себе поздравить тебя с днем рождения!

Он достал из кармана брюк коробочку, протянул ее девочке. Джун осторожно сняла крышку: на невысокой подставке красовалась женская головка в профиль, выточенная из морской раковины пауа и покрытая лаком.

— Это я? — спросила Джун. И, не дожидаясь ответа Мервина, добавила: — Конечно — я!.. Какой ты молодец! Только ты польстил мне...

Она спрятала коробочку в стеной шкаф, подошла к Мервину, обняла его за шею одной рукой.

Мервин покраснел. Почему-то вдруг пересохло в горле. Непроизвольно он прикоснулся горячими губами к щеке Джун. Она резко оттолкнула его.

— Ты... поцеловал меня? Как ты смел?

Джун выбежала из комнаты, а он долго стоял в одиночестве у окна и ругал себя: «Дурень, дурень... Теперь она не захочет со мной дружить. И отцу расскажет... Как это так получилось?..»

Мервин медленно вышел из дома в сад, не зная, что ему делать, как вести себя. И тут же его подхватил веселый хоровод, кружившийся по команде рыцаря то в одну, то в другую сторону вокруг большого костра. На вертеле, который рыцарь то и дело поворачивал, жарился целый баран.

Мервин не спускал глаз с Джун. Вскоре ему удалось поймать ее взгляд. Она улыбнулась ему, и он понял, что она не сердится на него — она его простила. Как стало ему легко и весело! И он с особым азартом выполнял все громогласные команды рыцаря.

— Кто он, этот весельчак? — спросил Мервин соседа слева и кивнул головой в сторону рыцаря. Сосед, его все называли Жади́на Вилли, в недоумении вытаращил на Мервина глаза.

— Не знаешь? — возмутился он. — Это же отец Джун! Сэр Седрик Томпсон!..

— Жаркое готово! — провозгласил рыцарь. — Друзья мои, бегом ко мне! Вепрь хо-рош только горячий! Наши предки знали толк в дичи!

Ловкими ударами большого острого кинжала он отсекал куски от зарумянившейся туши, насаживал на металлические штыри, раздавал гостям.

Появились бутылки яблочного сидра. То и дело раздавались хлопки — в воздух летели пробки. Визжали девочки. Краснея от удовольствия, улыбались мальчишки. Еще бы — впервые в жизни сами открывали бутылки, в которых искрилось почти настоящее вино! Когда у всех кубки были наполнены золотистой пенящейся влагой, рыцарь поднял свой кубок над головою.

— Выпьем это доброе вино, — сказал он, — за то, чтобы Джун еще много, много раз отмечала этот день. Чтобы у нее всегда было много славных и веселых друзей! — И он залпом осушил свой огромный кубок.

Веселье продолжалось. Но как-то незаметно подкрался дождь. Только что свети-

ло яркое солнце. И вдруг из невесть откуда набежавших туч хлынул ливень. Смех, крики. И громкий клич рыцаря:

— Вперед, веселые стрелки! Вперед — к душистым пирожным и ароматному кофе!

Гости разъехались в шестом часу. Последним ушел Мервин. Он и Джун молча брели по саду к выходу. Было светло, тепло, безветренно. И лишь мокрые трава и листья напоминали о пролившемся дожде. Ширин вертелась у них под ногами. Но они не замечали ее. Они шли, стараясь не смотреть друг на друга. Шли медленно, тихо, словно боялись расплескать переполнявшую их радость ожидания чего-то неизвестного и прекрасного, принадлежавшего только им двоим.

Они долго стояли возле большого дуба, не решаясь сказать слово, сделать какое-нибудь движение. Но вот Мервин поднял голову и встретился глазами с Джун. Она бережно, мягко взяла его лицо в теплые ладони, на секунду приникла губами к его губам. Повернулась, бросилась бежать в глубь сада.

## 5

В год рождения дочери Томпсон изменил название своей ведущей компании. Вопреки всем традициям делового мира она стала именоваться «Джун и Седрик Томпсон лимитед».

— Ох уж этот наш Ротшильд Южных морей! — неодобрительно восклицали при встречах завсегдатаи влиятельных деловых клубов. — Эксцентрик!..

Седрик Томпсон снисходительно улыбался: «Что в имени?» Дивиденды компания выплачивала регулярно — и немалые.

Прошло лишь два года после возвращения Седрика из длительной деловой поездки в Соединенные Штаты. Штаб-квартира «Джун и Седрик Томпсон лимитед» переехала в двадцатипятиэтажный небоскреб. Он был построен по проекту американских архитекторов в самом сердце Веллингтона — между Виллис-стрит и Террас.

В половине девятого утра черный «роллс-ройс» президента компании останавливался у просторного подъезда небоскреба. Неизменно бодрый, подтянутый Седрик взбежал по широкому ступеням лестницы: кабинет его находился на третьем этаже. Электронное устройство приветливо распахивало перед ним стеклянные прямоугольные двери. Высокий вестибюль встречал веселым журчанием двух фонтанов. Без устали сновали скоростные лифты.

И в этот день он поднялся как обычно по лестнице — быстрым шагом, через ступеньку — и прошел к себе через одну из двух дверей, скрытых в стене. Словно угадав появление босса, заведующий канцелярией приветствовал его по внутреннему видеофону:

— Доброе утро, сэр!

— Доброе утро, Роджер. Что-нибудь срочное?

— Через семь с половиной минут, сэр, у вас встреча с директорами автосборочного концерна. Они уже ждут в овальной приемной.

— Да-да. — Седрик рассеянно скользнул взглядом по своему настольному табель-календарю. В нем с точностью до минуты были расписаны все его рабочие дни на три месяца вперед.

Подошел к окну. Между домами виднелись часть набережной, портные причалы. Два «иностранца», японец и швед, стояли под погрузкой. По набережной непрерывным потоком мчались автомобили разных цветов и марок.

Седрик любил Веллингтон. Он вспомнил, как один из его зарубежных партнеров, лондонский банкир Лэнгли, назвал пролив Кука «новозеландской аэродинамической трубой». Заокеанские гости с завистью вздыхали: «Вот это столица — ни тебе проблемы вывоза мусора, ни смога, ни транспортных пробок. Райский метрополис!» Увы, это было не совсем так. И, к сожалению, вскоре будет совсем не так. Разумеется, постоянные ветры были надежными и бесплатными санитарами города. Но по мере его роста увеличивались и скопления таких отходов и отбросов, которые неподвластны никаким ветрам: автомобильные кладбища, свалки отслуживших металлоконструкций, отбракованные строителями бетонные балки и железные рамы. Частенько в парках, на набережных, даже на центральных улицах пивные бутылки, банки из-под соков, пласти-

ковые коробки от мороженого и «Кентакки фрайд чикен» валялись рядом с металлическими ящиками для мусора с надписью «Храните Новую Зеландию в чистоте»... Седрик вспомнил горделивое заявление премьера о том, что на три миллиона человек здесь приходится миллион автомобилей. «В один прекрасный день все жители страны смогут сесть в машины и отправиться в вояж!» Все это так, конечно. Но улицы города были старыми узкими конными тропами. В часы пик уходило полчаса на то, чтобы добраться в гоночном «феррари» от Кортни Плейс до Газни-стрит. И смог, родной брат лос-анджелесского и токийского убийц, правда пока лишь временами и ненадолго повисал над Веллингтоном...

Седрик отошел от окна, сел за стол. Вновь раздался осторожный голос Роджера:

— Сэр...

— Пригласите директоров сюда. Я что-то неважно себя чувствую.

Вчера вечером, после того как разошлись гости Джун, Седрик поехал к своему старинному приятелю художнику Дэнису О'Брайену. Дэнис жил в небольшой двухэтажной вилле в Лоуэр Хатте. «Я художник,— говорил он о себе.— И как всякий истинный служитель искусства — холостяк. Искусство требует всех твоих жизненных сил. Тратить их еще на кого-то — значит обкрадывать и себя и искусство. О, если бы все гении мира были холостяками! Сколько бы еще шедевров они подарили людям!»

В тот вечер Дэнис снова вернулся к своей излюбленной теме.

— Вот я — холостяк,— говорил он.— А ты был женат. И что, скажи, много ли ты счастливее меня?

— Но ведь я не художник! — пытался отшутиться Седрик.

— Художник не только тот, кто творит. Кто умеет ценить искусство, не в меньшей мере художник. Так что же? — требовал ответа на свой вопрос Дэнис.

— У меня есть Джун,— тихо сказал Седрик и обнял друга.

Он знал, что Дэнис несколько лет жил с молодой талантливой поэтессой. Родился сын, желанный и любимый. Однажды, когда Дэнис вернулся домой из трехдневной поездки с выставкой своих картин, он не нашел ни жены, ни сына. К мольберту была приколотая записка: «Мой хрупкий импрессионизм трудно совместим с твоим оптимистическим реализмом. Уезжаю вместе с Грегори. Думаю, так будет лучше и для сына, и для тебя, и для меня. Патриция». С тех пор за двадцать четыре года он не получил от нее ни единой строчки.

Художник с трогательной нежностью относился к Джун. Учил ее рисованию, уходил с ней на яхте в океан. Не мог лишь одного — бывать на днях ее рождения, видеть веселых, шаловливых, непоседливых детей. Он неизбежно находил среди них одного, который напоминал ему его Грегори... Обычно утром он отсылал ей вместе с корзиной роз одну из своих картин. Вечером Седрик подробно рассказывал ему о событиях минувшего дня. Так было и в этот вечер.

— Так что же он все-таки из себя представляет, этот Мервин, о котором ты столько говоришь? — допытывался Дэнис.

— Я же сказал тебе, настырный ты старик,— досадливо морщился Седрик.— Мальчик как мальчик. Только вроде бы чуть красивее, чуть серьезнее и чуть скромнее, чем многие из его сверстников.

— Это хорошо. Клянусь богом, это очень хорошо! — воскликнул Дэнис.— Именно это самое «чуть» сплошь и рядом решает все. Чуть темнее — и сумерки превращаются в ночь, а чуть светлее — в день. Это самое «чуть» и отличает Моцарта от Сальери и Бернарда Шоу от Ионеско. Но и чтобы ошибиться, достаточно этого «чуть»...

— Думаю, что Мервин — мальчик честный и добрый,— задумчиво произнес Седрик.

— И все же есть какое-то «но» в твоих словах,— не унимался Дэнис.

— Это тебе только кажется! — отвечал, улыбаясь, Седрик. И тут же подумал: «Какая же я, правду сказать, скотина! Не только другу своему, но и себе самому боюсь признаться, что мне не по душе бронзовый оттенок кожи этого мальчишки. Не признаю расизма и все-таки чувствую гаденькую, трусливую неприязнь к «цветному» — и ничего не могу с собой поделать!»

Они долго еще говорили о Джун.

— Кстати, как она ладит с мадемуазель Дюраль? — спросил Дэнис.

— Ладит,— нехотя ответил Седрик.

Завонил едва слышно телефон. Дэнис вышел из гостиной в холл. Почти тотчас же раздался его голос:

— О! Стоило вспомнить о ней, и она тут как тут! Иди, Седрик, тебя спрашивает не кто иной, как мадемуазель Дюраль.

Седрик взял трубку:

— Я слушаю.

— Седрик! — Интонация, с которой было произнесено его имя, заставила его вздрогнуть. — Немедленно приезжайте домой. Джун...

— Что, что с ней? — вырвалось у него громче, чем он хотел бы.

— Ей очень плохо. Температура семьдесят шесть.

— Немедленно вызовите врача. Я выезжаю.

— Что случилось? — заволновался Дэнис, когда встревоженный Седрик вернулся в гостиную.

— Что-то стряслось с Джун...

Через несколько минут он и Дэнис мчались к городу в «роллс-ройсе».

Седрик обожал Джун. Одна мысль о том, что ей может быть неудобно, неприятно, а тем более плохо и больно, доставляла ему почти физическое страдание. Сидя в машине, он вспомнил мать Джун, умершую лет десять назад. Она обладала врожденным даром щедрой доброты и ласки к людям. А ведь Джун частенько недоставало именно материнской ласки и доброты.

Когда они с Дэнисом поднялись на второй этаж и вошли в ее спальню, там уже собрался консилиум. Врачи стояли в дальнем углу комнаты и тихо переговаривались. К Седрику подошла мадемуазель Дюраль.

— По просьбе доктора Трентона,— сказала она,— я пригласила двух его коллег из городского госпиталя.

— Что с девочкой?

— Врачи подозревают вирусное заболевание крови...

Дэнис сделал было шаг к постели Джун, но француженка взяла его за локоть.

— К ней сейчас нельзя, мистер О'Брайен. Джун бредит, никого не узнает. Врачи предписывают абсолютный покой.

Она взглянула на растерянных, подавленных Седрика и Дэниса, затем перевела взгляд на дверь. Мужчины молча вышли из комнаты...

Так было вчера. А сегодня он сидел в своем офисе. Директора автосборочного концерна, все трое в меру высокие, в меру полные, в меру пожилые и уважаемые, находились в его кабинете уже второй час. Они шутили, смеялись, негодовали, просили, жаловались, ругались, торговались — делали бизнес. До сознания Седрика то и дело долетали обрывки фраз:

— Фирма обанкротилась... смерч инфляции... профсоюзы... забастовка... убытки... кредит... проценты... взаимовыручка... держатели акций... благодарность...

Седрик слушал, через силу улыбался, поддакивал, кивал головой. И думал о своем. О Джун...

Он извинился перед директорами и отказался от намеченного ранее ленча с ними. Они не обиделись. Напротив — ушли весьма довольные тем, что удалось сравнительно легко добиться его твердой поддержки. Еще бы! Ведь речь шла о почти беспроцентном кредите на огромную — по масштабам их предприятия — сумму. Правда, они не получили письменного подтверждения позиции Томпсона. Но в деловых кругах Веллингтона было известно — его слово стоит всех документов.

Седрик сидел один в своем кабинете за просторным письменным столом, подперев голову руками. Утром он выпил лишь чашку пустого чая, но есть ему совершенно не хотелось. Так он сидел долго — может быть полчаса, может быть час. Он даже задремал, и ему привиделось, что он, пяти-шестилетний мальчуган, едет с отцом ловить рыбу на озеро Ротоайра. Раннее, зябкое утро они встречают в лодке. Белесый туман медленно поднимается над водой. Ни звука, ни шороха — лишь жиденько тарахтит подвесной моторчик. Отец забрасывает особую — самодельную! — блесну и помогает сыну наладить его маленький спиннинг. Теперь мотор выключен. Лодка дрейфует. Туман растопило солнце. Угрюмые, желто-оранжевые горы сурово глядят в воды Ротоайры. Рыба

клюет сразу на оба спиннинга. И какая рыба! Седрик, потный, возбужденный, неотрывно смотрит на свою форель. Вот это рыба! Фунтов пятнадцать, не меньше. Он лихо-радочно крутит рукоятку спиннинга. Рывок... О ужас! Так и есть — его форель ушла. Он слышит отчаянный крик отца: «Прыгай за ней, лови ее...»

Седрик вздрогнул, открыл глаза, потянулся. С экрана видеофона на него настороженно смотрел Роджер.

— Мне звонили из дома? — нажав кнопку, спросил Седрик.

— Нет, сэр.

— Что там у вас еще?

— Извините, сэр. — Роджер впервые видел босса таким усталым, раздраженным. — У вас еще три деловых встречи: две с бизнесменами и последняя с секретарем министерства внешней торговли. В шесть часов у вас беседа с представителями Федерации труда. В восемь вы открываете выставку современной живописи в художественной галерее Лоуэр Хатта...

— Слушайте меня внимательно, Роджер. Сейчас я уеду домой и проведу там остаток дня. Где я, кто бы ни спрашивал, вы не знаете. Обзвоните всех, кому назначены встречи. Извинитесь и установите новые сроки. Выставку картин пусть откроет первый вице-президент.

— Да, сэр.

По дороге домой в машине Седрика не покидала мысль о том, как, в общем, несовершенен и несправедливо устроен этот мир. Его предки были одними из первых английских переселенцев в Страну Белого Длинного Облака, Аотеароа. Прадед по материнской линии, Ирвин, был сержантом королевской армии и не раз отличался в маорийских войнах. О прадеде со стороны отца Роберте скупая семейная молва глухо сообщала, что он был беглый каторжанин. В отличие от многих новозеландцев в семье Томпсонов никогда не говорили об Англии как о бывшей и далекой, но все же родине. При всяком удобном случае со сдержанной гордостью замечали: «Мы — новозеландцы с головы до пят». Единственным документом, которым Седрик дорожил и который всегда имел при себе, был членский билет Общества первооснователей. Запись в нем свидетельствовала: «Представители семьи Томпсон действительно прибыли в Новую Зеландию в 1839 году на борту брита „Тори“». Отец Седрика имел небольшую ферму в окрестностях Крайстчерча. Хозяйство было бедное. Семья едва сводила концы с концами. Отец погиб весной 1915 года при высадке австралийско-новозеландского десанта в Галлиполи. Мать продала за гроши ферму и переехала с сыном в город. То ли жизнь была тяжела, то ли тоска по любимому мужу подточила ее здоровье — молодая вдова истаяла быстро, тихо. У Седрика не осталось даже дальних родственников. Он попал в сиротский приют монахинь-бенедиктинок. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, если бы его в том же году не усыновила Джудит Фарлоу, богатая старая дева, дочь владельца ювелирных магазинов. Она привязалась к мальчику, как к сыну. Седрик успешно окончил лучший в Крайстчерче колледж, и Джудит увезла его в Оксфорд, где и прожила все годы, пока он учился. Когда они вернулись на родину, Седрик открыл адвокатскую контору. Надпись на медной доске, которой была украшена входная дверь, гласила: «Юридическая контора. Седрик Томпсон и компания». Джудит настояла на том, чтобы ее приемный сын сохранил фамилию своего отца. «Ты можешь гордиться твоими родными, мой мальчик, — сказала она. — Ты и сам это поймешь, когда прочитаешь их бумаги, письма. После моей смерти...» Известие о ее кончине застало Седрика в Италии. Шел 1944 год. Лейтенант С. Томпсон в доблестных рядах Новозеландской бригады сражался против нацистов и фашистов — за Италию без Муссолини и Германию без Гитлера. В песках Сахары, на холмах Сицилии, в долине По дрался он за крайстчерчский собор, за памятник Бернсу в Данидине, за сверкающие снега горы Эгмонд, за золотые восходы Бухты изобилия и лунное серебро пляжей Окленда. Он молча выпил в тот вечер бутылку дрянного итальянского коньяка. И беззвучно плакал, не стесняясь слез, — с ним был лишь лейтенант Дэнис О'Брайен, человек, вместе с которым Седрик дважды тонул в Средиземном море и трижды истекал кровью от вражеских пуль на африканской и европейской земле.

«Империя Томпсона» была создана в начале пятидесятых годов. Седрик вложил все состояние, которое оставила ему Джудит Фарлоу, в довольно рискованное пред-

приятие. Он привык рисковать за пять с половиной лет войны — рисковать своей жизнью во имя идеалов. Так почему же не рискнуть деньгами, к которым он всегда испытывал презрение, скорее всего потому, что никогда в них по-настоящему не нуждался. Выигрыш был баснословен, коммерческий успех — подобен лавине. Вчерашние грозные конкуренты становились младшими партнерами. Каждая вложенная денежная единица удваивалась, утраивалась, удесятерилась.

Седрик встретил девушку по имени Беверли. Чем-то неуловимым она напомнила ему почти забытую мать. Когда он узнал ее лучше, он увидел в ней сходство с Джудит. Только позднее он понял, что духовно объединяло этих трех женщин: врожденные искренность, доброта, нежность.

Сейчас в его воспоминаниях потери близких ему людей выстроились в трагический фатальный ряд. И ему казалось, что в своей неумолимой жестокости судьба несправедлива к нему, Седрику Томпсону. Ведь сейчас она замахнулась на самое дорогое, что у него было, — на его Джун...

Автомобиль неслышно подкатил к подъезду. Шофер обежал вокруг машины, распахнул дверцу. Выйдя на садовую дорожку, Седрик увидел Мервина. Мальчик сидел на краешке ближней к дому скамейки. Когда Седрик поравнялся с ним, Мервин вскочил и запинаясь проговорил:

— Добрый день, сэр... Извините, сэр... Я жду здесь... узнать про Джун.

— Здравствуй, Мервин, — ответил Седрик. Чувство теплой благодарности к мальчику наполнило его сердце. — Пойдем в дом, выясним, как у нее дела...

Седрик распахнул дверь, пропустил Мервина вперед. В доме пахло лекарствами. Стояла больничная тишина. Седрик и Мервин пересекли гостиную и в нерешительности остановились у лестницы, которая вела на второй этаж. Где-то там, наверху, открылась дверь. Мервин со страхом посмотрел на Седрика: неужели это врач идет сообщить ужасную весть? Седрик мягко положил большую ладонь на голову мальчика, желая успокоить его, хотя сам испытывал не меньшее волнение.

По лестнице быстро спустилась мадемуазель Дюраль. Уже стоя рядом с Мервином и Томпсоном, она вдруг покачнулась. Седрик кинулся к ней, помог дойти до дивана, бережно усадил, пододвинул подушки.

— Вам плохо?

— Пустяки...

— Что с девочкой?

Мадемуазель Дюраль помолчала, словно собиралась с силами, затем сказала:

— Утром, через час после того, как вы уехали, Седрик, врачи предписали ей немедленное переливание крови. Иначе...

— Но ведь у Джун редчайшая группа! — в страхе перебил ее Седрик. Мервин обеими руками вцепился в рукав его пиджака.

— Не такая уж редкая... У меня оказалась та же группа, — мадемуазель Дюраль еле заметно улыбнулась. — Худшее позади, Седрик.

Она устало закрыла глаза, а когда открыла, увидела Седрика, склонившегося над ней. Мервин тихо плакал, отвернувшись к стене.

## 6

Над Веллингтоном промчался свирепый «южак». Легкий вздох Антарктиды прокатился волной холодного воздуха от Блафа до мыса Рейнга. Температура упала до плюс семи градусов Цельсия. Это было необычно даже для самого разгара зимы. Горожане кутались в пальто и плащи, недобрым словом поминали шестой континент. Старики интересовались: не придрейфовали ли к берегам островов бродячие айсберги? Ведь раньше бывало и такое. Всякое бывало. Не бывало лишь одного — чтобы муниципальные власти столицы на многие часы лишали добросовестных налогоплательщиков тепла и света. Холодели электрокамины и уютги, немели радиоприемники, гасли экраны телевизоров. Чем убедительнее вещали о мировом энергетическом кризисе министры, тем ворчливее и злее становились обыватели. По счастью, на этот раз холода стояли всего лишь три дня. Потом отпустило. Установилась умеренно теплая, солнечная погода.

Джун полулежала в постели. В окно ей была видна главная аллея сада, и она



часами следила за игрой света и тени в кронах могучих каури. Дремотно раскачивались пальмы-папоротники.

Сквозь широко распахнутое окно потянул ветерок. И Джун почувствовала вдруг, как ее захлестывает невидимый поток свежести и бодрости, впервые после болезни. К самому окну подлетела неутомимая рирориро. Секунду-другую маленькая зеленовато-коричневая птичка словно висела в воздухе. Джун казалось — протяни она руку и крылатая гостья опустится на ее ладонь. Откуда-то, из листвы кустов за окном, послышалась призывная мелодичная трель. Некоторое время Джун наблюдала, как две пичужки перелетали с ветки на ветку, потом закружились над лужайкой. И почти сразу же высоко в небе появился ястреб — каху. То ли он был сыт, то ли счел ниже своего достоинства охотиться за этой мелюзгой, но только он лениво сделал круг над садом и так же внезапно растаял в синеве, как и появился. Однако одного вида хищника было достаточно, чтобы осторожные рирориро мгновенно исчезли.

Джун вздохнула, взяла со стула книжку. Но хотя это был ее любимый «Овод», читать ей не захотелось. Она уронила книгу на одеяло, снова посмотрела в окно и стала искать глазами Ширин. Собаки нигде не было видно. Джун тихонько свистнула — ей не хотелось привлекать внимание мадемуазель Дюраль, которая сердилась, если Ширин проникла в комнату больной. На призыв Джун никто не откликнулся. Но на лужайке перед домом неожиданно появился Мервин, а с ним Ширин и Гюйс.

Мервин приветствовал Джун, помахав рукой, и, подойдя ближе к окну, вполголоса спросил:

— К тебе можно?

Джун кивнула, поднеся указательный палец к губам. Жестом показала: через черный ход. Похоже, и собаки поняли — надо прощмыгнуть незаметно. И вот Мервин уже сидел на краешке постели Джун, Гюйс устроился на кресле, а Ширин расположилась возле кровати.

— Как ты... себя чувствуешь? — робко спросил Мервин, с тревогой всматриваясь в ее осунувшееся, побледневшее лицо.

— Думаю, что я совсем здорова, — ответила Джун. — Температура уже который день нормальная. И пульс ровный. Вот посмотри. — Она взяла руку Мервина, приложила его ладонь к левой груди. Он тотчас отдернул руку. — Ты что? — удивилась Джун. И, не дожидаясь ответа Мервина, доверительно продолжала: — Знаешь, я лежала и думала: что если у меня теперь совершенно изменится характер? И вкусы, и привычки?

— Почему?

— Понимаешь, во мне же теперь кровь мадемуазель Дюраль! А раз так, то даже образ мыслей «может формулироваться по одному и тому же модулю». Я сама слышала, как врач сказал так папе.

— Ну да? — недоверчиво спросил Мервин. — Могу себе представить, что происходит в таком случае с человеком, которому делают пересадку сердца. Сегодня он — неуч и скряга, а завтра доктор философии и добряк!

— Ты, пожалуй, имеешь в виду пересадку не сердца, а мозга...

— Так вот как вы выполняете советы врачей! — Эти слова были произнесены спокойным, негромким голосом. Мадемуазель Дюраль подошла почти вплотную к вскочившему на ноги Мервину. Она внимательно всматривалась в него, словно никогда раньше не видела. Что-то дрогнуло в ее лице. На нем появилась улыбка, разогнавшая морщинки у губ, согрешившая глаза. Мадемуазель Дюраль поправила свесившееся до пола одеяло. Когда, взбывая подушки, она наклонилась над Джун, та порывисто обняла ее за шею, поцеловала в щеку.

— Дорогая, — быстро говорила Джун, — ведь мы так давно не виделись с Мервином! И Гюйс, и Ширин — я так по ним соскучилась. Ты ведь их не прогонишь, ты добрая, я знаю!

— Что ты, что ты! Как же я могу прогнать твоих друзей! Только помни, ради бога, что ты еще не совсем здорова... — Мадемуазель Дюраль отвернулась к стене, достала из кармана жакета носовой платок и, прижав его к глазам, быстро вышла из комнаты.

— Что с ней? — недоуменно спросил Мервин.

Джун промолчала. Раздался негромкий стук. Ширин и Гюйс с лаем бросились к двери.

— Если вы добрый человек и у вас добрые намерения — входите! — крикнула Джун.

В комнату вошел улыбающийся Дэнис О'Брайен, неся под мышкой большой плоский бумажный пакет.

— Дядя Дэнис, милый! Как я рада, что ты пришел! — Джун приподнялась с подушек. — Я не видела тебя целую вечность.

— Зато я тебя видел, — говорил Дэнис, целуя Джун. — И когда ты без памяти была, и сразу после переливания крови. Подумать только, теперь ты наполовину французенка! И совсем недавно, перед моей поездкой на острова Кука, я заезжал, хотел с тобой проститься, а ты спала. На сей раз, слава богу, то был сон выздоравливающей!.. — Дэнис повернулся к Мервину, добродушно проговорил: — Не имею чести быть представленным, сэр..

Мервин молчал, переминаясь с ноги на ногу.

— А это Мервин, мой приятель, — сказала Джун.

— А-а-а, весьма рад знакомству! — Дэнис с нескрываемым интересом посмотрел на мальчика. — Слышал о вас от отца Джун и, признаться, представлял себе вас несколько иначе..

— Как же вы представляли себе меня? — вырвалось у Мервина. Он покраснел, надулся.

— О, ничего плохого о вас сказано не было! Просто мне почему-то казалось, что вы меньше ростом... А вы, пожалуй, на полголовы выше меня!..

— А что это у тебя? Что ты принес? — Джун поспешила дать разговору другое направление.

— Плод трудов моих на благословенных островах Кука!

«Старик, похоже, славный, — подумал Мервин. — И Джун любит... где-то я видел его картины. Наверное, когда наш класс был на экскурсии в Национальном музее...»

Дэнис медленно развернул бумагу, аккуратно ее сложил. Холст, натянутый на подрамник, он поставил в светлом углу комнаты на туалетный столик и отошел в сторону, бормоча себе под нос что-то понятное и слышное лишь ему самому.

Взором Джун и Мервина предстала горящая необычайно яркими красками картина, изображавшая закат на берегу океана. На переднем плане темно-рубиновые волны падали на серый влажный песок. Тропические джунгли сине-красным пламенем взбегали по прибрежным холмам. Вдали бордово-оранжевыми громадами сгрудились горы. На большом одиноком камне, торчащем из воды у самого берега, стояли девушка и собака.

— Какой ты молодец, дядя Дэнис! — воскликнула Джун. — Как это волшебно красиво!

— А ведь это ты, Джун, — негромко сказал Мервин, вглядываясь в девушку на камне.

— А рядом — Ширин, похожа, как две капли воды, — подхватила Джун. — Только ведь я на островах Кука никогда не бывала.

— Это маленькая и невинная неправда, дорогая моя девочка, — ласково возразил Дэнис. — Подлинная же правда в том, что как бы далеко ни уехал человек, друзья его всегда с ним — в его сердце, в его искусстве.

— Сэр, за сколько дней можно на лодке добраться отсюда до этих островов? — спросил Мервин, с восхищением глядя на картину.

— Это зависит, — Дэнис улыбнулся, внимательно взглянул на мальчика, — по меньшей мере от трех обстоятельств: какая лодка, какие дни и какой мореплаватель.

— Двухвесельная шлюпка, безоблачные дни, выносливый путешественник, — быстро ответил Мервин.

— О-о-о, дружище! — воскликнул на этот раз без тени улыбки художник. — Вижу, вы всеерьез думаете о возможности столь отважного, но и не менее рискованного предприятия!..

— А почему бы и нет, сэр? Разве право покорять океанские просторы принадлежит только Туру Хейердалу и сэру Чичестеру?

— Кто это здесь замахивается на лавры неутомимого норвежца и нестареющего британца? — густой веселый бас заполнил комнату — в нее вошел Седрик Томпсон. —

Ты, Мервин? Мо-ло-дец! В твои годы каждый мечтает найти свою Атлантиду. Увы, далеко не каждому это удается.— Он поцеловал Джун, уселся на диванчик рядом с Дэнисом, однако тут же встал, подошел к картине и с минуту молча ее разглядывал. Потом снова сел.

— Вот видишь — успел выставиться в спальне твоей дочери! — сказал Дэнис.

— Ну и что же, нравится публике? — насмешливо спросил Седрик.

— Почему ты смеешься, папочка? Картина замечательная!

— Я согласен с Джун, — сказал Мервин.

— Я вполне разделяю вашу оценку, друзья, — согласился Седрик и усмехнулся.

Он вспомнил, что недели три назад они с Дэнисом чуть не поссорились из-за этой картины. Седрик настойчиво, даже сердито доказывал, что девушка на ней не должна улыбаться: это диссонирует со всем настроением картины. И потом кирпично-лиловые горы убивают первозданность пейзажа... И вот перед ним то же полотно. Тот же океан, и песок, и джунгли. И девушка улыбается по-прежнему. Но — горы! Из бездыханных лиловых развалин они превратились в живых оранжевых гигантов. И словно ожила, засветилась радостью обретенной гармонии вся картина. И девушка теперь органично вписывалась в нее.

— Бог тебе простит, Дэнис, что ты отказался продать эту вещь мне. — Седрик вздохнул, не спуская глаз с картины. — Ты ведь национальное достояние... Сколько же тебе предложила за нее наша Центральная галерея?

— Много предложила, — сказал художник. — А я взял да и не продал ее! Вы спросите, леди и джентльмены, почему? Да потому, что она не продается!

Он встал, подошел к Джун, положил ей руку на плечо.

— Девочка, прими эту картину в дар от старого Дэниса. Это лучшее, что у него есть, было и будет. Так я хочу отметить твое возвращение к жизни...

— Спасибо, дядя Дэнис, — прошептала Джун, прижавшись щекой к руке художника.

— Одно непременно условие. — Дэнис поднял указательный палец, повернулся к Седрику. — Картина будет храниться в личном банковском сейфе Джун и может быть взята оттуда лишь в каун ее свадьбы. Пусть это будет взнос в ее приданое.

Вскоре Седрик увел друга к себе. Угостил шерри, на редкость ароматным и терпким. Они уже выпили по три больших рюмки, когда О'Брайен как бы невзначай спросил:

— Скажи мне, Седрик, что ты думаешь об этом мальчике?

— Ты уже спрашивал меня об этом, старик. И я тебе ответил: мальчик как мальчик.

— Я плохо понимаю тебя, Седрик. На наших глазах зарождается светлое, молодое чувство...

— Я был бы счастлив, — перебил художника Томпсон, — взглянуть со стороны, как реагировал бы ты, если бы твоя дочь... если бы у твоей дочери зарождалось это самое светлое чувство к... небелому!

— Скажи уж прямо — к цветному, к этому черномазому, к этому безродному и нищему полинезийцу!

— Это неправда, Дэнис О'Брайен! — вскричал Седрик. — И ты это прекрасно знаешь. Я сам начинал жизнь и безродным и нищим!..

«Но я белый, белый» — вот чего ты не договариваешь», — добавил про себя Дэнис. Вслух же он сказал:

— В чем же в таком случае дело?

— Не знаю, не умею объяснить. Но это нечто такое, что выше, сильнее меня. Я понимаю умом, что это мерзко, даже подло. Но заставить себя переступить через это нечто я не в силах. Одна мысль о том, что у меня будут цветные внуки, заставляет меня содрогаться...

— Как же ты, Седрик Томпсон, — возмущенно воскликнул Дэнис, — как же ты, с твоим умом, широким кругозором можешь в чем-то — именно в чем-то кардинально важном для любой двуногой особи — пребывать на уровне пещерного человека? Как можешь ты не понимать, что твоя белокожая дочь и этот смуглокожий мальчик со своей любовью, — если она состоится, если мы, взрослые, не убьем ее в силу наших вековых позорных предрассудков, трусливой ненависти и животной вражды, если она

состоится, о чем я молю бога,— ведь они станут провозвестниками будущего. Будущего, в котором не будет ни вражды, ни ненависти, а будет гармония, как в природе и в искусстве!..

За ужином Дэнис О'Брайен добродушно посмеивался над чопорной изысканностью сервировки — над старинным фарфором, столовыми приборами из черного серебра, бокалами из горного хрусталя.

Кофе и ликеры были поданы в овальную гостиную. Мадемуазель Дюраль, Джун (она упростила французенку разрешить ей встать «на один только часик!») и Мервин расположили свои кресла полукругом против метрового экрана, сделанного по специальному заказу цветного «Филипса». Шел очередной американский боевик о Вьетнаме. Янки легко и даже как-то весело побеждали в боях, в перерывах между которыми удачно сбывали трофеи на «черном рынке» в Сайгоне и походя безжалостно разбивали сердца гордых восточных красавиц.

Седрик и Дэнис склонились над шахматным столиком. Сделав очередной ход, Томпсон какое-то время без особого внимания следил за развитием действия фильма. Но вот он, досадливо поморщившись, отвернулся.

— Я не успел тебе сказать, Дэнис,— проговорил он,— что сегодня пришло известие из Сайгона: убит единственный сын Чарльза Кемпбелла. Ты наверняка встречал его у меня. Чарльз — один из управляющих моими компаниями. Бесконечно жаль мальчика Хью. Я был его крестным отцом..

— Клянусь святым Патриком, это самая бездарная затея, в которую мы ввязались без нужды и без желания! Самая бездарная за последние сто лет! — раздраженно воскликнул Дэнис.

— Сказать по правде,— примирительно произнес Седрик,— мы ведь ощущаем на себе эту «затею» лишь тогда, когда в джунглях гибнет кто-нибудь из близких нам людей. Поверишь ли, сегодня я был не в состоянии заниматься делами. Подумать только, каких-нибудь несколько дней назад этот мальчик был жив!

— Я бы добавил, с твоего позволения, безумно жаль уходить на тот свет, не ведая, во имя чего ты безвременно уходишь!

— Здесь я никак не могу с тобой согласиться,— возразил Седрик.— Мы защищаем свои идеалы. А они стоят жизни!

— Защищаем свои идеалы? За тысячи миль от собственного дома?

— Защищали же мы их с тобой в Европе во второй мировой!

— Я не могу принять только что сказанное тобою иначе как скверную шутку, Седрик Томпсон! Слова эти О'Брайен произнес внятно, непримиримо. Он посмотрел на внезапно побледневшую мадемуазель Дюраль, на притихших Мервина и Джун. Повернулся к Седрику и холодно продолжал: — Неужели, будучи в здравом рассудке, можно проводить аналогию между великой битвой во имя высшей справедливости и не в меру затянувшимся уголовным преступлением?

— Полмиллиона американских юношей,— пытаюсь оставаться спокойным, проговорил Седрик,— каждый час рискуют жизнью ради того, чтобы мы с тобой имели возможность спокойно дискутировать, «чистая» или «грязная» война идет в Индокитае. Там решается сейчас дилемма: сумеем ли мы сдержать враждебный нам натиск или вынуждены будем откатываться дальше, все дальше и дальше, пока не окажемся у порога того самого собственного дома, о котором ты только что говорил..

— Ты изъясняешься на примитивном языке нашей самой правой прессы! Если ты руководишься при этом сугубо воспитательными целями,— Дэнис вновь бросил взгляд в сторону Джун и Мервина,— то расскажи кстати и про героя-лейтенанта Билла Колли, который в деревушке Ми Лай собственноручно расстрелял сорок шесть женщин и детей.

— Ни одна война не обходится без ненужных жертв и нежелательных крайностей..

— Если бы одной из этих ненужных жертв был твой собственный сын, а не крестник, ты по-иному смотрел бы и на нежелательные крайности! И, вероятно, пришел бы к выводу, что как бы там ни было, а это не наша война. Не наша!..

— Может быть, ты и прав,— вяло согласился Седрик.— Только с детства мне

внушали: если другу плохо, приди на помощь любой ценой. Американцы — наши друзья, союзники. Элементарный кодекс чести требует...

— «Кодекс чести»! — с издевкой перебил его Дэнис. — Ты читал во вчерашней «Санди Кроникл» о создании сети армейских борделей в Южном Вьетнаме? — С этими словами он взял Седрика под руку и, сказав ему что-то вполголоса, увлек за собой в библиотеку.

Когда дверь за ними закрылась, Джун сказала:

— Я часто играла с Хью Кемпбеллом. В детстве мы даже дрались... А теперь его нет. Странно, правда?

Мадемуазель Дюраль встала и быстро вышла из гостиной.

— Какая-то она сама не своя, — заметила Джун. — Поблуднела, осунулась даже...

— Ты рассказывала, что она тоже воевала, — напомнил Мервин. — Наверно, спор твоего отца с мистером О'Брайеном напомнил ей о чем-то...

— А ты никогда не поедешь воевать? Правда?

— Не знаю, — ответил Мервин и подумал при этом, что если даже ему когда-нибудь в будущем и придется встать под армейские знамена, то уж он-то не даст себя так просто убить, как этот Хью Кемпбелл. Он, Мервин, — потомок великих воинов и сам воин.

## 7

Джун с радостью посещала теперь занятия в колледже. Невероятно! Если бы до болезни кто-нибудь сказал ей, что такое может быть, она сочла бы этого человека просто лжецом. Чувство радости возникало уже в тот момент, когда она садилась утром на мотоцикл. Джун пела всю дорогу. С песней она влетала и во двор колледжа на зависть многочисленным соученицам и лихо осаживала свой блестящий, новенький «судзуки» в каком-нибудь дюйме от стены.

Уроки теперь приносили радость открытия. Джун жадно ловила каждое слово учителей и читала, читала запоем не только то, что было рекомендовано учебной программой, но и книги из списка с несколько странным названием: «Минимум гармонично развитого человека». Идея списка принадлежала Дэнису О'Брайену. Он с увлечением трудился над его составлением. Не остались в стороне мадемуазель Дюраль и Седрик Томпсон. И день стал теперь казаться Джун ничтожно коротким.

К тому же она возобновила тренировки по карате. Дважды в неделю прямо из колледжа мчалась в Питонэ. И как же великолепно было чувствовать себя абсолютной хозяйкой своего тела! Как сладостно ныли все мускулы, все косточки после многочисленных упражнений. А потом — клубная сауна, ледяной душ шарко.

Джун уже оделась и стояла перед зеркалом в просторной раздевалке бани, расчесывая длинные, густые волосы. Рядом с ней в глубоких креслах сидели две ее приятельницы — Клэр и Нори, пили прохладный апельсиновый сок.

— Опять ты сегодня без предупреждения провела в полную силу свой коронный прием! — недовольно ворчала Клэр.

— Извини! — Джун усмехнулась. — Следующий раз не забуду сказать: «Разрешите уложить вас на землю шейной скобой слева».

— По крайней мере это было бы честно! — сказала Клэр.

— Она еще обижается! — Нори с осуждением взглянула на Клэр. — Ты, видно, забыла, зачем мы, девушки из добропорядочных семей, пришли сюда, в этот вертеп костюмов и живоделов?

Клэр насупившись молчала.

— Молчишь? Ну так я скажу! Мы здесь для того, чтобы научиться самим защищать нашу честь. Не так-то много сейчас рыцарей...

— Выд меня не так поняли, — проговорила сквозь слезы Клэр. — Просто мне было досадно и обидно, что я опять не смогла парировать этот прием!

Джун обняла ее, потерлась, по маорийскому обычаю, носом о нос, ласково сказала: — Глупышка ты, Клэр! Ты же знаешь, даже инструктор ничего не может поделать против этого приема.

— А он хорош, наш красавчик Барли, не правда ли? — спросила Нори. — Плечи, бicepsы, торс — Аполлон!

— Но ведь он глупее самого бестолкового барана на всем Северном острове! — отозвалась со смехом Джун.

— Может быть, ты еще скажешь, что он глупее, чем этот твой черномазый... Виновата — бронзовощекий... Ну как его там...

— Мервин, — простодушно подсказала Клэр.

— Вот-вот, именно он!

— Замолчи! — крикнула Джун, бросилась к своему «судзуки» и минуту спустя скрылась за углом.

— Чего это она? — насмешливо пожала плечами Нори. — Тоже мне — Ромео и Джульетта!..

Джун стрелой летела по шоссе, превысив лимит скорости и не замечая этого. Слез было мало, и они быстро высохли на ветру. Были мысли, не менее горькие, чем слезы обиды. Почему есть такие злые люди? Откуда, ну откуда в человеке с самых юных лет берется зависть, злоба, ненависть? Нет никакого дела этой противной, желчной Нори до ее, Джун, друзей. И есть ли в Мервине маорийская кровь или нет, — тоже никого не касается. Маори... Они были бесстрашными мореходами. Они были отважными воинами. А природный ум маорийских вождей! А уж врожденное чувство собственного достоинства!.. Мервин, конечно же, унаследовал все лучшее от своих предков...

Где-то внизу метнулась вправо, в горы, словно петля искусно брошенного гигантского лассо, Первая северная дорога. Далеко слева зажглись ровные цепочки электрических огоньков. И Джун отчетливо представила себе верхнюю палубу океанского парома «Арануи». Крупные чайки, распластав сильные крылья, висят в воздухе, в двух-трех ярдах над головой. Так они и парят все три часа, пока паром пересекает пролив Кука. Пронзительный ветер загоняет людей в салоны. Одни струдились возле телевизора, словно он не надоел им до смерти дома. Другие забралась в ресторан — и едят, едят, будто голодали целую неделю. А те пьют пиво, пьют целыми пинтами, как если бы его вовсе не было на берегу и бар «Арануи» — единственный «оазис» в округе на тысячу миль... Побродив по палубе, Джун спускается в каюту номер один — для особо важных лиц, гостей капитана. Отец, оторвавшись от своих бумаг, ласково смотрит на дочь. Джун садится рядом с ним, прижимается головой к его плечу, закрывает глаза. Ей очень не хочется поймать на себе строгий взгляд гувернантки...

«Боже мой, — думает Джун, — как давно все было именно так!.. Тогда еще я не знала Мервина... А Нори просто злая дура. Она и в день моего рождения сказала, что «этот слишком загорелый оборванец» нам вовсе не компания... Всех-то она поучает, во все свет свой нос! И тайно ликует, радуется, когда другим тошно!»

Смеркалось. Джун включила ближний свет. За холмами потянулся невидимый с шоссе пригородный поселок Кандаллах. Замелькали склады, ремонтные мастерские, портовые и железнодорожные службы. Джун миновала Ботанический сад, свернула вправо. По бесконечным серпантинам крутой улочки «судзуки» легко доставил ее в Нортланд.

Вскоре она уже сидела на диванчике в крохотной гостиной Мервина. Его отец радушно угощал ее чаем, дешевым кексом из углового тш-топа, мятными конфетами. Джун были симпатичны и его кроткая улыбка, и старенькая домашняя куртка, и грубые глиняные чашки, в которые он наливал чай.

Мервин с каменным лицом неподвижно сидел на стуле. Он стыдился и этой убогой гостиной, и этого кекса, и жидкого чая. Ни за что в жизни он не признался бы в этом, но сейчас он стыдился и своего отца, своего горячо любимого отца, его куртки, его неловкости, с которой он наливал Джун чай или пододвигал ей конфеты. Стыдился — и ненавидел, презирал себя за то, что стыдился. Он с трудом сдерживался, чтобы не вскочить со стула, не увести Джун — все равно куда, лишь бы из дома.

А Джун пила чай и с живым интересом слушала то, что рассказывал ей отец Мервина.

— Мервина еще и на свете не было, — говорил он, — когда мы с его покойной матерью поселились вот в этой самой обители. Подумать только, чуть не с самого края света — из-под Гисборна — и в столицу! Мне, когда мы сюда вселялись, начальство сказало: «Видишь из окна море, Джек? Так вот, за вид будешь доплачивать пять

долларов. Вид, он деньги стоит...» Так-то, вот, дети. Ничего на этом свете даром не дается. Рано или поздно, так или иначе, но за все приходится расплачиваться... Мервин, — он положил руку на плечо сына, — доставил бы ты мне и Джун удовольствие: прочти свои новые стихи!.. А, сынок?

— Ну что ты, пап! — Мервин даже привскочил на своем месте. — Как ты можешь...

— А что я плохого сказал? — спокойно перебил его отец. — Просто я хочу, чтобы ты поделился с нами песней, которая родилась в твоей душе.

— Мервин, пожалуйста! — негромко сказала Джун.

— Это и не стихи совсем, — пробормотал Мервин. — Сам не знаю, что получилось...

— Ты читай, сынок, — сказал отец. — А судить, что получилось, оставь другим. Такой ученой мисс, как Джун, и такому неучу, как я!

Мервин долго молчал, ни на кого не глядя, потом прочитал глухим, охрипшим от волнения голосом:

Я считаю на небе звезды,  
Я считаю на море волны.  
Я считаю порывы ветра,  
Шелестящего тихо листвою...  
Звезды мне про тебя расскажут.  
Волны мне про тебя расскажут.  
Ветер мне про тебя расскажет,  
Про таинственный облик твой...

Он провел рукой по лицу, облизнул пересохшие губы и еще тише продолжал:

Про глаза твои, словно звезды,  
И про кудри твои, словно волны,  
И про нрав твой порывистой ветра  
Я стихи, нет — я песню сложу.  
И пусть звезды о ней узнают.  
И пусть волны ее услышат.  
И пусть ветер ее подхватит —  
Эту песню мою о тебе...

Мервин замолчал, так и не подняв глаз. Потом проговорил с досадой:

— Последние строчки третьей и четвертой строф не рифмуются... Бился, бился — не получается...

— Молодец, а? — воскликнул отец и посмотрел на Джун.

Джун не ответила. Она покраснела, опустила глаза. «Неужели он посвятил эти стихи мне? — все ликовало и пело в ее душе. — Мне, конечно же, мне... Мервин, милый...»

— И ведь придумал же, разбойник! — продолжал восхищаться отец. — Ну прямо Шекспир! Звезды, волны и все такое... Нет, ей-богу, молодец!

Он с улыбкой смотрел на Мервина. И столько в его взгляде было любви, столько гордости! Джун заметила этот взгляд.

Из дома Джун и Мервин вышли в девятом часу. Уже стемнело. Желтые фонари роняли на асфальт пустынной улицы ровный сильный свет.

— Мы с Гюйсом проводим тебя, — сказал Мервин. — Только вот сумеем ли мы с ним пристроиться на заднем сиденье?

— Конечно! — обрадовалась Джун. — Посадишь его между ног. Надень ему ошейник, намотай поводок покрепче на руку. А то еще вылетит на повороте.

Гюйс испуганно замер за спиной девушки. Мервин осторожно обнял Джун за талию, и «судзуки» мягко тронулся с места, стал плавно набирать скорость. С ослепительным ревом он промчал своих седоков по небольшому тоннелю и, все убыстряя бег, выскочил на дорогу в Карори.

— Сейчас прыгнем! — крикнула Джун.

Мотоцикл сильно встрянуло — перескочили через довольно большую выбоину. Начались зигзаги крутого подъема.

Надо только видеть выражение надменного превосходства и даже плохо скрытого презрения, с каким автомобилисты взирают на путающихся у них под колесами

младших братьев своих — мотоциклистов. Еще бы! Сегодня в автомобиле, если позволяет карман его владельца, устанавливается телефон, телевизор, стереофонический магнитофон. Летом в таком передвижном «раю на колесах» прохладно, зимой тепло и в любое время года комфортабельно. Обитателю подобного «рая» просто непонятно, что за удовольствие глотать пыль и пары бензина, мокнуть под дождем, купаться в грязи, превращаться в сосульку под порывами ледяного ветра, сидя на мотоцикле.. В свою очередь, обладатели «яв», «харли-давидсонов», «хонд» и «судзуки» непоколебимо убеждены, что только не очень далекий человек способен превратить радость стремительного движения в пространстве в унылое средство передвижения. Вместо солнца и звезд у него над головой — низкая крыша, вместо свистящего в ушах ветра — четыре железных стены по сторонам, вместо полного слияния с машиной, превращения в некоего кентавра, — отношения всемогущего властелина и безропотного раба... Что поделаешь, полярная разница психологий!

Так вслух рассуждала Джун. Мервин слушал смеясь и соглашался с ней. Нет, они не променяли бы «судзуки» ни на какой «мазератти». Мотоцикл на только им видимых крыльях («как ракета, правда?») стремительно летел по дороге ввысь. И сладко щемило сердце, и на глаза набегали слезы, и хотелось кричать во весь голос от восторга.

Джун остановила мотоцикл ярдах в пятидесяти от своих ворот. И почти тут же от них отделилась тень, которая стала быстро приближаться. Гюйс тотчас принял боевую стойку. Однако в ответ на его предостерегающее рычание послышалось знакомое повизгивание. А еще через мгновение Ширин и Гюйс дружески обнюхивали друг друга.

— Как тебе не стыдно! — выговаривала бостон-терьеру Джун. — Не узнал свою подружку! Ширин, еще совсем рано! Давай немного проводим Гюйса и Мервина домой.

Собаки бежали по склону горы далеко впереди. Джун и Мервин медленно спускались вниз. Большая птица тяжело пролетела над дорогой и исчезла в темной листве высокого дерева. Внезапно за поворотом дороги залаял Гюйс. Когда Джун и Мервин подошли, они увидели, что бостон-терьер, припадая мордой к земле, остервенело лает на крупного опоссума, спокойно, деловито обнюхивающего траву, листья, ветки, бумажки, не обращая на Гюйса внимания. Поодаль стояла, настороженно наблюдая за происходящим, Ширин. Увидев приближающихся людей, опоссум оскалился и так грозно зашипел, что Гюйс шарахнулся в сторону и даже перестал на какое-то время лаять. Опоссум же не торопясь, вразвалку двинулся через дорогу.

Мервин и Джун прошли не меньше четверти мили, а Гюйс все еще продолжал облаивать опоссума. «Старается, хочет оправдаться за свой испуг, — подумала Джун. — Обидчив, как и его хозяин. И... такой же беспомощный!»

Джун и сама не могла бы объяснить, почему ей вдруг пришла в голову эта мысль. Но подсознательно в ней все больше крепла уверенность в том, что Мервин нуждается в ее защите. Разумеется, она не смогла бы сказать от кого или от чего она должна его защищать. Но испытывала к Мервину нежность и жалость. Ее беспокоило не голоден ли Мервин, не устал ли он. Ей хотелось, чтобы случай дал ей возможность заслонить его от беды. Временами ей даже казалось, что она готова перенести любые муки — лишь бы ему было хорошо!

Мервин настоял на том, чтобы Джун возвращалась с Ширин домой. Они сдержанно, даже смущенно пожали друг другу руки. За все это время о стихах Мервина не было сказано ни слова.

Когда девушка ставила свой мотоцикл в гараж, автомобиля отца там не было. Джун вспомнила: отец должен был вернуться из Вангануи к полуночи. В гостиной горел неяркий свет. Войдя в нее, Джун увидела мадемуазель Дюраль, сидевшую в кресле с книгой в руках.

— Ты знаешь, который теперь час? — спросила француженка, запахивая на груди халат. — Между прочим, три дня тому назад в Джонсонвилле вечером на улице двое неизвестных изнасиловали, а потом убили девушку. Она была примерно твоего возраста.

— Мадемуазель Дюраль, я же знаю приемы каратэ! И потом я была не одна — с Мервином! — Джун подбежала к француженке, поцеловала ее. — Родная, дорогая,



не сердитесь, ради бога. Вы же не умеете сердиться, я знаю. Вы добрая... И мне так хорошо!

С этими словами Джун выбежала из гостиной в столовую. А француженка еще долго сидела в кресле. Она улыбалась.

## 8

— Пока, пожалуй, достаточно.— Дэнис О'Брайен отступил от мольберта на шаг, прищурил глаза, внимательно вглядываясь в большое полотно.— Можете искупаться. Далеко не заплывайте. Вчера патрули морского надзора обнаружили в заливе Титахи Бей акул.

Мервин улыбнулся, протянул руку Джун, и они медленно пошли по мелкому горячему песку навстречу огромным ленивым волнам океанского прибой.

Бухта, которую облюбовал недалеко от своего дома художник, была пустынной, чистой, уютной. По склонам скал к самому песку спускались высокие древовидные папоротники, густой ярко-зеленый кустарник. Было время рождественских каникул. Ярдах в пятидесяти над бухтой ярко-красным пламенем пылало цветущее дерево похутукава. На фоне голубого неба этот буйный огненный всплеск не казался Дэнису неестественным. Последние две недели художник ежедневно проводил с Джун и Мервином по три-четыре часа в бухте. Работать ему было легко и радостно.

«Наверное, в счастливый час пришла ко мне мысль написать картину «Люди будущего». Клянусь святым Патриком, чудесна должна быть жизнь такой вот пары. Молодые, сильные, красивые! Добавить к этому одухотворяющее их чувство справедливости, стремление к правде, жажду быть нужными и полезными людям, замешать все это на чистой любви — разве не такими представлялись мне жители планеты Земля в двадцать первом столетии?»

Дэнис надел противосолнечные очки, отыскал взглядом в волнах головы Мервина и Джун и повернулся к мольберту.

Люди будущего... Как всякий серьезный художник Дэнис О'Брайен мечтал написать главную картину всей своей жизни. Сколько было бунтарских исканий, горьких ошибок, бесценных потерь. Сколько раз ему казалось, что самое важное, самое нужное — пророческое слово в живописи будет им вот-вот сказано. Но проходило время и выяснялось, что очередная картина была лишь этапом, а не кульминацией его творческого пути. Так было, когда он делал в искусстве первые шаги и непоколебимо стоял на позициях реализма. Так было и потом, когда он стал одним из мэтров абстрактного искусства. Так было и теперь, когда он снова вернулся в «лоно единственно истинной реальной живописи», пройдя через искания и борения творческих страстей, присущих любому подлинному таланту.

Люди будущего... Теперь Дэнис чувствовал — нет, знал, что он на близких подступах к своей главной картине. Сегодня мир, как тяжелым недугом, поражен враждой и ненавистью. Сегодня одни подымают от голода, а другие от обжорства. Сегодня белый убивает черного, сын идет войной на отца, брат на брата. Завтра этого не должно быть. Завтра этого не будет! Как, каким образом — этого Дэнис О'Брайен отчетливо не представлял себе. Он верил, что человечество придет в прекрасное будущее, создав некое Великое Людское Братство. Главное сейчас — просвещение, духовное обогащение общества. Главное — великие искусства, очищающие душу от сатанинской скверны: искусство слова, искусство звука, искусство цвета и линии. Через просвещение посредством искусств человек сможет избавиться от всего недостойного, принижающего его...

Люди будущего... Черные и белые, богатые и бедные — со временем они сольются в единую семью, где каждый будет равен каждому и каждый будет прекрасен, свободен и мудр. И как на свой призыв к людям стать воистину людьми, как на свою легту в будущее счастье человечества, он смотрел теперь на главную картину своей жизни. Он увлеченно работал — писал эскизы. И лучшей природы, чем эта бухта, эти скалы, эти деревья не могло и быть. И эта девочка и этот мальчик, — не иначе, как святой Патрик послал их ему в натурщики!

Люди будущего...

— Смотри, Джун, я поймал солнце.— Мервин, сложив ладони лодочкой, зачерпнул в них воды.— Как оно искрится! Хочешь, я подарю тебе солнце?

Они уже выплыли на мелкое место, набегающие волны едва доходили им до колен.

— Я боюсь! Оно же, наверное, горячее, да? Дотронешься — и сразу превратишься в пепел.

— Нет,—не приняв шутки девушки, ответил Мервин.— Мое солнце не жжет. Оно должно согреть в холод и светить в темноте.

Джун перестала смеяться, подошла к Мервину, дотронулась пальцами до его груди:

— Откуда у тебя этот шрам?

— С дерева упал, наткнулся на острый камень. Мне тогда было лет пять...

Джун осторожно погладила ладонью едва заметный белый рубец. И, как это теперь часто бывало с ней, чувство жалости и нежности к Мервину внезапно переполнило все ее существо. И это новое чувство не пугало ее — оно радовало, делало ее счастливой. До этих чудесных дней, проведенных здесь, на берегу бухты, она никогда не чувствовала себя такой счастливой. Во время долгих, иногда утомительных сеансов, во время захватывающих дух купаний в океане, во время молчаливых вечерних гуляний по окрестным холмам — каждый миг открывал ей нового Мервина. Нового и удивительного. Раньше она никогда не задумывалась над тем, будет ли ей скучно вдвоем с каким-нибудь парнем. «Подумаешь — будет скучно, возьму и уйду». О Мервине она не могла так думать. И дело не только в том, что с ним не скучно — он много знал, много читал,— дело в чем-то совсем другом. В чем?

Как он только что сказал? «Хочешь, подарю тебе солнце?» Раньше она не могла и предположить, что кто-нибудь скажет ей всерьез такое... Недавно он читал ей одно из последних своих стихотворений. Особенно запомнились строки:

...Океанские волны, как поколения людей.  
В их схожести — сходство печальных судеб человека...  
Я готов умереть, если это хоть как-то приблизит  
День, когда засмеется от счастья самый несчастный бедняк...

Джун еще раз дотронулась до шрама Мервина. И покраснела. Ей вспомнился ее недавний разговор с художником. Как-то незадолго до рождества тот поинтересовался, кого из своих друзей она приглашает к себе на праздничный вечер. Она стала называть имена. «А Мервин?» — удивился художник. «Я хочу пригласить его отдельно»,— ответила она. «Почему? Стесняешься гостей? Или не хочешь идти против желания отца?» «Никого я не стесняюсь и не боюсь!» Джун всплыла, хотя в словах художника была известная доля правды. Но не той, в которой Дэнис заподозрил ее. Джун не стыдилась своего друга — она хотела уберечь его от косога взгляда, двусмысленного, обидного слова. А в обычной ее компании это было почти неизбежно... «Учти, девочка,— с горечью проговорил Дэнис,— все приглашенные тобою шалопаи не стоят мизинца этого маорийца!.. Что же касается твоего отца, то, хотя он и самый близкий мой друг, я полагаю, ему полезно иногда напомнить, что если бы не усыновившая его добрая женщина, еще неизвестно, был бы он тем, кем он стал сейчас!.. Никогда не потеряю. чтобы ты, Джун, с твоим умом и сердцем согласилась безропотно исполнять в жизни скучную роль сытой дочери финансового магната...»

«Дядя Дэнис! Как благодарна я тебе за твою ворчливую любовь ко мне и за то, что ты помог мне открыть моего Мервина! Когда-нибудь я расскажу тебе о нем все, что узнала. Не сейчас, позже. Сейчас я боюсь случайными словами расплескать то, что переполняет меня...»

— Не хотите ли взглянуть, друзья мои, на сегодняшний эскиз? — продолжая работать гуашным карандашом, Дэнис улыбнулся подходившим к нему Мервину и Джун. Они остановились за его спиной, часто дыша после быстрой ходьбы. Теперь все трое рассматривали набросок: художник — снисходительно критически, девушка и юноша — рассеянно. «Сейчас им, пожалуй, не до меня,— спокойно подумал Дэнис, словно читая мысли Джун и Мервина.— Сейчас для них самое желанное, самое упительное — уединение вдвоем...»

— О, господи! — неожиданно услышал он. — Если бы вы, Дэнис, не рассказали мне об этом чудесном уголке, я бы никогда не поверила, что за угрюмыми скалами может скрываться прелестный оазис! — Мадемуазель Дюраль, говоря это, спускалась по крутой тропинке к песчаному пляжу.

— Какая вы умница, что наконец-то выбрались сюда! — с искренней радостью воскликнул Дэнис. Мервин и Джун побежали ей навстречу.

На французенке было короткое, яркое летнее платье. Сильные красивые ноги ее были тронуты легким загаром. Она сняла очки и щурила глаза — от блеска отраженного морем солнца, от инстинктивного желания выглядеть привлекательнее.

«Знает, знает наша милая Шарлотта, что ей идет, когда она морщит свой миленький носик! — с добродушной улыбкой отметил про себя Дэнис. — Не только о дочери думал Седрик, когда приглашал ее в гувернантки! Вкус у старого плута Седрика совсем не дурен!»

«Какой она может быть красивой, когда захочет! — думала, глядя на мадемуазель Дюраль, Джун. — Но это нечасто бывает... Да нет, она всегда хороша! И будь я на месте папы, я бы тоже в нее влюбился... Господи, как мне хочется, чтобы и отец, и Шарлотта, и дядя Дэнис, и все-все на свете были счастливы! Ведь это так просто — быть счастливым. Любовь, искренность, доброта — вот и все, что нужно для счастья. Вот и все, вот и все, вот и все!» Она посмотрела на Мервина, поймала его взгляд и так и заветилась от счастья. А он думал о том, как хорошо, что рядом с Джун — эта умная, добрая женщина. Конечно, мать она не сможет заменить. Но старшая сестра — если не по рождению, то по духу — это совсем не мало...

Подшло время ленча. Джун и Мервин умчались на «судзуки» в небольшой итальянский ресторанчик, расположенный неподалеку от дома художника, за пиццей. Дэнис и мадемуазель Дюраль направились берегом моря к винтовой металлической лестнице, спрятанной между скал, которая вела в сад Дэниса.

— Седрик настаивает, чтобы я вылетела в Париж. Тяжело заболела моя старшая сестра, — говорила мадемуазель Дюраль. — Я и заехала к вам после того, как побывала в главном офисе «Эр Нью Зиланд» — хотела уточнить расписание...

— Она серьезно больна? — участливо спросил Дэнис.

— Вчера я получила письмо от ее врача. Он пишет, что Франсуаза не проживет дольше полугода. Кроме нее, у меня родственников нет. Мы всегда были с ней очень близки...

— Что же вам сказали в авиакомпании?

— Что они могли сказать? Вторую неделю бастуют инженеры и навигаторы... Сюда я ехала вдоль порта. Порт мертв. Бастуют докеры. На улицах не встретилось ни одного автобуса. Бастуют водители. В Питоне и вдоль заливов на раскопанных участках улиц и шоссе брошены грейдеры, катки, грузовики. Бастуют дорожные рабочие... Две-три недели, ну, месяц я еще могу ждать...

— За это-то время забастовка непременно закончится! — успокаивая ее, сказал Дэнис.

— И начнется обещанная сегодня, по сообщению из Сиднея, забастовка пилотов австралийской «Квонтас»!

— Гм!.. Не следует ли и мне подумать о билетах? — встревожился художник. — Через три с половиной месяца — моя выставка в Европе, которую я потом повезу в Африку и в Южную Америку...

Мадемуазель Дюраль промолчала, погруженная в свои мысли. От Седрика она уже слышала о предстоящем зарубежном турне Дэниса О'Брайена. Слышала и о том, что художник с увлечением работает над своей главной картиной, которую надеется завершить до начала турне. Один из эскизов к этой картине она только что видела. Другие видела и три и пять лет назад. Эскизов было много. Видимо, что-то не получалось у Дэниса с этой картиной. Теперь же мадемуазель Дюраль поняла, что художник находится на взлете, что он близок к удаче и что одна из причин этого, может быть даже главная причина, — Джун и Мервин! И она была рада за Дэниса...

Когда все четверо уселись в столовой О'Брайена и весело принялись за наскоро организованную трапезу, Дэнис стал рассказывать:

— Впервые мне довелось отвесть пиццу в Италии во время войны. Помню, был жестокий бой с немцами за какое-то местечко совсем даже не стратегического значения. Крови — и английской, и американской, и немецкой — было пролито немало... Представьте себе такую картину: на неширокой улице валяются трупы, догорают бронетранспортеры и штабные «хорхи». После рева моторов, криков, грохота взрывов и выстрелов наступила такая леденящая тишина, что какое-то время мы не осмеливались даже шелохнуться. И вдруг над этим проклятым адом человеческой бойни поплыли звуки «Ave Maria». Пел чистый, юный, почти детский голос. Мы с Седриком стояли, прислонившись спинами к какой-то полуобвалившейся стене и слушали, слушали... Слезы закипали в груди, слезы жалости к погибшим в тот день, к тем, кто погибнет завтра, к себе, ко всем обезумевшим людям... Пение оборвалось так же неожиданно, как и возникло. Метрах в пяти перед нами появилась девушка. Она была прекрасна, юная дочь Калабрии, — огромные, черные, как маслины, глаза, полуобнаженная грудь, черные волосы над высоким мраморным лбом. И из всего, что она говорила, мы поняли только одно слово: «Пицца! Пицца!» Она протягивала нам вот такие же румяные, круглые лепешки...

Мервин слушал рассказ художника с интересом, мадемуазель Дюраль и Джун — с доброй затаенной улыбкой. Они слышали эту историю уже не первый раз. И знали, что с картины «Девушка с пиццей» и начался Дэнис О'Брайен как настоящий художник.

После обеда, быстро убрав со стола и вымыв посуду (электрическая посудомойка — обязательный для холостяка и вдовца агрегат), Джун и Мервин заторопились в кино.

— Шарлотта, дорогая! Мы — на двухчасовой сеанс. — сказала Джун. — Дома буду не позже семи!..

— Неужели во Франции так же по-мещански тупо, как у нас, смотрят на взаимоотношения рас? — спросил Дэнис мадемуазель Дюраль, когда они остались вдвоем.

— Чем, собственно, вызван ваш вопрос? — насторожилась француженка.

— Обладай я вашим влиянием на Седрика, — ответил художник, — я непременно постарался бы убедить его в благотворности для Джун ее дружбы с Мервином. Во всяком случае, поговорил бы с ним на эту тему...

— А вы сами убеждены в благотворности этой дружбы?

— Будто вы не такого же мнения!

— Я пытаюсь взглянуть на взаимоотношения Мервина и Джун и на возможные последствия этих отношений с разных сторон, — спокойно возразила мадемуазель Дюраль.

— С незапамятных времен в отношениях мужчины и женщины было главным одно — их истинность. Только при этом условии возможно счастье!

— Главным — да, — согласилась француженка. — Но есть еще дюжина вторичных обстоятельств и условий...

— Например? — Дэнис сцепил руки, обхватил ими колени, закачался в кресле-качалке.

— Общество, например. Человек живет не в вакууме, а в среде себе подобных. Так вот, Дэнис О'Брайен, в вашей стране в гораздо большей степени, чем в моей, на поверхности — ханжеская идея гармонии рас, а по сути дела — неистребимая ненависть, которая находит тысячи проявлений, начиная от нормы представительства в парламенте и кончая очередностью найма на работу.

— Все это так, я знаю! — раздраженно воскликнул Дэнис. — Но ведь надо когда-то с этим кончать. Истинная свобода, истинное братство, истинное равенство — вот святая цель! И осуществить, достичь ее можно лишь в конкретных человеческих судьбах!

— И вы хотите, чтобы я убедила Седрика Томпсона, одного из крупнейших бизнесменов страны, избрать в качестве эксперимента судьбу его любимой единственной дочери? Значит, вы не понимаете или не хотите понять ни степени возможного воздействия на психологию зрелого человека, ни непобедимости вашего англосаксонского лицемерия!..

— Люцифер — прародитель такого общества! — взорвался Дэнис. — Я не хочу, я отказываюсь признавать устои, которые делают одного рабом, а другого господином только из-за цвета их кожи! Я хочу, чтобы Мервин и Джун показали единственно

верный путь всем другим. Человек может стать и обязательно станет счастливым путем самосовершенствования, поняв наконец то, что является справедливым и достойным. Назначение человека — главное его назначение в этом мире — быть счастливым!

«Боже мой,—думала мадемуазель Дюраль, глядя на художника,—боже мой, и этому человеку далеко за пятьдесят!. Он был наивным в юности, таким и остался по сей день. Умел бы он видеть законы своего общества так же остро и глубоко, как видит цвета и натуру, рассуждал бы по-другому!.. Впрочем... впрочем, тогда, может быть, и не было бы того художника, каким является Дэнис О'Брайен...»

Вслух она примирительно сказала:

— Я поговорю с Седриком. Обязательно поговорю...

## 9

В канун рождества Мервин пригласил Джун в ресторан. Чтобы накопить нужную сумму денег, он взялся доставлять вечернюю газету в пятьдесят домов на своей улице. Времени это отнимало не так уж много, зато к середине декабря в нижнем левом ящике письменного столика Мервина лежали три пятидолларовые бумажки — месячный заработок. Первый трудовой заработок в его жизни.

Мервин виртуозно отгладил брюки своего выходного, темно-коричневого с сербриной костюма, наконец-то сменившего вельветовую курточку, надел новую рубашку, взял у отца галстук. Он долго никак не мог завязать его элегантно узлом. Когда же это наконец удалось, оказалось, что он едва может дышать. Так он и вертелся перед зеркалом, поправляя то галстук, то пиджак, то треугольник платка в нагрудном кармане, пока не раздался негромкий троекратный свист под окном. Соседский мальчуган, согласившийся за шиллинг бдительно наблюдать за улицей, возвестил: приближается Джун. Мервин быстро вышел во двор. Там на скамейке сидели две его соседки — худая белая женщина и пышная маорийка.

— Смотри, смотри, Мервин-то наш расфрантился — как жених принцессы Анны! — воскликнула белая.

— С таким красавчиком я бы и сама не прочь обсудить наедине налоговую политику националистов! — подхватила маорийка.

Мервин растерянно улыбнулся, прошмыгнув через двор и выскочил на улицу. Его провожал громкий смех женщин.

— Чем вгонять в краску молодого парня, шли бы готовить мужьям ужин,— крикнул из окна второго этажа пожилой лысый пожарник.

Солнце уже садилось, когда Джун и Мервин по узким, крутым улицам спустились на послушном «судзуки» почти к центру города, выехали на набережную и помчались вдоль нее, легко обгоняя «фиаты» и «ягуары», «холдены» и «тойоты», «ситроены» и «мерседесы». Наконец начался Ориентал Бей. По сторонам замелькали мотели, магазинчики, кафе.

На набережной находился и ресторан «Гнездо корсара», в который решили отправиться Мервин и Джун. Поставив мотоцикл на платной стоянке рядом с десятком его собратьев, они вошли, как выразилась Джун, «в пиратское логово». Из полутьмы бесшумно, как тень, возник метрдотель. Через минуту они сидели за столиком в небольшой уютной каюте — одной из многих, на которые делился весь зал. Переборки между каютами едва возвышались над уровнем столов. У бара от пола до потолка сверкал желтой медью огромный якорь. Между упиравшимися в потолок столбами, походившими на мачты, были натянуты настоящие морские канаты. Вдоль стен тускло поблескивали иллюминаторы. Официантки, молоденькие, хорошенькие, были в матросских костюмчиках. На небольшой полукруглой площадке шумно трудилось джазовое трио — гитара, ударник, банджо. Высокий брюнет, заgrimированный под одноглазого пирата, хриплым баритоном пел о веселой жизни «властителей морей»:

...Братья сатаны,  
Мы с утра пьяны,  
И готовы вздергивать и резать...  
Нынче мы бедны,  
Нынче мы бедны,  
Через день мы кресы...

Официантка неслышно подошла, положила на стол меню. Свечи в старинных корабельных фонарях давали ровно столько света, чтобы можно было с трудом разобрать названия блюд и их стоимость. Джун долго вчитывалась в страницы меню, то и дело встречая малознакомые и еще менее понятные французские названия блюд. Она радовалась первому в ее жизни самостоятельному посещению ресторана и в то же время немного робела, смущенная необычностью обстановки.

— Знаешь,— прошептала она, наклоняясь через стол к Мервину,— давай закажем что-нибудь попроще, недорогое — овощной салат и омлет. Я совсем не хочу есть. Честное слово!

— Почему недорогое? — Мервин обиженно пожал плечами.— Деньги у нас честные. А насчет того, что ты не хочешь есть, это просто выдумки!

Джун смущенно улыбнулась. Снова появилась официантка, застыла у стола с карандашом и блокнотом наготове.

— Пожалуйста, дюжину, нет, две дюжины устриц,— проговорил Мервин тоном завсегдатая ресторанов.— Э-э... два супа из спаржи, два филе-миньон... Насчет сладкого мы еще не решили...

— Время есть, сэр,— согласилась официантка.— Филе как подавать — сильно прожаренное или с кровью?..

— С кровью...

— Откуда у тебя деньги? — спросила Джун, когда официантка ушла.— Отец дал?

— При чем здесь отец? — ответил Мервин и, помолчав, добавил: — В карты выиграл...

— И это, по-твоему, честные деньги?

— Все играют! Кто в карты, кто на скачках,— поспешил сказать Мервин, вопрос Джун его испугал.

— Все — пусть. А ты — не должен... Если, конечно, дорожишь нашей дружбой. Есть я на эти деньги не стану! Шарлотта говорит, что игроки делятся на дураков и подлецов. И она права. Я не желаю, чтобы ты был тем или другим.

Джун поднялась, собираясь выйти из-за стола.

— Извини! Ну, пожалуйста, извини! — пробормотал вконец испуганный Мервин.— Я соврал! Я в карты на деньги и играть-то не умею. Я заработал. Газеты разносил...

— Это правда? — спросила Джун, садясь на свое место.

— Правда!

— Мы должны говорить друг другу только правду! — Глаза Джун радостно блестели. Она ласково прикоснулась рукою к руке Мервина.

— Клянусь, это была моя первая и последняя ложь в жизни,— сказал он.

— И я клянусь! Только правда, ничего кроме правды! — даже несколько торжественно проговорила Джун. И, после довольно длительной паузы, сказала: — Я люблю своего отца и я не судья ему... Но я не хочу ни цента его денег. Я уйду из дома, как только увижу, что смогу сама себя обеспечить. Хочу быть сама хозяйкой своей судьбы — никому ничем не обязанной, независимой!..

— Похвальное намерение! — Возле Мервина из полумрака возник долговязый парень. Развязно улыбаясь, он облокотился на столик.— Представь же меня своей подружке, Мерв!

— Ричард,— недовольно хмурясь, проговорил Мервин.— Джун...

— Деликатничает ваш спутник! Меня даже дома никто так не зовет. Дылда Ричард — вот кто я есть!..

Джун молчала, с неприязнью разглядывая словоохотливого верзилу. А он, будто не замечая этого, поклонился и вежливо сказал:

— Прошу прощенья, мисс, но я должен лишить вас на несколько минут удовольствия наслаждаться обществом столь приятного кавалера. У меня с Мервином важное дело...

— Извини, Джун! Я сейчас вернусь,— сказал Мервин и последовал за Дылдой.

— Выкладывай скорее, чего надо,— раздраженно проговорил он, как только они вошли в мужской туалет.

— Ничего с ней не случится.— Дылда пренебрежительно махнул рукой.— Посидит одна. Не умрет... И чего ты ее слушаешь? Легко сочинять сказки про независимость, когда у папочки миллионы в карманах позвякивают и...

— Ты что же, за этим и притащил меня сюда? — с угрозой в голосе спросил Мервин.— Еще одно слово про нее и...

— Успокойся, псих, не буду! — Дылда с опаской отступил на шаг.— Парни, я слышал, рассказывали, будто ты мечтаешь по свету поболтаться, поглядеть на страны разные. Так?

— Говори сразу, что у тебя на уме!

Дылда достал из кармана пиджака толстый бумажник, раскрыл его.

— Видал? — Он ловко раскинул веером зеленые двадцатидолларовые купюры. Наклонившись к Мервину, задышал ему в лицо табачным и винным перегаром.— Одиночный день, понимаешь? Один — и в кармане шестьсот монет! Сколько времени тебе за эти деньги газетки нужно таскать — полгода? Год?.. Только опасно это.— Дылда вздохнул.— У нас чуть ли не все жители страны знают друг друга... То ли дело Америка — и территория и население!

— Думаешь, мне интересно выслушивать твою дурацкую болтовню? — спросил Мервин, подходя к двери.

— Не думаю, — быстро ответил Дылда.— Просто к слову пришлось... Тебе я хотел предложить другое: Вьетнам!

— Что — Вьетнам? — удивленно переспросил Мервин.

— Слышал, как парень с джазом исполнял здесь песенку пиратов? «Нынче мы бедны, через день мы...» Эти, как их...

— Крезы...

— Вот-вот, крезы! — повторил Дылда.— Это — моя сфера. А твоя — всякие там закаты и восходы, моря и джунгли. Романтика, словом.

— Ты что же, предлагаешь мне отправиться во Вьетнам? — спросил Мервин.

— А почему бы и нет?

— Хотел бы знать, как же это мы с тобой попадем во Вьетнам?

— Завербуемся в армию.

— Кто же нас возьмет?!

— Что стоит таким парням, как мы, приписать пару лет? К тому же есть у меня знакомый сержант, который как раз занимается оформлением документов добровольцев...

— Чепуха все это!.. — Мервин заметно нервничал.— Ладно, завтра поговорим...

Когда они уже шли по залу, Дылда придержал Мервина за локоть, кивнул головой куда-то в темноту.

— Надумаешь, присоединяйся к нам!.. Конечно, моя дама — не чета твоей. Я подобрал ее на Лэмптон Ки, у входа в универмаг Рей Стиффенсон. Десять монет авансом — и никаких проблем!

— Что же ты так долго? — сердито сказала Джун.— Неужели этот противный Дылда такой уж занимательный собеседник?

— Болтун и больше ничего! — ответил Мервин.— Извини, что я оставил тебя одну. Джаз заиграл мелодию модной песенки:

Пояжи желтую ленту вокруг старого дуба  
И я буду знать, что ты меня по-прежнему  
ждешь и любишь...

— Пойдем потанцуем, — предложил он.— Поедим потом!..

Джун, пожалуй, никогда в жизни не было так легко, так весело, как в этот вечер, и она никогда не испытывала такого удовольствия и от еды, и от танцев, и от музыки — от всего, что ее окружало. «Как хорошо! — думала она.— И этот полумрак и эти свечи!..»

И, главное, — Мервин. Ее Мервин. Мервин!

Ей вдруг вспомнилось, как однажды после занятий в клубе каратэ она решила навестить дядю Дэниса. Мервин, капитан регбистов своего колледжа, на несколько дней уехал на национальный турнир в Нью-Плимут. Вечер был свободен. Да и ху-

Дождик не раз уже высказывал обиду, что с некоторых пор она забыла дорогу в его дом.

Когда Джун вошла в прохладную тишину просторной студии на втором этаже, Дэнис, скрестив руки на груди, стоял перед мольбертом, на котором был установлен огромный чистый холст, натянутый на подрамник.

Дом художника стоял на отвесной скале. Внизу глухо ревел прибой. Быстро темнело. В сумерках, на фоне светлого холста, голова художника казалась высеченной из темного камня: могучий лоб, копна волос над ним, крупный нос, массивный подбородок. Она приблизилась к художнику на цыпочках и уже хотела дотянуться до его локтя, как вдруг услышала его спокойный голос:

— Поверишь ли, Джун, я знал, что ты приедешь именно сегодня. В моем возрасте предчувствие редко обманывает. Особенно предчувствие добра!.. — Он помолчал, не меняя позы, потом продолжал: — Я сейчас думал о том, как бездарно мы ленивы и инертны. Нам лень работать — мы ворует. Лень прочесть новую книгу — и мы присваиваем чужие мысли, почерпнутые из рецензии на книгу и выдаем их за собственное мнение. Нам лень тратить душевные силы на потрясения высокой любви — и мы удовлетворяемся поверхностными увлечениями, не требующими большой затраты чувств... У нас нет потребности бескорыстно созидать во имя прекрасного. Люди объаты жаждой урвать как можно больше материальных благ для себя.

Он умолк. Только и было слышно, как волны обрушивались на скалу да налетал порывами ветер. Джун нашла кнопку выключателя. Неярко вспыхнули три-четыре бра. Она успела заметить, как Дэнис поспешно вытер платком слезы.

— Я уже как-то говорил тебе, — сказал он, отодвигая мольберт в угол, — что давно мечтаю написать портрет Человека будущего.

— Это будет портрет-фантазия? — робко спросила Джун.

— Ну нет! — ответил художник. — Человек будущего не появится вдруг, словно с неба. Он формируется уже сегодня и будет формироваться завтра. Убери ненависть и злобу, порождаемые социальным и расовым неравенством, и человек станет прекрасен.

Спустя полчаса, когда они сидели за небольшим венецианским столиком в гостиной и пили чай, Дэнис как бы между прочим спросил:

— Хорошо ли ты знаешь своих друзей?.. Мервина, например?

— Я знаю о них главное, дядя Дэнис, — засмеялась Джун. — О Мервине, например, что он «идеально сложен и прекрасен, как юный маорийский бог».

— Да, я однажды действительно говорил так... Глаз художника, как и глаз женщины, как правило, не обманываются в этом. Но главное, как я полагаю, в том, что этот юный бог еще и умен и талантлив!

Джун было приятно слышать похвалы своему другу. Но чтобы поддразнить дядю Дэниса, она недоверчиво проговорила:

— Красив — да, согласна... Но умен, талантлив... Не знаю...

— Вот послушай, — сказал Дэнис и прочитал наизусть:

...Земля — космический корабль  
без руля.  
 Но разум человечества  
нетленный  
 Раздвинет знаний (иль незнаний) наших стены.  
 И станет он подвластен нам,  
Корабль Земля.  
 И мы освоим  
Океан Вселенной...

— Это... стихи Мервина? — спросила Джун, чувствуя, как у нее сильнее забилось сердце.

— Да, это стихи Мервина! — подтвердил Дэнис. — Как он мыслит, этот мальчик!

С этими словами он протянул Джун свежий номер литературного журнала «Лэндфол», и она прочла отчеркнутые зеленым карандашом строки:

— «...Читатели несомненно обратят внимание на стихи Мервина Фореста. Молодой поэт впервые принял участие в национальном конкурсе. И — безуспешно. Правда,



над формой стиха ему предстоит немало потрудиться. Но зрелость, оригинальность мысли позволяет надеяться на поэтическое будущее дебютанта...»

Дальше шла небольшая подборка стихов Мервина.

— Можно, я возьму журнал с собой? — попросила Джун.

— Конечно, — сказал художник, привлек ее к себе, поцеловал. Помолчав, негромко сказал:

— Тебе повезло, Джун, что ты встретила такого юношу, как Мервин. Мой тебе совет — береги свою дружбу с ним. Ты сильная, умная. Знаю, ты меня понимаешь и теперь, а позднее поймешь еще лучше!

...Вот что вспомнилось Джун, когда она сидела с Мервином в ресторане. Она положила свою руку на его. Он улыбнулся ей.

— Ты что-то притихла, — сказал он. — Ты устала? Тебе скучно?

— Нет, мне очень хорошо! — ответила она.

## 10

### Из дневника Мервина

«...Позавчера хоронили отца. Мой заботливый, добрый, веселый папа ушел, и я больше никогда его не увижу. Было много цветов. Было много людей. В этой толпе знакомых и незнакомых мне было одиноко, тоскливо, холодно! Если бы не Джун, не знаю, что со мною и было бы. Я плохо помню весь этот день. Кажется, был священник. Был, точно был — старый, молчаливый отец Габриэль. Помню, появлялись и исчезали безмолвно, бесшумно монахи. Помню скорбную, тягучую песню маорийцев. Вождь племени Северного острова долго убеждал меня в том, что отец на своей последней вака тауа<sup>2</sup> уплывет в Страну Вечных Духов, где встретится с мамой. Помню, друзья отца, пожарники, медленно несли гроб и их духовой оркестр играл тихо и печально...»

Отец погиб как герой. О его последних минутах мне подробно рассказал командир отделения Билл Локвуд. «Старуха там внизу причитает. — сказал он отцу. — Соседка говорит, ее внучка в квартире осталась, детская в конце коридора. Я пойду, а ты подстрахуй меня в случае чего...»

Они пробирались сквозь вихри огня горящего дома. Полыхало все, что было подвластно огню. По снопам искр, которые словно метеоры прорезали стену пламени и дыма, можно было понять, где рушатся балки. В коридор они прошли не через дверь, а прямо сквозь стену — она уже прогорела и обвалилась. Здесь огонь был потише. В квартире было пять комнат. Они прошли через все пять. Нигде никаких признаков человека — ни взрослого, ни ребенка, ни живого, ни мертвого. Всюду огненный смерч. «Теперь и нам самое время уносить ноги», — прокричал Билл отцу, когда они уткнулись в полыхавшую дверь черного хода. Они двинулись назад. Впереди шел Билл. Теперь они шли быстрее: нужно было поскорее выбраться на свою лестницу. Отец немного отстал: решил заглянуть в ванную комнату. Он сделал шаг влево, направил струю воды в сторону на уровне своих колен. Струя ударила во что-то металлическое. Добравшись до этого предмета, отец опустился на колени. Это и впрямь была ванна. В горячей воде, наполнявшей ее больше чем наполовину, он нащупал голову маленькой девочки. Она была без сознания, но дышала. Закутав девочку в какие-то тряпки, которые плавали в ванной, отец понес ее к лестнице. Билл нетерпеливо ждал его в проеме окна. Отец передал девочку Биллу, снял маску, жадно вдохнул свежий воздух. Присев на подоконнике, он ждал, пока Билл с девочкой спустится на несколько перекладин. И в это мгновение рухнула крыша. Под ее тяжестью один за другим обвалились крепления. Одна из балок увлекла в огненную бездну отца...

И вот я один. Никогда не думал, что это так страшно — быть одному. Особенно жутко дома ночью. То и дело принимался скулить Гюйс. Пришлось взять его к себе под одеяло, только тогда он затих. А мне все казалось, что в соседней комнате ходит

<sup>2</sup> Вака тауа — боевое каное (маори).

папа. Раза два я вставал, зажигал свет, звал его, просил вернуться. Казалось, что вот-вот откроется дверь и он появится на пороге, улыбнется, потреплет меня по плечу. Но в доме все было тихо, только ветер погромыхивал где-то куском железа да мяукал на улице бездомный кот...

Вчера мы с Джун были на кладбище. Я сдержался, не плакал. Ведь скоро семнадцать — совсем уже взрослый. Я никогда раньше не говорил отцу, как сильно его люблю. А тут стал ему мысленно рассказывать об этом. Как я был рад, что пошел дождь. Разве кто поймет, где капли дождя, а где слезы?..

Потом мы бродили под дождем по городу, зашли в костел. Там было сумрачно, пустынно. Я долго смотрел на темные капли крови на челе Христа. Сдавило сердце, стало трудно дышать, все поплыло, закружилось. Если бы не Джун, я бы наверно упал. Я долго держал ее за руку. Стало легко, спокойно. И вот тут я захлебнулся слезами и ничего не мог с собой поделать. Мне не стыдно было перед Джун — я не ощущал ее чем-то отдельным от себя...»

...А потом, позднее, был такой разговор:

— Мерв, все последнее время меня угнетает мысль: так ли уж правильно, что ты едешь во Вьетнам? Действительно ли это самое верное решение? — Джун смотрела на Мервина тревожно и печально. — Пока еще, наверно, не поздно...

— Джун, дорогая! Сколько раз мы говорили об этом с тобой! Мы ведь решили, что будем строить свою жизнь без какой-либо помощи со стороны. Так?

— Да, только сами. Папины деньги нам не нужны...

— Жить за счет другого — позорнее этого для маорийца не может быть ничего на свете!

— Я счастлива, что люблю маорийца.

Мервин наклонился, благодарно поцеловал Джун.

— В моем положении Вьетнам является лучшим и, пожалуй, единственно верным решением, — проговорил он. — После гибели папы... Беззаботная жизнь кончилась. А к новой, ты знаешь, я не был готов. Новая жизнь... Растет безработица. Да и что я могу заработать, даже если мне и повезет и я куда-нибудь устроюсь? Без специальности я стою в лучшем случае тридцать — сорок долларов в неделю. На такой заработок не проживешь не только с семьей, но и один. А Вьетнам — Вьетнам, это хорошие деньги. Вьетнам — это ты и я вместе, и на всю жизнь. И всего лишь через каких-нибудь год-полтора...

— Но Вьетнам — это кровь, грязь, — тихо проговорила Джун. — Шарлотта, когда узнала, что ты едешь волонтером в Индокитай, заявила, что она и мысли не могла допустить, что ты потенциальный убийца.

— Твоя Шарлотта забывает, что на войне стреляют с обеих сторон.

— Нет, не забывает. Только вчера она рассказала мне, сколько молодых французов не вернулось домой из джунглей...

— Одно я знаю твердо. — Мервин невесело улыбнулся. — Согласно моему гороскопу я умру не насильственной смертью. Так что экскурсия в джунгли под Сайгоном меня не очень-то страшит... Я и сам знаю, что деньги эти нечистые, что они пропитаны кровью. Но я не вижу, не вижу другого выхода!..

## 11

— А знаешь, тебе форма идет! — Джун улыбнулась, ласково и грустно глядя на Мервина.

Прошло три месяца с тех пор, как они виделись последний раз. Целых девяносто бесконечных дней! Сержант, приятель Дылды Ричарда, сдержал слово. Он, правда, клялся и божился, что дело это совсем не легкое, очень даже канительное и хлопотное. Часами говорил он юным волонтерам о трудностях, ожидающих их на пути к славе и богатству, в частности о том, как трудно войти в число посвященных. Делал он это в витиевато-туманных выражениях во время походов с молодыми людьми во второсортные ресторанчики. Шепотом называл он имена влиятельных штабных офицеров. Когда Мервин и Дылда с унылой готовностью, расплатившись за пиво и виски, усажи-

вали хмельное начальство в такси, оттуда еще долго слышались громогласные выкрики: «Смирн-на! Всем — слушай мою ком-м-м ан-ду!.. За-ря-жай!»

Все же он сумел за три недели оформить необходимые документы, и Мервин с Ричардом были зачислены в артиллерийскую батарею на должности водителей тягачей. Батарея готовилась к отправке во Вьетнам. Местом ее дислокации оказались военные лагеря в Вайору, куда и были незамедлительно доставлены оба вновь испеченных солдата. Началась трудная армейская муштра.

На первых порах Мервину все казалось удивительным, даже по-своему романтичным. И полет ракеты во время ночных учений. И преодоление вброд быстрых речушек, когда брызги разлетаются в стороны, а десятифунтовую форель хоть голой рукой хватай. И прыжок с парашютом, когда навстречу тебе летят туманные, бесконечные дали, а ты захватывающе медленно скользишь вниз и наконец падаешь. И даже монотонно-нудное рытье окопа, когда вровень с твоими глазами пчела священнодействует над цветком... Он выдыхался вконец, еле добирался до койки, с невероятным трудом поднимался по утрам.

Постепенно ощущение новизны притупилось. Мервин стал меньше уставать. Все чаще возникала мысль о том, до чего же человек — злбное животное, если всю свою энергию, весь свой ум направляет на то, чтобы научиться как можно лучше умерщвлять себе подобных. Однако мысль эта отступала, тускнела, когда перед его мысленным взором возникали пачки зеленых бумажек. «Тысячи монет, — подзуживал Дылда Ричард, — Только успевай мешки подставлять...» В мешки Мервин, разумеется, не верил, но ведь нужно же иметь хоть что-то, чтобы они с Джун могли зажечь своей семьей! Если не убьют, конечно...

По телефону Джун и Мервин разговаривали друг с другом почти каждый день. Она звонила ему после одиннадцати вечера, устроившись на диване в темной гостиной. Говорила в самую трубку, тихо, чтобы никто из домашних не услышал. Первые недели две дежурный младший офицер вежливо пытался объяснить ей, что частые разговоры противоречат армейским правилам, что время уже позднее и все солдаты спят сном праведников. Назвавшись то теткой, то старшей сестрой, она придумывала какую-нибудь незамысловатую семейную историю и добивалась своего. Потом к этим поздним звонкам вроде бы привыкли и не допытывались, кто звонит и зачем.

«Родной мой, — начинала она, услышав его голос, — это опять я, Джун. Как ты прожил этот день?» — «Я слышу тебя, значит, все хорошо...»

В полусне он подходил к телефону и в полусне возвращался к своей койке. По утрам он не мог вспомнить, о чем был разговор накануне. Да и не силится вспомнить. Только эти ночные переговоры, в полусне, шепотом и радовали его теперь.

И вот Джун приехала в Вайору за день до отправки батареи «к месту дальнейшего несения службы». Намеревался побывать в Веллингтоне сам Мервин — ему был положен краткий отпуск. Но Джун легко убедила его, что будет лучше, если придет она: в городе им помешают побыть вдвоем сколько хочется. На самом же деле она боялась, что в городе все будет напоминать ему о недавней утрате, что его потянет на старую — и уже, конечно, заселенную другими — квартиру и, разумеется, на кладбище...

— В форме ты совсем взрослый мужчина! — говорила Джун, спрыгнув со своего «судзуки» и подходя к Мервину.

Мервин, нимало не заботясь, видит ли их кто-нибудь, подхватил Джун на руки и зашагал вдоль шоссе прочь от ворот гарнизонного городка. Так он прошел ярдов пятьдесят, а потом, бережно опустив Джун в густую траву, сел рядом. Прямо над ними низко клонили свои ветви деревья. При порывах слабого ветра солнечные блики играли на траве. Дремотную тишину нарушали лишь редкие гудки автомобилей да голоса непоседливых птичек туи.

— Я так испугалась за тебя, когда недели три назад услышала в последних известиях о трагическом происшествии в вашем лагере, — говорила Джун, лежа на спине. — Как же это случилось?

— Шли занятия по отработке элементов уличного боя. — Мервин тоже лег на спину. — Нам были розданы холостые гранаты. Вдруг в самый разгар атаки я слышу дикий вопль сержанта: «Все — ложись!» Падаю на землю. И тут же гремит взрыв. Когда

пыль осела, мы подбежали к сержанту, а он уже мертв. В нескольких шагах от него солдат лежит, тоже мертвый... Оказывается, среди холостых гранат случайно оказалась одна боевая... Солдат понял это, когда сорвал чеку. Крикнул сержанта, тот выхватил у него гранату, да не успел отбросить ее подальше. Так в руке у него и взорвалась... Трое маленьких детей остались сиротами...

— Как страшно,— прошептала Джун.— Не успели еще выехать на войну, а счет потерям открыли...

— На войне, как на войне, мисс,— произнес голос, показавшийся Джун знакомым. Она приподнялась, села и увидела Дылду Ричарда. Он приветствовал ее взмахом руки и добавил:— Кому что записано в Книге судеб, тот то и получит. Герой — славу, трус — позор.

— Я полагал, что хоть сегодня могу быть избавлен от неизбежной во все другие дни компании.— Мервин нахмурился, но сказал это спокойным, даже безразличным тоном.

— А я всегда полагал, что вежливость обязательна для джентльменов! — Дылда не собирался уходить. Он растянулся на траве, закурил сигарету и продолжал: — Лично я уже распрощался со всеми велингатонскими красотками и теперь готов ко всему. Мервин, а за ним и Джун молча поднялись и пошли к воротам.

— Шалопай!.. Такой может вывести из себя целый батальон,— в сердцах сказал Мервин.

— Ему ведь тоже тоскливо одному в четырех стенах,— сказала Джун.— Лучше поедем искупаемся. Ты говорил, неподалеку есть озерко.

— Есть,— радостно подхватил Мервин,— милях в сорока отсюда.

Час езды по асфальтированному шоссе, потом по грунтовой дороге. По ее сторонам столетние сосны дремотно млели под солнцем на пологих травянистых склонах. Дорога покатила под гору, и вскоре открылось озеро, нетронуто чистое.

Они оставили мотоцикл у дороги и, держась за руки, сбегали к воде. У берега ходила жирная форель. Лучи солнца освещали разноцветные камни на дне. Дожнул теплом ветер и затих за крутыми невысокими скалами.

Джун быстро сняла джемпер и джинсы. Оставшись в трусиках и лифчике, подняла лицо к солнцу, зажмурилась, потянулась всем телом и бросилась с разбегу в озеро. Не прошло и минуты, как Мервин догнал ее. Они долго плавали рядом, смеясь, обдавая друг друга брызгами.

Потом Мервин взял Джун на руки и медленно понес к берегу.

— Какое мягкое, бархатное одеяло,— чуть слышно сказал Мервин, выходя на берег и осторожно опуская девушку на траву. Он наклонился над ней и стал целовать ее щеки, глаза, шею.

— Не надо, любовь моя,— шептала Джун,— не надо...

— Не надо, радость моя,— согласился он.— У нас с тобой еще будет много-много светлых, радостных дней!..

Лучи закатного солнца окрасили окрестные холмы в кирпично-красные тона. Повеяло прохладой. С озера шумно снимались дикие утки.

Пока Джун раскладывала на целлофановой скатерти куски жареной курицы, сыр, помидоры, сухую жареную картошку и сэндвичи, Мервин принес несколько охапок валежника и развел костер. Они проголодались и ели с удовольствием, запивали еду пивом прямо из горлышек маленьких бутылок, чокались ими, целовались. Джун покраснела, глаза ее блестели.

— Ты заметила, что вода в озере имеет солоноватый привкус? Говорят, часть дна покрыта толстым слоем каменной соли. Просто и понятно. Но говорят и другое. Сотни лет назад на этом месте будто бы и озера никакого не было. Здесь жило многочисленное воинственное племя. Однажды на войну ушли все мужчины — от мала до велика. И ни один не вернулся. Все погибли. Долго ждали их матери и жены. Месяцы и годы стоял над этими холмами скорбный плач. Слезы женщин стали водами этого озера. Со временем дожди и подводные ключи разбавили его пресной водой. Но до сих пор каждый, кто глотнет озерной воды, вспомнит о великой печали и великой преданности женщин...

Джун глухо сказала:

— Не хочу, чтобы к слезам тех несчастных добавились и мои. Ты ведь вернешься, правда? Скажи, что вернешься!

— Вернусь, я непременно вернусь!

— Мадемуазель Дюраль сказала перед отъездом, что не хотела бы мне лучшего мужа, чем ты... За это я люблю ее еще сильнее...

— Перед отъездом? — спросил Мервин. — Разве она уехала?

— Ах да, ты же не знаешь!.. Она уехала неделю назад во Францию на похороны своей сестры. Дом наш осиротел..

— Но ведь она скоро придет и я вернусь. Не надо плакать, не надо хоронить меня живо!

Ночевала Джун в ближайшем к лагерю мотеле. Все номера были заполнены родственниками солдат и офицеров батареи, и сердобольная хозяйка поставила ей переносную койку в собственной гостиной. Спала Джун плохо, часто просыпалась: кто-то шептался за стенкой, кто-то проходил мимо нее в ванную комнату, к мотелю кто-то подъезжал и отъезжал.

Она встала рано, в половине седьмого, совершенно разбитая. Болела голова, не хотелось есть. Свежий утренний ветер не принес облегчения.

Мервин был молчалив, задумчив. Разговора не получилось. На все вопросы Джун отвечал «да» или «нет». И она поняла, что он уже не здесь, не с нею, а где-то далеко, очень-очень далеко. Потом были объятия, поцелуи. На бегу к машине Мервин оглянулся, помаhal ей рукой, крикнул:

— Гюйса береги!

Джун стояла, облокотившись на «судзуки», и смотрела вслед уходившим на аэродром машинам. Одна из них увозила Мервина, увозила надолго, может быть навсегда. «Нет, не навсегда!» — едва не выкрикнула она вдогонку этим ненавистным ей машинам. Внезапно ее охватил страх — страх одиночества, страх своей беспомощности, ничемности.

«Я даже забыла ему сказать, что у дяди Дэниса объявился сын в Южной Америке, совсем взрослый — за тридцать. И дядя Дэнис отправился в Рио-де-Жанейро по нянчить своих собственных внуков... Забыла, как много я забыла сказать тебе, Мервин...»

*(Окончание следует)*



---

---

# НА ЗАРЬЕ ЖИЗНИ ТЕ МЫ

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА



## АЛЬБИОН И ТАЙНА ВРЕМЕНИ\*

### ТРИ ДВЕРИ В ЦАРСТВО МОДЫ

**М**редставилось мне однажды человечество, лишенное страсти к моде во всех областях своей жизни. Все в этом обществе было устроено и предопределено: быт людей подчинялся лишь законам максимального удобства и стандартной эстетики. Никому в голову не приходило отличиться перед другими. Ничья зависть не бывала возбуждена убранством соседского дома. Радостно вошла я в этот воображенный мною мир и почувствовала себя в нем легко с первой минуты. Как много времени освободилось у всех для благородных дел, возвышенных устремлений, необходимых человечеству открытий. В мире царила гармония.

Но почему так быстро стало нудно внутри этой гармонии? Скольких приятных и тяжелых забот лишилось человечество! Нет, торжествуй, мода!

— Что носят в Лондоне? — жадно спрашивали меня московские модницы. — Платформа отошла? Вечернее платье-мешок еще в моде? Будут ли носить этим летом юбки и блузы из ткани типа марли? Какой формы сейчас каблук? Пелерина на пальто в моде? Какова точно, только, пожалуйста, точно, длина юбки?

Я не могла ответить ни на один из этих вопросов. Скажу более — они казались мне очень далекими от английской жизни.

— Что это? — удивленно вопрошает меня приятель-москвич, сошедший с самолета в аэропорту Хитроу. — Что это?

— О чем вы? — озираюсь я вокруг.

— Да вот девушка. В пончо.

Действительно, неподалеку сидит девушка.

— У нас в Москве пончо уже давно не носят!

Хотела бы я посмотреть на лицо этого человека, окажись он однажды, как я, в кругу знаменитых лондонских антикваров, богатых актрис, экстравагантных преуспевающих художниц. На одной из них было черненькое платье с ляпочками, причем левая ляпочка порвана и завязана узлом на плече. Разглядев это платье вблизи, я не могла не заметить, что оно очень старое, ветхое и темно-серый чехол под гофрированным прозрачным старым шифоном был заметно порван в нескольких местах. Хозяйка платья весело улыбулась мне:

— Я купила его на аукционе «Кристи». Платье шестьдесят лет. Оно принадлежало одной из знаменитых в свое время актрис немого кино. В нем она даже снималась в фильме. Не правда ли, смешно и мило. И модно.

Я вежливо, но не очень искренне согласилась с нею.

Другая гостья поразила мое воображение тоже старым и рваным одеянием — бахаоном из ярко-красного плюша, сплошь вышитым золотистым шелком.

— Это афганская одежда, — объяснила мне его хозяйка, — муж мой, вы ведь знаете, он антиквар, был в Афганистане и там совершенно случайно набрел на этот восхитительный, не правда ли, наряд начала девятнадцатого века. И представьте — совсем недорого.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

Она назвала сумму, за которую в Англии можно купить маленький автомобиль. Я видела на этом вечере старинный китайский халат, используемый как вечернее платье; наряд модниц времен наполеоновских войн; обволакивающие шелка в стиле а-ля Мери Пикфорд и кружевное облако времен королевы Виктории. И все это красовалось на изящных длинных телах современных женщин, спокойно и любезно говорящих об английской погоде, магазинных ценах и профсоюзных требованиях.

— Чему вы удивляетесь? — резюмировала моя подруга Пегги Грант. — Вы попали в круг экстравагантно-артистический, изысканный и изломанный. Скажите еще спасибо, что голые не пришли. Я их не выношу. Куда приятнее ходить в музей одежды. Там манекены одеты точно так же, но не претендуют на оригинальность.

Дамы, бывающие в гостях у миссис Кентон, всегда одеты достойно и прилично: если они приходят вечером, то все как одна наряжены в длинные юбки и яркие кофточки с неперменным украшением у ворота и на шее. Украшения служат неисчерпаемой темой, если разговор вдруг начинает угасать. И все они, с точки зрения их мелкобуржуазного круга, одеты модно.

Лучше всех, по-моему, одеваются друзья и подруги самой Пегги. Все, и женщины и мужчины, в линейных джинсах и свитерах, никто не говорит об одежде. Глядя на них, я снова подумала, что есть истина в мысли об отсутствии моды. Эти люди — молодые художники, врачи, учителя, актеры, как правило только вступающие в жизнь, — не хотят выделяться друг перед другом с помощью блузки или галстука, ибо они совершенно уверены, что это не те предметы, которые выделяют личность.

— Пегги, вам не кажется, что с годами и с ростом благосостояния вы и ваши друзья обретете благообразно-буржуазный английский вид? Как люди крута миссис Кентон. Или повыше.

— Не знаю. Ведь вот я ушла из своей буржуазной семьи. Все это мне претит. Мне кажется — весь мир идет к простоте.

— Но как можете так рассуждать вы, художница по костюмам? Ваше воображение создает модную линию. И вам не хочется примерить все это на себя?

— Во-первых, я не художник по костюмам, а книжный график. На графику не проживешь, слишком большая конкуренция. А костюмы я делаю по необходимости. Я это не очень люблю. И с удовольствием заброшу, как только получу возможность.

— Но пока вы не забросили, помогите мне, пожалуйста, понять, что такое мода в Англии, кто ее определяет, каковы ее тенденции и перспективы. И еще — какой урок я могу извлечь для себя из всего, что узнаю.

Она немного подумала.

— Лицо нашей моды в последние годы определили три имени, три художницы. Это же и три человеческие судьбы, три отношения к жизни, три мироощущения.

Три двери готовы были открыться навстречу моему любопытству. Я подошла к первой.

Мери Куант.

У нее мягкие, крупные, не очень запоминающиеся черты лица. Молодая челка до бровей. Одни считают ее ловкой, другие предприимчивой, третьи человеком с сильным характером. Все правы.

Дочь школьных учителей из Уэльса, Мери Куант, рано проявив склонность к прикладным и изобразительным искусствам, окончила колледж искусств в Лондоне. В колледже она познакомилась с молодым человеком Александром Планкет-Грином. Они поженились. В 1955 году, после двух лет работы — они создавали модели по заказам модных фирм, — Мери и Александр открыли небольшой магазин женской одежды в Челси, районе, где живут актеры, художники — богема. Магазин назывался «Базар» и с первого же дня стал популярен в городе.

Спустя два года они открывают второй «Базар» в районе Найтсбридж. Успех растет. В 1963 году Мери Куант делает свое самое знаменитое профессиональное «открытие». Невероятно простое. Однако никому до нее не пришедшее в голову. Решительным взмахом ножниц она обрезает подол у женских юбок. Так возникает мода мини, которую мгновенно подхватывает молодежь Англии и которая затем победно идет по миру, не очень быстро, но прочно завоевывая и средний женский возраст.

«Открытие» Мери Куант принесло ей всемирную славу и огромные деньги, кото-

рые она не замедлила пустить в дело. Сегодня именем Мери называется огромная фирма, целая промышленная корпорация, которая занимается не только моделированием и шитьем одежды по заказам модных магазинов разных стран, но и продает косметику, бижутерию, постельное белье, материю для платьев. Все более расширяя горизонты торговых операций, фирма «Мери Куант» даже стала продавать вина под своей маркой.

Сама Мери не только знаменита, но и осыпана государственными почестями. В 1963 году Мери была единодушно избрана Женщиной Года. В 1966 году она стала обладательницей Ордена Британской империи. Он был получен ею из рук самой королевы. Этим орденом награждаются в Англии люди, совершившие героический поступок или чем-то особо отличившиеся. В 1969-м ее провозгласили Королевским дизайнером для Индустрии Академии искусств. Венцом славы Куант стала выставка «Лондон Мери Куант», состоявшаяся в 1973 году в Лондонском музее дворца Кенсингтон. Мери — первый дизайнер Англии, при жизни удостоившийся персональной выставки...

Я ходила по залам выставки «Лондон Мери Куант», с первой же минуты ощущая, что нахожусь в мире ограниченного колорита, приглушенных красок. Рисунки на тканях — сочетание крупных горохов с мелким горошком, соединение полосы с клеткой, игра разношироких полос. Что касается линий и форм одежды Куант, то они подчеркнуто просты, удобны для повседневной служебной жизни и чрезвычайно разнообразны. Если вдруг встречается вычурный наряд, его воспринимаешь скорее как шутку художницы, как автопародию. Стиль «мери куант» может нравиться, а может быть совершенно неприемлем. Я легко представляю себе миссис Кентон, которая морщится при виде платья «от Мери»: «Как убого, ненарядно, нет ощущения хорошей вещи!» И так же легко представляю себе молодую женщину, конторскую служащую, для которой марка «Куант» всегда соблазнительна: «А ну-ка посмотрим, «Куант» — это интересно!»

Я ходила по залам выставки «Лондон Мери Куант», думая о том, что успех этой художницы закономерен и справедлив. Она задалась целью, заведомо обреченной на победу: дать каждой девушке со скромными средствами ощущение, что она одета элегантно, современно, удобно, эффектно.

Но успех Мери идет на убыль. Объективно ее время прошло. Имя Мери вписано в историю мировой моды. Во многих странах мира и сегодня ее модели мгновенно раскупаются. Англия же к ним охладела. Пустовато у стендов с тканями фирмы «Мери Куант». Все чаще появляются они в горах материалов, предназначенных для распродажи по сниженным ценам. Мини-юбка после долгой и упорной борьбы уступила место широкому ниспадающим складкам платьев миди. Мери использует в своей работе и миди, однако это уже не ее открытие.

Наиболее горячие ее поклонники утверждают: погодите, Мери еще скажет свое слово. Она удивительно изобретательна.

Пытаюсь на полках магазинов бутылки и баночки с косметикой «Мери Куант». Постельное белье в трогательных мелких цветочках, как правило бежево-палевого цвета, лежит высокими стопками: оно несколько дороже сегодня, чем белье других фирм, и не очень популярно.

«Мери уходит! Уходит!» Вот уже закрылся салон «Мери Куант», где в течение нескольких лет происходили триумфальные показы новых моделей. Салон приобрела хозяйка магазина модной вязаной одежды. И все же Мери пока нигде не уходит. Почти во всех крупных универмагах Лондона есть стенды с ее платьями.

Как бы то ни было, Мери не зачеркнешь. Она стала первой английской модельершей, завоевавшей мир. Самодовольные французские модные дома, сначала с презрением глядевшие на эту «высочку», вынуждены были потесниться: имя Мери стало в ряд с их именем и на какое-то время не без влияния Мери Куант Англия стала законодательницей мировой моды. Это признавали даже французы.

Я ходила по залам выставки «Лондон Мери Куант» вместе со своей любимой Петти. Та, разумеется, зевала, потягивалась, давая мне понять, что находится здесь исключительно из любви ко мне.

— Петти, почему вам не нравится стиль «куант»? Не говорит ли в вас ревность?

— Вообще-то немного говорит. Завидно, что у нее так легко и быстро все пошло.

Она ухватила дух времени. Другие были куда талантливее ее, а духа не ухватили и провалились.



— А что не нравится вам в стиле «куант»?

— Затхлость.

— Пепти, объясните, пожалуйста.

— Не могу объяснить. Затхлость, и все. Именно в этом и есть дух времени. Затхлость у нас сейчас всюду — в жизни, во вкусах, в политике ни одного интересного политического деятеля, затхлость в нашем положении на мировой арене. Затхлость — наше будущее, и в этом отношении Мери — модельер будущего.

— Ох и злая же вы!

— Совсем не злая, правду говорю. Я вообще-то могу ненадолго позавидовать Мери. Могу ее пожалеть — ей очень хлопотно жить со своей славой и необходимостью ее оправдывать. А потом... я ведь художник-модельер по необходимости, а не по призванию. Мне бы книжечками заниматься, графикой. Пойдем отсюда, посмотрелись.

Мы вышли на улицу, в солнце, ветер, зелень. После неярких одежд Мери Куант мир ослепил своей пестротой и многообразием. И правда, некоторая элегантная затхлость, подумалось мне. А все же интересно. Молодец Мери. Выразила «затхлость будущего». Не каждая смогла бы.

«Биба».

Осенний Лондон семьдесят третьего года. Кризис чувствовался во всем. Взлетели цены на бензин — заметно уменьшилось автомобильное движение. Некоторые магазины в целях экономии по вечерам не зажигали света, работали при свечах. Многие фирмы прогорели — на торговых улицах темнели опустевшие витрины с вывесками «Продается».

И вот по унылому серому небу многоцветным хвостом взметнулась комета. Вопреки кризису, вопреки предупреждениям умных людей, вопреки здравому смыслу, словно пир во время чумы, появилось это изысканное, ирреальное, красивое, печальное явление — «Биба».

Всего-то магазин. Так же, как и в истории Мери Куант, начавшийся с маленького магазинчика, разросшийся до двухэтажного универмага на шумной Кенсингтон-хай стрит. «Биба» привлекала всех, кто слышал о ней или проходил мимо. Там было тесно и шумно от вещей, не уместающихся на прилавках и стендах, и людей, перебирающих, разглядывающих, ищущих.

Атмосфера «Бибы» обволакивала с первой секунды. Мягкий приглушенный свет ламп из темного стекла, одежда и мебель из искусственного меха, стилизованного под шкуру леопарда, искусственные лилии и словно искусственные пальмы. Все это напоминало декоративный стиль конца двадцатых—начала тридцатых годов нашего века, недаром журналисты окрестили «Бибу» «тридцатые в шестидесятых», а потом «в семидесятых». Как бы там ни было, двухэтажная «Биба» слыла забавным местом, народ валял, и многие, особенно туристы, выходили из «Бибы» не без свертков.

С 1964 по 1973 год история «Бибы» была историей одной женщины, Барбары Хуланьки. Это ее причудливое и талантливое воображение рисовало модели одежды, в которых женщины должны были выглядеть «плачущими ивами», «умирающими лебедями», «волнующими пантерами». Барбара, художница с размахом, развивая свой декоративный стиль, вводила его в убранство жилищ и даже кухонь.

Воображению Барбары становилось тесно на двух этажах ее магазина, и ею завладела мечта, мечта эта была всего через дорогу. Мечта зияла громадными черными витринами, сверкала облупленным фасадом. Год назад здесь прогорел большой пятиэтажный универмаг «Дерри и Том». Место было хорошее, людное, имя у «Бибы» весьма шумное. Барбара и ее муж и помощник Стефан Фитцсаймон решили пойти на риск.

— «Биба» переезжает! Вы слышали? В «Дерри и Том».

— Да! Там будет роскошный магазин и кафе на пятом этаже. Нечто умопомрачительное!

— Сумасшедшая Барбара. Что она делает? В такое время!

— Она сломает себе шею.

— Она непременно сломает себе шею.

— Никто не сомневается — она сломает себе шею!

И вот двери нового универмага, какого еще не знал Лондон, тяжело, но мягко раскрылись.

Меня встретила симфоническая музыка, которая оборвалась, как только я миновала утопающий в мягком ковре вестибюль и вошла в полутемный огромный зал первого этажа. Здесь уже гремел поп-гром-концерт, «перья страуса склоненные» качались, овеявая пряными благовониями. Все четыре этажа нового универмага были скорее похожи на огромную квартиру с черными стенами и черными потолками, где первый этаж, заставленный мягкими леопардовыми диванами у витринных окон, явно выглядел как гостиная. Лондонцы и туристы быстро оценили все преимущества этого полумрака — здесь у витрин под пальмами назначались свидания, сюда заворачивали отдохнуть и поразвлечься, разглядывали из окон прохожих усталые провинциалы. Им совсем не подходили товары этого странного магазина, но почему не зайти, если можно даром посидеть на мягких диванах. Здесь, на этих диванах, познакомилась не одна молодая пара из тех, чьи дети уже бегают по улицам английских городов.

«Биба» предлагала стиль жизни расслабляющий, убаюкивающий, резко отличный от того, какой диктовала Англии действительность. Люди смотрели, многие восхищались, многие из тех, чья молодость падала на тридцатые, подносили платочек к глазам, но мало кто следовал за «Бибой». Время не возвращается. Нарочитый эклектизм Барбары Хуланики был обречен.

Высокая красавица с флорентийским профилем, с двумя тяжелыми белыми косами вокруг головы, где бы ни появлялась, приковывала к себе всеобщее внимание: значительная личность, характер.

Все, чем был интересен новый универмаг, продумывалось, взвешивалось, устраивалось самой Барбарой. Все, вплоть до меню в кафе, где пища была витаминной и малокалорийной, ибо хозяйка проповедовала стройность.

Да, если вы невелики ростом, широки в плечах или бедрах, если у вас нет длиннейшей талии и длиннейших ног, вы можете бродить по «Бибе» сколько вам угодно, но купить что-либо очень приглянувшееся — увы...

Барбара — художница, люто ненавидящая практицизм, торгашество, приспособленчество, — это понятно. Но Барбара — хозяйка магазина, ненавидящая торгашество и приспособленчество, — это катастрофа. Видимо, Стефан Фитцсаймон был наиболее здоровой головой в этом союзе: едва они решили создать универмаг, он связался с несколькими крупными старыми торговыми фирмами. Но как только необузданное и богатое воображение Барбары завладело всеми пятью этажами, как только вошли первые покупатели, возник конфликт между мечтой и действительностью.

— В магазинах Лондона уровень достигает трех процентов общей суммы. «Биба» опередила всех. У нас двенадцать процентов. Нужно зажечь свет в залах. Такой полумрак необычайно удобен для ворюшек! — требовали совладельцы «Бибы».

— Ни за что! Приглушенный свет — основа стиля! — стояла на своем непрактичная хозяйка.

— Но все разворуют!

— Пусть воруют! Но свет зажигать не позволю!

Внешность продавщиц «Бибы» поражала всех. Девушки непременно должны были быть тонкими, изящными, с длинными ногтями, покрытыми черным лаком, и держаться должны по отношению к покупателям томно и равнодушно.

— Я всегда ненавидела этих алчных старух-торговок в лондонских магазинах, — учила продавщиц Барбара, — они, как голодные шакалы, набрасываются на покупателя и норовят всучить хоть что-нибудь. Не нужно никому ничего навязывать. Кто хочет, подойдет и скажет, чего хочет. И тогда вы обслужите.

Барбару обожал весь штат магазина. Она знала всех по именам. Люди понимали, что с такой удивительной хозяйкой вряд ли им придется долго быть вместе. Но никто не решался уходить, ожидая, что же будет.

А было все просто, просто. И быстро, быстро. Барбаре-художнице наскучило ее детище, его терпкий стиль уже раздражал ее, она тянулась к чему-то другому, ее стала мучить вторичность стиля, слова «тридцатые в шестидесятых», приятные вначале, звучали обидно, хотя и справедливо. Барбара-хозяйка понимала, что нельзя бросать дело, и равнодушно, холодно связывалась с поставщиками, старалась снизить цены, придумывала новые фасоны. Все чаще передоверяла дела партнерам и наконец сдалась. Парт-

неры перекупили у нее дело. И продержались недолго. Летом семьдесят пятого года шумно была объявлена распродажа «Бибы».

И началась вакханалия. В беспомощно распахнутые двери «Бибы» ринулся весь город. Позолоченные платья, соломенные шляпы с перьями и цветными лентами, украшения из слоновой кости, игральные карты с эмблемой «Биба», шубы «под леопарда», широченные кружевные юбки золотого, серебряного, химически-малинового и зеленого цвета; узкие шерстяные туники, серые, полосатые, под зебру, под кенгуру; чулки всех возможных и всех невозможных цветов, чемоданы под жирафа, пальто до пят, из прорезиненного тяжелого материала с высокими плечами, узкие платья с огромными пуговицами разных цветов, китайские халаты, расшитые райскими птицами и цветами; мыло с эмблемой «Биба», куски материй, раскрашенные под шкуры всех зверей на свете, блокноты, ручки, плакаты с эмблемой «Биба»; огромные сундуки, доверху набитые пуговицами, змейками, туфлями с пятками и без пяток, с платформами и без платформ, наши — эмаль по жести — подносы (и они были включены Барбарой в свой стиль), позолоченные, причудливо изогнутые вилки и ложки, перья страуса, стаканы из притемненного стекла, супницы в форме петуха, салатницы в форме капустных листьев, пепельницы — вороны клювы, абажуры во множестве, неяркие, серо-черно-бежевые с кистями; кружевные мрачные покрывала, черные тарелки с золотыми ободками, плетеные корзины и хлебницы в форме тюльпанов, пояса-змей, искусственные лилии, пыльные и поникшие пальмы в кадках, круглые вешалки, духи с особым пряно-дразнящим запахом, черные лаки для ногтей, черные, темно-бордовые, голубые и зеленые помады для губ..

Все это согласно объявлению должно было уйти. И удивительно: все, прежде вызвавшее лишь любопытство, многим недоступное и ненужное, вдруг стало нужно всем. Толстые и худые, высокие и маленькие, старые и молодые, нервничая, суетясь, перехватывая друг у друга, почти задаром брали, брали, брали. И все прибывал, прибывал поток с улицы. И все больше и больше становилось тех, кто не платил за тряпки, а спокойно, не смущаясь выносил то, что понравилось. Никто ни за кем не следил, воровство становилось массовым. Казалось, дух Барбары, безумный, странный вольный дух, витал над всем этим дозволенным разбоем. Кто-то тащил вешалку, громко смеясь и крича:

— Пойдем, пока полиция не видит!

«Биба» падала в пропасть так же широко, стремительно и нелепо, как и поднималась на свою сомнительную высоту.

И сразу же на следующий день после первой грандиозной распродажи-растаски Лондон стал городом «Бибы» — все оделись в ее ткани, ее туфли и шляпы, ее леопардовые воротнички. На какое-то мгновение сбылось уже после катастрофы желание художницы — город стал почти таким, каким она хотела его сделать. Но не течет река вспять. Тряпицы «Бибы» быстро растворились в огромном потоке одежд.

У меня осталась от «Бибы» колода маленьких карт с ее эмблемой на обратной стороне: на черном фоне, в золотом круге в страстном танго застыли две фигуры. Когда я гляжу на эту эмблему, мне чудится обреченность и какой-то сарказм в этих фигурах и приходит мысль: уж не посмеялась ли над Англией эта красивая женщина Барбара Хуланьки?

Л о р а Э ш л и.

Казалось, в Лондоне гастролирует народный ансамбль танцев и песен, который называется как-нибудь вроде «Добрая старая Англия», и участницы ансамбля разгуливают по улицам в тех же платьях, в каких выступают.

Платья были длинные, из парусины, хлопка, полотна, вельвета, с оборками и рюшами, блузы в кружевах. Подолы щедро мели лондонские мостовые, и от обилия этих нарядов становилось тепло и уютно: неуместными вдруг оказывались не они, а линные джинсы и мужские блузы на женских плечах. Восстановилась гармоническая справедливость разнополой природы: женщины шли как женщины, более того, как английские женщины — платья подчеркивали национальный характер, разжиженный, разбавленный бытом XX века. В покрое всех этих разнообразных платьев, блуз, юбок чувствовалась одна рука.

«Лора Эшли», так же как «Куант» и «Биба», — семейный комбинат, с той лишь разницей, что ни сама Лора, ни ее муж Бернард не могут похвалиться ни экзотическим происхождением, как Барбара, дочь польского дипломата, родившаяся в Израиле, ни высоким художественным образованием, как Мери Куант. Семья Эшли из английской глубинки.

— Мы, по сути, деревенские люди, приехали из деревни в Лондон, а теперь снова вернулись в деревню. И вся наша жизнь, все, чем мы занимаемся теперь, окрашено любовью к деревне, — признается Бернард Эшли.

Лора и Бернард Эшли поженились в 1949 году. Бернард, молодой инженер, работал в Сити, Лора собиралась посвятить себя домашним и семейным заботам. Еще девушкой она посещала Ассоциацию для женщин сельских областей. Ассоциация поощряла интерес женщин к разного рода прикладным искусствам и ремеслам.

Сначала для своего дома, потом для друзей и знакомых Лора начала шить лоскутные одеяла, которые удивляли всех красотой и оригинальностью. Еще более удивлялись друзья Лоры, когда увидели ткани, которые она расписывала вручную, настольные подставки ее работы, разрисованные ею посудные полотенца.

— Послушай, ты можешь хорошо заработать, продав свою продукцию, — пошутил кто-то из друзей.

И вот так, шутки ради, Лора предложила несколько своих работ одному изысканному лондонскому магазину, и, к ее удивлению, магазин не только взял их, но тут же сделал новый заказ. Изделия Лоры начали расходиться с такой быстротой и успехом, что чета надумала купить набойную машину для раскраски больших кусков ткани.

Эшли перестали шутить, когда увидели, что первые модели Лоры расхватали в пять минут, они поняли, что нужно выбирать между дилетантизмом и профессионализацией. Сначала в Кенте, а потом и в Уэльсе Эшли завели фабрику по производству тканей и мастерскую платьев по моделям Лоры.

Удивительная история: горят огромные фирмы, трещат по швам испытанные в кризисных боях концерны, а маленькое деревенское производство Лоры Эшли набирает силу — что ни год, в Англии открывается еще один магазин «Лора Эшли». И всегда в них множество девушек, присматривающихся, примеряющих, покупающих. «Секретом Лоры Эшли» занимаются журналисты, модельеры, досужие сплетницы и завзятые модницы...

На Фулэм-роуд находится один из магазинов Лоры Эшли.

Маленькое помещение завешано платьями. У входа женщина непременно с вежливой улыбкой отнимет у вас большую сумку, если она с вами, и выдаст вам номерок. Фирма зорко следит за тем, чтобы модели не разворовывались, популярность их велика, а ворешек в последнее время прибавилось.

Платья Лоры Эшли висят в магазинчике не так, как принято в Лондоне: здесь нет манекенов, нет простора, дабы вам удобнее было выбирать. В узком зальчике перед грудями висящих на одной длинной вешалке платьев толпятся множество молодых женщин. Слегка толкаясь перед узенькими и неудобно повешенными зеркалами, они прикладывают к себе синие, в мелких цветочках, с оборками и рюшами, блекло-серые в синих разводах, обшитые кружевом, грязно-желтые в бледно-сиреневых кружочках платья, блузы, юбки.

В тесной и очень неудобной примерочной женщины переодеваются в Лорины платья и подолгу, не спеша крутятся перед зеркалом. Примерочная одна на всех, никто здесь не стесняется. И при тесноте никто никому не мешает. За штормками примерочной терпеливо ждут те, кто еще не примерял. Никто никого не поторапливает.

Для того чтобы платья Лоры Эшли произвели впечатление с первого раза, нужно иметь «натренированный глаз». При первом взгляде на них у женщины, привыкшей восторгаться яркими цветами, смелыми сочетаниями фиолетового с красным, зеленым и синим на синтетических тканях, которые у нас многие предпочитают всем другим, — при первом взгляде у нее возникнет «законное чувство разочарования»: так ткани Лоры похожи на те, которые у нас принято называть старушечьими, которых пруд пруди в сельпо каждой русской деревеньки.

Не знаю, в чем, собственно, состоит секрет успеха Лоры Эшли, процветающей в такие сложные для Англии дни, когда почти никто здесь не процветает. Может быть, он

в немалой степени объясняется тоской по «добрым старым временам», которые и не были столь уж добрыми, но стали казаться таковыми на фоне недоброго сегодня. Вот и платья эти нехитрые — в чем их секрет, сформулировать не возьмусь, но знаю, на себе испытала их притягательность: сначала я глядела на них с явной насмешкой, потом с сомнением, но стоило надеть, как из человека второй половины XX века немедленно превращалась в женщину начала его.

Смелая индивидуальность Лоры Эшли наложила заметный отпечаток на всю современную моду. Лора первая ввела длинные юбки, хотя это новшество и не прославилось так, как мини-юбки Куант. Это Лоре обязан мир моды обилием оборок и кружевных прошив в своих моделях.

Как истинный художник, Лора уверена в себе, не боится конкуренции и, как мне кажется, не падка на рекламу. Во всяком случае, я ни разу за годы жизни в Лондоне не встречала рекламы ее фирмы, чего не могла бы сказать ни о Куант, ни о Хуланики, ни о других.

У Лоры подлинно народный характер: меньше слов, больше дела. Я вижу, как другие модельеры используют идеи Лоры, и, будучи ее поклонницей, беспокоюсь: не обобщили бы. Но саму художницу это нисколько не волнует: переняли кружева — и пусть, не до кружев сейчас, вот новая идея кроя юбок, такая идея, такая!

— Нам сейчас очень подражают, — соглашается со мной Бернард Эшли, — но нас это мало беспокоит, ведь наши цены вне всякой конкуренции.

Вот еще один секрет успеха дела Эшли: цены на платья, как говорится, божеские. Платье с длинной юбкой, высоким воротником, пышными рукавами и турнюром, романтичное, молодящее и идущее любой женщине, стоит совсем недорого, много дешевле подражаний Лоре в дорогих магазинах.

— Мы убедились, что можно быть счастливыми оттого, что приносишь людям радость своей работой и не наживаешься на ней. Конечно, мы должны быть очень аккуратными, чтобы не вылететь в трубу, но и алчности в нашей семье пока не заметно, — рассказывает Бернард. — Бывает, Лора создаст модель и она так нам нравится, так хочется, чтобы все ходили в таких платьях, что Лора начинает ломать голову, как бы сделать платье подешевле не в ущерб его качеству. Чаще всего, если платье обходится нам дороже других, мы все же приравниваем его цену, надеясь, что компенсируем убытки в будущем. И ничего, живем, не разоряемся. В конце концов, чем больше женщин носит наши платья, тем больше людей их видит и хочет купить.

— А теперь, — сказала Пегги, посмеиваясь, — оглядитесь вокруг и скажите мне честно, положа руку на сердце: что вы видите на улицах Лондона? Я говорю о моде.

Мы стояли в том месте Оксфорд-стрит, торгового чрева английской столицы, которого не минует никто: справа был магазин готового платья, знаменитый на весь мир «Маркс и Спенсер»; слева — самый крупный универмаг на Оксфорд-стрит по имени «Сельфриджес»; правее через дорогу виднелись сине-красные буквы магазина «Си энд Эй»; над головами на карнизе «Сельфриджеса» мужской манекен поминутво снимал шляпу. Его, беднягу, никто не замечал, из витрин глядели на народ элегантно-вульгарно изогнутые манекены, одетые по законам и правилам сегодняшнего дня — дорого, модно, добротно.

— Я вижу, что люди не следуют за манекенами, а наряжены, как говорится, во что бог послал.

— Вот именно. Заметьте при этом, здесь, на Оксфорд-стрит, собственно лондонцев сейчас меньше половины. Здесь туристы со всего света, провинциалы. Я очень люблю смотреть на публику и угадывать, кто откуда приехал и зачем. Понимаете, я считаю, в наше время чем люди культурнее и образованнее, тем меньше они заботятся о туалетах. — Пегги бросала слова как бы мимоходом, они, видно, были давно ею обдуманы. — Но кто стремится быть одетым моднее других? Тот, кто, в общем-то, духовно неразвит. Пытается заменить духовный вакуум внешним видом. Вот и все. Довольно просто.

О да, милая Пегги, все довольно просто, так просто, что сложно передать и объяснить, почему все же такое множество народу во всем мире так озабочено такими пустяками, как одежда.

Напоследок скажу, что, разобравшись с помощью Пегги кое в чем, что касается моды, я, покупая в Москве в дни отпуска сувениры для английских друзей, зашла в прозрачный «аквариум» Ленинградского рынка, что неподалеку от моего дома. Купила там в отделе «Ткани» три куска материи: малиновый вельвет, мелкоцветный «старушечий» ситчик и крепдешин такой расцветки, о которой наши модницы говорят «страшно смотреть». Все три куска я подарила миссис Кентон — из моды знакомых она одна придавала значение туалетам и модам. Она долго щупала подарки, прикладывая их к лицу, потом сказала:

— У меня два вопроса. Первый: вы в самом деле дарите это все мне? Второй: это в самом деле сделано в Советском Союзе?

После моих утвердительных ответов миссис Кентон сделала, как обычно, точный и безапелляционный вывод:

— Наши газеты мерзко врут, когда пишут, что в Советском Союзе люди одеты много хуже нашего. Я всегда знала, что они врут, но чтобы врал так нагло!..

— Что носят в Лондоне? Что носят? — жадно пытала меня пышнотелая практичная москвичка, кривя пухлыми ногами, обутыми в веревочные платформы, сверкая желтым платьем из трайседа, которое сильно обтягивало ее выпирающее из пятидесятого размера тело. — Что носят?

— Хорошую фигуру, — безжалостно и подло отвечала я, зная на собственном опыте, как трудно в Лондоне со славянскими формами найти во множестве магазинов не «что-нибудь особенное», а «хотя бы что-нибудь». Если вы победили себя и сильно похудели, вам легче: «Маркс и Спенсер» всегда готов приодеть вас прилично, соответственно возрасту — юбка, блузка, скромное платье, брюки; цветовая гамма вся, но без промежуточных оттенков. Правда, все это от сорок второго до сорок восьмого размера. Очень редко попадаетея пятидесятый.

Если же вы молоды и можете похвалиться фигурой вполне английского свойства (узкие бедра, широкие плечи, длинные ноги, длинная шея) и при этом ваш размер соответствует нашему сороковому или тридцать восьмому (я сомневаюсь, есть ли у нас такие размеры для взрослых женщин), если вы непременно желаете быть модной одетой — молодежные магазины Лондона раскинут перед вами такое множество брюк, юбок, платьев из материи «деним» (из нее делают джинсы), что вы всегда будете чувствовать себя современно и удобно одетым.

### ПЕГГИ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

Британский музей и его знаменитая библиотека расположены в одном огромном здании. Поднявшись по ступенькам широкой лестницы, миновав колоннаду перед входом, вы попадаете в руки стражей порядка: два пожилых господина непременно проверят вашу сумку или портфель на предмет бомбы. «Ко мне, молодая леди! Ко мне, красавица!» — покрикивает один из стражей, пухленький и добродушный. Второй, всем своим видом выказывая равнодушие к посетителям, мельком заглядывает в сумку. Этот ритуал стал сейчас в Лондоне нормой: в зависимости от напряженности политических отношений с ирландцами-католиками разные учреждения города охраняются то слабее, то сильнее. В дверях же наиболее важных заведений всегда стоит контроль. Он типично английский, этот контроль, и устроен специально для тех, кто никогда ни за что не станет проносить никакую бомбу. Поэтому служба у пухленького контролера весьма приятная, он зыывает девушек, заглядывает в их сумочки, перебрасывается веселыми приветствиями. Собственно, он не так уж и заглядывает: по моим наблюдениям, его куда более интересуют девичьи мордашки, чем бомбы, которых — он безусловно знает — нет в их сумочках и быть не может. Но коль уж придумали такое правило — заглядывать, да еще в наше трудное время дают за это зарплату, отчего же не заглянуть.

Я всегда думаю, проходя контроль, что бомба с успехом может быть пронесена под полой пальто, ведь входящих не ощупывают, под мышкой и даже просто завернутая в газету, — контроль осматривает только сумочки, сумки, портфели. Но ведь это Лондон и англичане. Если они видят, что чего-то нельзя делать, они не станут обманывать стражей порядка.

Итак, благополучно минуя стражей, вы оказываетесь в просторном, всегда прохладном мраморном холле Британского музея. Прямо перед вами вход в библиотеку.

Стать постоянным читателем этого гигантского кладеза мудрости сейчас очень трудно: так велик наплыв желающих, что администрации приходится всеми возможными путями сдерживать его. Для получения билета вам необходимо сообщить темы, над которыми вы работаете, ваш общественный статус, а также предъявить рекомендацию учреждения или достаточно высокого лица, знающего вас по службе. После этого где-то на административных верхах будет вынесено решение, и вам выдадут билет, который нужно продлевать ежегодно. Если вы покидаете Англию, билет необходимо вернуть в администрацию, где он будет благополучно лежать до того самого дня, пока вы снова не приедете в Лондон и вам не понадобится прийти в библиотеку. Таким образом, вы читатель вечный. Могу представить себе, какие имена значатся на карточках библиотеки, сданных по отъезде из Англии,— все билеты хранятся здесь со дня основания Британской библиотеки.

При входе в главный читальный зал еще один контроль — проверка читательских билетов, тут же при выходе проверяется сумочка уже на предмет воровства, а оно в отличие от взрывов случается в библиотеке довольно часто.

Здесь, в круглом зале, от входа третий ряд направо, стол под номером Н-3 я выбрала себе для занятий. Приходя к открытию, я всегда находила этот стол свободным, а за столом Н-4 всегда уже сидела девушка с длинными белокурыми волосами, в линялых джинсах и неприметном свитерке. Так я познакомилась с Петти Грант.

Собственно говоря, познакомились мы не сразу. Месяца два сидели молча рядом. Иногда к ней подходил высокий, очень худой юноша, и они ненадолго исчезали — шли пить кофе. В этой библиотеке заказанные книги служащие на выдаче разносят по местам сами. Если вас нет, они просто оставляют стопку на вашем месте. Когда я однажды, отлучившись выпить кофе, вернулась, то увидела, что соседка углубилась в чтение заказанной мною книги Рональда Хайли «Цари», большого, богато иллюстрированного справочного тома о династии Романовых.

— Простите,— смутилась она, возвращая мне книгу,— я вначале думала, что это мои книги пришли, открыла первую и не смогла оторваться. Какие гравюры!

Мы разговаривали с ней шепотом, но в тишине зала этот шепот был слышен. На нас оглядывались. Ближайший сосед смерил нас презрительным взором. Однако никто ничего не сказал, никто не сделал замечания. Тоже чисто английская черта. Помню, магазин, торговавший старыми книгами, объявил распродажу по сильно сниженным ценам. Я примчалась к открытию — у дверей уже стоял такой хвост, словно давали толь в ГУМе. Обойдя очередь, я поняла, что мне ничего не светит — самое интересное расхватают в первый момент. И тогда я пошла на поступок, который не осмеливалась совершать дома, в России, где к нему отвесился бы резко отрицательно и где его мне скорее всего не дали бы совершить. Когда секунда в секунду в девять часов утра открылись двери магазина, я решительно прошла вместе с теми, кто стоял впереди. Никто меня не остановил. Никто не закричал: «Куда лезешь без очереди? Безобразия! Тут старые люди с семи часов стоят, а она явилась! Нахалка! Не пускайте ее!» Никто как будто не заметил моего поступка. Я, конечно, не смотрела в тот момент на лица, но уже в магазине перехватила презрительный взгляд одного старика. Все очень сурово осудили меня в душе. Все вынесли приговор. И все оставил мой поступок на моей совести. Если мне не стыдно было так поступить, о чем тут говорить?!

Так и в библиотеке. Боясь суровых взглядов, я прощптала Петти:

— Пойдемте пить кофе.

С этого дня началась наша дружба. Если я когда-нибудь буду скучать об Англии, а, наверное, такое случится, если я когда-нибудь буду вспоминать о ней — ведь здесь прошло несколько лет моей жизни,— одним из самых дорогих воспоминаний будет Петти не только потому, что она была близким человеком и на многое открыла мне глаза, многое показала и объяснила, многое помогла понять. В ней для меня воплотилось все лучшее, что есть в этом народе, хотя именно она, по-моему, была

типичным исключением из английских правил, как известно подтверждающим правила.

Она уехала из родительского дома в восемнадцать лет. Когда объявила отцу с матерью, что ей нужно что-то сообщить важное, отец пригласил ее в гостиную на беседу. Выслушав, что ей хотелось бы поступить в школу искусств — она рисовала с детства — и для этого она намерена навсегда покинуть живописные края Ланкашира, отец посмотрел на мать, та кивнула, и, получив одобрение, он сказал: «Прекрасно, надеюсь, что мы сделали все, дабы ты могла вступить в самостоятельную жизнь без страха. Желаем тебе счастья и успехов. Прошу тебя, запомни, что мы всегда рады видеть тебя здесь. Твоя комната сохранится в том виде, в каком ты ее оставишь. Прошу тебя, запомни также — ты нам ничем не обязана: мы растили тебя для собственного удовольствия, а не в надежде вырастить себе кормилицу. Ты уходишь в нелегкую жизнь и старайся рассчитывать только на собственные силы — ты уже не дитя. Если тебе придется туго, мы не откажем в помощи, разумеется, но старайся не попадать в тяжелые обстоятельства — это может очень огорчить мать и меня. Мы всегда будем рады видеть тебя дома в дни праздников».

Я заставила Петти вспомнить эту сцену и все последующие до мельчайших подробностей — я понимала, что там, в добротном богатом доме Ланкашира, происходило нечто совершенно британское, западное, островное, нам, русским, плохо понятное. Петти припомнила, как после разговора она пошла, собрала чемодан и сумку, позвонила в Лондон знакомым узнать, может ли она несколько дней прожить у них. Следующим утром она отправилась на вокзал в сопровождении родителей. Они купили билет, выпили в буфете кофе, она уселась в вагон второго класса, поцеловав отца и мать, махнула им из окна, и они пошли домой, а она тут же углубилась в книжку, какую — не помнит.

Ей повезло — в Лондоне она быстро сняла комнатенку в мансарде под самой крышей, где жила до последнего времени. Знакомые помогли получить работу — оформить книгу в одном маленьком издательстве (оно недавно погорело), и она поступила в художественную школу, которую благополучно окончила.

— Не понимаю, что такого удивительного и любопытного в моем уходе из дома. Обычное дело. Меня очень давно раздражала буржуазность образа жизни и мыслей моих родителей. Разумеется, я никогда им этого не показывала. Глупо. Они прожили жизнь как хотели. И мне не мешали жить, как я хочу. А впрочем, я их очень люблю. Мама добрая. Она чрезвычайно милая, вот увидите, когда мы поедем к ним на праздники. И отец тоже добрый. Он, правда, педагог, но это не очень заметно.

— Петти, вы пишете им?

— Что вы? Зачем? О чем? Какая им разница, где я, что делаю, с кем общаюсь? У них свои заботы — мама ходит в хоровой кружок. Там у нас прекрасный самодеятельный хор. Они поют народные песни. Она также играет в бинго. А отец — тому хватает дел на заводе, ведь он возглавляет большое предприятие. Целый автомобильный завод.

Стеснительный Дональд прерывает нашу беседу. Он приходит к Петти ровно в семь вечера обедать. Он обедает у нее, потому что у него нет денег, потому что у него язва, а Петти быстро научилась готовить для него диетическую еду, потому что ему негде ночевать и потому что он любит Петти. Дональд моложе Петти на пять лет: ей теперь двадцать пять, а ему только что стукнуло двадцать. Петти с ее решительной ясной головкой годится этому долговязому дитяти в мамочки. Впрочем, внешне это совершенно не заметно — Петти мала и субтильна, а Дональд так зарос волосами, что трудно вообще понять, какого пола и возраста существо, медленно жующее паровую котлету за столом в крохотной кухне, с трудом упрятав ноги под узкий стол.

О нет, они не просто так молодые люди, коротающие время вдвоем. У них общие идеалы, оба озабочены проблемами социального переустройства общества. И здесь первая роль принадлежит Петти — это ей пришлось в голову уговорить несколько бездомных семей захватить пустующие особняки в одном из самых богатых районов города. Они с Дональдом и еще несколькими друзьями провели операцию блестяще, и семьи около полугода жили в этих особняках, воспользовавшись старинным пра-



вом, позволяющим захватывать пустующие помещения. Это право записано в своде английских законов.

— Пегги, почему бы вам не пожениться?

Она смеется. Смех у нее серебристый, легкий, светлый, как она сама.

— Брак — предрассудок. В наше время он даже смешон. Мне вполне удобны такие отношения, какие у нас с Донни. Почему я непременно должна идти в мэрию и ломать какую-то странную комедию, после которой мы с Донни будем считаться мужем и женой? Ничего ведь в нашей жизни от этого не изменится: я буду точно так же готовить паровые котлеты. Или вы думаете, что с большей любовью? Сомневаюсь.

— А родители знают про Дональда?

— Да, совершенно случайно. Папа как-то по делам был в Лондоне, зашел ко мне, мы вместе пообедали.

— И Дональд ему понравился?

— Конечно, нет. Почему он должен ему нравиться? Вы разве не замечали, что отцам крайне редко нравятся мужчины их дочерей. И потом — чем Донни может понравиться папе: он молод, непрактичен, беден.

— Пегги, отец так и сказал: молод, непрактичен, беден?

— Ну что вы, он воспитанный человек. Он вообще мне ничего не сказал про Донни. Они прекрасно поговорили. Папа иногда передает ему приветы.

— Странно... А если вы захотите выйти за Дональда замуж, то будете спрашивать благословения у родителей?

— Ох, какая вы глупая! Неужели не ясно, что я никогда не выйду за Дональда? Опять начинать объяснения: брак — предрассудок, в наше время это смешно.

— А что думает обо всем этом Дональд?

— О чем об этом? О чем вы говорите? Ничего «этого» нет, а значит, я думать ему решительно не о чем. Он думает, конечно, о своих экзаменах, стипендии, работе, о Союзе помощи бедным. И еще думает о том, о чем я ему велю думать.

— Но вы любите его?

Мы чуть было не поссорились. Среди знакомых мне англичан Пегги была самой нетерпеливой и эмоциональной, и она выражала свои чувства открыто. Несколько раз я заставляла ее плачущей из-за каких-то неудач в помощи беднякам и безработным. Она непосредственно хохотала, размахивая светлой гривой. Она была даже суетлива порой.

— А вы знаете, что такое любовь? Вы можете мне сказать точно, определенно, по пунктам, чтобы я, проверив все пункты, знала, люблю ли я Дональда? — набросилась она на меня. — Не вздумайте мне только подсовывать рецепты этого сумасшедшего Фрейда. Вот кто навредил людям своими дегенеративными измышлениями, вернула наизнанку психику и, в сущности, от его «теорий» пошла та распущенность, которую вы так не любите и критикуете на Западе. И не задавайте мне дурацких вопросов. Откуда я знаю, люблю я его или нет? В чем должна выражаться любовь в повседневности? В том, что я стараюсь приготовить ему эту пресную котлетку покуснее? Если в этом, то я люблю Дональда!

Она стала в позу, схватила за сердце и закатила глаза, изображая страсть.

— По совести говоря, Донни раздражает меня черт знает как. Он замечательный парень, но я устала нянчить его!

Мы шли с нею по летнему Риджент-парку, усеянному розами и влюбленными парами, открыто целующимися на траве.

— Вот, поглядите на этих — это любовь?

— Почему же нет? Любовь...

— А я не уверена, что они не познакомились сегодня утром, часа два назад. Вот-вот, вы уже нахмурились, уже не нравится, ваше суровое русское понимание любви оскорблено — ах, какой ужас, только познакомились... Но поймите, люди тоже дети природы, как кошки, собаки и прочая тварь. Два пола притягиваются друг к другу внезапно, сильно, чаще всего внезапно.

Пегги пылала. Она говорила на тон громче, чем говорят англичане на улицах, и прохожие иногда поглядывали на нее.

После этого спора прошло время.

Я только что вернулась из Москвы полная впечатлений. Поздно вечером, разобрав чемодан и прибрав в доме, я ощутила привычную пустоту и бессмысленность своей лондонской жизни, но, дабы не давать воли этим чувствам, позвонила Пегги, о которой три месяца ничего не знала. Она сразу сняла трубку:

— Ах, это вы! — Какое-то разочарование мелькнуло в ее голосе. — Сколько сейчас времени? У меня стали часы. А, еще не так поздно. Простите меня, позвоните, если можно, завтра.

— Что-то случилось?

— Ничего особенного. Просто Дональд запил и уже три дня не появляется. За минуту до вашего звонка мне звонил один из наших подопочных безработных и сказал, что видел его полчаса назад в районе Уайтчепля. Донни еле стоит на ногах и бормочет, что идет бросаться с крыши. Я сейчас бегу его искать.

Ее голос был удивительно спокоен. Я сказала, что буду у нее через пятнадцать минут. Она ждала меня на улице. В том же такси мы отправились к Уайтчеплю.

Общая нервозность не помешала мне ощутить в Пегги что-то новое, но что, я не поняла. Мы сразу заговорили о Дональде, и я узнала, что он в последние дни был вполне спокоен — ничто не предвещало катастрофы.

Черные кварталы бедноты с редкими огнями в окнах — время было позднее — встретили нас зловещим мраком.

— Подождите, — шепнула Пегги и позвонила у низенькой двери.

Расстрепанная пожилая женщина что-то долго говорила Пегги, потом пошла вниз, крича:

— Том, Том, она уже здесь!

Том вышел, позевывая. Он говорил на кокни, языке лондонского простонародья, я почти не понимала его.

Том долго вел нас тесными закоулками, потом пустырем, где гулял довольно сильный ветер, гоня бумажки и консервные банки, где в каком-то танце кружилась посреди пустыря белеющая в темноте большая тощая собака, лабрадор.

— Том говорит, что это бешеный пес, он днем спит, а ночами бегаёт по улицам и пугает людей. Удивляется, как его до сих пор не пристрелили, — перевела мне Пегги слова Тома.

Внезапно мы оказались у высотной стройки. Остов дома был почти закончен, а на заборе, огораживающем его, висела большая одинокая лампа, освещающая первые этажи.

— Пегги, вы думаете, с ним ничего не случилось? Как мы его тут найдем?

Она остановилась и повернулась ко мне. Дышала легко, словно и не преодолела уже добрых двух десятков этажей.

— Он на самом верху. Он любит высоту и простор, когда напьется. Он никуда не бросится, не волнуйтесь.

— Но разве Дональд пьяница?

— Дональд напивается с горя или с радости два раза в год.

Мы продолжали подъем. Камень соскользнул из-под ступни Пегги, больно ударил меня по ноге и с грохотом полетел вниз по лестнице. Все здание мгновенно наполнило эхо, оно перекатывалось и гремело. И тут же над нашими головами, шурша крыльями, забили птицы. Это были голуби. Они натъкались на наши руки и головы.

Но вот мы на крыше. Несмотря на поздний час и безлуние, здесь, наверху, было почти светло. У стены квадратного строения на крыше, с подветренной стороны мы нашли Дональда. Он мирно спал, похрапывая, опустив голову на грудь. Спутанные волосы совсем закрыли ему лицо. Пегги, присев на корточки, тормозила его. Дональд проснулся, что-то пробормотал и норовил снова уснуть, но мы не дали и потащили вниз. Наше тревожное восхождение с трепещущими над головами птицами было сущим пустяком перед нашим спуском с такой тяжелой и неуправляемой ношей. Дональд упирался, падал, бормотал невнятное, безвольно обвисал на наших не очень сильных руках. Мне казалось — это мучение не кончится никогда.

— Простите меня,— сказала чуткая Пегги,— но ведь вы сами потащились со мной. Простите, пожалуйста. Уже скоро.

И мое раздражение мигом прошло.

Наконец мы на земле. А тут нас ждет проблема посложнее. Том, правда, помогает нам вывести Дональда на улицу, но машин нет. Три часа ночи. Пытаясь поймать хоть что-нибудь, мы идем в сторону дома Пегги. Он очень далеко отсюда. Дональд еле плетется. Он становится агрессивным, вырывается, кричит невнятное. Невесте откуда навстречу не очень быстро движется великолепный «роллс-ройс» с шофером в форменной фуражке. Я останавливаю этот движущийся дворец, и наглый водитель, узнав, куда нам нужно ехать, подозрительно оглядев всю компанию, называет неслыханную сумму.

— Ни за что! Ни в коем случае! Ни копейки в толстую суму! — кричит Пегги.

И пока я пытаюсь втолковать ей, что заплатим-то мы не богачу-капиталисту, владельцу автомобиля, а его шоферу, в общем-то хотя, видимо, неважному, но небогатому человеку, пока я все это говорю, «роллс-ройс» уезжает и мы остаемся опять одни.

И все же находится добрая душа. Толстый итальянец, хозяин потрепанного «форда», дважды проехав мимо нас, на третий раз выходит из машины и говорит:

— Вам куда? Садитесь.

Мы втискиваем Дональда, который послушно складывается втрое и моментально засыпает, благодарим Тома и мчимся по пустой лондонской улице. И вот уже Пегги тащит своего незадачливого друга по лестнице, а я протягиваю деньги итальянцу. Тот улыбается:

— Бросьте. Это не моя профессия.

— А какая ваша? — не удерживаюсь от вопроса.

— Я владелец публичного дома. Тайного. Вот.

Он протягивает мне карточку, и я, посмеиваясь, поднимаюсь по лестнице, нехорошо думая, что повез он нас тоже не без желания сделать бизнес.

Пегги укладывает Дональда, а я звоню домой, где моя семья уже не знает что и думать. Пока я жду, чтобы за мной приехали, Пегги поит меня горячим кофе и говорит:

— Ничего, завтра все будет в порядке. Он позвонит вам, извинится. Вы его извините. Это он мое замужество переживает.

— Какое замужество?

— Выхожу замуж. Через месяц. Ну что вы на меня уставились?

— Пегги... «Брак — предрассудок. В наше время он даже смешон... Почему я должна идти в мэрию и ломать комедию...» Вы не за Дональда выходите?

— Нет, разумеется. И, чтобы вы окончательно растерялись, знайте — я выхожу за капиталиста. Идите домой, за вами приехали.

Тут что-то не то, подумала я. Я возвращалась к этой мысли поминутно в течение трех дней. Лукавая Пегги на все мои телефонные приставания отнекивалась и говорила: «Потом». Мне приходили в голову разные варианты: она совершает это по требованию родителей; это было самое простое, но плохо вязалось с обликом Пегги. Скорей всего она решила на брак из идейных соображений — это какой-нибудь богатый старик, который вот-вот умрет, и она пустит его капитал на помощь бедным. Лишь одно-единственное не пришло мне в голову:

— Я влюбилась. Просто без памяти.

— Но что будет с Дональдом?

— Ничего с ним не будет. Он сейчас в порядке.

В ближайшие недели я ничего не слышала о женихе. Бывая, как всегда, у Пегги, я встречала там того же Дональда. Никакого страдания не было написано на его безразличном, анемичном, волосатом лице. Он, как всегда, медленно жевал свою котлетку. Перемена была лишь в том, что он не просто вышел проводить меня, когда я собралась идти, но ушел вместе со мной.

— Где вы теперь живете?

— Пегги договорилась с одним приятелем. Тут недалеко. Удобно. Жена приятеля уехала на три месяца, а там дальше что-нибудь подвернется.

Ни слова о предстоящем браке Пегги, о женихе, о себе.

Меня немного раздражала эта английская история, которой я не могла понять и найти объяснение. Масла в огонь подлила миссис Кентон:

— Девочке повезло. Я рада. Теперь она бросит свои не слишком достойные занятия политикой. Представляю, как довольны почтенные люди, ее родители. Ее жених — мистер Ричард Картер, солидный джентльмен, его имя иногда попадает в газеты.

Я стала избегать Пегги и уж, конечно, не выражала желания видеть жениха или присутствовать на торжестве бракосочетания. Она почувствовала это, но несколько не стремилась объяснить со мной. В конце концов, каждый живет своей жизнью, Пегги — типичная англичанка, ей уже не восемнадцать, пора привыкнуть к постоянному причалу. Она достаточно поиграла в «борьбу за народные интересы», и все же она плоть от плоти своего класса. О мистере Картере я узнала, что он не бог весть какой капиталист: один из директоров-администраторов железной дороги. Но ничего, вполне буржуазный жених.

Свадьба была тихая, приехали ее родители из Ланкашира и его из Йоркшира. В церковь они не ходили, ограничились мэрией. Сразу после свадьбы молодые уехали на две недели в Абердин. Последнее немного удивило меня: была поздняя осень, Абердин — север острова, совсем не место для свадебных путешествий в такое время года. В Абердине у Пегги, правда, было много друзей и целое отделение Союза помощи бедным, в котором она состояла. Но при чем тут бедные?

Спустя месяц я звонила куда-то и машинально набрала номер телефона старой квартиры Пегги, это был один из немногих телефонов в Лондоне, который я помнила наизусть. Подошла она. Я замерла от неожиданности, и тысячи самых невероятных мыслей пронеслись в голове.

— Наконец-то соизволили объявиться. Простили, значит?.. Что я здесь делаю? Прибираю. Донни будет здесь жить. Жена нашего приятеля возвращается домой раньше времени, и Дональду надо вытряхиваться оттуда.

— Да, но...

— Что «но»? Неизвестно еще, кто из нас двоих буржуазнее. Вы думаете, я не понимаю, что вы презирали меня за измену народным интересам. Но вам еще будет стыдно. Приходите сегодня вечером.

Она сказала адрес. Это было совсем близко от меня, в добротном, благопрямом районе.

Ну конечно, в доме мистера Ричарда Картера была большая и красивая гостиная с мягкими креслами того грязно-розового и серого цветов, которые принято считать изысканными и утонченными. На стенах попеременно с картинами равных голландцев и акварелями Тернера щедро были развешены гравюры Пегги. Это была новость, в своей крохотной комнатенке она никогда не вывешивала своих гравюр. Посреди этой гостиной на полу, в креслах, даже на подоконнике сидели лохматые, небритые молодые люди, девушки в длинных оборчатых юбках, одна женщина была с младенцем, который, всеми забытый, ползал под креслами. И, о чудо, здесь же на полу, протянув длинные ноги от кресла до кресла, сидел Дональд. К плечу его прижималась девушка в очках, со схваченными резинкой серенькими волосами. По всему видно было, что друзья Пегги обосновались прочно.

Через несколько минут пришел муж Пегги, Ричард, статный англичанин лет сорока, чуть седоватый, с глубоко посаженными и далеко расставленными глазами, большим пухлым ртом. Он не производил впечатления делового человека, он, видимо, был из породы тех людей, которые зовутся «хорошими», что бы они ни делали в жизни и чем бы ни занимались. Впрочем, именно такие люди никогда не занимаются ничем плохим. Мне еще не было стыдно за мои нехорошие мысли, но я уже понимала, что такого Ричарда можно полюбить без памяти.

Пегги казалась неумовимо изменившейся. Она двигалась и говорила мягче, тише.

Вскоре после прихода Ричарда Пегги вместе с девушкой, что прижималась к Дональду, стала обносить всех тарелками с ужином. Все жевали, сидя на полу. Молодая мать кормила ребенка грудью, не смущаясь окружением, — она была одной из сторонниц движения за пропаганду материнского молока.

Дональд получил свои паровые котлетки и, как всегда, долго и меланхолично

жевал их. Ричард участвовал в общем разговоре с видимой охотой, и хотя чувствовалось, что он всем остальным чужой, в доброжелательности ему отказать было нельзя.

— Ваш муж был сегодня очень терпим к этому табору,— сказал я Петти, когда мы наконец остались одни в прокуренной элегантной гостиной,— но неизвестно, что он на самом деле думает.

— Известно,— кивнула Петти,— он пока что думает о них весьма неважно.

— Он говорил вам об этом?

— Что вы! Он англичанин. Чем он доброжелательней к моему табору, тем хуже о нем думает. Но он точно знает, что это все не его дело. И потом...— ее глаза блистали детокой надеждой,— он со временем все поймет и примкнет к нам.

— Этого не будет, Петти, неужели вы не понимаете, не будет.

— Понимаю. Ну что ж. А может быть, будет.

— Он не знает про Дональда?

— Я с ним не говорила об этом, но, по-моему, он знает. Ему нравится Донни. Я, кажется, понимаю природу этого чувства. Впрочем, возможно, что я и ошибаюсь, просто почему-то стала немного сентиментальной.

Она вскочила, убежала наверх. Там располагались на ночьлег молодая мать с ребенком и еще трое друзей. Нужно было стелить постели, раздавать полотенца и пижамы.

Ричард зашел в гостиную. Несколько минут мы сидели молча.

— Как вам нравятся работы Петти?

— Не знаю, что сказать. Вообще Петти и ее творчество для меня трудно соединяются: Петти в жизни слишком горячий человек, а в этих рисунках слишком изысканный.

— Вот как? — Ричард поднял брови.— Я так не думаю. Петти вообще удивительная и очень богатая натура.

— Как вы познакомились?

Он улыбнулся самому приятному воспоминанию.

— Она пришла ко мне записывать женщин — жен бастующих железнодорожников. Женщины бунтовали у ворот депо, и их пришлось отвести в полицию. Она явилась их освобождать и с первой же минуты набросилась на меня. Страшно ругала.

— И что вы подумали о ней?

— Я мгновенно влюбился и подумал, что она уже сказала мне все самые ужасные слова, которые я мог бы услышать от жены за всю мою жизнь.

— А как вы относитесь к ее друзьям?

— Петти предупреждала меня, что вы любите задавать не очень легкие вопросы и изучаете с помощью ответов английскую жизнь. Я отношусь к ним хорошо, они все симпатичные люди.

— Это ответ англичанина.

— А я и есть англичанин. Впрочем,— его лицо, доброе и светлое, как-то потемнело, устало,— если хотите ответа честного, я искренне завидую им, они люди будущего, а я — прошлого. У них есть цель, ради которой стоит жить. Я бы так не смог.

— Но вас не раздражает, что посторонние люди поселились в вашем доме, и вы, наверно, понимаете, что Петти от своего не отступит?

— Все я понимаю.— Ричард резко поднялся с кресла и пошел спать.

## СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

Причастность к деньгам и причастность к смерти, если задуматься, очень сходные причастности: и та и другая не оставляют иллюзий, величественны в своей сути и обе в конечном итоге тлен.

*Вильям-Джон-Герберт Вильямс, эскайр.*

Порой человек представляется мне спрессованным сгустком Времени: как на часах, отмечены на его лице, фигуре, в характере и в судьбе временные категории

собственного возраста и возраста его времени — того отрезка дней, месяцев, десятилетий, в которые ему посчастливилось жить на земле.

Меня всегда волновала и удивляла, а с годами удивляет и волнует куда больше точность такого совпадения:

детство	молодость	зрелость	старость
весна	лето	осень	зима

Стою посреди британской зимы, бесснежной, сухой — дождей не было уже более двух недель, да и какие здесь дожди: набегит туча, посыплет водичку как из пульверизатора — и нет ее. И все же это январь. Стою на кладбище, маленьком кладбище при небольшой английской церкви. Светло-серый мрамор аккуратных могил, лишь изредка осененных крестом, чаще холмик в прямоугольной мраморной рамке, с небольшой плитой скуло сообщает «выходные» (или «выходные»?) данные того или той, кто лежит здесь: «Дорогому отцу», «Незабываемой подруге жизни». А вот черным по мрамору: «В надежде!» Ну конечно, в надежде встретиться на небесах. Встречаются надписи-характеристики: «Он был безукоризненный джентльмен», «Ее доброта равнялась ее красоте», «Он был лучше многих, еще живущих». В безотчетной ли жажде бессмертия для того, кто ушел, ищут люди на мраморе или дереве, в неосознанной ли надежде удержать дух ушедшего человека?

Церковь стоит высоко на холме. И кладбище уступами спускается с холма — могилы похожи на ступени. Ветер. Очень зябко. Далеко внизу крыши каких-то поселков. Худенький священник с добродушным домашним лицом провинциала читает последние надгробные слова, славит волю божью, и гроб опускают в могилу. Несколько человек проходят в последнем прощании, бросая в могилу землю.

Я ухожу последняя. Я была «последней подружкой» мистера Вильямса, так он назвал меня по телефону за месяц до кончины. Старый клерк умер той смертью, какая, мне кажется, ему подошла. Он упал на дорожке Холланд-парка во время утренней пробежки, за секунду до этого улыбнувшись девушке, идущей навстречу. Испуганная девушка бросилась к нему, и улыбка, обращенная к ней, была последней в жизни мистера Вильямса. Смерть этого человека была для меня большой потерей. Оказывается, я уснула полюбить его в Англии и Англию в его лице. Но именно после смерти мистера Вильямса открылся мне во всем своем чисто английском своеобразии.

Еще до похорон все мы немногие, кто собирался проводить его в последний путь, узнали, что для этого нам придется поехать более чем за двести миль от Лондона, в небольшой городок графства Кент, где пожелал лежать старый лондонский клерк. Нет, он не родился в том городке, родители его тоже были коренными лондонцами, он не жил там долгие годы, но именно там... — я не знаю, в каком точно году, старый клерк впервые собственными глазами увидел своего кумира Уинстона Черчилля, и тот, проходя, поздоровался с мистером Вильямсом за руку.

На главной площади этого городка большой серый массивный сэр Уинстон, чуть подавшись вперед, сидит в кресле, а по левую его руку поодаль стоит церковь и уступами спускается с холма кладбище. Когда-то Черчилль был депутатом в парламенте от этого городка, и мистер Вильямс, специально приехав в дни предвыборной кампании, провел несколько восхитительных дней, присутствуя на встречах будущего депутата с народом, а по ночам читая его речи и изучая генеалогическое древо его семьи.

Священник говорил прочувствованно. Он отметил щедрость покойного, ежегодно жертвовавшего на нужды прихода немалые суммы, и пообещал ему вечное блаженство. После этих слов Эмма слегка всхлипнула, а Джулия холодно посмотрела в сторону Эммы. Обе они приехали проводить своего друга, но знакомы не были. Приехали еще сослуживец мистер Грин, вполне похожий на покойного, только с палочкой, и адвокат мистера Вильямса, худой, остроносый, с прищуренными злыми глазками. Были еще какие-то люди, но они выпадали из поля моего зрения. Мистер Вильямс жертвовал на церковь немалые суммы, как странно, подумала я. Впрочем, он был одинок, знал цену деньгам, умерен в житейских привычках — наверно, у него что-нибудь собралось.

Я приехала вместе с Эммой и, полагая, что этим женщинам нечего уже делить, возвращаясь, предложила Джулии место в своей машине, дабы ей не ждать поезда.

Все же Джулия поколебалась и в машину села неохотно. Она сидела впереди и за всю двухчасовую дорогу не промолвила ни слова. Эмма была куда дружелюбнее. Она говорила без умолку, обращаясь ко мне и только ко мне, но, наверное, вся ее двухчасовая безостановочная болтовня имела целью расшевелить миссис Джулию Вишард.

Прошло время. Я получила письмо от мистера Блюма, адвоката покойного, с просьбой посетить его контору по случаю оглашения завещания мистера Вильямса. Контора была в Сити. Там уже сидели Эмма, Джулия, мистер Грин и средних лет, незаметного вида господин. Я вспомнила, что и он был на похоронах.

С моим приходом все были в сборе. И Блюм начал. Джулия получила пансион, до конца дней позволяющий ей жить без забот. Грин — все личные вещи покойного. Эмма унаследовала квартиру мистера Вильямса и деньги на оформление квартиры на ее имя. Деньги на налог. Довольно большой. Остальное наследство скромного клерка, состоящее из ценных бумаг и акций, нескольких домов в Лондоне и его пригородах, получил маленький городок в округе Кент, приютивший тело мистера Вильямса. Незаметный господин был представителем городских властей, и ему надлежало вступить в права владения.

Блюм назвал общую сумму, в которую оценивалось состояние умершего, и она оказалась столь высокой, что эмоциональная Эмма ажнула, не удержавшись, мистер Грин укоризненно покачал головой и даже невозмутимая Джулия широко раскрыла выпуклые, почти белые глаза. Скромный, бережливый, умеренный во всем на протяжении долгой-долгой жизни ординарный клерк-пенсиянер был богачом. Мистер Вильямс просил тех, кто ознакомится с его завещанием, сделать все, дабы «эта история» не попала в прессу. Подпольный богач не хотел разглашать своей тайны.

Средства, оставленные им маленькому городку в Кенте, он просил употребить на благоустройство дома престарелых на окраине этого городка, на школу для слепых и далее по усмотрению городского совета. Он просил также разрешения у властей городка поставить в сквере на центральной площади у самых ног каменного Черчилля деревянную скамью, вырезав на ней надпись: «В память о Вильяме-Джоне-Герберте Вильямсе, эсквайре, родившемся в 1896 году, скончавшемся в 1976».

Блюм попросил меня остаться. И выждав, пока все ушли, протянул конверт:

— Мой клиент дал мне это письмо за месяц до катастрофы, попросив передать вам в случае его смерти. Наедине.

Скамья на набережной. Осторожно открыла конверт. Письмо было напечатано на машинке — мистер Вильямс не раз признавался мне, что находит в последние годы большое удовольствие в занятии машинописью.

«Дорогой друг!

Сейчас половина второго ночи. Стариковская бессонница и внезапно налетающий на город ветер не дают мне уснуть уже вторую ночь. Сегодня меня впервые в жизни навестила Она. И я понял, что уже скоро. Я вдруг полчаса назад почувствовал, как мне стало страшно, холодно. Это длилось мгновение, но так внушительно и сильно, что я не сомневался в причине. И даже, вспоминая некоторые свои ощущения последнего года, думаю, что Она давно во мне — удивляться нечему, таков возраст мой. На прошлой неделе доктор, а он очень хороший врач, был мною доволен. Но ведь это ничего не значит.

Поняв, что Она на пороге, я испугался и даже засуетился, а потом хлебнул виски и попытался взять себя в руки. Смешно, правда, восьмидесятилетний старик боится смерти. Много лет убегает от нее по дорожкам Холланд-парка. Но куда убежишь?

Сейчас мне тепло и даже весело. Так бывает, когда минуешь обрыв. Я только что просмотрел воображаемый фильм о своих похоронах. Мне стало очень скучно. И захотелось написать одному из тех, кто, возможно, будет меня хоронить.

Вы были первой и единственной, кто пришел мне в голову в качестве адресата. Странно, не правда ли? Я старик рядом с Вами не только по возрасту, но и Ваш русский характер видится мне детски-непосредственным, наивным, молодым в сравнении с нашей английской душевной ветхостью, всезнающей перезрелостью и ледяным равнодушием. Наверно, именно поэтому я выбрал Вас. Кого еще? Все, кто как-то был причастен к моей жизни, умерли. Джулия и Грин сами едва дышат, и бестактно затевать с ними разговоры о смерти. В милой головке Эммы умещаются только хозяй-

ственные расчеты и беспокойство по случаю дороговизны. Блэк — мой адвокат, нанятой человек, прежде чем обратиться к нему с таким письмом, я должен был бы заплатить ему за время, истраченное на прочтение письма и возможный ответ. Не смеяться, я почти не шучу.

Я немного виноват перед Вами — играл роль «типичного старого клерка» слишком старательно, а я не совсем таков, каким мог показаться. Вы так наивно искали во всех вокруг типичное, так порой смешно старались втиснуть явление в заготовленное понятие, что мне даже было огорчать Вас своими нетипичностями. Мне удалось этот номер. Англичане вообще хорошие актеры.

Убедить Вас в том, что клерк-старикашка любит деньги и умеет их ценить, не составляло особенного труда, тем более что я их и вправду люблю. Но и ненавижу. Я прожил слишком длинную жизнь и видел слишком много подлостей из-за денег. У меня несомненно был талант делать их, и поначалу я воспользовался им, а потом мне стало скучно и противно. Я взял лишь то, что пришло само. И того оказалось много. Как Вы видели, жил я скромно, и желания жить иначе у меня не возникало. Странно, не правда ли? Ведь я мог стать во главе хорошего дела и теперь иметь облик вполне респектабельного буржуа. Во мне победило самолюбие: сознание своего нузоришества моей натуре невыносимо. Встречать взгляды равных по кошельку, но не равных по положению в высоких сферах — одна эта мысль бросала в жар. Она тоже буржуазна, эта мысль, ведь беспокоила она меня не от ненависти к буржуа, а от любви к себе. Как бы то ни было, я умру «скромным клерком». Пусть его получите, кому плохо, кто боится завтрашнего дня.

Вам незнакомо это чувство — страх перед завтрашним днем. Вы легкомысленно не боитесь остаться без работы и без денег — Вы даже не понимаете, что это не от легкомыслия Вашего характера, а от особенностей общества, в котором Вы живете. О нет, я не поклонник его. В нем есть угроза всему, что составляет фундамент моего мира, и каков бы этот мир ни был, я прожил в нем восемьдесят лет, он мой, и я его плоть от плоти. Я не поклонник, но и не могу не поклоняться.

Вы знаете мою любовь к сэру Уинстону Черчиллю. Не думайте, что я любил его слепо. Как политик он, по-моему, иногда совершал ошибки. Много лет в типичной своей скромной квартире я разыгрывал политические партии Черчилля в сторону, противоположную той, которую выбирал он. Это было увлекательнейшее занятие. Я держал в руках судьбы страны и в какой-то мере судьбы мира, я ощущал себя великим политиком и стратегом. Не любя и не принимая социализма, я вынужден был по условиям игры, которые мне, сам того не подозревая, диктовал сэр Уинстон, идти навстречу Советской России, доверять ей, когда не доверял Черчиллю, а он почти никогда не доверял. И удивительная вещь — в моем варианте Англия избежала кризисов, удержала колонии и укрепила капиталистический статус. Это не всегда было связано с Вашей страной, но иногда было.

Возможно, что я был абсолютно не прав во всех своих выводах — я ведь ни с кем не делился ими: мысль, что между мной и сэром Уинстоном мог стать кто-то третий, способный доказать мою неправоту, была мне невыносима. Я в отличие от моего кумира владел миром без всякой опасности для мира и мог себе позволить не причинять лишних травм своему сердцу.

Помните, мы однажды говорили с Вами об отношениях между нашими странами и Вы сказали: «Альбион всегда хотел жениться на России». Я продолжу эту мысль: невеста казалась ему простоватой и взять ее не представляло большого труда. Но все это лишь казалось. Она не хотела выходить ни за кого. У нее была своя идея, своя тайна и свой предначертанный путь. А наш женишок, устроивший гарем, исповедуя при этом христианство, растерял своих жён, и сегодня на старости лет некому подать ему стакан воды...

Ну вот, пошутил — и легче стало. Вчерашней ночью я читал Нострадамуса. При всем своем недоверии к предсказателям не могу не скрыть удивления перед ничем необъяснимым: ведь еще в начале XVI века Нострадамус предсказал лондонский пожар 1666 года, Наполеона и Гитлера (он только называл его Гистером), взрыв в Нагасаки и Хиросиме. Мне очень хотелось бы иметь его талант и предсказать



2000 год, которого я уже не увижу. Особенно приятных предчувствий у меня нет, жизненный опыт подсказывает горькие истины: люди при всех их достижениях и победах — самые неразумные существа на земле. У пчелиного роя и муравьиной кучи нет претензий на владение планетой, каждая тварь в куче точно выполняет жизненную функцию. А мы?! Зачем бог создал нас? Что желал получить он от человеческого племени, вкладывая ему в голову разум? Неужели он хотел всей той глупости обманов, свар, войн и разрушений, которую совершили люди?!

Вот видите, жизненный опыт отвечает не на все вопросы. Я умру, пройдя жизнь, зная людей наизусть, все умея понять и объяснить в этом мире, умру, ни в чем не разобравшись, не ответив на главный вопрос природы: «Зачем я дала тебе жизнь?»

С удовольствием, хотя и не без испуга смотрю я на ваш мир. Вы кажетесь мне *наивными* в стремлении сделать жизнь другой. Но вы чувствуете, что живете, а я всегда жил только в рамках, предписанных мне природой и обществом.

Понимаете ли Вы, что я хочу сказать? Ведь я не марксист, у меня нет железной логики, которой вы все на свете объяснили. Я умираю дураком. Голова моя, как Вы *однажды* о ком-то выразились, «набита мусором». Я считаю, что Христос родился 1976 лет назад, и ежегодно праздную его день рождения. Я верю басням Нострадамуса и Апокалипсису и жду нового антихриста с Дальнего Востока.

Не обольщайтесь, Вы со своими взглядами ни в чем меня не убедили. Я ухожу консерватором и монархистом. Человечеству мои убеждения безразличны. Но я все же очень рад, что на исходе своих дней имел возможность говорить с Вами и даже быть Вам полезным в роли «старого клерка», каким я, в сущности, и был всю мою жизнь. Я полюбил вашу молодость, не Вашу личную. Вы и не так уж молоды, как Вам хотелось бы, а молодость вашего мира, вашего народа. В мире торжествующей пошлости это отрадно видеть. Я даже настолько наивен, что склонен думать: со своими идеалами вы, чего доброго, и спасете мир. Но не забывайте, что Зло заманчивей и слаще Добра. К нему тянет больше.

Не кажется ли Вам, что я заболтался? Так оно и есть. Ослабевающий старик в страхе перед смертью бормочет уже почти в беспамятстве. Скорей всего я не пошлю Вам письмо. Но велико было искушение. Мы, англичане, настолько растеряли умение откровенно разговаривать, что скоро вообще разучимся говорить. Прощайте. Если в самом деле ваш мир знает истину и принесет ее человечеству — чего еще желать? Но я все же рад, что не увижу иных времен. С меня довольно.

И еще одно. Что оставить Вам на память при разделе имущества? К деньгам капиталиста Вы отнесетесь с презрением, Вы скажете — Вам «ни к чему». Какую-нибудь безделицу? Но какую? В ней должен быть понятный нам обоим смысл. И повод для воспоминаний. Пожалуй, я оставлю Вам монету с изображением сэра Уинстона. Она была отлита в день его юбилея и, хотя по форме является монетой, денежного, материального выражения не имеет. Пусть Вам достанется от меня образ того, в ком воплотилась вся моя любовь к людям. Все было в этом чувстве, и, может быть, очень хорошо, что сэр Уинстон умер, даже не узнав, как был любим и почитаем.

Еще один подарок Вам. Для Вашей книги. Я жалею, что так мало успел Вам помочь. Потому разрешаю, конечно, если Вы решите, что это может быть хоть сколько-нибудь интересно вашим людям, в любой удобной Вам форме вывести меня в качестве персонажа. Можете даже это письмо использовать. Разумеется, я хотел бы стать Вашим героем под вымышленным именем. Именно Вашим, а не героем нашей прессы. Ее я ненавижу, и у меня с ней старые счеты, но это уже другая тема.

В окне светлеет. И мне захотелось спать. Я не буду перечитывать все это — если перечитаю, порву. Поверьте, мне восемьдесят лет, но я пишу Вам — и сердце бьется, как у молодого. Очень не хочется расставаться с жизнью!

Ваш Вильям Вильямс».

Я заглянула в конверт. Круглая монета с пухлым профилем Черчилля лежала в нем. Никогда Черчилль не вызывал во мне никаких чувств. Я знала его имя, но не имела к его персоне никакого интереса. Однако отныне он связывал меня с таким англичанином, которому я не могла не отдать дани уважения.

## ЗАМОК САТТОН

Крутой поворот. Двое мужчин в форменной одежде — служители госпиталя «Сент Джон» — склоняются к водителю, объясняя и без того понятную дорогу.

Асфальт ведет по лужайкам, усеянным фиолетовым дымом знаменитых весенних английских колокольчиков — блю-беллс, по мосту через серебристую узенькую речку, по которой как раз проплывает каким-то чудом умещающийся между берегов толстый белый семейный катер с шестью пассажирами, глядящими в сторону замка. Перед замком на большой лужайке уже стоит многое множество автомобилей. Здесь тоже, размахивая руками, распоряжаются одетые в форму госпитальные работники.

Замок, и лужайки, и причудливо стриженные вечнозеленые кустарники, образующие то колонны, то ворота, то шары, то кубы, и розарий, где уже распустились первые розы и благоухают, — все это так похоже на нечто уже виденное не раз, не два. Все это неотъемлемая часть пейзажа Англии: чем-то похожи на Саттон замок и парк, построенные в Вейдздоне бароном Фердинандом Ротшильдом, старинные замки и парки Хивер, и Хэмптон, и Хэтфильд, и Кливден при всей разнице стилей — типичные английские дворцы и парки. Так похожи между собой совершенно не похожие Ростов Великий и Суздаль, Казань и Новгород.. Как разные песни одного народа, они похожи чем-то главным: русские города — широтой размаха и устремлением куполов, отливających золотом на солнце, а английские дворцы и парки знатных вельмож и богатых выскочек — благопристойной чинностью, подчеркнутой чистотой, нарочитым благообразием всего, на что может упасть человеческий взгляд.

Если все уже перечислены замки и парки и те, что остались незазванными, в Англии можно увидеть с весны по осень каждый день недели, исключая вторник, ибо они сейчас в большинстве своем отданы бывшими владельцами за невозможностью их содержать во владение организации под названием «Нешнл траст» (нечто вроде Общества охраны памятников), если другие, вроде Хивера, бывают открыты их хозяевами для посетителей каждые субботу и воскресенье, то в Саттон много лет попасть практически было невозможно: владелец его никогда не нуждался в помощи, он мог содержать Саттон без особого труда. И еще десяток таких Саттонов, не говоря о дворцах и домах попроще. Его имя — Поль Гетти. Нефтяной король. Самый богатый человек в мире.

Объявлений о том, что в воскресенье 16 мая 1976 года с двух часов дня до шести вечера двери Саттона будут открыты для всех, не было. Лишь в одной газете, затерянные среди анонсов и реклам, еле заметно темнели строчки: «Сбор денег за посещение поместья и замка Саттон пойдет в пользу госпиталя «Сент Джон»...»

Я бы никогда не увидела этого объявления. Не знала о нем даже Леа Арнольд, которая по долгу службы замечает все, что касается богатей, кинозвезд и скандальных персон. Но Леа живет неподалеку от Саттона. Ей позвонила одна премилая пожилая дама, которой сказала одна очень важная леди, которой в свою очередь сообщила другая леди, что Саттон будет открыт всего четыре часа.

— Такого нельзя пропускать. Мы поедем вместе. Я ведь много раз интервьюировала Гетти и по дороге расскажу вам разные подробности.

Мы подходим к замку. Он повернут к нам своей задней частью, построен в форме буквы «П». Две длинющие очереди одна рядом с другой тянутся к верхней перекладине буквы «П».

Что я знаю о Саттоне? Дворец построен в начале XVI века для сэра Ричарда Вестона, фаворита Генриха VIII. Инициалами первого владельца украшен весь первый этаж двухэтажного строения. По свидетельствам историков, здание очень мало изменилось за четыре столетия, лишь прежде оно представляло собой квадрат — четвертая сторона сгорела два века назад и не восстановлена. Эти стены помнят королей, бывавших здесь гостями. Говорят, что изнутри стены украшены замечательными старинными гобеленами, картинами, мебелью времен Тюдоров и Ланкастеров. Я знаю одного лондонского искусствоведа, специалиста по фламандской живописи, который много лет мечтает попасть в Саттон с одной целью — посмотреть большой натюрморт работы Снайдерса, которым Поль Гетти наслаждается единолично.

Очередь продвигается медленно, и, пока мы с Леа стоим, я оглядываю оба хво-

ста. Никогда прежде не видела я такого количества богато одетых людей, теснящихся в очереди. Норковые пальто и накидки всех цветов, одна дама даже в полупальто из шиншиллы. Норки искоса поглядывают на шиншиллу с завистью, непривычно чувствуя себя вторым сортом. Аккуратно, волосок к волоску, причесаны головы (видно сразу, что дамы посетили парикмахера сегодня утром специально по случаю поездки в Саттон), мужчины только что не в смокингах — в лучших своих костюмах; кисти рук посверкивают камнями, груди брошами и цепями; все это благоухающее дорогостоящей косметикой общество стоит чинно, почти не разговаривая. Некоторые раскланиваются — знакомы. Но никто не подходит друг к другу. Очень тихо, словно это похоронная очередь.

Все люди одного примерно класса — они богаты, некоторые очень богаты. И вот сегодня все они имеют счастливую возможность одним глазом взглянуть на то, как живет самый богатый человек. Ведь именно благодаря таким, как он, держится в их кругу престиж богатства. Он эталон всего, потому что его карманы самые полные. Он шиншила среди норок, золота среди других металлов. Он их знамя. Мне кажется, они даже не завидуют ему, а поклоняются, как Тельцу в образе человека. Но каков он? Ведь за его несметным богатством стоит человеческая личность, характер, нравы. Какими же качествами должен обладать человек — сегодняшний символ золота?

— Мистер Гетти сейчас здесь, в правой половине дома. Он нездоров, — вежливо улыбаясь, говорит стоящая на контроле представительница госпиталя «Сент Джон».

Перед нею большой таз, наполненный бумажными и металлическими деньгами. Весь сбор за билеты идет сегодня в фонд госпиталя. Билет стоит дорого — он, в сущности, есть форма благотворительности. Пройдя контроль и получив проспект за отдельную плату, тоже идущую в фонд госпиталя, мы оказываемся уже недалеко от входа в дом, но нас не пускают, ожидая, когда выйдет предыдущая партия.

— Самый богатый в мире человек мог бы не собирать деньги с других, а сам отсыпать госпиталю хорошую сумму, — тихо шепчу я Леа.

Она поднимает на меня лукавые, умные глаза:

— Какие вы говорите глупости. Гетти — самый большой жадина в мире. Именно поэтому он богаче всех. Разве вы не знаете истории с ухом?

Ну конечно, я забыла — несколько лет назад весь мир облетела сенсация: украден внук Поля Гетти. Похитители угрожают убить мальчика, если дедушка не раскошелится. Сумма была названа внушительная. Самый богатый никак не реагировал на требования шантажистов. Он даже не заявил в полицию. Тогда похитители, желая показать, что они не шутят, прислали дедушке в конверте отрезанное ухо мальчика, пригрозив, что если Гетти не даст денег, они отрежут внуку голову. И тут Гетти открыл рот. Он сказал: «У меня очень много родственников, детей, внуков, племянников, внучатых племянников. Если я буду платить за каждого, которым пожелаю поиграть разного рода вымогатели, у меня не хватит денег. А я всю жизнь свою делал деньги не для того, чтобы их так глупо терять. Вы, отрезавшие ухо, не получите ни гроша. Если вы убьете ребенка — вас будет искать полиция, и, поймав, вас осудят по всей строгости. Моих денег вы не увидите». Бандиты, поняв, что «пострадавший» дедушка зверь куда более сильный и несокрушимый, чем они, сдались — отпустили мальчика. Уголовные круги капиталистического мира, имеющие огромный опыт подвохов и шантажа, знают, что самый скверный «клиент» — Поль Гетти. С ним лучше не связываться. Он действует теми же приемами, живет по тем же законам.

Наконец мы во дворце. Большой зал, очень старый, с каменными стенами, наверху побеленными, с камином и охаккой дров перед камином, с длинным рыцарским столом, несколько картин на стенах. Вправо и влево от него расходятся крылья. Правое закрыто — там болеет Гетти, — поток мехов и брошей направляется влево. Пол зала покрыт ковром, поверх ковра расстелены уже затоптанные листы целлофана — аккуратный хозяин не желает, чтобы стадо протирало своими копытами его собственность. Я наклоняюсь и отгибаю край целлофана. Традиционный текинский рисунок, я помню его с детства, этот коврик и сейчас живет в моем доме, но, обветшав, превратился в половичок у порога. На рыцарском столе в рамке цветная фотография хозяина Саттона. Фотография давняя, и Гетти, которому сегодня восемьдесят, на ней еще довольно молодой человек. Ничем не примечательная внешность. Густые брови,

Холодно глядящие глаза. Худощав. Тонкие губы плотно сжаты. Вот этот человек лежит сейчас в постели на расстоянии ста метров от меня. Может быть, умирает. О чем он думает? Как думает?

— Он думает уже много лет только о двух вещах — о деньгах и долголетию, — говорит мне всзнающая Леа. — Поверьте мне, я ведь лично знакома с ним, много раз брала интервью в те дни, когда у него были разные семейные перипетии. Более скупого человека, чем Гетти, я не встречала. Вот уже тридцать лет он сидит на диете: съедает всего лишь одну картофелину в день. Да, да, одну картофелину, запеченную в мундире. И всегда при этом капризничает, что она неправильно запечена. Кто-то сказал ему, что на такой диете он будет жить всегда.

Я не очень верю Леа. Более того — я совсем не верю ей. Она обещала не писать обо мне, даже клялась. Но недавно опять не выдержала.

— Послушайте, Леа, ведь вы же наврали: я совсем не презираю Англию и не пишу стихов против нее. И разве я говорила вам, что я не разделяю марксизма?

— Нет. Но ведь вы же беспартийная.

— Да, но ведь это не одно и то же.

— Ах, понимаете, нашим читателям очень интересно будет узнать, что в Советском Союзе не все марксисты и тех, кто не марксист, за это не преследуют. Ведь вы же видите, какой ужас пишут в здешних газетах о Советском Союзе: можно подумать, что полстраны сидит в тюрьмах, все евреи за колючей проволокой, а те, кто на свободе, не сегодня-завтра умрут с голоду, потому что нечего есть. А я как раз на вашем примере показываю, что это ложь, — вы не марксистка, но не только не преследуетесь, а даже известная писательница, награждена орденом и посланы с мужем представлять свою страну в Англию. И на это вы обижаетесь?!

У меня не хватало сил возражать.

Леа была неисправима. Я бы не стала говорить и о печеной картошке Гетти, если бы слышала это только от Леа. Но диета самого богатого человека, оказывается, общеизвестна и даже изучалась в специальных центрах борьбы с полнотой.

Два этажа левого рукава буквы «П» представляли собой две длиннющие галереи — в сущности, две колоссальные комнаты. Наверху я увидела знаменитые гобелены, мебель стиля барокко, малоценную на мой взгляд, два прекрасных натюрморта Снайдерса, несколько типично английских портретов анемичных графинь.

Норки и броши разочарованно блуждали по галерее. Их как будто надули. Конечно, каждый гобелен стоит... Но ведь неинтересно. Вот если бы выставка драгоценностей! Впрочем, были среди посетителей и знатоки. Конечно, у картин Снайдерса я встретила специалиста по фламандской живописи. Его совершенно не интересовали ни Гетти, ни его богатства, он был вполне счастлив, что увидел наконец желанные натюрморты.

Нижняя галерея — библиотека.

Разглядывая корешки книг Гетти, я заметила одну деталь: у него много книг о сильных личностях мира сего — тут монографии о Наполеоне, Александре Македонском, Эйнштейне, Колумбе, Ротшильде, Макиавелли, Игнатии Лойолле, Онассисе. Похоже, что иные порой служили ему учебниками. Трехтомные пуды «Истории Сассекса» (поместье Саттон находится в графстве Сассекс). Художественная литература — тоже только сильные личности, только великие произведения: «Король Лир» Шекспира, «Ад» Данте Алигьери, «Карьера Ругонов» Золя, «Война и мир» Толстого, пьесы Шоу, «Тихий Дон» Шолохова.

— И это все? — разочарованно спрашивают посетители стоящего близ выхода служителя госпиталя. — Больше ничего нет?

— Есть, конечно, есть, пожалуйста — парк, розарий, маленький зоосад.

Типичный выстриженный английский парк, желтые розы в розарии, два явно нервничающих льва в клетке на заднем дворе. Они не привыкли к такому количеству глазющей на них публики.

Шесть часов близятся. Пора ехать. Я прохожу мимо невысокого одноэтажного строения, заглядываю в окна. Голые стены, конторские столы с бумагами на них, сейфы, полки с картошкой. На одной стене огромная карта с разноцветными обозна-

чениями. Это контора Гетти, его «мозговой центр» управления нефтяными делами, его кузница черного и желтого золота.

Мы с Леа долго молчим в машине. Я все пытаюсь понять свое впечатление от Саттона. Чувство холода, неприязни, ощущение пустыни, бесполезности суеты, стыд за человечество, способное творить кумира из ничего,— все это заслоняет впечатление, полученное от трех картин и пяти гобеленов.

— Вы будете писать о Саттоне? — спрашивает Леа.

— Не знаю...— уклоняюсь я, боясь стать героиней вдохновенной болтовни Леа.

— А я бы написала о том, как вы, советская писательница, приехали в Саттон и что там увидели. Но я, к сожалению, не напишу. Нет, точно не напишу.

— Почему же? — радуясь, что не напишет, спрашиваю я.

— Вот если бы вам понравилось, если бы вы были в восторге, тогда можно было бы раздуть сенсацию. Но разве такое может понравиться? Я говорю не о дворце — он сам по себе чудный,— а обо всей этой атмосфере Гетти. Жалкий он все-таки человек. Мне кажется, он скоро умрет, я носом чувую это.

Так и было. Спустя две недели. Газеты запестрели его фотографиями, сообщениями о наследниках и наследницах. Гетти умер в Саттоне. Возможно, наследники отдадут замок и он станет народным достоянием. А может быть, продадут второму в мире самому богатому. В любом случае я никогда больше не увижу Саттона таким, каким он был в дни агонии Гетти: толпы богачей, санитары облагороженного госпиталя, гобелены и Снайдерс — и над всем этим дух смерти, всепобеждающий дух, перед которым Гетти с его миллиардами лишь бедный старик, достойный жалости, как всякое живое существо.

## —И ТАЙНА ВРЕМЕНИ

### Вместо послесловия

Ветер поднялся внезапно, резко. Затрепетала занавеска на окне, сильно хлопнула дверь — ее подтолкнуло малое дуновение. Слышалось, как гнутыя и шелестят листья за окном, свет качающихся фонарей блуждал по потолку, и на душе было тревожно. Только что во сне я видела милые лица матери, отца, я все куда-то уходила от них, они все чему-то учили меня, и еще некто из давно забытых времен собирал со мной грибы в осеннем лесу, одною спичкой зажигал костер. Но я вижу его из другого Времени и знаю, что его уже нет на земле...

Ветер метался по комнате. Мне казалось, он разбудит сейчас весь город. И правда, напротив зажглось и погасло окно. Мое семейство не проснулось. Я лежала, глядя, как тени свуют по белизне потолка, чувствуя беспомощность оттого, что попала в чужой и чуждый мир, что живу не так, как хочется...

Я уже хорошо знала, что такое состояние — болезнь, ностальгия. Ею болеет подавляющее большинство людей, оказавшихся вдали от родины.

Хмурое утро. Брызжет дождик, и ржавчиной листья покрыты тротуары.

Солнце сжигает траву. Асфальт плавится под ногами. Лондон задыхается от жары. Сладкие воды не утоляют жажду. Лыдина из холодильника спасительным куском тает на губах...

Прохладный вечер весны. Пьянят запахи распускающихся акаций...

И после всего этого — дом. Москва. Родина. Мир привычных понятий и представлений. Жизнь, в которой я люблю и ненавижу, ищу, не могу найти, нахожу.

Я вошла в него, словно и не выходила, но лишь войдя почувствовала, как неувлочно что-то изменилось: мама, что ли, постарела или соседская девочка из ребенка в невесту превратилась? Течет Время.

А я пытаюсь разобраться в том, что оставляет человечеству своим опытом Альбион. Опытом отпущенного ему Времени...



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. МИХАЙЛОВ



## У ЗАСТАВЫ ИЛЬИЧА

**Д**алекие, дорогие сердцу картины, дорогие, потому что они связаны с молодостью.

Московский металлургический завод «Серп и молот». Я работаю в листопрокатном цехе подручным вальцовщика. Наш бригадир — Ваня Романов, крепкий, румяный, с веселым взглядом. «Лихой мужик» — говорят о нем в цехе. Когда в 1929 году началось социалистическое соревнование, он вывел свою бригаду в передовые. Бригада получила почетное звание — имени XVI партсъезда. Это была высокая честь не только для цеха, но и для всего завода.

В бригаде семь человек — русские, украинец Мочальский, татарин Усманов, обрусевший поляк Гаевский, которого в шутку зовут пан Потоцкий. Все прекрасные товарищи, готовые помочь друг другу, поддержать в трудную минуту. Когда складальщик Вася Романов, — однофамилец бригадира, измотанный жарой, теряет силы, Мочальский или первый подручный Миша Кошелкин заступают на его рабочее место, чтобы тот мог выйти на свежий воздух и отдышаться.

...Сегодня день полочки. Цеховой бухгалтер, толстый, невысокий, в ярко-красном свитере, помогает кассиру выдавать деньги. Они, бухгалтер и худенький седой кассир, сидят рядом, перед ними стопка синих расчетных книжек. Мы по очереди подходим к окошку.

В дни полочек здесь всегда Иван Шашкин, подручный сварщика первого стана, рязбой, с обожженными пламенем нагревательных печей щеками. Он отработал ночную смену; под глазами темные круги, лицо осунулось, глаза красные. Надо бы идти домой отдыхать, но, как объясняет Шашкин, пролетарская совесть не позволяет ему поступить таким образом. В руках Ивана потрепанная командирская кожаная сумка. В ней он хранит членские билеты МОПРа (Международной организации помощи борцам революции), и марки, список нашей цеховой организации. У тех, кто получил зарплату, Шашкин тут же принимает взносы. В тетрадь с коленкоровым переплетом аккуратно записывает фамилию.

— Спасибо, — говорит он при этом и пожимает руку.

Сколько мы помним, Шашкина на цеховых собраниях из года в год выбирают уполномоченным МОПРа. В Ленинской комнате есть уголок МОПРа. Здесь уполномоченный вывесил портреты Маркса, Ленина, Клары Цеткин, Эрнста Тельмана, Марселя Кашена. Плакаты, посвященные международной пролетарской солидарности. Время от времени Шашкин их обновляет. Бессменным остается только один плакат, на котором изображен земной шар, опоясанный цепями. Могучий рабочий с коричневым загорелым лицом, в синем комбинезоне, мощным молотом разбивает эти цепи. Вверху надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Центральный парк культуры и отдыха в Москве. Жаркий июльский день. На водной станции у Крымского моста нельзя протолкнуться. Доски нагрелись так, что по ним трудно ступать. От жары бросаешься в реку. Плынешь и по-особому смотришь на безоблачное синее небо, на легкие белые барашки на темной воде, на бегущий по ажурному Крымскому мосту краснобокий трамвай маршрута «Б» — москвичи ласково

называют его «букашкой». Вечером на площадях в аллеях митинги и шествия. Всюду красные полотнища, гремят духовые оркестры. Мы идем по широкой набережной Москвы-реки и самозабвенно поем:

Заводы, вставайте,  
Шеренги смыкайте,  
На битву шагайте,  
Шагайте,  
Шагайте!  
Проверьте прицел,  
Заряжайте ружье,  
На бой, пролетарий,  
За дело свое!  
Товарищи в тюрьмах,  
В застенках холодных,  
Мы с вами,  
Мы с вами,  
Хоть нет вас в колоннах!

Воображение рисовало мрачные решетки, холодные тюремные застенки, где томятся борцы за дело рабочих.

Два класса столкнулись в смертельном бою,—

неслось над парком, и мы были полны ненависти к эксплуататорам и вспоминали плакат, на котором рабочий мощным молотом разбивает цепи.

В те годы в первое воскресенье сентября отмечался МЮД — Международный юношеский день. Молодые рабочие во главе с комсомольцами выходили на демонстрацию. Как всегда, собирались около главной проходной. Вездесущий, горластый секретарь комитета комсомола Саша Бахмутский строил ребят в шеренги, давал сигнал оркестру, хору, затевал в кругу пляски и сам лихо плясал со всеми.

На демонстрацию приходили одетыми по-праздничному. Девушки в красных козынках. Были очень популярны юнгштурмовки — рубашки из материи защитного цвета, похожие на гимнастерки. Их носили и парни и девушки. Несли объемные карикатурные фигуры врагов рабочего класса: Чемберлена, лорда Керзона, Чан Кай-ши.

Когда пришло сообщение о том, что в Варшаве убит наш полпред Войков, в цеховых красных уголках состоялись митинги — сколько проклятий сыпалось здесь на головы врагов рабочего класса! Беспокойным и напряженным было то время.

В 1927 году консервативное правительство Англии порвало дипломатические отношения с нашей страной. Летом 1929 года наши цеховые агитаторы проводили беседы относительно конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. Слушая о том, как Советское правительство терпеливо ищет способ урегулировать конфликт, секретарь нашей цеховой парторганизации Гриша Куздуков, прошедший сквозь пекло империалистической войны, ожесточенный и непримиримый, почти кричал:

— Рубануть их, паразитов, до седла, а дальше они сами развалятся!

Сколько было радости, когда Особая Краснознаменная дальневосточная армия под командованием В. Блюхера перешла к боевым действиям и наголову разбила войска китайских милитаристов! Гриша Куздуков повеселел.

— Теперь они будут знать, где раки зимуют,— говорил он.

Георгий Михайлович Димитров.

В памяти всплывает плакат предвоенных лет. На нем был изображен Димитров. Он стоит опершись на трибуну, смелый, мужественный человек. Перед ним Геринг, словно раздувшийся клоп,— коротконогий, короткорукый, в щеках-подушках утонул нос.

Напомню, что в Лейпциге с 21 сентября по 23 декабря 1933 года проходил процесс, на котором коммунистов ложно обвинили в поджоге рейхстага. В действительности же поджог совершили гитлеровцы под руководством Геринга.

Димитров жил в Германии как политический эмигрант. Из обвиняемого Георгий Димитров превратился в обвинителя. Он разоблачил провокацию, раскрыл всему миру сущность фашизма. В первой же речи 23 сентября он сказал:

«Верно, что я большевик, пролетарский революционер... Я действительно являюсь восторженным приверженцем и поклонником Всесоюзной коммунистической партии большевиков, потому что эта партия управляет величайшей страной в мире...»

Страна Советов строит новое общество — социализм, говорил Димитров. А что несет фашизм? Все, что чуждо интересам народа, все, что наполнено злобой к прогрессивному, подлинно гуманному. Напрасно вы думаете, что представляете силу, продолжал он, обращаясь к гитлеровским главарям. Трудящиеся всего мира должны подняться против фашизма и разгромить его.

Даже фашистский суд вынужден был оправдать мужественного революционера. 27 февраля 1934 года Георгий Димитров приехал в Москву.

Настали дни и ночи республиканской Испании.

В один из осенних дней 1936 года на заводе состоялся митинг молодежи. Говорили о том, чем мы можем помочь испанским республиканцам.

— Испанских матерей и детей надо поддержать по-настоящему, — говорил на митинге комсомолец Коробков. — Единовременный взнос в фонд помощи — очень хорошо. Но этим мы не ограничимся, а будем помогать до окончательной победы трудовому народу Испании.

С таким воззванием мы обратились ко всей советской молодежи. «Комсомольская правда» 22 сентября 1936 года опубликовала его.

Иван Шашкин теперь в дни получек приходил с двумя тетрадами. Во вторую он записывал суммы добровольных взносов в фонд республиканской Испании.

Памятный всем 1941 год.

В первые же часы Великой Отечественной войны в партком, где шла запись добровольцев, опираясь на палочку, вошел бывший прокатчик пенсионер Лавренов. Он протянул листок бумаги. «Мои годы преклонны и голова седая, — было написано на листке, вырванном из ученической тетради. — Я вступаю в ополчение так же, как вступал в 1917 году в Красную гвардию, как шел в армию в годы гражданской войны».

Здесь, на заводе, память о войне — на каждом шагу. Есть улица Вострухина. Заводской пионерский лагерь тоже носит имя Вострухина. Петр Михайлович Вострухин — воспитанник завода, Герой Советского Союза. Он погиб на Курской дуге. На фюзеляже его «ЛАГа» было 27 звездочек — по числу сбитых самолетов.

Петр Лядов, бывший редактор заводской многотиражки «Мартеновка», ставший корреспондентом «Правды», рассказал человечеству о бессмертной Зое. Лядов погиб в Полтаве во время налета вражеской авиации. Одна из улиц города носит его имя.

В Волоколамске погибли пять комсомольцев завода — конструкторы Константин Пахомов и Николай Галочкин, машинист завалочной машины Павел Кирьяков, монтер Виктор Ординарцев, инженер Николай Коган. Они отправились за линию фронта со специальным заданием, наткнулись на засаду и приняли неравный бой. Гитлеровцы схватили их и казнили. «Мы клянемся именем замученных наших друзей, — писали в «Комсомольской правде» в те дни рабочие завода, — что никогда не сдадимся, что всегда будем следовать их замечательному примеру, будем так же горячо любить свою родину, не пожалеем, защищая ее, и самой жизни».

Семидесятилетние ветераны, такие, как старейший токарь Иван Сафонович Сафонов, которому когда-то сам Калинин вручил именные часы, вернулись на завод.

— Мы будем работать без нормы и без отпусков до полной победы, — с достоинством сказали старейшие.

Технология горячих цехов такова, что цехи нельзя остановить даже на несколько часов — остынут печи, валы, металл, все замрет и все надо будет снова разогревать, возвращать к жизни. Во время воздушных тревог завод продолжал работать.

— Metallургам ни черт, ни Гитлер не страшны! — шутили рабочие.

Во время очередной бомбежки Москвы — 22 августа 1941 года — бомба упала на прокатный цех. Были убитые, 50 человек получили ранения.

— И все-таки ни черт, ни Гитлер нас не запугают! — с ненавистью говорили



прокатчики. Весь завод помогал им восстанавливать разрушенный участок. Через три дня цех уже работал.

Вместо ушедших на фронт мужчин в цехи пришли женщины. Анастасия Савичева стала первой женщиной-сталеваром, Галина Пикулина — первым прокатчиком.

320 рабочих и служащих завода отдали жизнь за родину. На заводском дворе неподалеку от здания заводууправления стоит памятник. На постаменте три солдата в шинелях, касках, с автоматами. Справа орден Отечественной войны, слева на плите надпись: «Металлурги — своим погибшим товарищам». Даты: 1941—1945. Если вы придете сюда весной или летом, то увидите утопающую в цветах площадку и цветы на постаменте.

Рабочий сталепроволочного цеха, член литературного объединения «Вальцовка» В. Петровичев посвятил воинам-серпомолотцам стихи:

В гранитных шинелях  
солдаты  
Застыли у главных  
ворот.  
С победой желанной  
Весной в сорок пятом  
Вернулись они на завод.

Виктор Алексеевич Камышев — бригадир дежурных электрослесарей. На работе, в спешке, вид у него как у всех, кто трудится в цехе. Только в торжественные дни его грудь украшают орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», знак ветерана гвардейских минометных частей. С «катышами» Камышев перешел границу нашей родины, чтобы выполнить и свой интернациональный долг, и свидетельство тому медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Анна Максимовна Жогова — машинист высоковольтных моторов в листопркатном цехе. Когда началась война, ей не было восемнадцати лет. Ее отец ушел на фронт в первые же дни, на руках у матери осталось пятеро детей, Аня была старшей. На фронт пошла добровольно, ее зачислили в полк зенитной артиллерии. Боец Жогова стояла на посту, когда командир огневого взвода приказал ей объявить тревогу. Если тревога, значит, что-нибудь плохое, какая-то беда. Все собрались, как и положено. Лейтенант сказал: «Победа!»

Бывшие фронтовики есть во всех цехах завода. Рассказ Анны Максимовны мог бы продолжить полковник в отставке А. Камаев.

— К исходу дня второго мая бои в Берлине в основном закончились. Наша моторострелковая бригада — я был в ней начальником штаба — получила пятого мая приказ о начале марша-маневра Берлин — Прага. Марш этот назвали впоследствии легендарным — настолько он был стремительным. Один эпизод тех дней мне особенно запомнился. К ночи с восьмого на девятое мая бригада подошла к перевалам через Рудные горы. Места трудные, заболоченные, всего здесь можно было ожидать. Так и произошло — неожиданно началась яростная пальба из танковых орудий, пулеметов, автоматов. Неужто завязались бои с разрозненными группами противника? В действительности оказалось иное. Танковые радиостанции услышали заявление советского Главного Командования о безоговорочной капитуляции армии фашистской Германии. Это был салют в честь победы! Утром девятого мая бригада была в Праге и оказала поддержку восставшему народу.

Вернувшись на завод после окончания войны, фронтовики принесли в родной коллектив то чувство пролетарского интернационализма, которое прошло самую суровую проверку на полях сражений.

На заводе с такой богатой и яркой историей сложился особый нравственный климат — высокой идейности и чистоты. Особенно сильны здесь традиции интернационализма. Вспомнился мне давний случай.

Однажды в листопркатный цех пришла новость. Цеховой профсоюзный комитет сообщил, что Иван Романов премирован поездкой за границу. Поощрение передовых рабочих не было редкостью, но путешествие за рубеж — этого еще не бывало. Одни Ване завидовали: шутка ли — получить неожиданный дополнительный отпуск. Другие

подшучивали: держись, Ваня, там тебя всякие керзоны и чемберлены совращать будут...

Романов вернулся почти через месяц. Вместе с другими ударниками труда он побывал в Германии, Италии, Турции. Путешествовали на теплоходе «Абхазия». Иван показывал снимок белоснежного красавца, поясняя, как он оборудован, какой там ресторан, какие удобные каюты, как хорошо гулять по верхней палубе, особенно после захода солнца и ночью, когда серебристая вода струится в лунном свете.

— Как же ты, Ваня, с ними объяснялся?

— Смотря где, — солидно отвечал Ваня. — В Турции, скажем, переводчик не нужен. Не в том толк, что мы сами могли по-турецки говорить, а в том, что там русских эмигрантов полным-полно. Заходим в магазин — слышим нашу речь. Ох, говорит, как хочется в Россию! Мы вежливо отвечаем: попроситесь, может быть, вас и пустят. А он плачет: кому мы теперь, такие подлецы, нужны? Хоть и бывший белый, а понимает, что измена родине — самое гадкое зло. Потому ему и муторно. Человек без родины — это уж не человек.

Особенно охотно рассказывал Ваня про Италию:

— Алексей Максимович Горький сам приехал к нам на теплоход. В Неаполе устроил для нас банкет. Ресторан стоит наверху, вид оттуда сказочный. Алексею Максимовичу хотелось, чтобы всем было хорошо. Помощник его интересовался, все ли в порядке, все ли довольны, может быть, еще что-нибудь требуется. Спросили мы у Алексея Максимовича, что про нас говорят, как к нам относятся. Он отвечает: по-разному относятся — рабочие любят, буржуа ненавидят. У капиталистов такая натура — советскую Россию они могут только ненавидеть.

Хочу рассказать и о Вале Громе и связанных с ним событиях почти пятидесятилетней давности.

В летние вечера на гаревой дорожке заводского стадиона, на зеленом ковре футбольного поля начинались тренировки легкоатлетов. Занятиями руководил Валентин Васильевич, высокий, длинноногий, стройный. Он не бежал, а словно парил над беговой дорожкой. Громову принадлежали рекорды Москвы в беге на сто, двести, четыреста метров. Его фамилия была в списке лучших спортсменов страны. На стадион Валя приезжал на сверкающем мотоцикле, что по тем временам было большой редкостью. Он был известен как один из организаторов испытательных и агитационных пробегов.

Однажды меня и Сашу Горбунова — оба мы работали в юношеской секции клуба — пригласил к себе секретарь парткома Сергей Филатов, бывший моторист прокатного цеха. Как и многие партийные работники того времени, Сережа Филатов носил суконную гимнастерку защитного цвета, брюки, заправленные в легкие сапоги.

— Немцы к нам едут, рабочие-спортсмены, делегированные обществом «Фихте». Вы людей в клубе знаете: кого бы к ним прикрепить как сопровождающего?

Не задумываясь мы назвали Валентина Громова — он и спортсмен, и Москву прекрасно знает, и немного говорит по-немецки.

— Я тоже о нем думал, — выслушав рекомендацию, заключил секретарь парткома, — кандидатура, пожалуй, подходящая.

Так Громов, как шутя говорили на заводе, попал в дипломаты. Он, конечно, не предполагал, что это событие будет иметь свою долгую и удивительную историю. Что же касается особенностей своей миссии, то с этим ему пришлось столкнуться в первые же дни.

Гости шли по заводу, осматривали цехи, расспрашивали об условиях жизни, работе. Когда переходили по заводскому двору из одного цеха в другой, руководитель группы Тео Каутс отвел Громова в сторону.

— У нас вчера было собрание, — сказал Каутс, — и мы пришли к выводу, что представители немецких рабочих не могут быть в вашей стране лишь как экскурсанты. Вы строите новый мир. Но ведь строите его не только для себя. У вас будет учиться рабочий класс всех стран. Поэтому мы решили, что должны помогать вам. Это наш интернациональный долг. Мы хотим внести свой посильный, пусть маленький, вклад и решили три недели безвозмездно проработать на заводе в фонд пятiletки.

— Я думаю, что это будет очень хорошо, — ответил Громов. Но случай в его

представлении был не столь обычный, и он зашел к Филатову: надо было решить, где работать немецким товарищам, как все это организовать.

— Что ж, ты ответил правильно,— приглаживая седеющие волосы, сказал Филатов.— Тебе и карты в руки, возглавляй бригаду. Где ей работать? Дадим боевое место — установку опор магнитного крана. Название закрепим сразу почетное — ударная бригада бетонщиков.

Громов вспоминает: немецкие рабочие-спортсмены работали действительно по-ударному, без перекуров. После трудового дня они шли в цехи, выступали на митингах, вели беседы в красных уголках. Пожалуй, больше всего вопросов приходилось на долю директора Петра Федоровича Степанова. Потомственный московский рабочий завода «Бромлей», он был выдвинут в руководители многотысячным коллективом металлургов и отлично вел предприятие. Он постоянно занимался молодежью: прийти на комсомольское собрание, на футбольный матч, появиться на субботнике в подшефном совхозе, зайти на прослушивание новой программы духового оркестра было для него делом обычным, совершенно естественным. Он хотел знать не только общие нужды молодежи. Бывая в цехах, наметанным глазом выделял он наиболее способных молодых рабочих, запоминал их, следил за их ростом и нередко сам рекомендовал, кого поставить первым подручным сталевара, кого выдвинуть вальцовщиком. Его радовало и освоение новой марки стали, и окончание строительства жилого дома для ударников на Волочаевской улице, и первое место, завоеванное на смотре театральным кружком, и каждая победа заводских спортсменов. Можно представить, с каким интересом слушали Степанова заводские гости, рабочие из Германии. А сам Петр Федорович, как человек глубоко партийный, умеющий ко всему подойти с политических классовых позиций, стремился поступать так, чтобы немцы со всей полнотой ощутили советскую власть как власть трудящихся.

Три недели пролетели словно один день. Свой план бригада выполнила, опору поставила. Наступил день отъезда немецких друзей на родину.

— Проводим наших товарищей как подобает,— предложил Филатов.

Созвали на заводе митинг. Каждому участнику бригады выдали удостоверение ударника. Надо было видеть, с каким трепетным волнением принимали немецкие друзья этот знак принадлежности к армии строителей нового мира.

Потом была как заключительный аккорд поездка на Красную площадь. Когда машина проезжала мимо Мавзолея Владимира Ильича Ленина, бригадир Тео Каутс от имени всей группы сказал:

— Знаешь, Валя, мы даем клятву — всегда помнить об этой поездке в вашу страну.

И все члены делегации подняли вверх руки со сжатыми кулаками — рот фронт!

В августе тридцать второго года в нашу страну приехала группа альпинистов — первая немецкая рабочая экспедиция на Кавказ. Громов не был альпинистом, но он приобрел опыт работы с группой Каутса, и вновь выбор пал на него — ему поручили снаряжать экспедицию в Кабардино-Балкарию. Район этот избрали не случайно. Во время царизма кабардинцы и балкарцы были почти сплошь безграмотны, жили в бедности и нищете. Теперь здесь все изменилось, и путешественники из Германии могли увидеть собственными глазами как преобразился этот край.

Описание экспедиции с десятками восхождений, в том числе и по новым маршрутам, заняло бы много места. Скажу лишь, что походы по всем маршрутам закончились успешно. Всюду немецких товарищей встречали радушно. Путешествие омрачили лишь недобрые вести из Германии: фашизм рвался к власти.

Трогательным было расставание с новыми друзьями. Позднее они написали, что, сойдя в Гамбурге с корабля «Ян Рудзутак», сразу попали на митинг бастующих рыбаков. Для такого митинга не могло быть лучшего материала как рассказ о Стране Советов. Так участники поездки начали выполнять свое обещание — рассказывать о том, как на шестой части земного шара строится новый мир.

К тому времени Валентина Громова выдвинули на работу в иностранный сектор общества пролетарского туризма и экскурсий. Вместе с новыми товарищами по работе он заботился о связях с немецкими друзьями: им посылали журнал «СССР на стройке».

книги рассказов и очерков о жизни нашей страны. Когда к власти пришел Гитлер и над Германией нависли черные тучи, литературу стали переправлять через Чехословакию. Затем и эта связь прервалась.

Шли годы, закончилась война. И много раз задумывался Валентин Васильевич Громов: где его друзья-немцы, как сложились их судьбы, сдержали ли они свое слово? Однако ведь нет никаких следов, не осталось в его руках никаких нитей. С чего начинать?

Как-то, перебирая свои бумаги, Громов обнаружил среди них декларацию. В документе говорилось о многом. Его авторы заявляли о готовности вести борьбу за создание единого фронта против фашизма и реформизма, против войны и интервенции — во имя защиты Советского Союза. Рабочий класс этой страны под руководством ленинской партии строит социализм, говорилось в декларации, и весь международный рабочий класс призван поддерживать первое в мире рабоче-крестьянское государство. Поддержка должна носить реальный характер, и потому в декларации содержался отчет о том, как активисты Дрездена вербовали читателей рабочей прессы, как они собирали средства на поездку в Советский Союз, как давали отпор клеветникам. Не могло быть никаких сомнений в том, что авторы декларации — та самая группа, с которой Громов путешествовал в горах Кабардино-Балкарии. Громов решил пойти по следам давних друзей-интернационалистов. Он написал письмо в советское посольство в ГДР и получил короткий, но чрезвычайно важный ответ. Все участники экспедиции, говорилось в нем, остались верны своему слову. Ответ окрылил Громова — и вот он уже в Берлине, а затем в Дрездене. Здесь он разыскал Вальтера Заальфельда, Франца Рюге, Ханса Доната, Йоханнеса Дамме, Вилли Фаццуса, Рудольфа Ланграфа. Читатель сам может представить, какими взволнованными были эти встречи.

— Сразу после возвращения из Москвы меня уволили, — рассказывал Валентину Громову Ханс Донат. — Год не мог найти работу, но не сдавался — читал лекции о вашей стране. В тридцать третьем году, когда стало невмоготу, ушел в подполье. Через год меня арестовали, обвинили в государственной измене и посадили на четыре года.

В 1943 году Доната мобилизовали в штрафной батальон. Ему удалось установить контакт с итальянскими и французскими партизанами.

Не избежал застенка и Вальтер Заальфельд. В 1934 году его подвергли так называемому охранительному аресту. В 1939—1940 годах снова тюрьма. Несмотря на репресии, Вальтер не прекращал подпольную работу.

Рудольф Ланграф после прихода фашистов к власти неоднократно переходил границу Чехословакии. В обстановке дикого террора было особенно важно уберечь кадры от тюрем, уничтожения. И «красные скалолазы», пользуясь известными им тайными тропами в горах, переправляли друзей из Германии и спасли жизнь десяткам антифашистов. В Чехословакии их ждали друзья — Эрих Глазер, Ада Шиллер. У них хранились листовки, газеты, журналы, в том числе и те, которые посылал Громов. Так, на протяжении нескольких лет действовало «Объединенное общество скалолазов». Дорогой ценой платили антифашисты за свою верность стране. Громову передали список: за годы фашизма 89 «красных скалолазов» были заключены в тюрьмы и лагеря, 24 из них погибли в фашистских застенках.

Если удалось разыскать альпинистов, рассуждал Громов, то почему невозможно найти участников первой группы из общества «Фихте», тех, которые работали на заводе, отказавшись от экскурсий и отдыха?

В архиве он обнаружил письмо, точней лишь небольшую записку. На конверте был штампель Барселоны. Почему? Громов вспомнил — ведь один из участников бригады, Курт Абрахам, воевал в Испании в составе интербригады. Должны же его товарищи, если он даже погиб, знать о нем? После долгих усилий удалось отыскать Тео Каутса. В адрес Валентина Васильевича пришло письмо от него: «Все немецкие рабочие, служащие, коммунисты, социал-демократы и другие друзья первого рабоче-крестьянского государства, которые много лет назад посетили Советский Союз и о которых ты так заботился, никогда не забудут тех замечательных дней. Ты и другие товарищи — могли нам разобраться в закономерностях развития социализма в вашей стране...»

Так писал Каутс. Он сообщил, что фашизм вырвал из их рядов немало замечательных людей. Курта Абрахама и его брата Хайнца Тео Каутс встретил случайно зимой 1933/34 года в одном из магазинов. Братья скрывались от полиции и находились в подполье. Тео договорился с ними о встрече, но в назначенный срок они не пришли, что-то им помешало. Только после войны Тео встретил Хайнца, но он ничего не мог сказать о судьбе брата.

Каутс дружески сообщил о своей семье, двух дочерях и сыне. Старшая дочь училась в Ленинграде и стала ветеринарным врачом. Возвращаясь к далеким воспоминаниям, Каутс писал: «Никогда не забуду того заключительного митинга на заводе «Серп и молот». Не забуду, как все мы в едином порыве пели «Интернационал»...»

Много мыслей вызывают эти эпизоды.

Международная солидарность, подлинный гуманизм, стремление к миру и дружбе глубоко вошли в сознание миллионов, стали знаменем времени, огромной движущей силой. Удивительное, прекрасное время — рядовой советский гражданин живет интересами всего человечества, осознает себя причастным к истории.

В понедельник мы работали в утренней смене. В выходной день печи и валы остывают. Для того чтобы металл шел без брака, все системы надо разогреть, привести в должную форму. Процесс этот деликатный, требующий от бригады, особенно от вальцовщика и сварщика, высокого мастерства, старания, знания всех капризов и валов, и печи, и металла.

В такие часы очень сложной, тонкой работы по наладке стана я впервые услышал Монгера. Полный, с лицом, выбритым до синевы, он размахивал рукой с зажатой в ней курительной трубкой и нещадно ругал Луку Овечкина. Монгеру показалось, что сварщик выбрасывает вальцовщику плохо прогретые листы, а это может привести к поломке дорогостоящих прокатных валов.

Лука был одним из старейших рабочих, начинавших осваивать мастерство в 1909 году, в ту пору, когда хозяин завода француз Гужон затеял листопрокатное производство и выпясал вальцовщиков из Англии. Среди приехавших в Москву был и Монгер. Некоторое время Овечкин работал под его началом. На этом основании он считал, что имеет право на особые отношения с англичанином, и потому, когда началась схватка, применил в споре тот же лексикон, что и Монгер, с той разницей, что у англичанина слова были исковерканы, а Лука выдавал их с таким смаком, что те, кто слышал эту дискуссию, посмеивались, но так, чтобы Томас Монгер этого не заметил. Ему ничего не стоило выставить неудобного из цеха, и в таких случаях не только цехом, но и заводом испытывал большие затруднения. Монгер не научился новому, а школа, которую прошел он сам, сводилась не только к ругани, но и к тычкам. Поэтому когда возникали трудовые конфликты, в заводском выбирали дипломатические ходы, чтобы уладить дело мирным путем.

В другой раз я увидел Монгера в воскресенье, когда в цехе велись ремонтные работы, шла точка валов. День выдался очень морозный. Томас Монгер сидел около стана, в котором медленно вращались валы, и орудовал резцами. Только он владел тайной обточки валов и выполнял эту операцию с ювелирной точностью. И как он мог делать это на таком холоде! Его пальцы стали совершенно синими, лицо багровым. Он не выпускал изо рта трубку и, казалось, совершенно не замечал, что происходит вокруг. Так, за работой провел он весь день, а утром в шесть часов снова был на ногах. Он шел через пролеты, осматривал печи, станы, проверял, как прочищены колосники, вывезен ли шлак. Впрочем, к такому распорядку работы Монгера привыкли — и ни у кого не вызывало удивления то, что он мог появиться в цехе и в два-три часа ночи. В таких случаях вальцовщики стремились особенно точно измерять прокат, подручные становились шустрой, а некоторые сварщики с напускной строгостью покрикивали на кошегаров — кому хочется, чтобы Монгер опять начал шуметь!

А вообще-то дела в цехе шли неважно. После долгой разрухи станы только начали пускать. Настоящих мастеров своего дела не хватало. Многие рабочие были связаны с деревней и уезжали то на религиозные праздники, то на крестьянские работы, особенно на сенокос, уборку урожая. И горько было видеть, как из-за нехватки рабо-

чих рук приостановили станы, по чьей-то халатности росли стопы бракованного металла.

Весной 1929 года в Москве проходила XVI партийная конференция. Наш пропагандист Никита Коротин, худой, с темными кругами под глазами, собрал молодежь в красном уголке и вслух прочитал обращение конференции, призывавшее рабочих и трудящихся крестьян развернуть социалистическое соревнование за выполнение плана первой пятилетки. Обращению конференции предшествовала впервые опубликованная в «Правде» в январе 1929 года статья В. И. Ленина «Как организовать соревнование?». На одном из занятий полеткружка Никита Коротин, картавя — он плохо выговаривал букву «р», — читал нам выдержку из статьи:

«Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применить его действительно широко, действительно в массовом размере. Втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатый родник и которые капитализм мям, давил, душил тысячами и миллионами».

Никита обладал природным даром пропагандиста, это его высокое духовное качество определялось и той школой классового воспитания, которую он прошел в цехах завода Гужона. Представьте себе сегодня девятилетнего школьника, весело шагающего со своими сверстниками в школу. Вот в таком возрасте шагал Никита у Проломной заставы. Только не со школьной сумкой, а с куском черного хлеба. И не в школу, а на завод: он работал на полировке жести, так же как и десятки его сверстников. Всякий раз, когда я пытался представить себе девятилетнего Никиту в черной, пропитанной машинным маслом сатиновой рубаше шагающим по дымному цеху, среди раскаленных печей, грохочущих валов, меня охватывало чувство боли, тоски: девятилетний ребенок шагал не по зеленой лужайке, а по чугунным плитам листопркатного цеха. Как он мог все это выдержать!

— Заметим некоторые слова Владимира Ильича, — негромко, глуховатым голосом говорил Коротин. — Вот он пишет про таланты. А возьмите вы наш цех, хотя бы Васю Косматого. Да если он выпивать перестанет, за ним никто не угонится. Ведь он на любом рабочем месте артист. А Буслаев? Про него в клубе прямо говорят: не будь он вальцовщиком, из него такой бы музыкант-баянист вышел. Первый на всю страну вышел! И что там говорить — Вася Буслаев и теперь на районном конкурсе приз получил. Вернемся к работе. Почему у Александра Иванова или Гриши Руднева всегда план идет на сто с лишком процентов? Что они — двуязыльные? Ничего подобного, оба уже в годах. Все дело в том, что работают они с душой и в бригадах у них порядок — всегда все на месте, никаких прогулов. Всем так и можно и нужно работать, тогда мы из прорыва вылезем, — заключил наш пропагандист, и с его аргументами, при помощи которых он связал ленинскую речь с цеховыми делами и заботами, нельзя было не согласиться: все ясно, понятно, убедительно.

Говоря о прорыве, Коротин имел в виду выступление заводской газеты «Мартеновка», справедливо обрушившей на листопркатку гнев критики. И когда на цеховом партийном собрании обсуждали это выступление, то пришли к твердому мнению — надо работать по-иному и, как призывает к этому партия, развернуть в цехе социалистическое соревнование.

Было раннее весеннее утро. После выходного дня на работу пришла первая смена. Глухо гудели печи. Высоко под потолком, чувствуя приход весны, возиались голуби. Смазчики с озабоченным видом осматривали подшипники, готовили масленки. Мастера проверяли перед пуском станы. Вальцовщики, сварщики, складальщики стояли в первом пролете в чисто выстиранных рубашках. Так было заведено издавна — в понедельник приходиться на работу в свежей рубашке.

В первом пролете раньше служили молебны. Теперь на том месте, где была икона, висели электрические часы. Безжалостно уродуя слова, Монгер говорил:

— Надо, чтобы наш цех был первый во всей заводу.

Стрелки часов показали ровно шесть. С мотора раздался пронзительный сигнальный звонок. Вдрогнули приводы — толстые канаты. Огромный маховик, словно стяхивая с чугунных плеч пыль, качнулся. Перезванивая, двинулась муфта, соединяющая главную ось, запели свою песню валы. Листопркатка двинулась в новый

путь — тогда мы еще не могли представить себе, в какую гигантскую силу вырастет социалистическое соревнование.

А сейчас рабочие расходились с митинга по своим местам и Коротин, стремясь перекрыть шум, кричал радостно и возбужденно:

— Всем докажем, что мы ударная бригада мирового пролетариата!

И эта газетная фраза в обстановке торжественного подъема прозвучала очень ярко, по-новому.

Монгеру было очень трудно. Идею соревнования он понял не сразу. Конечно, было бы замечательно выбраться из прорыва и наконец справиться с выполнением плана. Это главное. Но разве соревнование улучшит качество угля, заставит печи быстрее разогревать металл, прокаживать его в валах? Другое дело точка валов. Пожалуй, мастер Сергей Ильин разумно рассуждает, когда говорит о том, что будет лучше, если, кроме Монгера, и кто-то еще постигнет эту тайну. Кто? Именно Ильин — у него способностей к этому больше, чем у других. Но опять-таки: если научить Ильина такому искусству, значит, перестать быть монополистом?! Ну и что? Не два века будет жить Монгер. Пусть Ильин и другие станут наследниками его мастерства.

И все-таки время показало, что цех стал работать лучше. В бессонные ночи Монгер искал ответ на вопрос, почему это происходит. Неужели на работу всерьез может повлиять стенная газета, которую стали выпускать комсомольцы? Или эта новинка — доска показателей с фамилиями бригадиров, на которой ежедневно писали цифры выполнения сменного задания? Каковы смысл и функции товарищеского суда? Монгер зашел однажды в красный угол и увидел, как здоровый рыжий детина стоял перед столом, накрытым красной материей, а члены суда отчитывали его за прогул так, что лицо его побагровело, а волосы стали влажными от пота.

Странное состояние испытывал Томас Монгер. Впервые за свою долгую жизнь он вдруг необычайно остро почувствовал, что люди работают с радостью, что около доски показателей после каждой смены идут жаркие споры, что такой завязтый деревенский мужик, как Илюха Михалев, перестал ездить в деревню, чтобы не числиться в прогульщиках. И когда предзавкома Новиков в красном уголке вручил цеху красное знамя за победу в общезаводском социалистическом соревновании и рабочие встретили эту торжественную церемонию радостными улыбками, Монгер вдруг ощутил, что сердце его словно сжалось. Привычным движением он вынул из бокового кармана цветной жетки коробочку с нюхательным табаком и поднес щепотку к носу. На глаза навернулись слезы.

Этой ночью Монгеру не спалось. Он подымался с кровати, подходил к окну заводской квартиры и подолгу смотрел на розовые сполохи в окнах противоположных домов. Завод и ночью жил своей жизнью, пламя мартеновских печей отражалось в стеклах домов. Монгер, потомственный металлург, сын и внук листопркатчика, начал работать в цехе сразу после его пуска. Сколько воды утекло с тех пор! Много раз возникало у Монгера желание вернуться на родину, но какое-то глубокое чувство привязанности к этой рабочей окраине, к этим маленьким невзрачным домикам, где жили гужонские рабочие, удивительно способные, добрые и дерзкие, хлебосольные и веселые всегда удерживало его и помогало ему преодолевать тоску одиночества. А теперь вдруг и ощущение одиночества стало растворяться, исчезать. Для него это было странным, но в этом памятном году, когда началось непонятное для него соревнование, он не стал упаковывать старинные коричневые чемоданы и не поехал в отпуск на родину.

Тем более неожиданным было для него все случившееся поздней. Те, кто и теперь ловчил, стремился обманным способом получить бюллетень по болезни, разгильдяи, лодыри, не могли принять социалистическое соревнование. Но попробуй скажи об этой неприязни, даже враждебности вслух, когда победителей из цехов на Первомайской демонстрации поставили в первые шеренги, а их портреты вывесили на Доске почета около проходной! Теперь-то к этому привыкли, а на заре соревнования это было событием исключительным, о котором говорили и в цехах, и на квартирах, в семьях.

Врачи избрали анонимки. На заводском собрании появилось письмо. В листопркатке, говорилось в нем, две колонии — английская и русская, если твоя рожа не понравится Монгеру, то какой бы ты ни был спец, все равно будешь последним. Аноним-

щик обливал грязью и цеховую ячейку — нашли, мол, за кого цепляться, за англичанина.

Хорошо помню то собрание, накаленную атмосферу, состояние исключительного психологического напряжения. Дали слово Монгеру. Старый человек тяжелой походкой подошел к столу, оперся на него рукой, хотел что-то сказать, но только прикрыл глаза рукой. И все увидели — грозный, непоколебимый, не знающий ни усталости, ни спокойных ночей Монгер плачет. И те, кто выступал после него, не подходили, а подбегали к трибуне, и их слова в защиту Томаса вызывали бурную поддержку собрания. Слово дали секретарю парткома Ивану Гайдулю. Он говорил не подходя к трибуне, из-за стола, за которым сидели члены президиума.

— В письме поливают грязью вашего заведующего. Разве плох тот заведующий, который торчит в цехе по шестнадцать часов в сутки, сам идет работать на узкие участки, помогает вести подписку на заем индустриализации? Этот человек, — лицо Гайдуля потемнело, — не может сказать здесь, перед вами, ни одного слова — он плачет. Монгер — родной нам человек. В обиду мы его не дадим, а за честный труд отблагодарим как подобает.

Очень скоро завод узнал, что скрывалось за словами секретаря парткома. За ударный труд, активное участие в социалистическом соревновании Советское правительство наградило Томаса Монгера орденом Трудового Красного Знамени. Чрезвычайно интересная деталь: Монгер был третьим человеком в стране, кто получил эту высокую награду.

Прошло два года, в течение которых листопрокатный цех ни разу не уступил первенства. А за границей «доброжелатели» в стремлении показывать жизнь советских людей в кривом зеркале усиленно распространяли слухи о принудительном труде в Советском Союзе. Такую клевету мог придумать только ум извращенный, безнравственный, неспособный понять красоту и прелесть нового труда.

Когда-то новости из-за рубежа с трудом просачивались в домики рабочей слободы. Теперь все стало по-иному. Перед вечерней и ночной сменами в красном уголке собирались листопрокатчики — и только и разговоров было о лорде Чемберлене и его кознях против нас, о китайских милитаристах, грозных тучах в Германии, героической борьбе горняков Рура за свои права. Европа вплотную приблизилась к нашей заставе. Все стали политиками, все люто ненавидели капитализм.

Очередное собрание листопрокатки состоялось в честь Международного женского дня 8 Марта. Наши работницы пришли на это собрание в новеньких красных косынках, в помещении стало особенно празднично, радостно. Да и есть чему радоваться: за первые два месяца нового года цех выполнил план на 111 процентов и были все основания, работая такими темпами, выполнить пятилетку в четыре года. А накануне собрания Нижита Коротин и профорг Миша Чернышев решили, что надо дать отпор зарубежным клеветникам по поводу принудительного труда в Советской стране.

— В Международный женский день даже очень стоит высказаться об этом в полную меру, — рассуждал Чернышев.

— К тому же у нас есть что сказать. Зарубежный рабочий класс поверит нам. В наших руках, как говорит Гайдуль, и факты и логика, — подводил итог Коротин.

Перед окончанием собрания Чернышев зачитал текст письма к прокатчикам жести и листового железа завода Крушпа в Германии. Вместе со всеми рабочими и работницами поднял руку и Томас Монгер.

В письме говорилось, что листопрокатчики с возмущением протестуют против наглой лжи, которую распространяет за рубежом буржуазная печать. Мы добровольно, по своему желанию применяем социалистическое соревнование, говорилось в письме. А что такое это соревнование? В нем выражается трудовой подъем рабочих и крестьян. Мы смелой рукой подыали знамя великих работ и твердо решили создать новый быт, науку, новую, светлую жизнь.

Я перечитываю этот документ почти пятидесятилетней давности и нахожу в нем мысль удивительно глубокую, наполненную горячей любовью к родине, злободневную и сегодня. «Мы заявляем, — писали листопрокатчики, — что нигде в мире нет такой под-



линной свободы для человеческой мысли и труда, как в Советском Союзе!» И еще несколько строк из письма, полных глубокого классового смысла, хочется вспомнить сегодня. «Мы строим социалистическую промышленность и в корне переделываем старую деревню на основе коллективизации, — говорилось в нем. — Вот поэтому шевелится весь мир поработителей, господствующих спекулянтов, фабрикантов и торговцев человеческой кровью во имя бога и капитала». Выражая волю рабочего класса всей страны, листопрокатчики утверждали, что против лжи и клеветы, против подготовки войны восстанет великая армия рабочих всех стран, интернациональная армия защитников пролетарской диктатуры.

Письмо заканчивалось приглашением делегаций рабочих заводов Крупша на первомайские торжества. «Приезжайте, — писали листопрокатчики, — и посмотрите, как мы живем, как мы трудимся». Теперь пролетарский интернационализм, за который голосовала листопрокатка полвека назад, вырос в могучую непреодолимую силу. А тогда приезжавшего на родину в отпуск Монгера некоторые соотечественники слушали с недоверием и многого не понимали: почему старого Томаса, по сути дела рабочего, Советское правительство наградило орденом? как получилось, что бывший токарь Петр Степанов стал директором завода, где прежде хозяином был француз Гужон? что такое учебный комбинат завода и почему там рабочих учат бесплатно и они даже могут получить звание инженера? сам Монгер говорит, что мяса и масла не хватает, — почему же рабочие по этому поводу не устраивают демонстрации и не бастуют? Томас отвечал на вопросы до глубокой ночи. Однажды неожиданно для себя он заметил, что, подтверждая свою мысль, он рубит по столу правой рукой точно так, как это делал Никита Коротин.

Когда расходились из кабачка на набережной, многие его слушатели теперь уже сами иногда смутно, а иногда с полной ясностью представляли, что появилась обсто-ванная земля, в которой самое главное устроено по-другому.

Наша победа в Великой Отечественной войне изменила облик мира. В истории человечества произошел коренной поворот. Советский Союз — ударная бригада мирового пролетариата, братский союз свободолюбивых — стал решающей силой в борьбе за мир и прогресс на земле. Все это не могло не найти отражения в днях и буднях завода «Серп и молот».

Летом 1975 года в Польшу в составе делегации ветеранов войны приехал Василий Егорович Кудашов. По возрасту он давно мог бы уйти на пенсию, но не хочет ветеран покоя. В электросталеплавильном цехе завода «Серп и молот» прошла половина его жизни. Здесь Кудашова знает, как говорится, и стар и млад. Во время поездки товарищи заметили — плохо спится Василию Егоровичу, что-то его беспокоит.

— Нет в том секрета, — отвечал Кудашов на расспросы. — Развалины Варшавы я видел не на снимках. Нам пришлось участвовать в освобождении польской столицы. Сейчас я смотрю на город, он мне представляется чудом: в дни войны мы видели здесь только груды битого кирпича, уцелевший дом невозможно было найти. Тысячи километров прошли мы с боями — и все выдержали. Много боевых товарищей оставил я здесь — и советских воинов и братьев по оружию, поляков. Навсегда сроднился я с ними, можно считать с комсомольских лет.

Нити такой дружбы через годы войны тянутся к дням сегодняшним.

«Серп и молот» и «Гута-Варшава» — предприятия родственные. Дружба двух коллективов продолжается более двадцати лет. Пожалуй, не стоит говорить сейчас о товарищеской передаче опыта, взаимном обмене технической информацией и многих других деловых контактах. Все это стало само собой разумеющимся. Речь пойдет о том, что особенно дорого, — идейных, духовных связях, полном родстве исторических перспектив и устремлений.

Едет в Москву Шимон Хосбил, знаменитый металлург комбината «Гута-Варшава». Он не впервые на «Серпе и молоте». С радостью встречает он среди друзей Героя Социалистического Труда Анатолия Ивановича Петухова. Много общего в судьбе этих двух рабочих — русского и поляка. Оба пришли в цехи в комсомольском возрасте. Оба заслужили уважение и почет своим трудом.

— Хороший дядька Хосбил, — говорит Петухов про своего друга, — он и трудолюбивый, и пылкий, и душевный — настоящий рабочий. Когда мы встречаемся, нам обоим радостно и приятно. Я чувствую себя в Варшаве, как в Москве, а Шимон чувствует себя в Москве, как в Варшаве.

Обо всех поездках не напишешь. Но об одной хотелось бы написать подробнее.

Осенью прошлого года в Москву пришло очередное письмо. Приезжайте, писали польские друзья, хотим показать вам, как идут дела на нашей новой стройке. Речь шла о новом металлургическом комбинате «Катовице». Он создается в крупнейшем индустриальном районе страны.

Польша производит ежегодно около 16 миллионов тонн стали. Комбинат «Катовице» рассчитан на выпуск 9 миллионов тонн стали в год. Один этот комбинат будет давать более половины того что дает вся металлургия страны сегодня. Его сооружают по последнему слову техники. Многие процессы полностью автоматизируются, широко будет применяться вычислительная техника, устанавливается специальное оборудование для очистки воздуха от пыли, поглощения шума.

На стройке работает большая группа советских специалистов во главе с Героем Социалистического Труда Д. Кузьменко. Общий объем поставок из Советского Союза для первой очереди комбината — 170 тысяч тонн. Уникальное оборудование пойдет из Жданова, Свердловска, Краматорска, Днепропетровска.

Идет подготовка кадров для нового предприятия. Около тысячи металлургов проходят практику в Запорожье, Жданове, Липецке, Новокузнецке.

— Мы берем из вашего опыта все, что нам пригодится, — говорили польские друзья москвичам.

Поздним вечером, когда схлынул поток неотложных дел, секретарь комитета ПОРП Вальдемар Ковальский вновь рассказывал о комбинате — о том, как работает на стройке шеститысячный отряд коммунистов, какой дружбой отмечена совместная работа советских и польских специалистов.

— Польская стройка стала для советских товарищей своей, родной. Они показывают молодежи замечательный пример пролетарского интернационализма. Это интернационализм реальный, действительный, умножающий силы нашего народа.

Да, трудовая перекличка людей приобрела теперь интернациональный характер.

Приближался VI съезд Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). В те дни в Варшаву пришло сообщение. Бригада электросталеплавильщиков завода «Серп и молот» под руководством кавалера ордена Ленина Сергея Григорьевича Кокарева в день открытия съезда выдала сверх плана 50 тонн специальной высококачественной стали. А в канун XXV съезда КПСС из Варшавы на имя Л. И. Брежнева пришло письмо от бригадира шестой мартеновской печи завода «Гута-Варшава». Бригадир сообщал, что в честь съезда партии была выдана сверхплановая плавка стали марки Ш-15, предназначенной для отправки в СССР.

Ежегодно 22 июля польский народ отмечает праздник возрождения Польши. Действительно, страна — Польская Народная Республика — переживает пору невиданного расцвета. Прекрасна Варшава с ее новыми магистралями, романтическим парком Лазенки, мощными современными предприятиями. Незабываем Краков, этот поистине музей без крыши. Суров и мужествен Гданьск с его портами, верфями, приморскими улицами, украшенными домами старинной постройки. Полон очарования Ольштынский край, изрезанный множеством рек и речек, по которым можно путешествовать в течение всего лета, радующий обилием грибов самого искушенного грибника. Изумительны вечера в Польше, когда можно насладиться бессмертной музыкой Шопена в Желязовой Воле, услышать творения и Монюшко, и современных композиторов в оперном театре Варшавы, побродить по Старому Мясту, посидеть за чашечкой кофе, что так любят и варшавяне и краковяне.

И весь этот новый, более совершенный, более разумный мир создан руками польских тружеников. Естественно, что день возрождения Польши — самый большой праздник польского народа. Мы наблюдали его в одном из старейших польских городов, Люблине. Сюда приехали рабочие предприятий, крестьяне, представители интеллигенции. Люди с раннего утра заполнили площади и улицы. Особенно много было молодежи. Юноши и девушки в удивительно красивых национальных костюмах. Они

шли по улицам города с песнями и танцами. И всюду цветы: на окнах домов, на балконах, на улицах. Цветами были украшены транспаранты, портреты знатных людей. Город, как и вся страна, ликовал до поздней ночи — праздник возрождения.

А что же на заводе «Серп и молот»? Тоже праздник — металлурги отмечают его как знаменательную дату истории братского народа. В заводской газете рассказ о новой Варшаве. У комсомольцев «Огонек» с участием польских гостей. Во Дворце культуры торжественный вечер.

Настоящие друзья встречаются не только от праздника до праздника. В Москву к своим товарищам-кинематографистам приехали Беата Тышкевич и Ежи Кавалерович. Наши зрители хорошо знают этих мастеров. И вот раздается телефонный звонок:

— Дорогие друзья! Вы знаете, мы сейчас в Москве. Очень хотим побывать у вас.

Если вы видите оживление у входа во Дворец культуры, то, значит, будет что-то интересное. Когда приехали польские гости, в зал трудно было войти.

Дипломатическая служба хранит немало традиций, условностей, освященных столетиями. Но и в этот совершенно особый мир проникает качественно новое, продиктованное новыми отношениями между братскими социалистическими странами. Закончив свою службу в Москве, возвращался на родину посол Польской Народной Республики Ян Птасиньский. Дипломатический протокол требует, чтобы по этому поводу посол нанес прощальные визиты правительству страны пребывания, своим коллегам из других стран. В списке посещений у посла на одном из первых мест значился завод «Серп и молот». Впервые после многих встреч с послом грустными были в этот день и металлурги и Ян Птасиньский. Еще бы — его видели не только за столом президиума, но и в цехах за дружескими беседами со сталеварами и вальцовщиками.

На смену Птасиньскому прибыл Зенон Новак, один из популярных деятелей народной Польши. Он тоже узнал сразу дорогу на завод и вошел в семью московских металлургов как давний и хороший друг.

Завод «Серп и молот» сегодня предприятие по производству исключительно высококачественных сталей. В сложнейших летательных аппаратах, в тончайших хирургических инструментах, в мощных океанских кораблях, в автомобилях и телевизорах — во всем этом есть частица труда, знаний, упорства, мастерства московских металлургов. Тончайшая сталь — в лист писчей бумаги, — неуязвимая для самых низких и чудовищно высоких температур, способная соперничать с самой стойкой броней, создана трудом ученых и рабочих на заводе у заставы Ильича. Этот адрес, кстати, известен во многих странах мира. «Серп и молот» — это качественные стали.

Но такое определение никак не исчерпывает характеристику завода. Здесь выплавляется не только металл. Здесь выплавляются изумительные характеры, рождаются прекрасные судьбы, в конечном счете, создается подлинно новый идейно-нравственный образец.словно добрый и могучий сказочный великан, рабочий коллектив несет всему обществу свет и тепло, заряжает всех духом творчества, революционной энергией. При всем уважении к школе, вузу можно утверждать, что рабочий коллектив — самая прекрасная школа для тех, кто вступает в жизнь. И может быть, толкуя о профессиональной ориентации, мы недостаточно раскрываем перед молодежью неисчерпаемый творческий потенциал, заложенный в рабочем коллективе, все богатство духовной жизни завода, широту его интересов. Беседа о профессии — это речь не только о ремесле, это речь о высокой миссии рабочего класса.

В 30-х годах на заводе «Серп и молот» открылся учебно-производственный комбинат. Какое великолепное здание построили для него! В просторных аудиториях все сверкало, поражало удобством. В многочисленных кабинетах было солидно и строго: шкафы, заполненные приборами, столы для опытов, широкая, во всю стену черная доска, на которой запросто умещалась самая сложная формула.

Комбинат особенно выигрывал на фоне заводского клуба — бывших барачников для немецких военнопленных, уцелевших от времен войны 1914—1917 годов. Помещение всячески приспособляли, реконструировали, но барак остался барачком. Сравнить его с учебным комбинатом — примерно то же самое, что старую колымагу с современным автомобилем.

Шли годы, комбинат набирался сил, опыта. На его базе стал работать Московский вечерний металлургический институт. Когда на карте мира возникали новые развивающиеся страны, в Индию, Гвинею, Алжир из института поехали научные работники, чтобы помочь становлению молодой металлургической промышленности. Среди них был и кандидат технических наук А. С. Зубрев.

Надо было знать, куда едешь, и Зубрев взялся за книги. Более ста тридцати лет, вплоть до 1962 года, Алжир был колонией Франции. Став независимым, некогда отсталый Алжир сделал ставку на развитие национальной промышленности. Так, близ города Аннаба появился металлургический завод. Теперь он расширяется. С помощью Советского Союза здесь строятся доменная печь, сталепроволочный цех, реконструируются действующие цехи. Вот сюда, в Аннабинский университет, и приехал в качестве преподавателя Зубрев.

— Вы у нас не первый,— сказали ему радушно.— Во всех наших четырех университетах, во всех вузах и профучилищах работают советские преподаватели.

Алжирский технический язык еще не был создан. Учебников и учебных пособий не хватало.

— Конечно, работать в таких условиях очень трудно,— рассказывает Зубрев,— но нас, преподавателей, радовало, с каким старанием и упорством учился алжирская молодежь.

Прошло более двух лет. Настал день, когда университет торжественно отметил первый выпуск инженеров, в том числе и металлургов. Наши специалисты вспоминают:

— Радость у всех была преогромная. Если и в наших условиях окончание вуза молодым человеком — событие, то в условиях Алжира в каждой семье это воспринимается буквально как факт исторический. День выпуска первых специалистов стал главным событием, праздником всего города.

Мать одного из выпускников сказала:

— Я готова пешком пойти в Москву, к заставе Ильича, чтобы поклониться вашему заводу за счастье наших детей.

В 1962 году, к моменту завоевания независимости, в стране было лишь 8 алжирских специалистов с высшим образованием. Сейчас в республике подготовлено более 20 тысяч дипломированных специалистов. В вузах — около 50 тысяч студентов.

Прекрасна духовная жизнь завода.

Дворец культуры — это средоточие многих и многих видов и форм художественного творчества. Если у тебя есть способности и желание, тебе помогут проявить твои способности. Более пятидесяти лет существует тут народный театр драмы. Чуть ли не целую библиотеку составляют почетные грамоты, дипломы, отзывы, полученные духовым оркестром. Без него не обходится ни одно торжественное событие. Оркестр многократно участвовал в сложнейших конкурсах и выходил победителем. Во Дворце огромная библиотека, созданы народный университет культуры и народный университет кино. Квалифицированные лекторы здесь частые гости. С выездными спектаклями приезжают лучшие московские театры. Гордость завода — народный театр балета. Его постановки москвичи могли видеть даже на сцене Дворца съездов в Кремле.

Много лет работает на заводе литературное объединение «Вальцовка». Здесь слышали Александра Серафимовича, Александра Фадеева, Алексея Суркова, Михаила Исаковского. 12 участников литобъединения стали членами Союза советских писателей: Яков Шведов, Юрий Прокушев, Николай Флеров, Григорий Люшин, Александр Филатов и другие.

И вот однажды мы подумали: а почему бы не создать документальный фильм, посвященный духовной жизни завода, творческим устремлениям сталеваров, прокатчиков, слесарей? Сказано — сделано. Кинематографисты Центральной студии документальных фильмов помогли — и появилась картина. Как-то ее встретят? Понравится ли зрителям?

Как-то раз приехали на завод иностранцы. В порядке ознакомления с предприя-

тием им показали фильм. Потом началась беседа в заводууправлении; оттуда секретарь парткома Евгений Николаевич Соколов вернулся поздно.

— Во всем фильм виноват,— широко улыбаясь, сказал он.— Пожалуй, часа полтора гости с изумлением расспрашивали о том, как происходит на заводе такое чудо.

То, что было для зарубежных гостей чудом, для завода стало неотъемлемой частью бытия. Одни увлекаются декоративными аквариумными рыбками — и кинозритель видит сказочные картины подводного царства в заводском клубе аквариумистов «Нептун». Здесь по стенам выстроились десятки аквариумов различной величины, и в них вы можете наблюдать обитателей южных и северных морей, рек и озер нашей страны. Стихия других — художественное творчество. Только что перед вами была крановщица в рабочем комбинезоне, прокатчик, утирающий пот со лба, лаборантка, склонившаяся над пробирками. А в других кадрах фильма перед нами предстают те же люди. Они — исполнители классических арий и народных песен, артисты драматических и балетных спектаклей.

В июле 1977 года мы получили на заводе справку от совета Общества дружбы и культурных связей. В ней сообщалось, что фильм озвучили на 46 языках и разошлись в десятки стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки. Потом стали поступать отзывы, среди них письмо из Италии. Фильм демонстрировался, сообщалось в нем, в школах, институтах, культурных центрах. Он пользовался большим успехом. В Риме по просьбе учащихся фильм показывали повторно. Картина постоянно находится в прокате и всегда вызывает большой интерес. Вот реальный вклад заводского коллектива в дело духовного обмена культурными ценностями, пропаганды советского образа жизни, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Такую миссию коллектив выполняет постоянно. Народный театр балета побывал во Франции, Бельгии, Дании, Финляндии. «Два часа танца и радости» — так писал о его выступлениях французский журналист. А потом во Дворец приехала группа деятелей французского театра, чтобы ознакомиться с опытом народного театра балета. Для нас такой театр — полная неожиданность, говорили гости.

Это было 10 октября 1974 года, день очередного занятия «Вальцовки». Один из ее активных участников, котельщик Яков Челноков, пришел раньше обычного. Потому и получилось, что его попросили поехать в Дом литераторов, чтобы проводить на завод французского писателя Роже Шатоне.

Знакомство завязалось быстро. По просьбе гостя котельщик прочел ему свои стихи. Шатоне рассказал о себе. Он родился в предместье Бордо, в семье кузнеца. В годы фашистской оккупации был отправлен на принудительные работы в Германию. Спасли его советские солдаты.

На занятия «Вальцовки» приехали с опозданием. Гость извинился:

— Дорогие друзья, я никогда не опаздываю. Но во Дворце нам показали такой захватывающий фильм о художественной жизни завода, что я и сейчас не могу прийти в себя от увиденного.

Роже Шатоне рассказал о своей литературной работе. Его первые романы получили широкое признание и были переведены в ряде стран, в том числе в Советском Союзе. После рассказа гостя читали свои стихи участники «Вальцовки».

Так было положено начало переписке между Яковом Челноковым и Роже Шатоне, длящейся уже четвертый год. В одном из последних писем Шатоне приветствует своего друга, особенно восхищаясь тем, что он успешно изучает французский язык. Обращаясь с просьбой к своему другу прислать несколько стихотворений для публикации в журнале «Европа», Шатоне сообщил, что редакция журнала согласна с такой идеей. Надо, писал Шатоне, «поговорить с читателем о дружбе с рабочим человеком Москвы, который не только рабочий, но и человек, нашедший свой путь в область поэзии. Это знаменательно для свободной страны, и это сливается с политической борьбой за освобождение всего человечества. Для нас во Франции это вопрос вопросов».

Расскажем еще об одной встрече.

В начале 1977 года на завод приехал Амитава Гупта, один из крупнейших специалистов, изучающих творчество Рабиндраната Тагора. Сын учителя, Гупта изучал

в колледже точные науки. Но поэзия, литературное творчество одержали верх — Гупта стал поэтом и исследователем творчества великого Тагора.

Впервые поэт приехал в Советский Союз в 1930 году. В Москве 14 сентября 1939 года он посетил детскую коммуну, над которой шефствовал завод «Серп и молот». Здесь бывший беспризорник Саша Филатов прочитал Тагору свои стихи. Этот момент запечатлела фотография. Возвратившись на родину, Гупта рассказывал:

— Я был во многих странах, но больше всего мне запомнилась поездка в Советский Союз: вот где происходят грандиозные свершения. Огромную радость доставила мне трогательная любовь советских людей к Индии, ее истории, культуре. День на заводе «Серп и молот» был еще одной крупницей счастья в моей поездке.

Есть еще много путей, связывающих завод, молодежь с зарубежными странами и народами. Один из них — туристские поездки.

— Теперь таких поездок много, только успевай оформлять, — рассказывает мне Виктор Иванович Дюжев, Герой Социалистического Труда, активный деятель завкома. — А почему не ехать? Посмотреть другую страну, особенно молодым людям, и важно и интересно. Препятствий к поездкам нет. Преимущество мы даем тем, кто хорошо работает, и люди считают это правильным. А расходы на путешествия нашим рабочим даже вполне посильны — заработки в цехах приличные.

Куда едут? Конечно, многие хотят посмотреть, как живут в братских социалистических странах, чему-то поучиться, что-то сравнить. Едут и в капиталистические страны. Вот, скажем, старший инженер И. Гутнова, экономист С. Дербунович двинулись в Италию. С какой целью?

— С Италией мы ведь знакомимся в детстве, — рассказывают путешественники. — Нашим другом становится Буратино, потом нам рассказывает о своей стране Чипполино. В старшем возрасте наше воображение волновали подвиги Спартака. Потом пришли сказки Горького об Италии. И полотна Брюллова, великих итальянских художников дополняли впечатление. Италия так и представлялась нам страной лазурного моря, ясного неба, украшенная творениями великих художников и скульпторов.

Вернувшись на родину после восьмидневного путешествия по Италии, И. Гутнова и С. Дербунович опубликовали в заводской газете «Мартевка» рассказ о своем путешествии. Очень живо, с характерными деталями описывают авторы свои впечатления. Они осмотрели достопримечательности Рима, побывали в картинных галереях. Путешественникам понравилась Венеция. Однако ни нарядные гондолы, ни традиционные гондольеры не могли скрыть темные стороны жизни города: грязные каналы, по которым плывет мусор, мрачные дворы, завешанные бельем на протянутых веревках. И далеко не все совпадает в действительности с яркими фотографиями, рассчитанными на туристов. Пусты магазины, где товары не по карману рядовому итальянцу. Вызывает чувство острой боли вид безработных, обросших, плохо одетых...

У советских людей сложился свой образ жизни, свои нерушимые традиции. Для нас Первое мая — прекрасный праздник труда, борьбы, свободы. Выходишь из дома — и тебя охватывает свежесть весеннего утра. Солнце уже поднялось, осветило нежную зелень распускающихся листьев, осушило только что политый асфальт улиц. Дома украшены красными флагами. Улицы заполнены людьми, звучит музыка. Над головами демонстрантов знамена и флаги.

Станным было для наших путешественников оказаться в день народного праздника в чужой стране, во Флоренции. Непривычным было то, что Первого мая только на одной из площадей состоялась митинг и демонстрация в честь международной пролетарской солидарности.

Всем не терпелось попасть в Болонью. Болонья — крупный промышленный центр металлургии, пищевой, фармацевтической, мебельной промышленности. Здесь позиции компартии особенно прочны. Итальянские коммунисты организовали товарищеский ужин. Было радостно, звучали любимые, близкие и для русских и для итальянцев песни. Вот как закончили свой отчет И. Гутнова и С. Дербунович: «Когда после та-

кой поездки возвращаешься в Москву, и трасса Ленинградского проспекта выносит тебя к центру, к площади Свердлова, и ты видишь вечерний светлый город с просторными улицами, огромными площадями и домами, невольно возникает мысль, что наша Москва — самая красивая и близкая сердцу советских людей».

Удивительное время! Московские металлурги летят в Италию, чтобы в подлинниках увидеть великие образцы искусства. Они хотят посмотреть на жизнь рядовых итальянцев, для того чтобы глубже понять современный мир.

Подручный сталевара Рогов и бригадир комсомольско-молодежной бригады вальцетокарей Г. Бутов в составе туристской группы решили отправиться в Соединенные Штаты Америки.

Стоял февраль, но Вашингтон встретил туристов теплой бесснежной погодой.

— Удалось посмотреть многое. Побывали в поместье Георга Вашингтона, осмотрели картинные галереи, видели памятник американским солдатам, погибшим во второй мировой войне, и снова вспомнили, что победа над гитлеровцами стоила нашей родине двадцати миллионов жизней.

Так рассказывал после возвращения домой Г. Бутов. При всем уважении и внимании к науке, искусству комсомольца интересовало и то, как живет молодой американец, каков его образ мыслей.

Вот, к примеру, американская школа. В США нет единой общеобразовательной программы. В каждом штате учат тому, чего хотят местные власти, и так, как это им представляется нужным. В выпускных классах начинает действовать принцип специализации. При этом примерно 70 процентов от общего числа учащихся готовятся к работе на производстве, другие надеются продолжить обучение в университетах и колледжах. За обучение надо платить 800 долларов в год, а для приезжающих из других штатов до 5 тысяч долларов — для людей труда явно не по карману.

Однажды отправились в женский колледж, где изучают русский язык. Сразу же затеялся спор. Бутов объяснил, как он работает, что означает должность бригадира. Слушатели с сомнением отнеслись к тому, что он рабочий.

— А вы? — спросили они Рогова.

— Я подручный сталевара, — ответил он и этим вызвал еще большее удивление, чем Бутов.

— Сколько у вас платят за обучение? — спросили девушки.

— В нашей стране обучение бесплатное.

Удивление и молчание были ответом на эту справку. С трудом поверили в то, что на советских предприятиях рабочим государство оплачивает дни болезни.

Потом разговор перекинулся на литературные темы. Оказалось, что воспитанницы колледжа не имеют никакого представления о Шолохове, Фадееве, о представителях другого поколения — Шукшине, Айтматове, Валентине Распутине. Не нашел продолжения и затеянный нашими металлургами разговор о Теодоре Драйзере, Джеке Лондоне, Марке Твене. Лишь одна девушка вроде бы невпопад и наивно, удивленно воскликнула:

— Откуда вы все это знаете?

Девушка, как и ее подруги по колледжу, не представляла, что на заводе «Серп и молот» библиотека насчитывает десятки тысяч томов, а для того чтобы лучше обслуживать рабочих и членов их семей, решили создать еще и детскую библиотеку. Откуда было колледжу знать про Дворец культуры и клуб «Нептун», про спортивные залы и музыкальные классы, про народные театры завода и ансамбли гитаристов?

Особенно волнующими были беседы с зарубежными товарищами на темы интернационализма. Это и понятно. Идеи пролетарского интернационализма обогатили сознание трудящихся, обратившись в конкретные дела, стали движущей силой истории. Нынешнее развитие человечества невозможно представить себе без могучего поступательного движения теории и практики пролетарского интернационализма.

Много лет подряд книги Ленина, по данным ЮНЕСКО, по числу изданий занимают первое место в мире. В этом свидетельство величия и силы ленинских идей. Нельзя быть современным человеком, если не прикасаться к ленинскому учению. Наш современник призван учиться у Ленина всю жизнь.

Праздничные дни шестидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. Они у всех в памяти как дни великого торжества ленинских идей, как дни, когда в Москву съехались представители 104 стран мира,— над этим надо задуматься.

В докладе на юбилейной сессии 2 ноября 1977 года товарищ Л. И. Брежнев от имени всей Коммунистической партии, всего советского народа в кратких словах подвел исторический итог шести десятилетий: «Мы выстояли, мы выдержали, мы победили». Это означало, что партия Ленина, первое в мире социалистическое государство выполнили и свой интернациональный долг.

Рогожскую заставу, где расположен завод, теперь называют заставой Ильича.

Нередко в домах металлургов свет гаснет лишь поздней ночью, когда улицы погружаются в тишину. В эти часы глубокой сосредоточенности человек склоняется над письменным столом, над ленинским томом, и страницы великого учения классовой правды открывают перед ним новые перспективы. От заставы Ильича он видит и все континенты, и бесконечные фронты классовых битв, и все новые точки на земном шаре, над которыми плещутся красные стяги социалистической революции, знамена национально-освободительного движения. И все это, о чем лекторы и пропагандисты говорят как об исторических свершениях, в семье московских металлургов сливается с ежедневным трудом.

Великое строится из малого.





## ШИРОКОЕ ПОЛОТНО ЖИЗНИ

*К 100-летию со дня рождения Садрриддина Айни*

Садрриддин Айни—поэт и прозаик, ученый и публицист, ставший классиком одной из древнейших литератур мира. Он был общественным и государственным деятелем, первым президентом Академии наук Таджикской ССР и почетным членом Узбекской Академии наук, лауреатом Государственной премии СССР.

«Нечасто бывает так,— писал М. Турсун-заде,— что биография одного человека почти полностью слилась с биографией его народа, как это произошло у Садрриддина Айни. Жизнь его неразрывно связана с жизнью таджиков—от черных лет беспросветного прошлого до счастливых дней настоящего времени». Айни всегда жил в гуще народа, болел его болью, радовался его радостью и через всю жизнь пронес чистую любовь к нему, восхищение им и веру в него.

Среди предков Садрриддина Айни были поэты, поклонники и знатоки классической поэзии Востока, искусные мастера-орнаменталисты и резчики по дереву, камнотесы. От отца перенял Садрриддин любовь к своей земле, труду, народу, увлечение поэзией и искусством.

Уже в молодости Айни благодаря настойчивому труду приобретает репутацию одного из высокообразованных поэтов. В рукописной антологии начала XX века автор—известный знаток литературы Хашмат—пишет об Айни: «В красноречии своем он придерживается удивительной и замечательной манеры, и цепь стихотворных строк его газелей может быть названа буквально райским источником».

Связанный в предреволюционные годы с либерально-буржуазным движением—джадидизмом, Айни очень скоро познал его националистическую сущность, его ограниченность и антинародный характер. В нем пробуждается резко критическое отношение к буржуазным националистам—джадидам.

Весной 1917 года был объявлен лживый провокационный манифест эмира о «реформах». Как предвидел Айни, он послужил поводом для жестокой расправы над всяким свободомыслием и вольнодумством. Сам Айни, известный поэт, ученый, только что возведенный в ранг «бухарских бессмертных», был отлучен от веры, схвачен палачами и, получив 75 палочных ударов, брошен в эмирское подземелье.

Но наступило новое время, время бурных социальных потрясений, пора революционной октябрьской бури, освободившей народы Средней Азии от векового угнетения. Садрриддин Айни получил волю вместе со своим народом.

В 1918 году он создает «Марш свободы» на мотив «Марсельезы», написанный одновременно на таджикском и узбекском языках. Это стихотворение явилось первым произведением революционной таджикской литературы. В «Марше свободы» все было ново для таджикской поэзии: и тема, и революционная идея, и мелодия революционной песни, и рифмовка. А главное, в песне звучал революционный интернационализм, столь характерный как для советской таджикской литературы в целом, так и для творчества самого Айни на всех его этапах.

Айни принимает революцию всем сердцем и начинает активно работать в советских учреждениях. Он не только автор первых революционных стихов, но и публицистических статей, первых учебников для новых школ. Писатель работает увлеченно, страстно, с поистине юношеской энергией. Его повесть «Бухарские палачи», вышедшая в 1922 году, явилась первым художественным прозаическим произведением в таджикской советской литературе.

А уже через два года в газете «Овози тоҷик» печатается его новая повесть «Одина, или Похождения бедняка-таджика» — о жизни бедняков Каратегина, тяжелой их доле и неугасимой тяге к свободе и счастью. Она взволновала читателей, ее перевели на многие языки.

Немало труда вложил Айни в создание антологии многовековой таджикской литературы. В ней он выдвигает и обосновывает свою концепцию возникновения и развития таджикского языка и литературы начиная с Рудаки, зарождение таджикской поэзии на фарси именно здесь, в Средней Азии, тысячелетие назад. Исследования Садриддина Айни отстаивало историческое право таджикского народа на богатое литературное наследие, разоблачало буржуазно-националистические тенденции в литературе.

В эти годы на суд общественности была поставлена проблема демократизации таджикского языка и связанный с ней вопрос о новом алфавите. С. Айни активно включается в эту общенародную дискуссию. Он выступает с серией статей по проблемам языка и разнообразным вопросам культуры и литературы. Для поэзии самого С. Айни характерно бережное отношение к классическому языку, стремление к его демократизации с учетом фундаментальных основ народного языка и его ведущих диалектов при безусловном обогащении современного языка новой лексикой.

В 1927—1929 годах он написал роман «Дохунда», явившийся новой вехой в творческой биографии Садриддина Айни. Садриддин Айни своей прозой, написанной на двух языках, таджикском и узбекском, показал, что он навсегда разрушает условности старого восточного романа, что отныне в таджикской литературе появился подлинный современный реалистический роман.

Этот период творчества Айни совпал с большим событием в литературной жизни страны и биографии самого писателя — подготовкой и проведением I съезда писателей СССР. К 1934 году уже были переведены на русский язык повесть «Одина» и роман «Дохунда», один из первых экземпляров которого был подарен автором А. М. Горькому с искренней надписью.

Тогда же С. Айни стал печатать фрагменты романа «Рабы», завершающей части своей трилогии. Эта трилогия Садриддина Айни, его революционные стихи, крупнейшие поэтические произведения Абулькасима Лахути вывели советскую таджикскую литературу не только на всесоюзную, но и на мировую арену. Таковы были достижения, с которыми пришла таджикская советская литература к I съезду писателей СССР.

На съезде состоялась встреча Садриддина Айни с Алексеем Максимовичем Горьким. Айни свои встречи с Горьким позже отразил в двух очерках — «Незабываемый образ» (1946) и «Воспитатель советской литературы» (1951).

В последующие годы С. Айни работал над толковым словарем таджикского языка — опыт этой кропотливой работы писателя и знатока древности может быть хорошим образцом для лексикографов, для литераторов братских народов нашей страны. К сожалению, отправленный в Ленинград первый исправленный экземпляр словаря Айни вместе с авторской рукописью в годы Великой Отечественной войны был утерян. Лишь в 1976 году словарь был издан по случайно обнаруженным картотечным материалам, сохранившимся в фонде Института языка и литературы АН Таджикской ССР, по черновым записям С. Айни, обнаруженным в его архиве уже после кончины.

Важным событием в культурной жизни таджикского народа было издание в 1940 году новой антологии «Образцы таджикской литературы», подготовленной коллективом литераторов Таджикской ССР. Роль С. Айни в создании этой антологии велика — подготовительную научно-изыскательную и научно-исследовательскую работу он вел фактически непрерывно со времени издания своей первой антологии в 1926 году.

Накануне Великой Отечественной войны выходит сборник «Песни Таджикистана» Абулькасима Лахути, с которым С. Айни был связан тесными творческими узами. Искренне восхищаясь поэтическим мастерством устода Абулькасима Лахути, Айни особо отметил его стихи о новом, советском строе в Таджикистане, в которых мастерски использованы неисчерпаемые богатства таджикского стихотворного искусства.

В это же время Айни увлеченно работает над очерками посвященными этапным народным стройкам республики.

Убежденность, вера в силу и мощь страны, в стойкость народа — главная особенность публицистики Айни, его поэзии военных лет. Он активно работает и над историко-художественными произведениями, обращается к героическому прошлому своего народа, прежде всего к тем периодам, когда народ отстаивал, защищал свою землю от нашествия иноземцев.

Плодотворную научную деятельность Айни в послевоенные годы сочетает с деятельностью общественной. Он помогает восстановлению занятий в университете Самарканда — УзГУ, — которые были прерваны войной. Айни также один из инициаторов организации Таджикского учительского института в Самарканде. Много внимания писатель уделяет подготовке научных кадров, воспитанию молодых литераторов.

Крупнейшее событие в творческой биографии С. Айни — завершение им в 1948 году «Воспоминаний». Леонид Леонов в статье «Соратники по оружию» писал: «В этих «Воспоминаниях» — не мелочность и случайность пусть порой любопытных и интересных фактов, а широкое полотно жизни. По силе художественного обобщения, по глубине и мудрости мысли, по высокому литературному мастерству книга Айни является большим событием в нашей всесоюзной литературе».

А вот слова К. Федина: «Мой низкий поклон основоположнику таджикской советской литературы, выдающемуся писателю Советского Союза и крупнейшему мастеру таджикской художественной прозы Садриддину Айни. Никто другой из советских писателей нашего Среднего Востока не доставлял мне такой радости своим искусством прозаика, какую доставил Айни своими автобиографическими книгами».

В 1950 году за книгу «Воспоминания» Садриддину Айни была присуждена Государственная премия СССР.

1951 год ознаменован одним из самых важных событий в истории культуры таджикского народа — была создана своя национальная Академия наук. На первом общем собрании Академии наук Таджикской ССР Садриддин Айни избран первым действительным членом и первым ее президентом. Этот высокий пост он, автор множества общепризнанных исследований и зачинатель ряда ведущих областей гуманитарных наук в республике, занимал до самой своей кончины.

Последним научным трудом Айни была капитальная монография «Мирза Абдулкадир Бедиль» (1954) о великом поэте-философе XVII—XVIII веков, над изучением творчества которого он работал всю жизнь.

15 июля 1954 года народ провожал С. Айни в последний путь. Таджикистан простался со своим любимым писателем и ученым.

Жизнь и творчество Айни — основоположника таджикской советской литературы и одного из основателей узбекской советской литературы, великого писателя-интернационалиста — яркий пример служения художника слова народу, делу Ленина. Славный юбилей — столетие со дня рождения С. Айни, верного сына советского народа, — отмечается по решению ЮНЕСКО в международном масштабе, как большое социально-культурное событие.

Произведения С. Айни всегда широко издавались во всех республиках Советского Союза — на русском, украинском, белорусском, грузинском, армянском, эстонском, казахском, киргизском, литовском, латышском и других языках. Много новых изданий сочинений Айни появилось только за последние годы: в Ташкенте вышло в свет восьмитомное собрание сочинений (1965), издательство «Художественная литература» завершило выпуск шеститомника (1971—1975). Особо следует отметить академическое издание «Воспоминаний» в серии «Литературные памятники», которое было осуществлено кропотливым трудом известных иранистов-таджиковедов. Произведения С. Айни изданы за рубежом на многих языках Европы и Азии: на французском (первые произведения С. Айни во Франции были напечатаны по инициативе и под редакцией Л. Арагона), чешском, польском, английском, арабском, турецком, хиндустани, урду, японском, китайском и т. д. Изданы монографии, серия исследований о художественных и научных трудах С. Айни учеными ЧССР, Италии, Польши, ГДР, США, Ирана, Пакистана и т. д.

И сейчас в связи со столетием С. Айни в СССР осуществляется ряд новых изда-

ний: в Душанбе завершается работа над пятнадцатитомным изданием его таджикских произведений, готовятся очередные издания материалов многолетних ежегодных сессий «Айнинские чтения», новые монографии ведущих специалистов по творчеству С. Айни издаются в Москве и Душанбе.

**К. С. АЙНИ.**

*Ниже мы предлагаем вниманию читателя три публицистические статьи Сагриддина Айни (в переводах с таджикского), написанные им в разные годы и до сих пор на русском языке не публиковавшиеся. Статьи переданы «Новому миру» сыном Сагриддина Айни Камолом Айни.*

### ДВА ТРИДЦАТИЛЕТИЯ

В эти исторические торжественные дни, когда народы Советского Союза празднуют тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции, мне невольно приходят на память два тридцатилетия моей прожитой жизни. Если исключить годы моего детства, проведенные в кишлаке, то я прожил действительно два полных тридцатилетия: первое тридцатилетие в эмирской Бухаре и второе тридцатилетие в условиях советского строя.

Я не забыл еще, как мне пришлось работать в услужении у разных лиц в эмирской Бухаре, как в дождливые дни приходилось мне без сапог, в одних лишь рваных туфлях на босу ногу идти из одного медресе в другое в поисках знаний. Поскольку официальные занятия не могли удовлетворить моей жажды знаний, я много занимался чтением исторических и художественных книг старого времени (не входивших в официальную программу медресе) или же искал встреч и бесед с начитанными людьми, которых в то время было немного. Подобно сборщику колосьев, я собирал одну к другой крупы знаний. Но когда я уставал и от этих занятий, я предпочитал встречаться с городской беднотой, с людьми, которые были заняты в разных отраслях наемного труда, а свободное от работы время проводили независимо, не ставя ни в грош ни эмира, ни визиров, ни баев, ни мулл. Так я коротал время в чайханах, на сборищах нищих, на кладбище, на различных «званных» и незванных пирах.

В те времена у меня не было постоянного местожительства. Если сегодня я находил убежище в какой-нибудь келье медресе, келье, напоминавшей могильный склеп бухарских «святых», то через несколько дней я был вынужден перекочевывать в другую могильную келью, в другой медресе.

Условия моей тогдашней жизни я описал в четверостишии:

В медресе уголка своего нет у меня,  
А в харчевне — хлеба? и его нет у меня.  
Скажу ль: ни этого, ни того нет у меня?  
Ведь на свете ей-ей ничего нет у меня.

Иногда я вовсе оставался без жилья, и тогда кусок паласа из грубошерстной ткани я стлал на полу в келье у кого-нибудь из моих знакомых и перекочевывал туда, используя заинтересованность во мне обитателей кельи, которым я помогал готовиться к занятиям. Переночевав в очередной келье, я уходил оттуда, и если человек, встретивший меня на улице, спрашивал, где я живу, я отвечал: внутри своей рубашки.

Единственным утешением для меня была художественная литература, наша старая литература, некоторые произведения которой во многом напоминали траурную элегию. Я чувствовал (как писалось в этих стихах), что «в наше время не только подобные люди переносят страдания и трудности, но пока мир стоит, такова судьба всех людей».

В те времена я уже чутьем доходил до мысли, что необходимо изменить когда-нибудь эти жизненные условия, но как это сделать, и не думал, полагая, что невозможно. Мне казалось это пустопорожней мечгой.

Конечно, я не понимал в те времена, что такое классовая борьба. Если в моих тогдашних стихах, которые были жалким подражанием песням феодальной эпохи, и проникало иногда отражение реальных жизненных противоречий, то это были стихий-

но вырвавшиеся из груди моей стоны, случайные строки, еще не осознанные по-настоящему мною самим.

Помнится, как при дворе эмира Абдулахада в Кермине проводился большой туй (пир). Бедные дехкане сильно пострадали из-за этого туй. И в одной из моих газелей, написанной в старом «любовном» стиле, эти бедствия дехкан нашли свое отражение в таком двустишии:

Бедняки переносят все эти страдания  
Ради двух-трех богачей. К чему?

Эта газель ходила по рукам среди любителей поэзии, и вскоре слух о ней дошел до эмира. Он был оскорблен и приказал своим агентам установить за мной слежку. Я узнал об этом от дружелюбно относившегося ко мне эмирского наперника (собеседника) муллы Назрулы Лутфи, и я удивился: «Чем это двустишие оскорбило его величество?» Вот до какой степени я тогда ничего не понимал в классовой борьбе.

К концу тридцатилетия моей жизни в эмирской Бухаре с помощью своего друга я приобрел келью в медресе Кукалтош для постоянного проживания. Хотя входная дверь в эту келью не пропускала света, поскольку выходила в темное куполообразное преддверье, и солнце никогда в келью не заглядывало, несмотря на то, что величина ее была не более шести квадратных метров, а куполообразный потолок напоминал свод sklepa и во весь рост можно было стоять только в середине кельи,— несмотря на все это, я был очень доволен. Теперь мне никто не мог сказать, используя выражение поэта Ибн Ямина в его кыте: «Сюда встань и туда уходи».

Но, впрочем, это мое предположение не оправдалось. В 1917 году 9 апреля (по старому стилю) эмирские солдаты осадили мою келью, извлекли меня оттуда за шиворот на улицу через ту самую входную дверь, о которой я писал выше,— извлекли для того, чтобы подвергнуть избиению 75 палочными ударами в резиденции эмира, а затем бросить меня в подземную тюрьму в том же эмирском дворце.

Вот как трагически закончилось мое первое тридцатилетие жизни в эмирской Бухаре.

С помощью революционных русских солдат я был вызволен из эмирской тюрьмы, а с помощью русских врачей был спасен от смерти, но в Самарканде, куда я попал еще при власти Временного правительства, я пережил некое завершение моего первого тридцатилетия жизни в эмирской Бухаре. Высшее мусульманское духовенство в Самарканде (тогда представленное в так называемом Совете Ислама — Шурун Исломия) выпустило обо мне фетву (установление), в которой значилось, что «сей человек изгнан и из страны ислама (эмирской Бухары), и поэтому предоставление ему убежища в другой мусульманской стране (т. е. в Самарканде) запрещено шариатом (мусульманской юриспруденцией)».

Однако Совету Ислама не удалось осуществить эту фетву. Другой правитель города, каким тогда был Совет рабочих и солдатских депутатов, защитил меня. Вскоре и в Самарканде победила Великая Октябрьская социалистическая революция, которая избавила не только меня, но и миллионы мне подобных от неволи, от постоянного преследования.

Великая Октябрьская социалистическая революция предоставила мне все условия для жизни и работы, и прежде всего личную свободу, свободу мысли и пера. Я получил возможность в меру своих знаний и способностей отразить в литературе те злодеяния, которые испытал на себе в бытность свою в эмирской Бухаре, те страдания, которые переносил мой народ в ту темную пору. Получил возможность в меру сил своих рассказать читателям о классовых схватках в прошлом и о гражданской войне, которую вели советские люди ради утверждения завоеваний революции и советской власти. Я старался в своих произведениях нарисовать образ нового человека — героя из народа в его борьбе за построение социализма и воспеть те светлые радостные дни, которые я встречал с каждым восходом солнца вместе с народом.

Я, который в условиях Бухарского ханства был лишен права на жизнь, в советское время не только пользовался всеми правами, но и удостоился чести быть доверенным лицом народа, быть депутатом Верховного Совета. Я, который в течение пер-

вого тридцатилетия своей жизни с таким трудом и лишениями, моральными и физическими, пытался добывать знания, в советское время за свои скромные заслуги в научной работе был удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки и почетного звания академика.

Здесь я постарался коротко обрисовать условия моей жизни в эти два тридцатилетия, которые отличаются одно от другого, как небо от земли. Хотя я описал только свою личную жизнь, но и этого примера достаточно, чтобы оценить, как безгранично велика разница между жизнью до Великой Октябрьской социалистической революции и в советское время. Те, которые подобно мне прошли через первое тридцатилетие, помнят, что тягостных и злых дней тогда было куда больше, чем дней хороших. Они, прочитав мои слова и узнав в них свою собственную прошлую жизнь, полностью их подтвердят. «Это бесспорно и несомненно», — скажут они.

Но задача моя не в том состоит, чтобы напомнить об этом старикам, а в том, чтобы рассказать об этом молодежи, тем, которые не знают старой, дореволюционной жизни. Эти молодые люди на моем примере поймут, какой была на самом деле эта старая жизнь. Они поймут, как ценны плоды, принесенные тридцатью годами советской эпохи.

Пусть при этом подумает молодежь и о том, что если уж мне и подобным мне людям, которые хотя бы учились в медресе (это означало в те времена некоторую привилегированность в положении), было так плохо, то каково же было положение бедных дехкан, ремесленников, батраков, грузчиков, которых господствующая верхушка считала барантой. На моем примере молодые люди сумеют понять всю невыносимую тягостность положения широких масс в условиях дореволюционной жизни.

У меня нет надобности изображать то, что дало нам советское тридцатилетие, в диаграммах и статистических данных. По-моему, показ пережитого мною лично в эти два тридцатилетия убедительнее всяких цифр.

1947.

### КАК И ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ У М. ГОРЬКОГО

Случилось так, что начало моего знакомства с творчеством Горького совпало по времени с Великой Октябрьской революцией. В местных газетах и журналах появились тогда отрывки из некоторых произведений писателя на таджикском языке. Меня это сразу же заинтересовало. Но прочитать какую-либо его вещь целиком я не мог, ибо не владел в то время русским языком, а переводов на таджикский или узбекский языки, на которых я мог бы прочитать Горького, не было либо они не доходили до меня.

После создания Госиздата Таджикистана, мне удалось прочитать таджикские переводы таких произведений, как «Детство», «В людях», «Дело Артамоновых», и, кроме того, некоторые из статей Горького, переведенных на узбекский и таджикский языки. Впечатление от прочитанного было огромным, и с тех пор развитие моего творческого опыта теснейшим образом связано с моей учебой у М. Горького. Я многому научился у него в создании образов, в ясности сравнений и метафор, в раскрытии характеров героев, в художественной простоте всего стиля. Приведу пример: в моей первой повести «Одина» фольклор был использован очень мало, в другом же произведении, романе «Дохунда», ему отводилось место уже большее, а в романе «Рабы» фольклор, народные пословицы, поговорки, шутки применяются очень широко. Это безусловно результат влияния Горького, его советов писателям об использовании фольклора и народных поговорок, народных сказок. И наконец, М. Горький подсказал мне мысль, как важна в нашей писательской практике взаимопомощь, как плодотворны бывают коллективные обсуждения произведений товарищей по перу. Это я понял, в частности, после чтения статьи М. Горького о формализме и натурализме. Я прочитал эту статью в апреле в Душанбе с помощью перевода русского текста на таджикский, сделанного моими друзьями, и сразу же решил советы его о взаимной помощи писателей друг другу пытаться претворить в жизнь.

Прежде всего свой роман «Бухарские палачи» я представил на суд моих друзей, организовав для этого его коллективное чтение. Замечания товарищей оказались для

меня весьма ценными. Затем мы стали практиковать коллективные чтения произведений молодых писателей, сообща обсуждать их. На наших заседаниях всегда царил атмосфера искренности, о которой так заботился М. Горький. Таким образом было прочитано три-четыре произведения. Для молодых писателей помощь коллектива оказалась весьма действенной, да и старшие литераторы почувствовали себя в какой-то мере ответственными за работу молодых.

К сожалению, в те годы я не смог еще достаточно полно изучать Горького. Причиной тому, как я сказал выше, было незнание мною русского языка. Тем не менее я многое воспринял у Горького, ибо каждая фраза в его статьях, которые я прочитал, была для меня целым откровением, незабываемым руководством к действию.

Если бы вы просмотрели мою записную книжку, то увидели, как много выписок из его произведений, записей отдельных горьковских замечаний, выражений мною было сделано. И каждое из высказываний Горького было для меня целой жизненной программой. Мне повезло в 1929 или 1930 году редактировать в Таджикиздате перевод одной из книг Горького. Так, я встретил такую фразу Горького (не цитирую, а передаю ее смысл): в большинстве случаев особо большого значения не имеет, что говорит тот или иной человек; очень важно, как он об этом говорит. В тот момент со мной не было моей записной книжки, и я записал это выражение Горького на литографии известного словаря «Гиёс ул-лугат». Поскольку эта литография принадлежала Таджикгосиздату, я вернул ее издательству (теперь эта запись находится где-то в его архиве). Но смысл этого выражения Горького навсегда остался в моей памяти, словно слова его были высечены на камне, и впоследствии они явились для меня важнейшим руководством в творчестве. Вот почему я всегда стремился к тому, чтобы мысль, которая воодушевляла меня, была бы изложена таким образом, чтобы могла стать для читателя впечатляющей...

1937.

### ПЕСНИ ТАДЖИКИСТАНА

К концу 1924 года на основе ленинской национальной политики Коммунистической партии был составлен и утвержден проект национального определения республик в Средней Азии, а в начале 1925 года этот проект был осуществлен.

Одним из результатов национального размежевания в Средней Азии было создание советского Таджикистана.

В состав советского Таджикистана вошли горные вилайеты Бухары, которые прежде назывались Восточной Бухарой.

Это были места гористые и солончаковые, которые веками были оторваны от центров цивилизации и в которых сохранились первобытные хозяйственные отношения. Тяжелый гнет эмирской власти и царских колонизаторов еще более усугублял отсталость этого края. Трудящиеся здесь в полном смысле слова владели жалкую жизнь рабов.

Советская власть поставила задачу превратить вновь созданную республику, столь отставшую в экономическом и культурном отношении, в передовую республику Советского Союза.

С помощью великого русского народа, под руководством Коммунистической партии трудящиеся советского Таджикистана приступили к строительству здания социалистического общества.

В те времена на месте, где сейчас находится столица Таджикской Советской Социалистической Республики, был небольшой кишлак под названием Душанбе. Вокруг него бродили волки и шакалы, ползали змеи и скорпионы. Вот этот именно кишлак и должен был обеспечить все районы республики средствами и материалами промышленного производства и культурного строительства. Вот почему именно здесь были сосредоточены большевиками первые семена новой экономики и культуры, отсюда они должны были распространяться по всей территории Таджикистана.

В те времена столица Таджикской республики не была связана железной дорогой с промышленными и культурными центрами СССР. Первоначально железная дорога

доходила только до Термеза, а потом с трудом ее довели до Дейнау. Не было и караванных путей внутри Таджикистана, и путники, прибывшие сюда, были вынуждены пересекать перевалы, полные глины и грязи, узкие ущелья с нависшими над ними скалами и перебираться по шатким горным мосткам, узким как сабля.

Все материалы и товары, которые завозились в Таджикистан, приходилось доставлять из Термеза или Дейнау до кишлака Душанбе по этим жалким дорогам на лошадях, ослах и верблюдах, а иногда и на себе переносить грузчикам. Дороги были настолько разрушены, что если лошадь, верблюд или даже человек увязал в грязи, то подняться из этой грязи часто не представлялось возможным.

В один из последних дней 1925 года полил страшный ливень, словно тысячи и тысячи ведер опрокинулись с неба на землю. Горные потоки устремились на дорогу с силой стрелы, пущенной из лука, а камни с гор и из расщелин скал сносились такими потоками вниз, разбивались, крошились по пути и обрушивались на землю. Ясно, что пробираться по этим и без того непроходимым дорогам было до невероятия трудно.

Но нашелся человек, который и при таких условиях твердо решил доставить свой груз — печатную машину — из Дейнау в Душанбе. Однако едва арба с погруженной на нее печатной машиной дотачилась от железнодорожной станции до караванной дороги, как она вместе с лошадей угодила в яму, полную грязи, и затонула в ней. Печатная машина, которая в те времена ценилась в Таджикистане на вес золота, увязла в грязи. О том, чтобы эту машину доставить в столицу Таджикистана, и речи не могло быть. Но ведь она в течение нескольких дней могла быть изъедена ржавчиной и оказалась бы непригодной!

Большевик, который вез этот груз, не мог с этим мириться. Он пешком добрался до дорожной мастерской, подобрал там отвертки, клещи и другие инструменты. Затем позвал на помощь местных дехкан. Когда вернулся к машине, стянул с себя пиджак и брюки, снял шапку, бросил все это в сторону и в одних трусах и майке полез в яму. Отвертками и клещами он разобрал машину на части, вытаскивал их одну за другой из грязи, передавал дехканам, которые уносили части на сухое место, вытирали и аккуратно складывали.

Этот большевик — автор книги «Песни Таджикистана», поэт-орденоносец Абуль-касим Лахути...

Товарищ Лахути впервые в том году прибыл в Таджикистан. Он был назначен директором Госиздата. Издательство к тому времени состояло лишь из одного научного сотрудника, он же литературный редактор и администратор в лице самого Лахути, и владело одной лишь печатной машиной, и то застрявшей в грязи.

Лахути с первого дня создания Таджикской республики вместе с другими большевиками активно участвует в деле социалистического строительства. Свою бесценную книгу «Песни Таджикистана» он посвятил десятилетию Таджикской Советской Социалистической Республики.

В этом сборнике товарищ Лахути собрал стихи либо посвященные Таджикистану, либо написанные в Таджикистане. Здесь есть стихи, воспевающие создание и развитие советской Таджикской республики, стихи, которые призывают трудящихся к борьбе против басмачей и классовых врагов. Немало строк написано Лахути о трагическом положении женщин и девушек в дореволюционном Таджикистане и о светлых днях их освобождения. Есть стихи, темой которых является колхозное движение, строительство колхозов и победа социализма в целом. И наконец, стихи и песни, призванные вдохновить молодое поколение Таджикистана на борьбу за новую, радостную жизнь.

Все эти стихотворения Лахути пронизаны чувством сердечности, искренности, и это естественно. Дело в том, что, о чем бы ни писал поэт, затрагивая разные области жизни, он писал не как сторонний наблюдатель, а как активный участник созидательной деятельности народа. А когда песню складывает человек, который сам принимал участие в борьбе, о которой он повествует, то он гораздо глубже и искреннее отображает эту борьбу и те события, которые он непосредственно пережил, нежели человек даже и обладающий талантом, но наблюдавший эти события со стороны.



Многие из своих песен Лахути первоначально складывал во время народных празднеств, на собраниях и вечерах трудящихся. Он импровизировал свои песни и тут же их мелодически исполнял, распевая и привлекая к этому молодежь, организуя ее танцы и пение.

Даже свои политические стихи товарищ Лахути часто писал на лирический лад. О нем можно сказать, что он лучший поэт политической лирики на таджикском языке.

Когда Лахути описывает советскую социалистическую культуру Таджикистана, он приходит в состояние радостного волнения и передает свое настроение читателям. Попробуйте в качестве примера прочитать отрывок из стихотворения, которое называется «Все мы станем грамотными». Когда вы будете читать этот отрывок, вас непременно вслед за поэтом охватят радость и гордость за народ.

И с точки зрения художественной формы эти стихи являются подлинно новаторскими. Конечно, их размер — это традиционный метр мустезад, однако он так подан, этот метр, что никто из традиционалистов никогда еще так мустезадом не писал. А ведь метр мустезад настолько каноничен, что каждый, кто использует его, должен как будто писать однотипно, одинаково!

Шестистрочное строфическое стихотворение (мустезад) «Басмач» — это крик возмущения, который не может не вызвать у слушателей ответного чувства гнева и презрения к басмачам, не может не поднять массы на борьбу против басмачей. Стихотворение написано в 1931 году в связи с последним басмаческим наступлением Ибрагимбека.

Товарищ Лахути мастерски умеет использовать в своих стихах многие из старых поэтических приемов. Он освобождает их от изживших себя старых традиций и заменяет новым, социалистическим содержанием. Так, мы читаем в этом сборнике его газель, которая называется «Бог (худо) мне не нужен». Эта газель написана в ответ на газель Хосрова Дехлеви, начинающуюся таким двустишием:

Корабль терпения моего пошел ко дну. О капитан (нохудо)!  
Со мною бог (худо), и капитан (нохудо) мне не нужен.

Лахути полностью использовал этот прием, основанный на игре слов (худо — бог, нохудо — капитан), однако он вкладывает совершенно другое содержание, противоположное содержанию газели Хосрова.

Корабль победы достигает берега благодаря революции.  
Со мною капитан (нохудо), бог (худо) мне не нужен.

Товарищ Лахути вместе с тем включил в сборник стихи, написанные полностью новаторски, такого рода стихов мы в старых произведениях на фарси не наблюдаем. Таково, например, стихотворение «Известие», вторая часть «Двух городов», «Мы — дети рабочих», «Свобода женщине», «Песня партизан» и другие.

Кроме того, в этом сборнике имеются и такие стихотворения, такие газели и песни, как «От народа Таджикистана народу Испании», «Гора и зеркало», «К знамени», «Два ордена», «Путешествие в Сарай-Камар», «Дочери-труженице», «Меч труда». Для анализа этих стихотворений требуются целые книги. Нет нужды для советского читателя приводить отдельные отрывки из этих стихотворений, потому что уже давно они широко известны, когда публиковались еще в журналах и газетах. Некоторые из них были переведены и опубликованы и в русской печати.

Однако когда все эти стихотворения собраны в одном сборнике, то даже тем, кто их знает, предстоит испытать особое удовольствие при их чтении. Если каждое из этих стихотворений, которые в свое время были опубликованы в газетах и журналах, считать цветком, то когда они собраны в одном сборнике, мы словно держим в руках букет из роз. Этот сборник товарища Лахути, который называется «Песни Таджикистана», я как читатель воспринимаю именно как такой небывалый букет роз и хочу преподнести этот букет всем остальным читателям.

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. СУРОВЦЕВ



## МИР ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

*Женская лирика: обзор мотивов и попытки портретов*

**Д** а будет мне позволено в начале этой статьи рассказать, очень коротко, ее предысторию.

Незадолго до открытия VI Всесоюзного съезда писателей я опубликовал в «Литературной газете» довольно обширный, как теперь принято говорить — проблемный обзор. Было там отмечено, в частности, «половодье» женской лирики, особенно широкое в нашей литературной периодике. И вывод был таков, что по этой «не жеманной, не «бабьей», не манерной, не себялюбиво-«камерной», по этой серьезной человеческой лирике можно основательно судить о важных мотивах внутренней, нравственной жизни нашего современника» (не одних лишь современниц, но Современника!), и прежде всего об утверждении самостоятельности личности, ее активности, ее своеобразия. Притом, говорилось далее, этот мотив утверждения «активного волевого начала как урок собственной человеческой, гражданской биографии» в произведениях поэтесс «звучит едва ли не увереннее и сильнее, чем у поэтов-мужчин: вот проявление психологического сдвига времени, когда, оставшись прекрасным полом, не перестав быть по-женски проникновенными и нежными, женщины перестают быть в собственном сознании полом слабым». И в подтверждение назывались имена поэтесс, кому сей мотив близок (список вышел довольно длинным), приводились и конкретные примеры: я взял их из лирики столь далеких друг от друга, «хороших и разных» литераторов, как Маро Маркарян и Римма Казакова...

Перед тем как писать статью для «Литературной газеты», я прочитал немало лирических сборников (а за журнальными

циклами вообще стараюсь следить систематически), так что подобный вывод не с потолка был тогда взят. И все же... Все же червячок сомнения точил меня после напечатания обзора: не узка ли база для вывода, достаточно ли представительны произведения, на которые я опирался?

Несколько месяцев я усиленно знакомился с литературой, причем ориентировался преимущественно уже на книги как нечто более устойчивое по сравнению с журнальными подборками, подвергнутое более продуманному и самокритичному авторскому контролю.

Проверка собственных представлений была полезной. Во-первых, она внесла существенные (NB, товарищи издатели!) количественные поправки: оказалось, что говорить о половодье женской лирики следует осторожней, брать это слово, может быть, в кавычки. По данным «Книжного обозрения», число лирических сборников, авторами которых являются поэтессы, сильно — примерно десятикратно! — уступает числу сборников авторов-мужчин. По библиографическим спискам упомянутого еженедельника в двадцати двух номерах 1977 года я насчитал 27 упоминаний сборников лирики женской и 258 мужской. Мог ошибиться в подсчетах, в скрупулезной точности цифр, но не в масштабах различия!

Ну а с точки зрения «качественности» раньше сделанного мной вывода я после проверки мог успокоиться. В своем выводе еще раз утвердился... А читал я сборники последних двух-трех лет; когда же решил продолжить тему и написать уже эту вот статью-обзор, то для конкретного цитирования и анализа брал, как правило,

произведения не тех поэтов, о творчестве которых много написано, и кое-что мной самим (скажем, таких, как Б. Ахмадулина, Л. Татьяничева, Зульфия, Сильва Капутикян, Р. Казакова, Л. Васильева, Ю. Мориз, А. Каландадзе, А. Элкне, и других), а произведения авторов, менее известных до той поры мне: о всех, о ком здесь пойдет речь, в том числе и о знаменитых, я пишу впервые. Пусть это будет предпоследнее предварительное мое замечание.

А последнее состоит в следующем: в начале путешествия по мотивам и образам женской лирики я процитировал самого себя. Это я сделал потому только, что сказанное тогда обозначает как бы исходный рубеж того, что собираюсь сказать здесь теперь.

### Символ веры — самостоятельность

О женской самостоятельности, утверждении активной, целеустремленной и волевой жизненной позиции женщины-современницы можно было бы писать социологически-критическую статью. Подобного рода статьи и появляются в нашей критике, особенно после таких произведений, как например, роман «Южно-Американский вариант» Залыгина, повестей «Сладкая женщина» Велембовской, «Алька» Абрамова, «Неделя как неделя» Баранской. Оживленные споры вокруг «женской темы» возникали при появлении многих спектаклей, кино- и телефильмов (например, «Ольги Сергеевны»).

Социальный престиж женщины... А. М. Горький в докладе на I съезде писателей считал нужным сурово упрекнуть драматургов и романистов в том, что они «не дали достаточно яркого образа советской женщины, свободно и отлично действующей во всех областях строительства социалистической жизни». Наша литература с тех пор много сделала для того, чтобы «изобразить работу и психику» советской женщины достойно «разнообразием дарований и широте трудоспособности» ее. Огромную роль в этом подъеме престижности сыграли годы войны, великий подвиг наших женщин — солдаток и солдат. И все же, кажется, упрек Горького надо оставить в силе и на день сегодняшний, ничуть не приуменьшая достижений литературы в освоении данной темы.

Но нас сейчас интересует не роман и не драма, а лирика, причем лирика самих женщин; мы будем иметь дело не столько

с изображениями того, как действует, еще более, конечно, «свободно и отлично», чем в 30-е годы, советская женщина — наша современница, сколько с выражением самоощущения женской души. Социально-нравственный смысл прямых признаний, уверений и разубереждений, внутренних, но становящихся видимыми постороннему глазу и сердцу монологов серьезен, в него стоит вникнуть. Этих монологов о женской самостоятельности, проповедей и исповедей, убеждающих читателя в том, что перед ним человек сильной воли, активного мироощущения, много. В них ощущение мира, а отнюдь не мирка, не замкнутого «киндер, кирхе, кухне», хотя бы и на современный лад...

Чаще всего эти стихи патетичны. Нередко драматичны. Они как бы спорят с кем-то невидимым, кто способен усомниться в оправданности женского самоутверждения и высокого тона, в каком оно осуществляется. Опытная поэтесса Людмила Щипакина восклицает:

О эта жажда жить  
Наполненно и густо!  
Сжимать кулак до хруста.  
Поленья ворошить!

О эта жажда жить  
Рискованно и крупно,  
Когда судьбе доступно  
И рушить, и вершить!

И медлить, и спешить,  
И трогать мир на ощупь.  
Что яростней и проще,  
Чем эта жажда жить?

(Сборник «Постоянство»)

Прямой вызов судьбе бросает Людмила Шаменкова в первом сборнике своих стихов «Признание»:

Жизнь жестокая,  
померимся силой!  
Я не сдамся,  
как бы ты ни жала.  
Сколько раз  
меня ты унижала,  
зря назвав немилую Людмилу.  
Жизнь-задира,  
боль твою кляла я.  
Сколько раз  
до нитки разоряла!  
Разоряла,  
но не озлобляла  
и с пустой душой  
не оставляла.

Эти и подобные декларации словно бы нарочито очищены от развернутых метафор и других образов-тропов, «обструга-

ны» до прямоты и гладкости стрелы, спускаемой с натянутой публицистической тетивы. Тут нет вроде бы ничего собственно женского: такие символы веры могло бы разделить, да и разделяет, множество поэтов-мужчин.

Подчас в поэтические декларации вносятся драматические ноты и прямой борьбы за равноправие личности именно женщины — лирическая героиня хочет, скажем, «глубже копнуть, глубже, чтоб затрепетала под рукой криница», а ей кто-то кричит: «По бабе и заботы», — то есть неприятие, непризнание за женщиной права на творчество, на самостоятельное отношение к жизни. Кто будет спорить, что все эти пережитки прошлого отнюдь ещё, мягко говоря, не отмерли. Но и в таком, казалось бы, явно «женском» конфликте нет, собственно, ничего женского психологически: смеяться над человеком творчества, над широкими порывами души вообще свойственно низменным, прозаическим душам. Молодая белорусская поэтесса Таисия Бондарь, чье стихотворение «Так и эдак» я только что пересказал, это понимает, но и мы понимаем, что этот общечеловеческий конфликт особенно остро ощущим душой женщины. Молодой женщины к тому же! Правда, героиня Т. Бондарь слишком уж склонна к общо звучащим декларациям, выбирая для себя самостоятельный путь творчества:

Вагіня ці раба — бяры, што лепш.  
Абрала ж лёс паэта, не судзіце!  
Звініца, бруцца чыстая крынца!

(«Богиня или раба — бери, что лучше. Выбрала же судьбу поэта, не осудите! Звенит, струится чистая криница»)<sup>1</sup>. (Сборник «Окно в осень»)

И вообще путь жизни:

Ты — жанчына. Скарышыся гадам...  
Я смяюся. Хоць гэта балюча.  
Праз шчаціне паглядаў калючых  
Прадзіраюся ўперад. Адна.

(«Ты — женщина. Покорисься годам... Я смеюсь. Хотя это больно. Сквозь царапанье взглядов колючих продаюсь вперед. Одна»)

Будем думать, что подобная образность стандартно-романтического одиночества — от наивности молодого лирического характера. Но существовало, что образ жизненной дороги — тоже, в общем-то, не специ-

фически женский — в жейской лирике приобретает особо напряженный, нервический, я бы сказал, обертон.

Виолетта Пальчинская почти стоик, когда бьет в одну точку анафорами: надо идти, надо!

Не дрожа, не плача, не стеноя,  
Не сбиваясь с верного пути.  
Так идут иные, даже зная,  
Что исчез пошедший впереди.

Не колеблясь. Даже в сновиденье.  
Чувствуя, как ветер жжет лицо.  
Если есть решимость и терпенье,  
Так приходят к счастью на крыльцо.

Так идут, чтоб вспять не возвращаться.  
Так идут, наперекор судьбе,  
В лучшую из сказок. Может статься,  
К своему призванию, к себе.

Строки эти были бы вполне тривиально-мужественны, если бы не нотка неуверенности в конце: в самом деле, нахождение себя, открытие своего призвания вовсе не обязательно достигается прямолинейно-мужественным шаганием по «верному пути». И начинается стихотворение тонко — романтичным введением-вопросением:

Кто там связозь полуночные своды  
Сеет по квартире странный свет?  
Влажное мерцанье непогоды?  
Слезы разлетевшихся планет?

Или рядом лунный камень мокрый,  
Так прохладно дышащий в саду?  
Нет, не знаю. Будто бы на окриж...  
Я встаю, на этот свет иду.

(Перевел с литовского Лев Озеров.  
Сборник «Тюльпановое поле»)

Это уже другое дело, не правда ли?

Необходимость самостоятельности, оправданность активного самоутверждения, в том числе в своем призвании, — все это может утверждаться в лирике просто и прямо, волевыми «должно» и «да будет так». Интонация законная, коль скоро такая воля оправдана, обеспечена реальностью переживания да и человеческой судьбой утверждающего. Но если иметь в виду творческое призвание как особый предмет, особую тему стихотворца, то тут бить в одну точку самоутверждающими декларациями, пожалуй, недостаточно: оправданность темы должна быть доказана не декларациями о своем призвании, а уж коль про них речь, то скажем, что некоторая доза самокритичного сомнения, может, даже скептичности, неуверенности в себе, не повредит. Это чувствуют наши поэтессы, чувствуют их активные, волевые лирические героини.

<sup>1</sup> Здесь и далее подстрочные переводы мои. — Ю. С.

Весь фронтовой опыт, «войной спаленные года» и «оголенных нервов провода» и сегодня подсказывают Юлии Друниной гимны и оды стойкости, несгибаемости:

Я говорю той женщине:  
— Держись!  
Будь юной и несдавшейся всю жизни!

Но когда речь заходит о работе, о поэзии, тут призыва уже мало, и в какой же доброй и убеждающей интонации сказала вдруг поэтесса:

Защити меня, бруствер надежный —  
Бруствер письменного стола.  
(Сборник «Не бывает любви несчастливой»)

Опять заметим; ничего здесь нет специфически женского по общему смыслу, по содержанию, ну, может быть, что-то от молитвенной интонации, к которой женщины склонны чаще, чем мужчины (о том речь впереди, но и тут напомним про исключения из правила, про симоновское «Жди меня» хотя бы...). Ничего специфически женского нет и в этих стихах Майи Борисовой:

Люблю в себе желанье очинить  
перо другому  
и чернил налить  
в чернильницу другого,  
и держать  
охранный зонт над головой другого,  
пока он пишет так,  
как пишет он.

Люблю в себе желанье повторять  
стихи другого,  
удержу не знать  
в любви к другому  
и при этом знать,  
что я пишу не так, а по-другому,  
и что пишу я так,  
как я пишу.  
(Сборник «Равновесие»)

Ничего специфически женского... Вот разве только этот «охранный зонт», вряд ли он пришел бы в голову мужчине, да еще незримое, разлитое во всем стихе, может, неосознанное даже лукавое кокетство: я вас понимаю, а вы меня тоже поймите, дайте возможность, не мешайте писать «так, как я пишу»...

Найти себя, утвердить себя!

За кросном сидит женщина, тклет холст, сидит она «утром летом... на березовой колоде», помогает ей солнце, натягивает сувой на станок — «круглый шар земной»; женщина в работе, женщина думает о своей работе:

Пока в очи солнцу  
можно взглянуть —  
положить на основу  
свой уток,  
полевую стежку,  
слов виток.

(Подстрочный перевод)

Так, в крестьянско-фольклорном образном строе, незаметно придавая ему величественность, пишет белорусская поэтесса Данута Бичель-Загнетова (сборник «Ты — это ты»), пишет опять же о поисках и о нахождении себя, о том же самом, о чем мы и говорим здесь, и этот монументально-сердечный тон кажется мне наиболее удачным из всего цитированного до сих пор.

И в данном стихотворении не найдем чего-то специфически женского, кроме... фигуры ткущей крестьянки, руками которой будто создается сама материя бытия. А это очень женское ощущение, радеющее о живой жизни.

Как сказала другая поэтесса, Наталья Бурова: «Ведь родимая планета женщина по сути дела».

#### Опять о войне

Итак, наши поэтессы пишут о том, что волнует всех, но так — понятно, в лучших, удачных своих стихотворениях, — что мы чувствуем: это пишут женщины, именно они. «Женское начало», всякий раз особое, не привносится в стих извне, а вырастает в нем. Повторю, это происходит всякий раз по-своему. Мы можем попытаться каким-то образом систематизировать поэтические интонации авторов-женщин, но не дай бог схематизировать их, сказав, что вот эти и только эти интонации женские. Нет, женская лирика многообразна, что и составляет радость подлинного искусства...

О Юлии Друниной, о ее сборнике «Не бывает любви несчастливой», увенчанном Государственной премией РСФСР, сказано много. Но я о стихах Друниной пишу впервые.

Названный сборник в известном смысле квинтэссенция мотивов женской лирики. Уже поэтому не хочу оставить его в стороне.

Я только раз видала рукопашный.  
Раз — наяву. И тысячу — во сне.  
Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне.

Уже много лет знаменито это четверостишие Юлии Друниной и будет еще долго знаменито: здесь судьба человеческая.

судьба женщин-фронтовичек, их психологическое потрясение и сила их; они прошли войну, потрясения неженские, нечеловеческие — и остались женщинами, истинно людьми остались.

Память о фронте у Друниной постоянна. Она в сознании всего поколения поэтов огненных военных лет, хотя эта память у большинства из них вовсе не единственный костер, огнем которого светят сегодняшние стихи. На первый взгляд к фронтовой своей памяти Друнина сегодня возвращается излишне часто. Но как много истинно женского ощущимо в военной теме лирики Друниной, насколько вся она женская, будучи острогражданской и общечеловеческой! Ну хотя бы это невеселое стихотворение:

Я опять о своем, невеселом —  
Едем с ярмарки, черт побери!..  
Привыкают ходить с валидолом  
Фронтовые подружки мои.

А ведь это же, честное слово,  
Тяжелей, чем таскать автомат..  
Мы не носим шинелей пудовых,  
Мы не носим военных наград.

Но повсюду клубится за нами,  
Поколениям другим не видна,  
Как мираж, как проклятье, как знамя,  
Мировая вторая война...

Я отметил бы в этом искреннем и сильном стихотворении строчку, которую можно поправить, которую, точнее, поправляет сама жизнь, — «поколениям другим» война тоже «видна», и в этом сказывается великая сила нашей непрерывающейся нравственной традиции (подвигом военных лет мерить сегодняшние поступки), а еще волшебство поэзии, которая дает возможность проникнуть в те слои времени, куда твоя память проникнуть не в состоянии по причинам хронологически-возрастным. Это как бы генетическая память твоего народа говорит в тебе твоими устами и, конечно, твоя наблюдательность и тревога, твой человеческий, гражданский интерес к окружающему миру, в реальности которого еще немало остатков «мировой второй» и, увы, до конца не исчезнувших катастрофических призраков возможной третьей.

«Мне трудно почувствовать слово «война», — как-то удивленно, будто извинения прося у нас, признается Лариса Тараканова, но и для нее звучит в груди «гулкое эхо далекой войны» —

Оно обгаряет  
Полотна газет.

Его повторяет  
Безногий сосед.  
И мечутся толпы бескровных теней  
В разорванном пламени  
Вечных огней.

(Сборник «Дитя мое»)

В сорок пятом родилась киевлянка Светлана Йовенко. Но и она помнит войну:

Під небом миру,  
в першу мирну осінь  
Моя коліска виросла з руїн,  
І рани Києва  
вже тим були мої,  
Що пам'ять їх  
береться болем досі.

(Сборник «Сирень в январе»)

(«Под мирным небом, в первую мирную осень моя колыбель выросла из руин. И раны Киева уж потому были моими, что их память и поныне отзывается болью»)

Но еще сильнее до сих пор действует даже не «память боли сегодняшней», что, в конце концов, может быть возбуждено в душе поэта и рационалистически, умозрительно, — сильнее действует память реалий первых лет после войны, все еще говорящих о войне, все еще полных ею: «глухой гомон дорассветных очередей» помнит слух, облик мамы в гимнастерке и первые игрушки... погони помнят глаза (кстати, вот вам и опять женское: очереди послевоенные вспоминают многие поэты-мужчины, а про игрушки послевоенные — не знаю подобного у поэтов-мужчин).

Так получается, что моя статья более всего навеяна чтением книг поэтического поколения тех, кто пережил войну детьми или подростками, хотя отклонения в ту или другую хронологическую сторону будут нереальны — и вот в их стихах удивительно остро помнятся, резко рельефно встают житейские детали прошедшей войны, порою поднимающиеся до символических образов, как, например, у Виолетты Пальчинскайте в стихотворении «Тюльпаны».

Детали чаще всего, почти обязательно, страшные, драматические... Память дочери партизана, которая на всю жизнь будто страшный сон запомнила, как каратели-фашисты, преследуя отца, пугали его детей овчарками, хлестали старшую сестру по коленям проволокой, пригибали голову младшей, трехлетней, сестренки на кровавое полено («...только что на нем посекали петухов») — пугайтесь, дети, кричите громче, плачьте, чтоб спрятавшаяся мать услышала, чтоб отец выдал себя (стихотворение белоруски Нелли Тулуповой «С той по-

ры...», сборник «Добродей»)... И разве не страшно, не драматична лепешка, замечательная самаркандская лепешка, в голодный военный год сохраненная, бережливая от младших детей, потому что это знак памяти о погибших старших сыновьях: лепешка обкусана с двух сторон, но больше никто не трогает этот висящий на стене «материнской скорби страж печальный» (Гульчехра Нуруллаева, сборник «Рождение любви»)...

Драматическим, будоражащим сердце светом озаряется у Людмилы Шаменковой простой трехэтажный дом «у Никитских ворот, за ТАССом»: там был когда-то, в войну, донорский пункт и худая девчонка прибегала сюда, подставляла руку под резиновый жгут и шприц, отдавала свою кровь — «за отца!».

Об этом никто не помнит,  
Хоть кровь ее в ком-то кипит.  
Лишь странною тайной исполнен  
Каменный взгляд афродит.

Следовало бы отредактировать эти строки (сборник «Признание» со стихами очень искренними, хотя подчас несколько неуклюжими, вообще нуждался в более тщательной редакции): словечко «странный» не передает того, что хотела, очевидно, сказать поэтесса. И если она сама помнит, то почему же «никто не помнит»? Помнят наши поэты, хорошо помнят и на мн а п о м и н а ю т.

Детство мое в деревянных сандалиях.  
Товаряков длина.

А за тем лесом — так мне сказали,—  
вон за тем лесом — война.

Это латышская поэтесса Олга Лисовска вспоминает военное детство (сборник «Аистинный берег»). В распахнутых вагонах новобранцы, черные паровозы тащат составы — вперед, в одну сторону, потом молча и страшно назад, и уже нет улыбок солдатских в темных проемах товарных вагонов. А через некоторое время снова — вперед, на запад... И это видение, не растворившееся в сознании, часто возрождающееся и сегодня, соединяется с другим переживанием, навеянным чтением какой-то нынешней книги о партизанах.

Довольно. Довольно. Смежаю ресницы.  
Довольно книг о войне.

Но нет, не довольно! Это лишь секундное желание, на миг вспыхнувшая эмоция. Поэтому что память не отпускает, нравственное чувство не позволяет бездумно жить и забыть о прошлом —

Соринка мне жолет зрачок год за годом,  
Гарь с паровников тех дней.

(Перевела с латышского Людмила Копылова)

Правдивое человеческое переживание запечатлела в риторическом вопросе Гульчехра Нуруллаева:

А кто не ранен был войной?  
В ком боль чужая не болела?  
И лишь война была виной,  
что я так быстро повзрослела.

(Перевела с узбекского Римма Казакова)

Война оживляется поэтической памятью сама по себе — в своей тяжести, в крови и поте, голоде и холоде, и кто это сказал, что лирике недоступна изобразительность? С какой именно изобразительной силой рисует Ольга Фокина свое вологодское детство военных и первых послевоенных лет, свою мать рисует, односельчан, их непосильный труд, горе похоронок. Замечательно стихотворение Фокиной «Мой Пушкин» (сборник «От имени серпа»). Листок с первыми, подумайте, первыми строчками Пупкина, выданный — потом, с годами поняла — из учебника грамматики. А было это (и память о войне оживает, ноет, волнуется!), когда

Все, что рожали полосы,  
Шло на прокорм войне,  
Жизнь начиналась с колоса  
В снежной еще стерне,  
С мягкой большой горошины,  
Высукувшей росток,  
С мерзлой сырой картошкины,  
Вытертой о листок...

Тот самый листок, который потом не выбросила, спрятала, на котором впервые прочитала: «Ворон к ворону летит...», «Прибежали в избу дети...», «Под окном сидит его старуха...» — отрывочные фразы из грамматики, примеры на какое-то правило, но все равно — Пушкин, Пушкин!

Да, лирике доступно сделать память о войне предметом человеческого переживания, собственной темой. Доступны ей и смелые использования реалий этой памяти во имя задач уже другого эмоционально-смыслового плана. Один пример.

Татьяна Кузовлева, художник, склонный к смелым, экзотически-напряженным «играм воображения», к символизации деталей, по человеческому своему возрасту из тех, у кого

Память раннего детства — в оконном  
стекле.  
Как крест-накрест бумага его шнуровала!





Но вот гром прогремел — мои уши оглохли  
 для арфы.  
 Чую рокот и гнев — океан беду твою катит.  
 В ритме тяжелом  
 валы твоей боли идут —  
 и смыты горячим дыханьем сады мои  
 из бумаги.

(Сборник «Лицо ветра»)

У той же С. Йовенко есть стихотворение о защите мира, иначе не скажешь, представляющее собой пластичную картину детского сладкого сна в обрамлении откровенно публицистичных призывов:

Здесь тишь губами сны перебирала.  
 На цыпочках цветы вокруг стоят.  
 — Политики, солдаты, генералы,  
 Потише, тише в мире! Дети спят.

В завершающем это стихотворение четверостишии последняя строчка перебрасывает мостик не только в будущее, но и в прошлое: «В могилах братских спят. И дети спят!» (сборник «Сирень в январе»). Это материнский ракурс — говорить о мире, о необходимости мира, потому что дети спят... играют... учатся... мечтают. Такой ракурс придает стихам особое очарование.

Конечно, мы понимаем, что это преувеличение — сказать так, как сказала однажды грузинская поэтесса Медея Кахидзе:

Совсем забыла, что там, на дворе:  
 туман или солнце встало на заре,  
 кругом все тихо или шум и гам,  
 зима или осень там в календаре?

Душа моя совсем иным полна.  
 Стихов морона больше не нужна.  
 Малюсенькая иволга в дому,  
 Тамуня в моей душе одна!

(Перевела с грузинского Э. Котляр.  
 Сборник «Где ты, мой садовник?»)

Но именно это преувеличение мы готовы оправдать и, мало того, перед ним преклониться. Материнский инстинкт гуманистичен по своей природе, и его лирическое выражение, преломленное к тому же в призма души нашей современницы, волнуется и радуется.

«Дай мне свою силу, солнце», — просит, требует, молит Дайна Авотыня, дай, чтобы ребенка укрыть от непогоды, уберечь от зла, ведь

Где его укрыть, не знаю,  
 Положить куда, не знаю,  
 Чтоб к нему напасть какая  
 Не подобралась лихая.

(Перевела с латышского В. Елизарова.  
 Сборник «Цветение камня»)

Патетическое расширение материнской темы — по естественной логике чаще всего до масштабов темы мира, до антивоенной темы — вполне правомерно, а в определенных случаях и желательно идейно-эстетически. Важно только не сбиться на разбужую лозунговость, бесплотную, безобразную риторичность (риторство может быть высоким искусством). Опасность такая есть. Вот Гульчехра Джураева (сборник «Рассвет и крылья»):

Пусть светит солнце, пусть реной не льется  
 кровь,  
 Пусть на ветвях гремят салюты новых  
 почек,  
 Пусть будет мир, пусть в мире властвует  
 любовь!  
 Я жизнь дала тебе для этого,  
 Сыночек.

Эти строки не только коряво переведены такой хорошей поэтессой и хорошей переводчицей, как Римма Казакова, столь много сделавшей для пропаганды поэзии своих узбекских подруг. — в этих строчках нет никакой оригинальности, личности, они мнимопублицистичны и мнимолиричны. Видимо, можно было перевести иначе, без «салютов новых почек» и без «балтистского» лозунга всеобщего царства любви, но все равно стихи воспринимались бы как перепев общеизвестной песни, которая провозгласила: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо...»

Не помогает делу — убедительности эстетического воздействия стиха на читателя — и выпренность:

Твой первый шаг и первый бой,  
 Твой первый день и день последний  
 Сопроводить моя душа  
 Пришла в наш мир миллионлетний.

Про кого, вы думаете, пишут так армянская поэтесса Метаксэ и ее переводчица Надежда Григорьева? А про него, младенца, ребенка.

О повелитель гордый (?) мой,  
 О мой младенец бессердечный,  
 Я для того и рождена,  
 Чтоб быть твоей защитой вечной (?).

(Сборник «В объятиях жизни»)

Может быть, выпренность привнесена переводчицей, хотя стремление к библейскому риторизму свойственно, по моему, армянской поэтессе, в ряде случаев оно приводит ее и к художественным победам — ведь известно, что «важен в поэме

стиль, отвечающий теме». Но вот в данном случае о материнстве так писать, право, не следует. Не знаю как кому, но мне по сердцу иной ракурс, стилистически иная интерпретация темы защиты ребенка. Прочитую в собственном переводе стихи белорусской поэтессы Галины Корженевской из ее второй книги «Мой сад»:

Ты заслонилась ручкою во сне —  
Ударила как будто в сердце мне.  
Так дети заслонялись руками  
От самолетов с черными крестами,  
От грохота, от ужаса, от боли,  
От горькой-горькой, от сиротской  
доли...

Пусть материнский жест, которым завершается стихотворение, не переводит мысль и чувство автора в план воинствующей публицистики или монументального стиля: он, этот жест, тоже воюет за мир своей художественной и человеческой, женской естественностью:

И чтоб преодолеть тревогу злую,  
Твой локоток напуганный целую.

#### Синие кони романтики и повседневный быт

Но все-таки существует ли типично женская проблематика в лирической поэзии помимо, естественно, материнской темы?

Такая проблематика есть. Она отражает то лирически прямо (и тогда порою достигая публицистически острого звучания), то различными «намеканиями» и «подтекстами» собственно женскую проблематику в нашей социальной действительности.

Современная работающая женщина-мать каждый день у себя дома, в семье обрабатывает, по существу, еще одну рабочую смену или, в крайнем случае, половину смены — так калькулируют, вздыхая, социологи-статистики... Эмансипацию женщины еще нельзя считать достигнутой полностью, коль скоро при материально-экономической независимости от мужчины она, женщина, не получила равенства с ним в домашних обязанностях. Хотя, с другой стороны, при нарочитой борьбе за такое равенство может произойти и, не исключено, уже в каких-то размерах и формах происходит маскулинизация психологии женщин и еще более, очевидно, нравственно противостоительная феминизация психологии мужчин — так считают публицисты, специалисты по изучению общественной психологии. «Быт заедает» — слышим мы повсеместно и отовсюду, от собственных жен в том чис-

ле, и такой «ненаучный» источник информации тоже свидетельствует об остроте этой безусловно общественно важной, социально многосторонней проблемы.

Не удержусь и приведу в своем литературно-критическом обзоре некоторые цифры из экономической и хозяйственной статистики; их психологические следствия, их эмоционально-нравственный «ореол», по моему, понятны без долгих комментариев.

Неделя состоит из 168 часов, из них 41 — работа (на производстве, в учреждении и т. п.), 60—65 уходят на удовлетворение естественных потребностей человеческого организма (сон, еда), остается 60 часов (или около 9 часов в сутки — цифра немалая!), составляющих то самое свободное время, которое Маркс когда-то определял и «как досуг» и как «время для более возвышенной» (разрядка моя.— Ю. С.) деятельности». А. Гордон и Э. Клопов, авторы известной книги «Человек после работы», делают вывод о том, что муж отдает домашнему быту (из этого свободного времени, одинакового для работающих мужчин и работающих женщин) в 2—3 раза меньше часов, чем жена. В. Переведенцев в статье «Население: прогноз и реальность», подтверждая этот вывод, подчеркивает, что «у замужних женщин, занятых на производстве, почти нет свободного времени» («Наш современник», 1975, № 11). Исследователь сельского быта В. Колокольников установил (материалы по Брестской и Гродненской областям), что почти 53 процента обследованных им семей больше 5 часов в сутки отдавали домашнему хозяйству, но две трети этого времени делали домашнюю работу женщины («Социологические исследования», 1976, № 3). А намного ли облегчает жизнь, намного ли освобождает женщину городскую наша сфера коммунальных услуг? Дотошными экономстатистиками подсчитано, что из 29 килограммов белья, стираемого в среднем на одного жителя в течение года (по стране), на фабриках-прачечных (они в подавляющем большинстве обслуживают город) обрабатывается в среднем чуть более килограмма! Причин тому много. В том числе и все более широкое распространение машин для домашних стирок. При этом «они значительно облегчили труд женщин, но свободного времени им не прибавили» (В. Руттайзер, Т. Корягина, «Сберегает время», — «Правда», 7 августа 1977 года). Не прибавили ни для досуга, ни для «более возвышенной деятельно-

сти», то есть для саморазвития личности женщины.

Огромны социальные, профессиональные, идейно-нравственные завоевания социализма в раскрепощении и общественном освобождении, в обеспечении разностороннего личностного развития и в осуществлении реального равноправия женщин. Однако вполне обоснованно говорила В. Николаева-Терешкова на международной встрече «Женщина и социализм» о том, что у нас «женщине предоставляются равные с мужчиной возможности повышать свою квалификацию. Но работающая женщина не всегда может ими воспользоваться из-за большой загруженности в семье». Чрезвычайно уместно и современно прозвучало у докладчицы напоминание о ленинском понимании равенства мужчины и женщины — «речь идет не о том, чтобы уравнивать женщину в производительности труда, размере труда, длительности его, в условиях труда...» («Известия», 20 июля 1977 года).

Ну а что же наши поэтессы, как эта проблематика выражается, если выражается, в их лирических исповедях? Конечно, женская лирика к ней очень равнодушна, очень! Однако, к сожалению, социальные очертания многих ее граней увидеть по лирическим стихам затруднительно. В данном случае дело, я полагаю, не в каких-то эстетически ограничивающих тематику возможностях лирических медитаций. Тут можно пожалеть о том, что образ лирической героини (лирического героя) бывает обычно слишком близок автору. В принципе понятие «лирический герой» должно расширять диапазон лирики, но в данной сфере наши поэтессы, как правило, не склонны перевоплощаться в женщин иных, более разнообразных типологий, и потому широкая проблема социальной роли быта как начала, увя, на сегодня сдерживающего своим несовершенством рост личности женщины, преобразуется у них в несравненно более узкий конфликт: бытовые обязанности, семейные заботы выступают как барьер для писания стихов, для отдачи своих духовных сил поэзии. А так как со словом «поэзия» издавна связывается представление о высоком служении, о духовном парении, мечтах об идеальном и пр., вышеозначенный конфликт приобретает тот «окончательный» (надеюсь, лишь на сегодня) вид, который мы и подвергнем дальше рассмотрению, а именно: быт как олицетворение вообще прозы жизни, повседневного, буд-

ничного существования, и поэзия, стихотворчество как воплощение романтического в жизни.

Знудьговані буденним, даним, звичним,  
забагнем несподіваного знов:  
нехай бузок, але бузок — у січні,  
нехай любов, та нелегка любов.

(«В тоске от будничного, данного, привычного возжаждем неожиданного вновь. Пускай сирень, но сирень — в январе, пускай любовь, но — не легкая любовь»).

Видите, как это выражено Светланой Йовенко: героине не просто нужна сирень, но сирень в январе, потому как обыденное приелось, вызывает тоску, а душа жаждет неожиданного. В другом стихотворении, в «иронической балладе» «О вечном», мы читаем как бы прозаическую расшифровку сей формулы. Хочется писать стихи, идешь из магазина с авоськой, голова занята вечным, великим, а тут

Дзвонив телефон.

—Що робити з борцем? — питаю

Чоловік.

Вопрос мужа, в общем-то, законный, что понимает и поэтесса: она же «господиня» (хозяйка дома), она же мать к тому же, — но какой он неуместный, этот вопрос, этот борщ, этот быт, этот муж наконец, когда... когда, вспомним классику, поэтa требует к священной жертве Аполлон. И при невозможности принести такую жертву белая бумага превращается в «пепел под рукой»..

Вот она я — обычная, серая,  
Приученная в семь вставать  
И, чиркнув спичкою серною,  
На кухне газ зажигать.  
Вот она я — с трудом и заботами:  
Купить, заработать, сварить.  
Мне редко когда удавалось за облаком,  
Тающим в небе, следить.

И не надо обладать изощренно-тонким слухом, чтоб услышать в этой невеселой констатации (стихотворение Л. Шаменковой названо не случайно «Муза») желание «последить за облаком», если угодно, почитать в облаках; «предчувствие дали», однако, плохо уживается с тем, что «муза моя — работающая, в фартуке», если фартук этот надевают у кухонного стола.

Конечно, можно попытаться сделать, так сказать, хорошую мину при плохой игре, воздать должное самому прозаическому быту, кухонный фартук превратить в знамя. Можно простого воробья поэтически преобразить в некоего Гавроша, что и делает Л. Шаменкова в прелестном стихотворении «Воробей»:

Посмотрите, как весел, лукав и задирист,  
 Так и вертится, дерзкий, волчком  
 заводным.  
 Он упорен, добычлив, смекалист  
 и жилист.  
 И, должно быть, недаром за смелость  
 любим.

Все так, во человек, во женщина не воро-  
 бай, и ее повседневное верчение «волчком  
 заводным» лишь на миг может показаться  
 поэтичным. Это, видимо, лучше меня знает  
 и поэтесса.

Наверное, любая поэтесса это знает. Да-  
 же если вдруг решает опозитизировать по-  
 добное верчение «волчком заводным», и не  
 только опозитизировать — патетически возве-  
 сти на некий озаренный пьедестал.

Да, правильно и благородно утверждать  
 великую роль женщины в созидании и со-  
 хранении «домашнего тепла» (и поэты-муж-  
 чины делают это, им славить женщину, что  
 называется, сподручной):

Огонь домашнего тепла  
 В противовес смертям и войнам  
 Она надежно и достойно  
 Сквозь все невзгоды пронесла,—

тем более что для полноты картины в этом  
 же стихотворении («Год женщины») Люд-  
 мила Щипахина добавит:

С собой не расторгая связь,  
 Работу сделал вечным культом,  
 Колдует женщина над пультом,  
 Над чертежом сидит склонясь.

(Сборник «От мира сего»)

Но поистине наши недостатки есть про-  
 должение наших достоинств. Переступи  
 какую-то невидимую черту, потеряй некую  
 меру — и вместо поэтичности из лириче-  
 ских строк на читателя дохнет велеречи-  
 вость ватужная, будто специально для  
 ухода от проблемы несоответствия быта  
 и творчества брошенная в дело. И тогда у  
 той же Щипахиной, например, происходит  
 «религиозное» какое-то «вознесение»... До-  
 машней хозяйки:

Над долгом стирки  
 И шитья...

Заметьте, кстати, эти искусственные, лишь  
 жаждой внешней торжественности продик-  
 тованные разрывы в движении строки...

Над долгом стирки  
 И шитья —  
 Вознесся свет  
 Тепла и мира!  
 И переполнена

Квартира  
 Родным  
 Порядком бытия.

Я знаю —  
 На моих плечах  
 Все держится:  
 Дела и вещи.  
 Мне нравится  
 Забота женщин  
 Всю жизнь делеять  
 Свой очаг.

Надеждой  
 Для ребенка быть.  
 В его глазах  
 Ловить доверье.  
 Не испытать  
 Высокомерье  
 К тому, что надо  
 Печь и мыть...

(Сборник «Постоянство»)

Впрочем, и другая крайность не легче и  
 не лучше. Ни этически, ни эстетиче-  
 ски. Послушаем, внимем, вдуамемся:

Крылья — выдумка чародеев,  
 Мне сказали. Руки надежней.  
 Обовьются вокруг материнской шеи.  
 Целый мир обмоют, обошьют.  
 Натруженные, в морщинках, вечно  
 Мир от печали будут вылечивать.  
 За ребенком присмотрят. Выткут мечту.  
 А придется — удержат оружие.

(Таисия Бондарь)

Казалось бы, гимн рабочим рукам. Жен-  
 ским рукам, потому что в этом дистихе  
 речь о любящей, полюбившей женщине..  
 Но что дальше?

Да. Надежней руки, согласна.  
 Так почему же в душе сквозят годы  
 Пронесла я тоску по небу!  
 Так и вышло, что мне не и нужно  
 Все, чем я живу, все, что имею...

(Курсив мой. — Ю. С.)

Слишком крепко земля держит,  
 Крылья — выдумка чародеев.  
 Ну, а я не гоню надежду  
 Оттолкнуться от теплой почвы,  
 И взлететь,  
 и коснуться неба.

Романтическая «жажда неба», конечно,  
 существует, она горит, или хоть теплится,  
 в душе, наверное, каждой молодой женщи-  
 ны, и если рассматривать стихи Таисии  
 Бондарь, процитированные мной, как сви-  
 детельство молодости, то они психологи-  
 чески правдивы. Что не мешает, однако, ре-  
 шительно оспорить их смысл. Противопо-  
 ставить «руки» и «крылья», «почву» и «не-  
 бо» (в таких символах отражено в данном  
 случае противостояние «быта», «прозы  
 жизни» и «поэзии») — занятие, рискованное

прежде всего для поэзии, для искусства, потому что оно может освободить от того, от чего не надо его освобождать, — от «плоти» земной, от реальности образов и чувств естественных.

В вакууме абстрактных противопоставлений романтика задыхается, а «проза» жизни оскучивает.

И еще: надо ведь и то понять (такое понимание тоже приходит не сразу, а с опытом повзросления души), что романтика, мечта, небо — все это дается реально не сразу, трудом дается, их «приручением» к себе и приучением себя к подъему, как о том хорошо, умно и образно-убедительно сказала та же Таисия Бондарь:

Мы прыручаем птушак, прыручаем  
Вяртаца і прыносіць нам, найперш,  
У дяубах —  
з крыжкам шчасця і адчаю —  
Крупінку неба...  
з месца не скранеш,  
Здаецца, свет свой рэчавы, звычайны,—  
Ніжэе неба, асвятціўшы дні...  
Мы прыручаем птушак. Прыручаем  
Сябе да срэбна-звонкай вышыні.

(«Мы приручаем птиц, приучаем возвращаться к нам и прежде всего приносить в клювах — с криком счастья и отчаянья — крупицу неба... С места не сдвинешь, кажется, мир свой вещный, обычный, — приближается небо (снижается), осветив дни... Мы приручаем птиц. Приучаем себя к серебристо-звонкой высоте»)

Жажда романтики естественна. Отсюда неизбежность ожидания чуда, тяготение к необычайному — очень человеческое и очень женское качество души. И когда Майя Борисова пишет трогательное «Объяснение с музой» (я, мол, стала умней, я теперь вся в прозе и литературно и житейски, и ты, мол, муза, меня не трогай снова... но.. но.. «О, погоди... Коснуться руки твоей позволь») — разлетается вразг вся нацеленность на «прозу», поэзия вновь берет верх в душе; и когда Татьяна Кузовлева визионерствует, превращая обыкновенный дом в «таинственный терем», к тому же способный к путешествиям по небу, к полетам «на шабаш», несомненно уж антипрозаический; и когда ироничная Виолетта Пальчинскайте признается неожиданно для себя самой:

Я полночью не ожидаю чуда.  
Но маски карнавальные — откуда?  
Они врываются, как гром обвала,  
И повседневности — как не бывало.

(Перевел с литовского Лев Озеров)

...когда мы все это увидим, услышим, прочитаем, то поймем: поэтессы выражают и нашу с вами, читатель, тягу к чуду, к празднику, к неожиданностям-негаданностям, открывающим поэтическую сторону жизни. Об этом, например, стихотворение «Синие кони» Ольги Лисовска. Героиня ушла ночью —

подковы во мраке згнет.  
По синим туманам,  
по стынущим травам...  
Чего же они хотят?

Своеобразная, очень женская параллель к бараташвилевскому «Мерани»! Она развивается дальше:

И дом свой немедля покину, укрытый  
уютной заботой,  
как снегом припорошенный покоем  
и теплой дремотой.

Покой был пушистым котенком  
и терся, ласкаясь, у ног.  
Покой завивался воронкой —  
песком между пальцами тек.

Синие кони, символ непокоя, движения, поэзии, зовут понять, что «тишь пострашнее беды», они зовут героиню стихотворения, и она в конце концов признается: «Знаю, чего хотят» — восстания против покоя, против обывательской тишины, против угасания творческих возможностей в замкнутом мире дома.

Эта извечная коллизия человеческой души — коллизия «прозы жизни» и романтического порыва — приобретает женскую специфичность именно тогда, когда «проза жизни» выступает в обличье повседневного, домашнего, семейного быта, и эту основу поэтессы дают почувствовать в самых что ни на есть романтически-обостренных лирических монологах и видениях.

Всегда ли, однако, выход из данной коллизии есть отказ от одного из двух ее полюсов?

Я введу сейчас в статью новое имя — грузинка Лиана Стуруа.

В одном из ее стихотворений (сборник «Антенна над городом») происходят как бы непрерывные перевоплощения, перетекания «быта» и «любви», «поэзии» и «забот домашнего очага». Антиномичность, непримиримость полюсов тем самым смягчается. Как бы ни были в самом деле противоречивы эти стороны жизни — непосредственного бытия и духовной жизни, — человек может найти в себе силы, не противопоставляя их друг другу «навечно», не попа-

дая под власть своеобразного двойничества, черпать творческий стимул из обоих источников, суметь примирить их в некоей добываемой непростым опытом жизни мере. Так и происходит в стихотворении Л. Стуруа, хотя нет там у нее ни патетических по сему поводу призывов, ни безнадежного разлада, пусть даже общая интонация скорее печально-задумчивая:

Я пребываю ангелом семьи.

Таково начало, исходная точка. Но продолжение в иной плоскости:

Затем ко мне приходит вдохновенье,  
и обрывает крылышки мои,  
и шлет недолгое забвенье.

Значит, быт забывается, хотя поэзия мимолетна? Кажется, так оно и есть:

Уйдет и снова обернется бытом  
любовь — нетленный смысл бытия,  
хоть мы не мыслим алтаря  
с каструлей и корытом.

Иронически снижая тему поэзии, любви, романтического «смысла бытия» (тут все эти слова через запятые — они одной тональности), автор как бы готовит нас к следующему повороту.

Такой алтарь (домашний, с «высокой сферой кухонного чада». — Ю. С.)...

Такой алтарь надежней прочих...  
Зачем же сладость на губах горчит,  
и голова болит, где пара строчек  
засела шпилькой и торчит?

Прекрасно! Есть сладость и в быте, есть горечь и в поэзии... Приходит воспоминание о том, каким было первое приобщение к «высокому миру» поэзии, красоты, романтичности жизни. Возникает образ жеребенка. «Кони небывалой масти» уведят его прочь, «и сердце рвется — как строфа — на части».

Конец романтике? Но нет!

И только знаю я, каким огнем  
в минуту вольного аллюра  
гнедая отликает шкура, —  
я расскажу еще о нем...

(Перевел с грузинского В. Леонович)

Вот главное. Я еще расскажу. Для этого мне нужно забвенье, которое, однако, «сплетено с заботою о доме, доме, доме».

В этой сплетенности не вздох отчаяния,

а скорее сосредоточенность сил и зрелость взгляда на многогранную, неоднолинейную жизнь.

### «...Как наши годы-то летят»

Один французский остроумец — он же ученый-филолог — метко заметил: «Никто не желает старости, но все хотят долго жить».

Движение твоего времени, твое повзросление, а там и постарение — поистине общечеловеческий предмет интереса в нравственно-психической жизни личности и оттого в лирике всех времен и народов. В женской лирике этот предмет обретает важные — и самостоятельные — содержательные особенности.

В самом деле, поэты-мужчины, честно сказать, довольно однообразны в разработке этого мотива. Эмоциональная, «чувствуемая» мысль лирического персонажа-мужчины обычно движется в такого рода спектре чувств: ах, сколько мог бы я еще сделать, но, увы, оставшиеся сроки слишком малы; или: только я понял, что такое мир, человек, бытие, счастье, а зима катит в глаза; или совсем просто: как же рано пришла ты, старость! (По-видимому, она вообще приходит слишком рано к человеку, что хорошо выразил однажды Жюль Ренар: «Старость приходит внезапно, как снег. Утром вы встаете и видите, что все бело».)

Конечно, и женское сердце огорчается такой внезапностью. Вот Гульчехра Джураева:

Словно светлым ручьем перерезало  
пахоту,  
Словно острым лучом полоснуло  
по бархату,  
В волосах моих прядь появилась седая,  
А все думалось мне:  
я совсем молодая!

(Перевела с узбекского Римма Казакова)

Молодые поэтессы с особой внимательностью смотрятся в зеркало и подсчитывают морщинки и сединки, пусть редкие, но тем более огорчительные. Осенний свет — это когда лучи проходят свободно сквозь листву, «что еще не опала», сквозь лес, «где пока что лето», но душа уже знает, предощущает: «...я и осень — один на один» (Галина Корженевская).

Мотив осени у мужчин скорее всего однотемная, несколько монотонная мелодия. У женщин — целый хор голосов, тем, ва-

риаций, в совокупности богатый и многообразно гармонизированный. Почему так, откуда такое различие? Не знаю, затрудняюсь ответить однозначно, быть может, тут действует вся огромная специфическая (социальная и биологическая) генетика женского существования, подсказывающая, что повзросление и постарение — для женской души процессы куда более многозначащие, чем для души мужской. Не скажу об этом с уверенностью, да и психологические труды что-то не щедро исследуют «тайны» возрастов и полов, но факт есть факт: мотив возраста в женской лирике звучит сильно, человечески пронизательно, эмоционально и художественно тонко.

И еще одно качество: органическая, поистине из глубин душевного переживания вырастающая диалектичность, естественность связи «плюсов» и «минусов» этого нового, печально поразившего тебя состояния, связь и некий баланс душевных сил и потому мудрость возрастного опыта, и потому — продолжу «цепочку» следствий до самого главного — серьезное нравственно-поучительное, не наигранно-оптимистическое воздействие такого стиха на читательское сознание.

Правда, бодряческое самоутраивание у наших поэтов тоже, к сожалению, встречается. Иногда впрямую высказанное, и тогда оно особенно режет слух своей искусственностью: «календарь перелистала вспять...» и оказывается — можно вернуть юность, когда «вечно солнце побеждает тень» и «я опять влюбляюсь, не шутя», «я рада обмануться, как дитя» (Метаксэ) и т. д. по пути красивых банальностей и психологических несуразностей. Иногда такие заявления внешне-оптимистического толка прикладываются как бы извне, некой наклейкой к стиху, видно, что вряд ли верит сама лирическая героиня, будто эта наклейка точно обозначает переживаемое ею. Вот вам пример — стихотворение Натальи Буровой, испорченное, или, скажем мягче, подпорченное, психологически необоснованной концовкой:

Бабье лето нынче, бабье лето,  
Седина и охра на листве.  
Никаких не надо мне советов,  
Я сегодня с осенью в родстве.

Старость словно опытная кошка —  
Не услышишь, как идет она.  
С каждым днем сужается дорожка,  
А душа желаньями полна.

(Сборник «Синяя птица»)

Состояние «старости» и полноты желаний, очевидно, есть состояние драматическое? Но бесконтрольная лирико-публицистическая воля (мнимолирическая и мнимопублицистическая) делает вдруг зигзаг:

Месяца тонюсенькая долька  
Длинные венчает вечера.  
Буду жить, как будто бы мне только  
Двадцать пять исполнилось вчера.

Право, вопрос о реалистичности лирики — вовсе не академическо-теоретический только вопрос. В лирической медитации, лирическом монологе, в самом нравственно-психическом переживании, даже озарении внезапном, даже острым потрясении есть своя логика, которую поэт и должен вскрыть. И если, допустим, вторя строфа у него отрицает смысл первой, то и это надо оправдать в глазах, в сердечном, сопереживающем лирическом герою восприятия читателей. Если уж, например, принять, что «жизнь крутила виражи» и «накрутила» их в прошлом немало, тогда искусственностью выглядят вот такие «волюнтаристские» решения, призывы жить, будто вам восемнадцать иль двадцать пять. Выглядит искусственным бодрячеством или наивным самообманом! Нет, не сумеем мы жить так, как жили в восемнадцать иль двадцать пять, что вовсе не значит, будто взрослым людям, сорокалетним, пятидесятилетним, отказывают в силе чувств, а тем более в праве на силу чувств. Но сказать о них надо будет иначе, потому что они будут иные. Это поняла Людмила Щипахина в патетичном, ненаигранно, сердечно патетичном стихотворении, одном из лучших в ее лирике вообще, — «Когда горнист горнит поход...». Прочитую две его строфы, особенно нравящиеся мне соединением пафоса и сквозь этот пафос просвечивающей трезвости взгляда на жизнь (тут, кстати замечу, и разбивка строчечная содержательно оправдана):

Пусть жизнь  
Крутила виражи,  
Почаще память вороши,  
И там, за дальною чертой,  
Где зелено и ало,  
Еще не выцвели цвета,  
Земля — щедрa,  
Трава — густа,  
Еще не все пропало!

Еще сентябрь  
Подарит свет.  
Предъявит счет,  
Прибавит бед.

Но солнце разольет тепло  
Осеннего накала.  
Еще вдали  
Петляет путь,  
Еще вздохнул вздыхает грудь,  
Еще не все пропало!

Обратите внимание: образность вроде бы та же самая (осень, солнце, свет и т. д.), а звучание другое — мажор, богатый смыслом, как бы вобравший в себя, в частности, и минорные тоны, естественные для человека, жившего не гладко, не просто, не под колпаком в некоем нравственно-бесконфликтном вакууме. Конечно, я тоже за преобладание мажора, за то, чтоб считать в любом случае, что «еще не все пропало», далеко не все! Но именно потому мне по душе женская диалектичность, ненадуманная, сердцем пережитая диалектичность чувств.

Обновление и постоянство, надежда и горе, суровость опыта и нерастраченная нежность (тоже урок прожитых лет!) — все эти антиномии вместе, во взаимосвязи, во взаимопереходах и переливах, и в каком-то слитном движении — вот психологическая правда.

Теперь жара, я страсть, я астры  
Все отпылало.  
Мержнет звук.

Такую тяжесть нагружает на плечи своей лирической героини Виолетта Пальчинскайте. Но эта грустная пора есть еще

Пора страды и прилежанья —  
Сейчас, а не когда-нибудь.  
Часы осеннего вняманья  
Продлить надолго, протянуть!

(Перевел Лев Озеров)

Не жить в творчестве воспоминаниями, заметим это, а жить «осенним вниманьем». К окружающему (зрелый возраст по типовой психологической закономерности вообще уводит человека «из себя» к тому, что вокруг). И к себе тоже — это для лирики обязательно. К себе, к своей душе, но уже обогащенной, нагруженной иным опытом впечатлений, большим пониманием и сочувствием.

Правда, одного стало меньше — максимализма юности. Ведь в конце концов жизнь прожить — не поле перейти, если раньше удовлетвориться душе было труднее, то теперь легче. С возрастом от меньшего больше радости, или, как заметила Данута Бичель-Загнетова: «...коль было всего слыш-

ком мало, так теперь всего стало вдвойне».

Целый букет осенних мотивов представлен в двух сборниках лирики Майи Борисовой — в «Часовлоне» и особенно в недавнем «Равновесии». Здесь и гордость, несомненность, уверенность в себе, в своей силе, притягательности, необходимости своей (это чувство приходит вместе с опытом — юность неуверенна и застенчива):

Хочешь, строй сумасшедшие планы  
Или вовсе забудь — говорю, —  
Я — уже разожженное пламя.  
Я высоко и ровно горю.  
Зов откликан, отплаваны слезы.  
Наступила глухая пора.  
Я — осеннее пламя березы...  
Видишь след своего топора?

И наряду с этим гордым горением вариации на тему «еще не все пропало», но в тональности лукавого, кокетливо-ироничного самопровержения: ах, вы говорите, что мы уже едем с ярмарки? ну конечно, мы едем с ярмарки... только «почему же одеты ярко мы»... не потому ли, что «не пустые ж мы едем с ярмарки», «вот он, глядите, рубль неразменный».

Еще не конец,  
еще — продолжение,  
покуда в радость само движение  
и пылью дорожной пропахший воздух,  
пока на ухабах сердце подпрыгивает,  
пока улыбается и подмигивает  
цыганенок

со встречного воза.

Я много цитирую? Но когда пишешь о лирике, пытаешься ее комментировать, передать свое ощущение читателю — иначе, наверное, нельзя. Стихи, бывает, комментируют сами себя. А у такой поэтессы, как М. Борисова, особенно — ей свойственно вести постоянно разговор с собой и, поверх собственной стиховой материи, разговор с читателем. Это незримая, но явно чувствуемая поэтессой дополнительная художественная задача. Вот почему стихи М. Борисовой часто строятся как постановка вопроса и попытка точнее и полнее (поиски совершаются у вас на глазах) ответить на него.

Так это вот и значит — возраст? — спрашивает себя Борисова и отвечает, так сказать, по интересующему нас вопросу:

Так это вот и значит — возраст?  
Так это он в себе несет  
и легкий признак утомленья  
в тот час, который поздноват,  
и легкий признак утоленья  
привычной жажды познавать?



А что взамен?

Взамен немало.

Привычна сметь.

Привычка мочь.

Еще тревога: как там мама...

А то все мама:

как там дочь?

В такой замедленно-рассуждающей, внимательной к оттенкам слова и смысла манере говорит поэтесса о самом, быть может, важном свойстве возраста — об ответственности за других, за другого, за живое вокруг.

#### И снова о силе и слабости женской

А теперь давайте вернемся на некоторое время к первому разделу статьи, в котором речь шла о мотиве самоутверждения современной женщины как личности. В последующих главах мы, видимо, смогли ощутить пафос, преобладающий в духовно-нравственных исканиях именно женщин, поэтесс, — пафос материнской защиты живого, сущего. Для этого главным образом и нужно самоутверждение, проповедь собственной силы, как бы убеждение самих себя в ней. В заботливости о сущем — наиболее глубокая основа женской природы, силы характера именно как характера женского.

Не один только благородный психологический смысл есть в известной строчке Юлии Друниной: «Я не привыкла, чтоб меня жалели». Есть еще глубокий и исторический смысл. И по отношению к нему не скажешь «к счастью», а скажешь скорее «к сожалению». К сожалению, социально-историческая судьба женщины складывалась так, что не было у нее возможности привыкнуть к жалости, ласке, сочувствию. Раскрепощая женщину социально, расковырявая творческие возможности и общественные таланты женщины-труженицы, наша история все-таки оказалась в известном долгу перед нею по части именно духовного внимания к женской психологической природе. Вот почему я вижу истинно современный симптом нашей динамической общественной психологии в том, что в сегодняшней женской лирике мотив утверждения силы женщины, женского гордого характера развивается вместе с утверждением недостаточности одной такой силы. Парадокс? Нет, живая психологическая особенность. Не думаю, что вечная. Надеюсь, что не вечная — потому что история в конце концов выплатит свой долг и снимет саму проблему «неэк-

вивалентного» обмена между женщиной и мужчиной заботой друг о друге, пониманием друг друга, сочувствием друг другу. В истории, особенно же на крутых и беспощадных ее изломах (войны, национальные бедствия, революционные потрясения), женщина всегда находила в себе силы вдохновлять, мобилизовать, врачевать и сберегать. Своеобразное соединение своей (не похожей на мужскую) силы и своей (не похожей на мужскую) слабости сегодня осознается в социалистических морально-нравственных условиях как ценность, подлежащая поддержке и защите. Пусть медики и психологи правы, говоря о большей приверженности мужского организма к стрессам, рождаемым современной цивилизацией, — общественно-психологическое, социально-нравственное наше чувство все равно не может не вложить некий иронический смысл в медицински, возможно, совершенно серьезный лозунг «берегите мужчин!».

Прежде всего, надо надеяться, разделяют эту иронию именно мужчины. Что касается женщин, то им, кажется, тем легче было бы согласиться на безыроническое понимание приведенного выше популярного лозунга, что они ведь и не делали ничего иного в истории, как только берегли — мужей, сыновей, внуков. Берегли, тем возвышая их часто и в собственном сознании. Психология второй скрипки, веками накапливавшаяся в социально-нравственном женском «коде», не исчезает быстро и повсеместно. Но мы свидетели, иной раз несколько испуганные свидетели, ее принципиального сокрушения в нынешнем женском сознании.

Женщина дерзит, бросает вызов «ему» — обидчику, не понявшему ее или недооценившему силу и красоту ее духа. Здравое и остро звучит эта благородная «месть» (не мелочная мстительность!) в стихотворении Ольги Фокиной «Все мечты о тебе стали строфами». Стать-то стали, но ничего из того не вышло, и потому лирическая героиня бросается прочь от «него», бросается в ледоход на льдину (символически, а может, и не только символически, но и «сюжетно!») и, веселая, отчаянно смелая становится «с весной наравне»:

Я с весной наравне —  
Ну, не чудо ли!  
Не кидайся ко мне —  
Захочу-то ли  
На унылую твердь  
С тобой, на берег?

Вряд ли уж захочет: собственную силу почувствовала!

Горда, своенравна, знает себе цену лирическая героиня Метаксэ в удачных стихотворениях «Я — хозяйка вселенной», «Два полюса, два звука, две волны...», «Когда однажды...» и др. Но вот ведь какое дело: сила, проповедуемая почти всеми нашими поэтессами, у наиболее чутких из них поистине сплавлена с нравственным оправданием «слабости». Легко отбрызнуть домостроителя, по-троглодитски считающего, что «женщина должна быть верной, нежной, хорошей хозяйкой» — и хватит с нее, а «стихи писать, решать государственные дела ей необязательно», тут достаточно насмешки, чем и ограничивается в своем стихотворении — воображаемом диалоге Нелли Тулупова. Но послушаем Юлию Друнину, самую, пожалуй, мужественную из наших поэтесс:

Я не привыкла, чтоб меня жалели,  
Я тем гордилась, что среди огня  
Мужчины в окровавленных шинелях  
На помощь звали девушку — меня.

Но в этот вечер, мирный, зимний, белый,  
Припоминать былое не хочу,  
И женщиной, растерянной, несмелой,  
Я припадаю к твоему плечу.

Минутное настроение? Минутная слабость? Нет, не минутная, если читать Ю. Друнину непредвзято, не исключительно как выразительницу чувств «военного поколения».

У Ляны Стурца представление о женской силе и слабости иное, чем у прошедшей фронт Друниной. И одновременно то же самое в принципе, коль скоро речь заходит о взаимоотношениях мужчины и женщины. Хвастаться силою духа, своей независимостью, гордостью, способностью не уступить, обойтись без «поражения»? Но разве поражение — любовь? Разве разделить любовь значит сдаться? Да здравствует такая «слабость», она необходима и мужчине и женщине, хотя первый чаще воспринимает (исторические «гены»?) это как слабость, а вторая — как силу. Женская душа сегодня особенно остро, осознанно — именно потому, что самостоятельна! — взывает к поддержке. Женщина хочет почерпнуть силу в любимом мужчине.

Казалось бы, вот частая ситуация в стихах — взаимоотношения гармоничны. Но,

видимо, не совсем так, если поэтессы говорят нам, что в такой ситуации невнимательный и излишне самонадеянный мужчина просто не верит, что женщина «колосьями длинных прядей» может лечить его от боли и «дать хлеб ему вместо страха» (образы из пронзительно-искренного стихотворения Ляны Стурца «Горянка Хварамзе»). Видимо, внешне гармоничные взаимоотношения чреваты противоречиями между «силой» и «слабостью», которые, конечно, могут, способны быть разрешенными, преображенными в подлинную гармонию, если... если отказаться от односторонностей, в частности от излишнего преклонения перед силой. Дайна Авотыня справедливо не согласна «в честь силы поднимать ввысь огонь», силы, надменно полагающей, что «человек может все», — нет, не все, а если утверждать, что все, то будет это иллюзорное «все», и, выходит, надо «бессилия невероятный воз обманчиво силой заслонить» (стихотворение «Многое»).

Говорят, что сегодняшней, по-своему сильной женщине полезно умение скрыть свои слабости.

Вся из слабостей я.  
Из уменья — прикрыть их надежно.  
Так удобнее, видимо,  
В наш рассудительный век.

Не знаю, так ли уж рассудителен наш век и удобно ли это умение, но слова поэтессы я читаю больше как упрек. Продолжая строфу, Щипахина говорит:

Да и я ли одна?  
Ведь порою понять невозможно,  
Под прикрытием силы —  
Каков из себя человек?

Конечно, бывает, что человека понять трудно. Там, где нет искреннего самовыявления личности, нет простоты той самой, которую имел в виду Маркс в полушутливой, но и вполне характерной анкете, когда на вопрос: «Достоинство, которое Вы больше всего цените в людях» — ответил: «Простота». Известно, что самым ценным достоинством мужчины была для Маркса сила, а для женщины — слабость.

Не о той ли слабости ведут речь и наши поэтессы — слабости, которая пробуждает душевную силу своей (произнесем же это слово!) женственностью?!

(Окончание следует)



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Алим Кешоков. Зоркость.— Галина Кузнецова. Уроки поэзии.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Вл. Кузнецов. Ленинизм и XX век.— И. Бестужев-Лада. Занимательно о прогностике.

## Литература и искусство

### ЗОРКОСТЬ

Шараф Рашидов. Том I. Победители. Роман. 342 стр. Том II. Сильнее бури. Роман. 303 стр. Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 1977.

Розовеют вершины гор в лучах восходящего солнца, проснулись птицы, звонко возвещая миру о рождении нового дня, тянутся к свету яркие головки тюльпанов и маков, пестрым, душистым ковром раскинувшихся на склонах долины. Прекрасно утро наступающего дня, прекрасна родная земля, щедро открывшая свою красоту восхищенному взору Айкиз. Так начинается роман Шарафа Рашидова «Победители». В таком зачине глубокий символический смысл — новый день пришел на древнюю узбекскую землю. На этой земле появились и новые люди, такие, как Айкиз, Алимджан, Лола, Керим, Джурабаев... Им суждено осуществить мечту — напоить водой пустынные земли.

«Победители»... Само название определяет тему повествования — преобразить лик земли, утолить ее жажду, казавшуюся вечным ее уделом, раскрыть ее щедрость и поставить ее плодородие на благо людям, победить! «В жизни всегда так: одно цепляется за другое; мечты свершаются, а свершения рождают новую мечту. И нет остановок на нашем пути в будущее», — говорит один из героев. И если в романе «Победители» мы были свидетелями того, как алтынсайцы отвоевали воду горных рек

для своих полей, возрождали к жизни старые родники, строили водохранилища, то в романе «Сильнее бури» они уже идут дальше, осваивают целину.

«Если раньше земля пропадала без воды, то теперь вода пропадает без земли» — эти слова становятся призывом к действию. Не только освоить целину, посеяв и собрав урожай, но и построить в целинной степи новые поселки, переселить туда колхозников из горных кишлаков!

С большим мастерством и знанием жизненного материала рисует Шараф Рашидов эпическую картину трудового подъема дехкан, при этом не умаляя трудностей, которые вставали на пути строителей. Ведь то были первые послевоенные годы — еще не хватало техники, мало было рабочих рук, сказывалось и отсутствие опыта. Да и сам хлопок — культура новая для алтынсайцев.

Впечатляет в романах масштабность изображаемых событий, многоплановость сюжетных линий. Органически вплетаются в ткань романа авторские размышления об исторических судьбах нации, о будущем народа, строящего новую, светлую жизнь.

Естественно, что внимание писателя в первую очередь обращено к тем, кто счи-

тает служение людям делом жизни,— это девятнадцатилетняя Айкиз, инициатор славных начинаний в Алтынсае, ее верный друг и помощник секретарь парторганизации колхоза Алимджан, Джурабаев, талантливый организатор, чуткий и принципиальный человек, возглавляющий райком партии, и многие другие герои романа.

Хочется особо выделить обаятельный образ Айкиз не только потому, что она центральный персонаж дилогии, но и потому, что, на мой взгляд, это один из замечательных женских образов, созданных в советской литературе.

Много писалось о женщине Востока, перед которой советская власть открыла неограниченные просторы для творчества, для созидательной жизни. В образе Айкиз полно и целостно — и в социальном и в психологическом плане — показан духовный рост простой узбекской девушки, превращение ее в убежденного вожака, борца за народные интересы. Волевая, энергичная, кровно заинтересованная во всем, что происходит вокруг, Айкиз воплотила в себе лучшие черты современниц. Она заражает своим молодым задором, душевной неуспокоенностью, к ней тянутся люди и в радости и в горе, с ней идут на самые трудные дела.

Мы встречаемся с Айкиз на протяжении длительного времени — в первом и во втором романах дилогии. Тонко и художественно достоверно рисует автор эволюцию своей героини, избегая при этом однолинейности в изображении. Писатель не боится показать нам отрицательные стороны в характере Айкиз — желание настоять на своем перерастает порой в самонадеянность, властность, как это произошло, когда Айкиз, не считаясь с мнением специалистов, отдала приказ начать закладку плотины без предусмотренной проектом вырубке выемок в скале и чуть не вызвала этим аварию. Порой Айкиз слишком нетерпелива, горяча, обидчива... Но это свойство ее возрастает, героиня молода, и суровая наука, которую преподносит ей жизнь, не проходит бесследно. Неудачи закаляют Айкиз, делают ее мудрее, опытнее, а высокая требовательность, которую предъявляет к себе девушка, защищает ее от всего мелкого, эгоистичного, суетного.

Образ Айкиз был бы неполным, если бы автор не показал нам и другие черты ее натуры. Она может быть и нежной, и женственной, и глубоко любящей, такой преданной в своих чувствах к Алимджану.

Образ героини психологически глубоко разработан. Автор дает нам представление о том, как растет ее любовь и меняется сама Айкиз: место робкой влюбленности занимает радостное чувство взаимной любви, подарившее ей острое ощущение полноты жизни. Это открывает ее, становится источником вдохновения.

Выразительность пейзажа помогает автору опозитизировать взаимоотношения Айкиз и Алимджана. Цветущее миндальное дерево, у которого впервые они почувствовали зарождение сердечной привязанности, как бы предвещает радостный исход этой любви. Звонкие, прозрачные струи Ширинбулака напоминают Айкиз о счастливых минутах, проведенных здесь с любимым. Описание природы не просто эмоционально окрашено, оно сливается с мироощущением героев, полнее раскрывает глубину их чувств.

Так же как и Айкиз, Алимджан — теперь ее муж и верный помощник — не мыслит себя вне дела. А делом для него является забота о людях, доверивших ему пост секретаря партийной организации. Мы видим его то в поле, то в колхозном саду, то у механизаторов. Автор не скупясь раскрывает нам именно эту, трудовую сторону жизни героя, ибо она наиболее полно выражает суть его характера. Глубокое, верное понимание своего партийного долга проявляется у Алимджана прежде всего в отношении к людям, которые его окружают, — внимательный к советам стариков, чуткий и доброжелательный к молодежи, он всегда в гуще людей, живет их радостями и заботами. В поступках Алимджана чувствуется основательность, зрелость. Ему в большой степени присуща ответственность, принципиальность. Алимджан горячо поддерживает новую идею Айкиз — развернуть широкое наступление на целину. И когда клеветники обвинили ее в том, что она якобы превышает свои полномочия и не занимается своим непосредственным делом — сельсовет, мол, не министерство, не райком, не правление колхоза, у сельсоветчиков свои заботы, свои «специфические» функции, — Алимджан делает все, чтобы помочь Айкиз в трудную минуту. Поддержал Айкиз и секретарь райкома Джурабаев.

Ш. Рашидов убедительно показывает, что сила таких руководителей, как Айкиз, Алимджан, Джурабаев, в том, что они чутко прислушиваются к мнению народа,

думают прежде всего о его интересах — и народ не остается у них в долгу. Замечательный почин Айкиз начать освоение целинных земель удался прежде всего потому, что люди поверили и пошли за ней. Автор художественно, выразительно передает пафос свободного труда, когда героическое свершается коллективным напряжением сил, слиянием личных и общественных интересов, высоким сознанием долга. Останутся в памяти читателя пронизанные романтикой описания трудной борьбы за воду Кокбулака из первой части дилогии. Днем и ночью работали люди не покладая рук, при свете костров — их тени на горных склонах напоминали гигантских богатырей. А разве не богатырской была борьба с разбушевавшейся стихией, все сметавшей на своем пути! Автор не скрывает своего восхищения мужеством этих людей, творящих настоящие чудеса, побеждающих песчаную бурю, дающих воду истомленной жаждой земле, выращающих хлопок в Голодной степи.

Подлинной поэзией овеваны в романе образы людей труда — мудрого Умурзак-ата, Муратали и других. Трогательен старый Халим-бобо, поднимающийся спозаранок, чтобы наведаться в сад, заложенный им возле нового поселка, сад, который всегда будет дарить людям радость.

Автор дилогии сумел найти живые краски для изображения людей, мешающих движению вперед, погрязших в заботах о собственном благополучии. С гневом и сарказмом разоблачает он убожество внутрен-

него мира таких людей, как председатель колхоза Кадыров, вор и хапуга Гафур, мошенник Аликул.

Последняя глава романа «Сильнее бури» называется «Борьба продолжается», ее венчает картина возрожденной земли: «Словно застывшая черная лава, лежала распаханная, целинная степь. Она тянулась далеко-далеко. Где-то, у дальней ее кромки, трудолюбивыми муравьями ползали тракторы, поднимая новые и новые гектары. Созданные за это лето степные поселки в лучах осеннего солнца, еще яркого и жгучего, выглядели празднично...» Радость и торжество героев, покоривших целину, разделенные автором, сообщают этим страницам эмоциональный, публицистический накал.

Дилогия Шарафа Рашидова — исторически правдивое, отмеченное реалистической зоркостью произведение. Писатель не только запечатлел с большим художественным мастерством славные страницы истории своего народа, но и философски осмыслил их, раскрыл глубокие социальные, психологические процессы, происшедшие в жизни народа, создал образы героев, несущих в себе приметы времени. Дилогия Шарафа Рашидова свидетельство того, что узбекская проза еще и еще раз заявила о себе как о литературе, которой по плечу решение сложных художественных задач. В этом плане автор и сам становится в один ряд с победителями, о которых идет речь в его романе.

Алим КЕШОКОВ.



## УРОКИ ПОЭЗИИ

Семен Данилов. Избранное. Стихи в двух томах. Перевод с якутского. Том 1, 286 стр.; том 2, 302 стр. М. «Художественная литература». 1977.

Двухтомник произведений Семена Данилова, изданный недавно в Москве, — свидетельство сосредоточенных раздумий самобытного якутского поэта. Натура страстная, он активно утверждает те идеалы и основы жизни, за которые считает ответственным свое поколение, выходящее в жизнь в далекие теперь 30-е годы:

Тогда был век суровым, как железо,  
И я, подросток, в незабываемый час  
Назначен был работником ликбеза —  
В учителя шатнул, недоучась.

(Перевел И. Фомин)

В стихах видишь целую эпоху, пройденную страной и одним из ее поэтов. Родиться в свое время, прожить свою творческую жизнь — это, должно быть, немалая радость, какую может испытать художник, по традиции означающий у нас еще и учитель и поэт-гражданин.

Казалось бы, что может быть отраднее сознания, что жизнь прожита не даром. Но достойно прожитая жизнь, отмеченная и любовью своего народа, и наградами, и званиями, и многими изданиями книг, для настоящего поэта лишь внешнее следствие то-

го духовного напряжения, которое и составляет суть жизни — напряжение высокого гражданского долга:

«Вдруг—ошибусь?» — меня сомненье  
мучит,  
И черств мне хлеб тогда, и горек мед.  
И кто ж меня, учителя, научит  
И на себя ответственность возьмет?

Непридуманная, конкретная драматичность вопроса пробуждает мысли о сложных взаимоотношениях творческой личности и общества в целом. Поэт избирает деликатнейшую, тончайшую деятельность, и не так-то легко порой проследить истоки его привязанностей, причины его беспокойства, взаимосвязи вечного и сиюминутного с процессами, видимыми, быть может, только внутренним художническим оком.

Почему, например, в обоих томах едва ли не на каждой пятой-десятой странице поэт так или иначе упоминает национальный якутский музыкальный инструмент хомус? Так сердце Коста Хетагурова трепетало от звуков фандыра, так внимал бандуристам Тарас Шевченко. Северная лира х о м у с, как все, что создано вековечным народным гением, сберегает в себе притягательную тайну даже и не для якута. Потерять его, забыть секрет изготовления или игры на нем — понести невозможную духовную утрату. Разумеется, «то радость, то тоску, то плач, то смех» могут выражать и другие инструменты, другие языки. Но каждый из них неповторим — в этом заветная мысль поэта. Кто же, кроме него, обратит внимание новых поколений, идущих продолжить жизнь, на бережное отношение к народному наследию, кто, как не он, высветит из тени совершенное, но не бросающееся в глаза?

Из многих подобных «неосвязаемостей» складывается доброе учительство С. Данилова, в котором главное место занимает мысль о родном языке, общении с другими народами. Якутскому языку поэт посвящает самые нежные и самые торжественные строки:

Шедрое народное наследство —  
Я люблю красивый наш язык.  
На якутском говорю я с детства,  
Словно к матери, к нему привык.

(Перевел М. Львов)

Это стихотворение стоит в ряду хрестоматийных стихов и песен поэта, а общение с родным читателем через хрестоматию, с ребенком по учебнику — добрый и пло-

творный союз учителя со своим народом. Известно, что именно у немногочисленных народов с древней историей, с богатыми фольклорными традициями поэт и его аудитория оказываются в особо тесных общественных, а то и просто родственных связях. Тем убедительнее звучит та часть стихотворения, где поэт зовет родной народ с его «небедным языком» к неоглядным далям общечеловеческого общения:

Я ко всем наукам ключ имею,  
Я со всей Вселенною знаком —  
Это потому, что я владею  
Русским всеохватным языком.

С поистине государственной широтой рождается новое понятие «наш язык», «язык труда и света: он широк, и ясен, и велик». Слово вырастает симфония, сотканная из слов и мелодий, исполняемая грандиозным многонациональным оркестром.

Есть у поэзии С. Данилова еще одна заветная тема — это родная природа. Среди ее просторов поэт снова становится «Сэмном-охотником», «земляком», «почти родственником» всему существу, здесь он явственно различает содержание похожего на человеческую речь воркования дикого голубя, а жаворонок — душа родины. И птицы, и воды, и небо, и звери, и леса, и травы ала-сов сходятся на светлом, как детский праздник, хороводе весны. Собственно говоря, «если медленню ехать на север с юга — всегда весна». Но и мороз прекрасен, прекраснее всех чудес, которые дарит бескорыстная природа.

Снег — он холоден лишь с виду,  
А дотронешься — он жжет!  
Ждет, когда из дома выйду,  
Жеребенком тонко ржет...  
Я не стыну, не немею —  
Я от снега пламенею!  
Я от снега не бегу,  
Я родился на снегу.

(Перевел М. Львов)

Так любить северную природу может только поэт, история народа которого связана с особыми законами природы. Во все времена природа — вместилище духа могучих предков, героев якутского эпоса олонхо, а ныне картин грандиозных новостроев. Природа тот вечный дар, без которого потускнели бы краски любви, не с чем было бы сравнить звучание смеха и цвет глаз юной девушки.

У настоящих стихов всегда есть второй и третий планы — недосказанное. В произведениях С. Данилова тоже незримо присутствует «таинственное что-то». В *напевах* природы, будто в кдылсе, слышится поэту нечто очень убедительное: «Не ум — душа гармонии основа». Не осознающая себя природа и постигающий умом все больше истин и тайн мироздания человек находят-ся в стихах якутского поэта в сложнейшем драматическом союзе, союзе соперников-друзей.

В человеке С. Данилова привлекает сильный характер, в его стихах живут борцы, герои прошлого и настоящего. Так, под впечатлением от фотографии в югославском музее он воссоздает в стихах свое представление об увиденном: на лице человека, стоящего на эшафоте с еще не затянутой петлей на шее, нет ни тени страха и сожаления, черты этого лица убеждают больше всяких слов... Или другая героическая страничка борьбы: на необъятной земле есть крошечная географическая точка, когда-то важный плацдарм, не отданный врагу, и потому навсегда «стучат истории часы в Сасыл-сысы! В Сасыл-сысы!».

Люди яркой судьбы, полезного родине труда всегда привлекали С. Данилова. Еще с детства ему запомнились голубоглазые золотоискатели с Алдана, труженики родных аласов из «отцовского края Мыгтааха», с речки Синэ, с Сергеляхэ. Когда-то эту немилую окраину открыл для русского читателя В. Г. Короленко. Теперь в потемках бедного якута Макара, волею прежних горьких времен испытывавшего беспрерывные удары судьбы, не осталось и следа покорности. Знаменательно появление в городе паренька из тайги. Весь его облик уверенный и задористый, а сам он, «худощавый и бронзоволикий», «в покупном пиджаке городском», в порыжелой кушлянке и мягких камусах, — живой портрет современника. Поэт даже не называет его профессию, вообще примечательно, что в его стихах нет людей тех или иных профессий, — поэт интересуется душевная гармония человека труда, врожденное свойство жить «непосредственной и проще». Поэту радует уверенная тенденция к преодолению противоречий между древностью, стариной и цивилизацией, между прежним опытом и новшествами, пришедшими в тайгу.

Но есть иного рода противоречия, и они сложно разрешимы для человека — противоречия его внутреннего, духовного роста.

Думается, что в стихах о глубинной духовной жизни современника С. Данилов достиг многого. Вот что говорит поэт о мятущемся духе человека:

И ты один — укор своей судьбе,  
Проигранной, хоть выигранной битве.  
И кажется, пропялять шлют тебе  
Все, кто любил тебя, кого любил ты.

(Перевела Р. Казакова)

Лирического героя С. Данилова сжигает пламя сожалений о потраченных впустую силах, об одиночестве, раздумий о самом трудном из секретов — любить и быть любимым.

В поэме «Анна» конфликт внутри любовного треугольника наполнился качественно новым смыслом, поступки и характеры движимы страстями и идеалами социального качества. Никус убивает Анну не из-за неразделенной страсти. Он слаб и труслив, но за ним стоят богачи, он их оружие. Со своим проклятием он доживает до глубоких седин, терзаясь воспоминаниями о страшном дне на заре колхозной жизни:

Она, вздохнув, взглянула на меня:  
«Никус, что ты наделал! Эх, бедняга...»  
И умерла... Я вылез из оврага.  
Не помню, где провел остаток дня.

(Перевел В. Павличко)

Но и в душе счастливого соперника, положительного героя поэмы, живет вечный укор — ведь это он оставил Анну лицом к лицу с кулачем, — и у него за целую жизнь не было ничего более светлого и примечательного, чем те святые времена:

И ныне, горький опыт обретя,  
Я помню все... Но давний день заветный  
Мне светит радугою семицветной,  
И, муж седой, я плачу, как дитя.

Примечательна сама масштабность человеческих переживаний. Поэту в полной мере свойственно прекрасное умение отделять хаотически-случайное от принципиального.

Сегодня, после выхода последних изданий С. Данилова, особенно очевидно, что поэт достиг поры творческой зрелости. «На песке золотистом у моря...» — так называется стихотворение 1973 года, о котором идет речь, — он говорит о себе и своем поколении в прошедшем времени, видя высшую мудрость в непрерывности эстафеты поэта и учителя:

Как о жизни когда-то мы пели!  
И какой-нибудь юный поэт  
Тронет свитки

сияющей пены  
Через тысячу пламенных лет.

(Перевел В. Шаргунов)

В ощущении непрерывности и нескончаемости жизни — убедительность уроков поэзии Семена Данилова. Не пророк, не

трибун, но именно учитель со всей его сердечностью, внимательной заботливостью о своих читателях-соплеменниках, внутренней требовательной интеллигентностью и в то же время с мудрой широтой мышления и духовной твердостью — таким в конечном итоге представляется облик народного якутского поэта Семена Данилова.

Галина КУЗНЕЦОВА.



### Политика и наука

## ЛЕНИНИЗМ И XX ВЕК

К. И. З а р о д о в. Социализм, мир, революция. Некоторые вопросы теории и практики международных отношений и классовой борьбы. М. Политиздат. 1977. 303 стр.

**Ш**естидесятилетие Великого Октября широко отмечалось во всем мире. Во многих странах состоялись научные конференции и сессии, коллоквиумы и симпозиумы. Вышли в свет десятки, сотни брошюр, книг, сборников.

В ряду этих изданий, несомненно, видное место занимает рецензируемая книга, привлекающая внимание и компетентностью автора (доктор исторических наук К. Зародов — шеф-редактор теоретического и информационного журнала коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма»), и значительностью постановки теоретических и политических вопросов, и обращением к тем проблемам, анализ которых не прост и еще далеко не завершен.

Социализм, мир, революция — каждое из этих явлений, вынесенных в заголовок книги, уже само по себе достаточно объемно. И может поначалу показаться, что автор, по существу, небольшой, компактной работы ставит перед собой чересчур широкие задачи. Однако такое впечатление рассеивается по мере знакомства с книгой. И не только потому, что К. Зародов рассматривает, по его же словам, лишь некоторые вопросы теории и практики международных отношений и классовой борьбы. Автор обращается к подготовленному читателю, который не нуждается в том, чтобы ему напоминали все от «а» до «я», и ждет углубленного разговора. Ориентация на такого читателя позволяет сокращать долю общеизвестного, лежащего на поверхности, и сосредоточиться на сложных явлениях и их не менее сложных взаимосвязях, на

вопросах, требующих разъяснений, а нередко и дальнейшего анализа, «додумывания».

Не рассматривая детально каждую из частей триады «социализм, мир, революция», К. Зародов обращается к сложнейшей проблематике, рождаемой диалектической взаимосвязью этих явлений.

Диалектика проблемы войны и мира в XX веке, приходит к выводу автор, состоит в том, что в ходе мирового развития одновременно с ростом военной опасности складывались и никогда ранее не существовавшие реальные возможности для ее отстранения, для упрочения всеобщего мира. Те самые процессы, которые повышали угрозу возникновения войны и придавали ей потенциально все более опасный характер, то есть и обострение внутренних противоречий капитализма, и превращение борьбы между империализмом и социализмом в ось мирового развития, способствовали росту и укреплению социальных и политических сил, не только заинтересованных в сохранении мира, но и располагающих достаточными материальными возможностями для навязывания своей воли империализму, для обуздания его агрессивных устремлений.

И здесь во весь рост встает вопрос о форме международной борьбы двух систем. Хотя она теоретически решен, хотя его подлинно научное и революционное обоснование В. И. Лениным стало фактом, подтвержденным шестидесятилетним опытом развития Советского государства, этот, казалось бы, окончательно уясненный вопрос продолжают намеренно запутывать



как идеологи империализма, так и идеологи маоизма. И это, разумеется, не может не препятствовать всеобъемлющему практическому осуществлению ленинской концепции мирного сосуществования, полному ее внедрению в структуру, в плоть и кровь современных международных отношений. Как справедливо отмечает К. Зародов, противники этой концепции «слева» и справа, в сущности, смыкаются в своих взглядах и представлениях. Он пишет: критики разрядки, выступающие «слева», опираются на такие же нереалистические представления об альтернативах мирному сосуществованию, какие лежат и в основе позиций, занимаемых крайней международной реакцией.

Что это за альтернативы? Одна из них связана с предположением о возможности без конца сохранять международную напряженность, не давая ей перерасти в ядерную катастрофу и уповая на шаткое «равновесие страха». Вторая концепция исходит из того, что эта катастрофа «не так уж плоха» и якобы даже будет отвечать интересам «прогресса». И та и другая альтернативы таят в себе серьезную угрозу для мирного развития человечества, и читатели книги, безусловно, согласятся с выводом ее автора о том, что «для развития нынешнего процесса разрядки требуется, чтобы обе эти концепции во всех их вариантах, а также вытекающие из них политические позиции были преодолены и отвергнуты как нереалистические».

К. Зародов активно включается в международную дискуссию о разрядке, ее содержании и сущности, ее перспективах и «пределах», ее «выгодности» для одних и «невыгодности» для других. Хотя термин «разрядка», что называется, у всех на устах, фигурирует в международных документах, печатных изданиях, речах, понимается он повсюду отнюдь не одинаково. В него вкладывают самое различное содержание, и если некоторые люди действительно искренне заблуждаются насчет его истинного значения, то другие сознательно искажают его. Но главная трудность в понимании, познании разрядки и ее процессов состоит в том, что разрядка — явление само по себе многослойное — выдвинула, как подчеркивается в книге, в центр мировых идейных споров немало новых проблем, связанных с диалектикой разноплановых взаимоотношений войны, мира, классовой борьбы, революции. Анализируя и трактуя эти проблемы, сущность

разрядки с позиций марксизма-ленинизма и накопленного опыта реализации концепции мирного сосуществования, К. Зародов приходит к заключениям, которые заслуживают того, чтобы их коротко воспроизвести.

Первое. Марксисты-ленинцы рассматривают проблему мира как проблему, решаемую в ходе классовой, революционной борьбы. Вне контекста реальных классовых противоречий, в отрыве от них, а тем более в противопоставлении им проблема войны и мира не может быть решена. Таков единственно научный (в отличие от идеалистического, пацифистского) подход к этой проблеме, учитывающий ее классовое и конкретно-историческое содержание.

Второе. Настаивая на реальном обеспечении национальной независимости, а следовательно, и свободы социального выбора для каждой страны, каждого народа, марксисты-ленинцы определяют тем самым свое понимание разрядки как процесса, никоим образом не сковывающего динамику мирового революционного движения. Конечно, это единственно верный классовый подход к проблеме. Однако вместе с тем и мировая буржуазия проявляет свой классовый подход, стремясь отождествить нормализацию межгосударственных отношений с замораживанием, фиксацией на вечные времена сегодняшней социально-политической картины мира.

Третье. Марксисты-ленинцы исходят из того, что нормализация международной политической обстановки — это проблема, которая решается не только непосредственно в сфере отношений между государствами противоположных общественных систем, но и в классовой, антиимпериалистической, антиимпериалистической борьбе в странах капитала, в ходе национально-освободительных движений. Вопреки утверждениям буржуазных идеологов отношение к проблеме войны и мира, к политике разрядки не только не вносит каких-либо элементов «разъединения» в ряды участников мирового революционного процесса, но, напротив, является основным звеном единых действий антиимпериалистических сил в мировом масштабе.

Четвертое. Борьба за мир, то есть в конкретных сегодняшних условиях за развитие и углубление разрядки, рассматривается коммунистическими и рабочими партия-

ми как неотъемлемая часть революционной стратегии рабочего класса. В противоположность буржуазным идеологам, оппортунистам справа и «слева», которые так или иначе выставляют разрядку в виде антитезы революционному движению, коммунисты видят в борьбе за мирную перестройку международных отношений фактор, благоприятствующий укреплению политических позиций рабочего класса, сплочению всех демократических, антиимпериалистических сил.

Разрядка, как видим, не меняет существа классовых противоречий между социализмом и капитализмом. И тот и другой преследуют в процессе разрядки свои собственные, классово противоположные цели, интересы и выгоды. И тот и другой вступают в отношения, характеризуемые понятием «разрядка», каждый со своей политикой. Но предназначение разрядки — устранить такую форму проявления этих противоречий, как военная конфронтация, и именно таково общечеловеческое содержание разрядки, определяющее ее положительное значение для народов обеих общественных систем. Разрядка, таким образом, предстает как органический сплав, синтез сотрудничества, соревнования и противоборства.

Заслуживают внимания и те страницы книги, где рассматривается диалектика соревнования и сотрудничества в общем контексте борьбы двух систем. «Соревнование и сотрудничество, — пишет К. Зародов, — не взаимоисключающие характеристики. Напротив, сотрудничество стало возможным лишь благодаря достижениям социализма в экономическом соревновании с капитализмом, благодаря завоеваниям проводимой социалистическими странами политики мирного сосуществования. Расширение масштабов экономического и технического сотрудничества с государствами противоположной системы становится одним из важных условий дальнейших успехов в соревновании с капитализмом». В книге напоминает, что Ленин никогда не имел в виду классового сотрудничества, сотрудничества между капитализмом и социализмом как системами. «Сотрудничество — стран, возможно, групп стран, — говорится в книге. — Но соревнование — систем. И в условиях разрядки напряженности никакого сотрудничества между социализмом и капитализмом, между двумя социальными системами нет и быть не мо-

жет. Между ними была, есть и будет только классовая борьба».

Чрезвычайно большое значение в наше время приобретают такие проблемы, как вопрос о международном характере революционного опыта, о соотношении между всеобщими закономерностями и национальными особенностями в мировом революционном процессе. Именно против интернационализма коммунистических и рабочих партий и направляет свои отравленные стрелы буржуазная и ревизионистская пропаганда. И одно из главных достоинств книги «Социализм, мир, революция» состоит в том, что проблема интернационализма рассматривается с присущей автору научной добросовестностью и основательностью, что она пропущена через двойную призму — исторического опыта и современной практики.

«...общий ход пролетарской революции одинаков во всем мире», — подчеркивал В. И. Ленин. И эта закономерность, отражающая всемирно-историческую сущность законов классовой борьбы, сохраняет всю свою силу и значимость по сей день. Но даже выступая в роли первопроходцев социалистического переустройства мира, Ленин и созданная им партия не допускали какого бы то ни было пренебрежения опытом революционеров других стран, они считали обязательным для себя его тщательное изучение и освоение.

Революционное движение, пишет К. Зародов, приняв подлинно глобальные масштабы, обогатилось чрезвычайным многообразием форм и методов борьбы, отражающих конкретную специфику местных условий каждой страны, традиций и особенностей национальной жизни каждого народа. Это объективно подняло ответственность каждого национального отряда мирового рабочего и коммунистического движения за выбор действенных социальных и политических решений. Возросла зрелость компартий, накопивших боевой опыт. Все это сделало возможным и необходимым развертывание их деятельности на полностью самостоятельной основе. Отсутствие в международном коммунистическом движении единого координирующего, руководящего центра наглядно выражает именно этот высокий уровень политической подготовленности, общественного авторитета, тактического мастерства, достигнутый партиями коммунистов.

«Подлинная, жизненная диалектика, по

нашему мнению,— делится своими мыслями автор,— состоит, однако, в том, что самостоятельность национальных отрядов, составляющих международное коммунистическое движение, не снижает, а поднимает значение пролетарского интернационализма как важнейшего фактора мировой революционной борьбы». Интернациональные интересы коммунистического и рабочего движения — это постоянно действующий фактор, объективная общественная категория. Эти интересы определяются законами классовой борьбы и существуют независимо от того, признаются они или нет теми или иными участниками движения. Внимательный учет национальных или региональных условий революционной борьбы может быть плодотворным лишь в том случае, если он не противопоставляется всеобщим интересам движения, а, напротив, служит их лучшему пониманию и обогащению. К. Зародов выступает против таких толкований пролетарского интернационализма, которые сводят его лишь к сумме отдельных конкретных проявлений, к набору разрозненных актов международной солидарности трудящихся. В подобной трактовке пролетарский интернационализм выглядит не как постоянная величина, а как нечто, возникающее от случая к случаю.

Полемика с враждебными или ошибочными, односторонними взглядами, непримиримая там, где автор дает отпор буржуазной идеологии, товарищеская, убеждающая там, где существуют и иные точки зрения в среде коммунистов, органично вплетена в ткань этой книги, откликающейся на острые, животрепещущие проблемы теории и практики международных отношений и классовой борьбы. Автор убежденно отстаивает идеи и лозунги, выработанные коллективной мыслью международного коммунистического движения, марксистско-ленинскими партиями. Значение такой творческой деятельности, постоянно обогащающей теорию новыми выводами, оценками, обобщениями, анализом накопленного каждой братской партией опыта, трудно переоценить, ибо, как подчеркивал на Конференции европейских коммунистических и рабочих партий в Берлине Л. И. Брежнев, «в результате выигрывают и теория, и практика, выигрывает наше общее дело».

Но этому делу может быть нанесен ущерб, если, как это подчеркивается в книге, забывать прочно установленные науч-

ные истины или приносить их в жертву конъюнктурным политическим соображениям. «Теория тогда лишь сохраняет свой подлинно научный характер и тогда лишь может развиваться и углубляться ее научное содержание, когда она не опускается до уровня дешевого политического прагматизма».

Подкупает в этой книге также историзм автора. К. Зародов охотно прибегает к экскурсам в прошлое, к историческим параллелям, но история и современность не живут в книге каждая своей особой жизнью. Они сцеплены воедино преемственностью революционной борьбы и революционных идей. Автор выделяет и отстаивает в прошлом то, что ныне кое-кем подвергается забвению или искажению, стремится внести ясность в то, о чем в свое время, может быть, не позволяла «доспорить» нехватка исторического материала, человеческой практики, которая, как известно, является критерием истины.

Один из разделов книги посвящен проблемам новой, социалистической демократии. Отправной точкой ее формирования и развития стал Великий Октябрь. Провозглашенная и рожденная им нерасторжимость идеалов социализма и демократии отныне закреплена в новой Конституции Советского государства. Тем самым подчеркнут тот факт, что дальнейшее всестороннее развитие социалистической демократии — главное направление совершенствования государственности и политической структуры стран социализма на нынешнем этапе развития.

Книгу К. Зародова можно рекомендовать всем, кто стремится глубже понять проблемы диалектической взаимосвязи социализма, мира и революции, кто убежден, как говорится в обращении автора к читателю, что свободный, критический и в то же время строго классовый подход ко всем явлениям материальной и духовной жизни человечества всегда был и остается важнейшим источником силы марксистско-ленинской теории. И сама книга еще одно подтверждение того, что развитие человеческого общества XX века предстает как процесс осуществления научных прогнозов Ленина, как реализации вскрытых им закономерностей и тенденций революционного преобразования мира.

Вл. КУЗНЕЦОВ,  
кандидат филологических наук.

## ЗАНИМАТЕЛЬНО О ПРОГНОСТИКЕ

**М. Давыдов и В. Лисичкин.** Этюды о прогностике. («Жизнь замечательных идей») М. «Знание», 1977. 96 стр.

**А. Белявский и В. Лисичкин.** Тайны предвидения. Прогностика и будущее. М. «Советская Россия», 1977. 160 стр.

**Э**дип ужасна твоя судьба! Ты убьешь отца, женишься на собственной матери, и от этого брака родятся дети, проклятые богами и ненавидимые людьми...

Содрогнулся Эдип, услышав такое прощание от дельфийского оракула. Он решил не возвращаться в Коринф к своим родителям (ошибочно думая, что это его родные отец и мать) и бежал куда глаза глядят. Но, как считали древние греки, от судьбы не убежишь. Зловещее пророчество сбылось, и трагедия Эдипа и поныне продолжает вызывать сочувствие.

Несчастный Эдип не подозревал, что пал жертвой так называемого эффекта Эдипа (названного в его честь тысячи лет спустя). Этот «эффект» сводится к тому, что прогнозы могут «самоосуществляться» или «саморазрушаться», если предпринять с их учетом соответствующие действия. Отсюда вывод: там, где нужно решать, управлять, действовать, недостаточно просто пытаться предсказать, что именно произойдет в будущем. Необходимо также представить, что случится, если ничего не делать, а оставить все идти своим чередом (поисковый прогноз, выявляющий обычно перспективную проблему, которую предстоит решить). И нужно представить, что именно следует сделать, чтобы наилучшим образом решить выявленную проблему (нормативный прогноз). Наконец, сопоставляя данные поискового и нормативного прогнозов, необходимо выработать рекомендации для управления — повысить уровень объективности и, следовательно, эффективности планов, заранее взвесить возможные последствия принимаемых решений. В этом суть современного прогнозирования социальных явлений, таких, как экономика, культура, народное образование, градостроительство и даже в известной мере научно-технический прогресс.

Вот почему ужасную историю про Эдипа рассказывают обычно на вводной лекции студентам-старшекурсникам, будущим экономистам, социологам и философам, приступающим к изучению прогностики — новорожденной науки о законах прогнозирования. Рассказывают, понятно, не для того, чтобы попугать (студента древнегрече-

скими трагедиями не испугаешь, если их не завтра сдавать на экзамене), а чтобы показать, насколько трудно разработать полезный прогноз и сколько сложностей таит в себе наука прогностика. И вот почему, конечно же, с «эффектом Эдипа» мы неизбежно сталкиваемся в обозреваемых здесь книгах, да, наверное, столкнемся и в любой занимательной книжке, посвященной современной прогностике.

За последние десять—двенадцать лет (после XXIII съезда КПСС) научно-техническое и социально-экономическое прогнозирование получило в нашей стране значительное развитие. Во многих научно-исследовательских институтах созданы секторы и целые отделы, где систематически занимаются разработкой прогнозов. Сотни научных сотрудников стали профессиональными прогностиками (теоретиками прогнозирования), многие тысячи — профессиональными прогностами (практическими разработчиками прогнозов). С прогностикой приходится иметь дело десяткам тысяч специалистов различных областей науки и техники. Наконец, прогностикой интересуется массовый читатель, имеющий о ней большей частью довольно туманное представление. За упомянутое десятилетие в СССР издано почти полтораста монографий и сборников статей по разным отраслям прогнозирования. Еще больше защищено диссертаций. А уж ротаприятным изданиям и числа нет. Но все это специальные научные издания. Неспециалисту их трудно одолеть.

Между тем популярные книжки по прогностике, рассчитанные на начинающего читателя, можно перечислить по пальцам. А необходимость в них острая: ведь каждый специалист был когда-то «начинающим читателем». И очень многое в том, как и кем стал этот читатель специалистом, зависит от того, каковы были его первые книжки, раскрывшие перед ним стезю деятельности. Да и независимо от подготовки будущего специалиста разве немаловажно основательно и интересно познакомить широкий круг читателей с новым направлением научных исследований? Поэтому понятно значение каждой попыт-

ки занимательно рассказать о прогностике.

В «Этюдах о прогностике» через разнобразную прогностическую «экзотику» (к примеру, «прогностический демон» — воображаемое нечто, располагающее полной информацией о будущем и как бы посылающее нам сообщения о нем; «гомеровский прогноз» — прогноз сравнительно недавно свершившихся событий, сделанный по всем правилам прогностики воображаемым лицом сравнительно далекого прошлого с целью проверить надежность методов прогноствирования, и т. д.) читатель знакомится с основными понятиями прогностики. Он узнает, что такое прогностический сценарий и прогностический фон, что такое прогнозирующая система и верификация прогноза. А затем читатель знакомится с основными методами прогноствирования и с их помощью совершает небольшую экскурсию в XXI век.

В «Тайнах предвидения» сначала рассказывается, как рождалось научное предвидение и чем конкретно оно отличается от ненаучного. Затем опять-таки следует краткое знакомство с методами прогноствирования, завершающееся несколько более продолжительной экскурсией в отдаленное будущее. Специальный раздел посвящен возможностям научного прогноствирования того, что день грядущий готовит каждому человеку, и в чем тут разница с антинаучными гаданиями, которым все еще верят отдельные несознательные граждане.

Первые главы «Этудов» перемежаются фрагментами «Глоссария», или, попросту говоря, словаря прогностических терминов. Прием, на наш взгляд, весьма конструктивный, потому что позволяет сразу же на какой-нибудь полустраничке ввести читателя в курс дела. Жаль только, что словарь берется прямо из изданий, рассчитанных на специалистов, и безо всякого милосердия обрушивается на неподготовленного читателя, которого только что забавляли популярными притчами. Не каждый способен перенести такой холодный душ, разомлев в горячей ванне популяризации. Вряд ли авторы прогадали бы (с точки зрения интересов читателя), если бы потрудились переложить специальную терминологию на общепонятный язык.

В заключительном разделе «Этудов» читатель, как уже говорилось, совершает экскурсию в далекое будущее. И не просто экскурсию, а во всеоружии методов современной прогностики. Это производит

очень хорошее впечатление. Некоторые авторы злоупотребляют доверием читателя и сообщают ему конкретные детали 2000 года так, как если бы речь шла о достоверно известных свершившихся фактах, а не о заключениях, полученных на основе тех или иных методов прогноствирования, отнюдь не всемогущих и притом по характеру своему сугубо вероятностных (менее вероятно — более вероятно — наиболее вероятно). В самом деле, нам говорят, что в 2000 году на Земле будут жить приблизительно 6 миллиардов человек, что будет решена проблема управляемой термоядерной реакции, что появятся новые средства транспорта и связи, что начнется освоение Луны и т. д. Позвольте, почему 6 миллиардов, а не 60? Почему «будет», «появятся», «начнется»? Кто и когда это установит? Гораздо точнее, если после каждого такого «откровения» в скобках скромно добавлять: продолжение в будущее наблюдаемых тенденций, экспертная оценка, прогностический сценарий (с заблаговременным пояснением, что все сие значит). И еще точнее, если добавлять, кто именно и когда занимался анализом тенденций, экспертизой, построением сценария.

Опять-таки жаль, что авторам показалось излишней роскошью делать такие пояснения после каждой живописно обрисованной ими детали будущего. Показали для начала что к чему — и хватит. А в «Тайнах» от этого приема и вовсе отказались. Там подробно перечисляется, что именно «ождается» в будущем и даже в каком именно году, но не упоминается, что имеется в виду просто-напросто так называемый год наибольшего ожидания по итогам одного из опросов экспертов. Можно подумать, что авторы и есть те самые всезнающие «прогностические демоны», о которых ясно сказано, что это всего лишь «воображаемое нечто».

Зато в «Тайнах» сравнительно подробно рассказывается о предьстории научного предвидения, о том, как оно возникло и развивалось. Это очень важный и интересный сюжет. И если попытку предвидеть будущее на научной основе позволительно считать замечательной идеей (а мы склонны утверждать это), то «Тайны» по всей справедливости следовало бы отнести к серии книг «Жизнь замечательных идей». Однако по иронии судьбы эта серия представлена на обложке «Этудов», где как раз меньше всего говорится об эволюции

идеи предвидения от религии, утопии, идеализма к науке.

А теперь коротко о недостатках рассматриваемых книг.

Основной недостаток, на наш взгляд,— чрезмерная беглость изложения. Понятно, конечно, что авторы нередко оказываются в затруднительном положении в силу установленного издательством предельного объема в 100 или 150 страниц. Но не лучше ли пожертвовать в таком случае каким-то разделом рукописи, чем сокращать ее до такой степени, когда сокращения видны, что называется, невооруженным глазом, причем страдает не только полнота но и убедительность изложения?

В «Тайнах» сокращения производят внушительное впечатление. Самый распространенный знак препинания там — многоточие. Иногда даже складывается впечатление, что выборочно цитируется некий древний «первоисточник», словопостроения которого то и дело перемежаются многоточиями...

В «Этюдах» после сверхкраткого трехстраничного предисловия и примерно такой же вводной главы начинается диалог с неким Ивановым, который ничему не верит на слово и которому приходится доказывать то, что обычно другие авторы лихо излагают как нечто само собой разумеющееся. Интересный прием, что и говорить. Но вдруг примерно на странице 33 авторы (или редактор?) обнаруживают, что если и дальше продолжать в том же духе, то запланированного объема книги хватит лишь на первый раздел (а их в книге три). И тогда изложение сбивается на выдержку из научного трактата, перед которой остановится с разбегу и самый настырный из массовых читателей. Неспециалисту одолеть последующие 8 страниц трудно. Не удивительно, что на странице 40 появляется многозначительная ремарка: «Иванов разочарован». Мы бы добавили — не только Иванов, ибо поставлена под вопрос основа популяризации — доступность и заинтересованность изложения.

Разочарованный Иванов всплывает лишь на секунду. Его решительно изгоняют из текста вплоть до заключительного раздела. Не до тебя! И весь второй раздел книги (о методах прогнозирования) поневоле превращается в краткий, но отнюдь не самый удачный конспект учебника, читать который можно только при большой нужде в ночь перед экзаменом.

В «Тайнах» приводятся некоторые сведения о развитии прогностики на Западе, высказываются критические замечания в адрес буржуазной футурологии (как образно именуют современную «литературу о будущем»). Однако при этом допускаются досадные неточности, даются неубедительные оценки. Буржуазная футурология — сложное и серьезное явление, и критиковать ее нужно основательно. Между тем читателю так и остается непонятно, какие именно «парадоксы прогнозирования свойственны западной футурологии».

Кстати, футурологии в рассматриваемых книжках особенно не повезло. В «Тайнах» на страницах 12—13 она отождествляется с прогностикой. Но на странице 24 футуролог отделяется от прогнозиста. На странице 50 категорически оговаривается, что «прогностика не есть наука о будущем вообще, т. е. не футурология». Но это не мешает в аннотации к данной книжке сообщить, что она посвящена «новой науке — прогнозированию» (хотя само по себе прогнозирование, как и всякое действие, не может быть наукой), а в аннотации к «Этюдам» прогностика называется именно «наукой о будущем».

Там же на странице 8 объявляется, что термин «футурология» введен австрийским ученым Флехтхаймом и принят в западных странах. На деле Флехтхайм (Флехтгейм) не имеет никакого отношения к Австрии, предложенный им в 1943 году термин имел совершенно иное, чем ныне, значение, наконец, этот термин не принят на Западе. Там получил распространение термин «исследование будущего», а «футурология», как и у нас, употребляется сравнительно редко в качестве образного синонима последнего, да и то преимущественно в публицистике.

Далее, в «Тайнах» критерием оценки научной фантастики выступает осуществимость предсказаний писателей-фантастов, что уже давно расценено советской критикой как второстепенный, побочный продукт фантастики. Жюль Верн писал о первом полете на Луну, который совершили его герои — американцы из Флориды. И что же? Первыми людьми на Луне столетие спустя оказались действительно американцы, стартовавшие из Флориды. Не правда ли, поразительное предсказание? Поразительнее всего, что авторы пишут об этом совпадении всерьез.

Хуже того, они категорически утверж-

дают, что «для современной западной фантастики более характерно протаскивание самых реакционных идей». До сих пор считалось, что для западной фантастики, как и всей литературы, характерна борьба прогрессивного и реакционного течений и что те несколько десятков томов западной фантастики, которые изданы у нас в русском переводе, относятся к первому из них. Как видим, и здесь беглый «кавалерийский наскок» вызывает лишь недоумение.

В тех же «Тайнах» туманно упоминается, будто «наука начала вытеснять мистику из области предсказания явлений человеческой жизни по явлениям космическим», а дальше столь же туманно выражается надежда: «Если же оправдается гипотеза, что реакция организма связана с расположением планет в момент рождения, то индивидуальное прогнозирование по знакам Зодиака получит новую жизнь». Такие вещи требуют более основательного изложения, иначе создается ложное впечатление, будто наряду с прогностикой появляется нечто вроде неoaстрологии. Неужели авторы полагают, что это способно поднять авторитет прогностики?

Возможно, и не стоило гнаться за тем, чтобы уместить на страницах этих небольших книг своеобразную «Прогностическую энциклопедию»? Может быть, стоит посвятить прогностике целую серию популярных изданий?

Например, книжку о предыстории научного предвидения. О марковом и ленинском этапах истории научного предвидения. О современном марксистско-ленинском научном предвидении. О современной буржуазной футурологии. О борьбе между ними. О различиях между законом, гипотезой и прогнозом. Об особенностях прогнозов развития науки и техники, экономики, народонаселения, градостроительства, народного образования, культуры, государства и права, политики и т. д. О методах прогнозирования, об опросах экспертов, о прогностическом моделировании. Наконец, скажем, специально о том самом «эффекте Эдипа», с которым мы познакомились в начале нашего обзора...

Действительно, каждая из этих тем и даже многие их подтемы вполне могут послужить основой увлекательнейшей популярной книжки. Конечно, можно попытаться дать популярное изложение азов прогностики в целом. Но тогда необходимо сосредоточить внимание читателя именно на основном, не расплывая страницы на второстепенные сюжеты и неубедительные «кавалерийские наскоки».

Прогностика за истекшее десятилетие ушла далеко вперед. Развитие ее идет ивширь и вглубь. Выдвигаются все новые и новые проблемы, о которых и речи не было всего несколько лет назад. Вот, например, какие вопросы собираются обсуждать в этом году на своем ежегодном семинаре ленинградские прогностики и прогнозисты:

- информационное и математическое обеспечение прогностических исследований;
- практика разработки долгосрочных комплексных прогнозов в различных отраслях;
- организация прогностических исследований;
- функциональное обеспечение систем непрерывного прогнозирования.

А вот некоторые вопросы из программы аналогичной конференции сибирских прогностиков и прогнозистов:

- использование прогнозов для создания эффективных программ развития науки и техники;

- комплексные методы и модели прогнозирования;

- автоматизация процедур получения надежных прогнозов;

- основные источники прогнозных ошибок и методы снижения их влияния;

- теоретические вопросы повышения надежности прогнозов.

Вот на какой научный уровень нужно сегодня поднимать популярную литературу по прогностике, вот какие ориентиры нужно учитывать при первом ознакомлении с прогностикой будущих специалистов.

**И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА,**  
доктор исторических наук.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**А. В. МЯЛКИН. Социальный портрет советского рабочего. Основные черты. Процесс формирования. М. Профиздат. 1977. 135 стр.**

Обобщенный в рецензируемой книге материал затрагивает самые различные стороны становления и укрепления рабочего класса как основной производительной и ведущей политической силы советского общества. Его действия, образ мышления, побуждения свидетельствуют о заложенных в нем могучих творческих силах, проявляющихся в величайших свершениях. Высокие социально-политические и нравственные качества рабочего класса воспринимаются и усваиваются колхозным крестьянством и народной интеллигенцией, ныне все больше становятся общенародными. В нашей стране, указывается в новой Конституции СССР, «сложилось социально-политическое и идейное единство советского общества, ведущей силой которого выступает рабочий класс». Рабочий класс стал главным гарантом построения бесклассового коммунистического общества в нашей стране.

Одним из замечательных результатов победы социализма в СССР явилось коренное изменение самого облика рабочего человека, рождение и совершенствование нового типа производственника, соединяющего в себе труд физический и умственный, поднимающегося к вершинам науки.

На горьковском заводе «Красное Сормово» имени Жданова работает установка непрерывной разливки стали. Она оснащена 55 электромоторами, 40 электроприборами, более 100 другими контрольно-измерительными аппаратами. Радиотехника, телевидение, радиосвязь, гидравлика, пневматика буквально пронизывают этот агрегат. Управлять им, разумеется, могут люди образованные, опытные производственники нового типа. И такие рабочие у нас есть, их воспитала сама жизнь. Это в подлинном смысле слова рабочие-интеллигенты, рабочие-инженеры. Сейчас в промышленности около 700 тысяч специалистов с дипломами инженера и техника, занятых на рабочих местах у чудо-машин — поточных линий, пультов управления, автоматизированных агрегатов, подобных сормовским.

Сам микроклимат социалистического производства, участие рабочих в управле-

нии им, трудовая и общественно-политическая активность, соревнование и взаимопомощь, наставничество и обмен опытом, дух коллективизма благотворно влияют на воспитание людей труда, повышение их профессионального опыта. Всенародное движение за коммунистический труд, за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки, пятилетки эффективности и качества, сливается с массовым творчеством, рационализаторством, изобретательством, совершенствованием производства, со строжайшей экономией труда, времени, материалов. Их десятки, сотни тысяч — рационализаторов и изобретателей, людей неугомонных, людей «порывов горячих и дум непрерывных». Только за годы девятой пятилетки было внедрено более 100 тысяч изобретений, 18 миллионов рационализаторских предложений, экономический эффект которых составил более 19 миллиардов рублей.

Коммунистическая партия — направляющая, организующая и мобилизующая сила нашего общества, «ядро его политической системы, государственных и общественных организаций», как указано в Конституции СССР, проявляет постоянную заботу о воспитании сознательности трудящихся, их готовности, воли и умения строить коммунизм. Говоря об особенностях выработки научного миропонимания, теоретической основой которого является марксизм-ленинизм, автор уделяет особое внимание целенаправленному, комплексному характеру, действенности системы политического и экономического образования, школ коммунистического труда, которыми охвачено более 70 миллионов трудящихся. Главное здесь в том, чтобы усваиваемые идеи и принципы научного коммунизма становились глубокой внутренней убежденностью каждого человека, применялись им в жизни и труде.

В этой связи в книге рассматриваются задачи нравственного воспитания и утверждения новой, социалистической дисциплины труда. Выявляя значение общечеловеческих моральных норм, выработанных народом на протяжении тысячелетий и получивших подлинное развитие при социализме, автор вместе с тем отмечает, что духовный облик рабочего в наше время стал богаче, приобрел новые черты гармонической личности. В моральном кодексе строителя коммунизма особо подчеркива-



ются принципы добросовестного труда, высокого сознания общественного долга, коллективизм и товарищеская взаимопомощь, честность и правдивость, нравственная чистота, нетерпимость к несправедливости, антиобщественным явлениям и другие.

«Передовой рабочий сегодня — это человек, обладающий глубокими знаниями, широким культурным кругозором, сознательным и творческим отношением к труду, он чувствует себя хозяином производства, человеком, ответственным за все, что происходит в нашем обществе. Такой рабочий политически активен, он нетерпим к расхлябанности и безответственности, к любым недостаткам в организации производства. Он непримиримый враг всякого мещанства, любых пережитков прошлого в сознании и поведении людей». Эти слова Л. И. Брежнева еще раз наглядно подтверждены обширным материалом, содержащимся в книге.

К. Касиков,  
Я. Федин.



**РУКОПОЖАТИЕ. Kézfogás.** Сборник. Составитель Анатолий Медников. Переводы с венгерского О. Громова. М. «Московский рабочий». 1977. 280 стр.

При первом же взгляде на двуязычное заглавие вспоминается известнейшее стихотворение Дюлы Ййеша «Рукопожатия». Оно почти одновременно нынешнему интересно составленному советско-венгерскому сборнику, и вспоминаешь его потому, что дух подобных писательских начинаний выражен в нем блестяще: «Меня связали особой порукой именно те пожатия, что были честны, что были сердечны и надежны... Вот рукопожатия, перед которыми я в долгу, и вот почему я и берусь за перо».

Наверняка именно такой пафос крепкой поруки, товарищества и взаимного интереса породил замысел новой книги и дал ей имя. Издание осуществлено и на венгерском языке — и весь этот сборник стихов, дорожных очерков и рисунков составлен так, что венгерские авторы рассказывают об СССР, а советские — о своих венгерских встречах.

Авторы сборника представляют не только разные страны, но и опыт разных поколений. Общее же здесь то, что каждый остро чувствует духовную связь с народом-соседом, живые узы братства между нашими народами. Узы настолько прочные, что 40 тысяч венгерских сирот, спасенных от голода весной 1945 года, могут назвать своим отцом советского коменданта в Будапеште (очерк А. Старкова «Дети Замерцева»). Советскому читателю близок и понятен рабочий-передовик Имре Мольвар, сменивший «тепшую тускло, без особых бед, но и без больших радостей» жизнь с семьей в деревне на «горячее дело» у домны в Дунайвароше, где «главная улица города вдвое шире самой широкой магистрали в Будапеште» (очерк А. Кривицкого «Воспоминание о настоящем»); понятны и

родственны мельчайшие черточки жизни семьи нагривальщика с Чепеля (очерк Виктора Старикова «Праздник в будни»).

Понять друг друга и «породниться не по крови, а по духу» (Гоголь) легко, если люди хотят этого. По словам М. Барышева, написавшего очерк о людях венгерских заводов «Ганц» (побратим советской «Электросиль»), «если такое взаимное желание есть, они одолеют языковые, житейские, социальные и прочие барьеры». К тому же социальных барьеров между двумя странами именно нет; и если разговор с молодым венгерским рабочим об учебе в вечернем институте «не перенесешь в иную социальную формацию» (М. Барышев), то для советского человека он естествен, точно так же как для будапештца естественно, что в московском метро нет специальных вагонов для «элиты», которые Эрнэ Гондош (автор очерка «Легенды о метро») видел в Париже.

Родство наших народов имеет богатую предысторию. Достаточно вспомнить отрока — венгра Георгия из «Повести временных лет», закрывавшего своим телом Бориса от смертельного удара посланца Святополка; брак дочери Ярослава Мудрого с королем Андрашем; вспомнить общий для нас многовековой удел «щита между монголов и Европы», как выразился Блок. Нить родства проходит через поэтическое воззвание Михая Чоконаи-Витеза к русским в наполеоновские времена. Родство это становится особенно тесным в огне двух революций — Великой Октябрьской и Венгерской революции 1919 года, — а также на заключительной стадии борьбы против фашизма.

В связи со сборником «Рукопожатие» хотелось бы сказать о будущем. Подобные сборники вполне могут составить большую издательскую серию. Сегодня авторы первого опыта благодаря усилиям составителя Анатолия Медникова и переводчика Олега Громова удачно открывают нам возможности такой формы творческого сотрудничества. А завтра найденная форма позволит нам узнать о новых встречах представителей наших культур. О встречах, раздвигающих горизонты дружбы, взаимопонимания между нашими народами.

Паула Винце,  
Сергей Небольсин.



**ВЛАДИМИР СОКОЛОВ.** Городские стихи. М. «Советский писатель». 1977. 167 стр.

«Чтоб песнь — соловьиная, а не чижова; чтоб собственным голосом, а не с чужого!» Как близко эти строки из раннего стихотворения Владимира Соколова «Памятка», написанного более трех десятилетий назад, переключаются с совсем недавними:

Это страшно — всю жизнь ускользать,  
Уходить, уберечь от ответа.  
Быть единственным, а написать  
Совершенно другого поэта.

Верность себе, умноженная на мастерство, скромность, сдержанность, даже цело-

мудренность поэтического слова,— вот что лежит в основе нынешней прочной читательской привязанности к творчеству Владимира Соколова. Отличительная черта поэта — чуткость, цельность нравственного чувства.

Композиция новой книги Владимира Соколова сложна, и отыскать в ней путеводную нить нелегко. Думается, в какой-то мере ключом к ней могли бы служить строки:

Ты была моей лучшей бедой,  
От которой рождается песня.

«Городские стихи» — во многом повесть о нелегкой, несбывшейся любви, и мысленное обращение к героине этой «повести» образует в книге как бы причудливый музыкальный мотив — то близкий, отчетливый, то удаляющийся, смутный, еле слышный. Пожалуй, ни один из предыдущих сборников поэта не был в такой степени насыщен музыкой, как «Городские стихи». Очень часто музыкальная напевность достигается повторами:

Не умерли, не умерли  
Одной любви благодаря  
Те сумерки, те сумерки  
Андроникова монастыря.

Внутренне глубоко музыкальны и «Стихи Марианне», «Телефон», «Городской романс», «Бессонница», «Весной» и другие. Именно музыкальность является той плотью стиха, которая непосредственно несет в себе многозначность, объемность чувства — оно одновременно и радость, и боль, и томление, и светлое воспоминание.

Другой важной особенностью «Городских стихов» следует назвать глубокую диалектичность поэтической мысли, постижение мира через сближение не только далекого, но, казалось бы, взаимоисключающего («дивная муха», «красота разочарования»), а также созвучность стихий переживаний самого поэта голосам окружающего мира. Его реальному богатству отвечают внутренние связи в границах поэтического мира Владимира Соколова, связи — переключки израненного осколками поля, неба, ливня, старого дома, стука звонких каблук...

Действительная современность поэзии Владимира Соколова не только в реалиях, приметах настоящего и недавнего прошлого («Я тебе не писал, камня от этих раскопок, с волгоградской земли унося сталинградский осколок»), но, думается, в еще большей степени в самом строе его стиха.

Наша критика немало писала о том, что Владимир Соколов, родившийся в 1928 году (в апреле этого года ему исполняется пятьдесят лет), относится к поколению поэтов, «не успевших» на войну. Опаленная войной трудная юность навсегда осталась для него суровым уроком острой причастности ко всему миру. И сталинградский осколок для поэта — памятный знак героического времени, зовущий к серьезному размышлению, пристальному взгляду в себя («...потому что себя проверял»),

Очень важным в книге представляется стихотворение «На этой даче», в котором дана картина выбора судеб, дорог. Одна из них обещает трудности, поиск,

Другая втягивала в омут  
Воронкой норма и тепла.

Немалой удачей лирики Владимира Соколова считаю то, что поэт здесь передает читателю и сам «вкус» юности, порыва, вдохновения, свободы...

Зрелость поэта, в творчестве которого все явственнее упорство постижения народного духа, постижения современности в ее неотрывности от живых традиций, — залог завтрашних удач Владимира Соколова.

Арво Метс.



**Б. Я. РОЗЕН. Чудесный мир бумаги. М. «Лесная промышленность». 1976. 134 стр.**

Папирус нередко называют «дедушкой бумаги». И это по праву. Во многих музеях мира хранятся древние папирусные свитки, возраст которых исчисляется тысячами лет. «Папирус был предшественником бумаги, — пишет автор. — Потому и сама бумага стала называться: у немцев — папир, у англичан — пейпер, у испанцев — папель».

Но папирус был не единственным предшественником бумаги, точнее не первым материалом, которым люди стали пользоваться, чтобы выражать свои мысли с помощью различных письмен. Ведь потребность в письме возникла у человека в глубокой древности — около пятнадцати—двадцати тысяч лет назад. Б. Розен правильно начинает свою интересную книгу кратким рассказом о таких материалах для письма, как камень, глина, металл, дерево. Первым «пером» древнего человека были нож, топор, заостренная деревянная или металлическая палочка.

Показывая, как развивалось и совершенствовалось производство бумаги с момента его зарождения в Китае, автор ведет нас через моря и пустыни, из страны в страну. Мы побываем в бумажных мастерских в Багдаде и Толедо, в Фабриано и в Ураниенборге, под Москвой и Петербургом. Читатель с интересом прослеживает тот сложный путь, который прошло производство бумаги, открывшее возможность сделать бумажный лист носителем культуры и знаний для широких масс народа.

Основное внимание Б. Розен уделяет развитию бумажной промышленности в нашей стране после Великого Октября. Вот одна цифра из многих, которыми автор подкрепляет свой рассказ: если в 1913 году все бумажные фабрики царской России вырабатывали в год всего 400 тысяч тонн бумаги, то теперь один лишь Котласский целлюлозно-бумажный комбинат в Архангельской области ежегодно выпускает такое же количество бумаги!

В книге с большим знанием дела рассказывается об ударных стройках гигантов бумажной промышленности в разных концах нашей родины — на Севере и в Сибири, на Урале и на северо-западе. Автор сам побывал на них, поэтому читатель не только узнает из первых рук о новой современной технике, используемой на наших предприятиях, — он знакомится с жизнью и делами замечательных советских рабочих, техников и инженеров, усилиями которых создавалась и успешно растет бумажная промышленность нашей страны.

Повествует Б. Розен и об ученых, труды которых получили мировое признание и способствовали успехам развития советского бумажного производства.

Значение бумаги в наш век трудно переоценить. Из помощника просветителей, помогающего передать мысль, познакомить людей с величайшими ценностями искусства и науки, она ныне стала «мастером на все руки». Из бумаги делают одежду и посуду, веревки и игрушки, изоляционные материалы и мебель, изготавливают облицовочные плиты и строят дома. Автор рассказывает и о многих других способах применения бумаги в народном хозяйстве.

Охватывая большинство основных насущных проблем, связанных с производством бумаги в настоящее время, автор приоткрывает и завесу будущего. Всегда ли будут изготавливать бумагу из целлюлозы и вырубать ради этого лес? Нет, не за горами время, когда бумагу будут изготавливать из полимеров, стекла, каучука и камня. И это позволит, по мнению автора, прекратить истребление леса и избавит человечество от тех бед, которые ему грозят, если на нашей планете исчезнут зеленые массивы и нарушится экологический баланс.

Книга написана увлеченным человеком и поэтому читается легко. Она доступна школьнику, а вместе с тем небезынтересна и специалисту. Увлеченность автора передается читателю, и кто знает, может быть, она побудит кого-нибудь из молодежи выбрать себе благородную профессию бумажника.

Николай Внуков.



**НИКИТА БОЛОТНИКОВ. Последний одиночка. Жизнь и странствия Никифора Бегичева. М. «Мысль». 1976. 223 стр.**

В названии книги удачно раскрывается ее содержание. Речь в ней идет о действительно последнем землепроходце-одиночке Никифоре Бегичеве, имя которого впервые появилось на страницах русских газет и журналов в конце XIX — начале XX столетия. Автор, опытный полярник, работавший в тех же местах, где жил и трудился герой книги, сумел выявить и верно передать главное в характере, в жизненном пути героя — сподвижничество, присущее многим русским землепроходцам

начиная от Семена Дежнева, жертвенность во имя науки, бесстрашие и мужество. Эти качества становилось все сложнее проявлять в годы, когда повсеместно в исследованиях Арктики побеждала идея организации больших комплексных научных экспедиций, когда к участию в них привлекались видные ученые. В таких условиях землепроходчество изживало себя и, казалось, не могло возродиться. И все же Бегичев стал последним землепроходцем. Как это произошло, подробно рассказывается в книге Н. Болотникова.

Началось все тогда, когда на фрегат «Герцог Эдинбургский» по поручению Эдуарда Толля, готовившего научную экспедицию на судне «Заря» в район предполагаемой Земли Санникова, прибыл офицер с заданием набрать добровольцев для рейса в Арктику. Кому-то из моряков следовало принять исключительно важное для себя решение — отправиться во льды Северного Ледовитого океана на судне со сравнительно слабым корпусом. Принял это решение боцман Никифор Бегичев, не зная, что оно определит его дальнейшую судьбу.

Смелость и отвагу он показал в те напряженные и трудные дни, когда, по существу, возглавил спасательную морскую экспедицию, отправившуюся на поиски Толля и его товарищей, ушедших в июне 1902 года от стоянки «Зари» на острове Котельном в сторону неведомой Земли Санникова. К тому времени стало ясно, что с Толлем случилось несчастье — в назначенный срок он не возвратился на корабль. Боцман повел шлюпку к острову Беннетта и там обнаружил следы Толля, его последнюю стоянку, важные геологические коллекции, собранные Толлем, карту самого острова, составленную спутником Толля астрономом Зеебергом. Опечаленный вернулся Бегичев на зимовку «Зари». Именно в это время его назвали «железным боцманом»...

В 1906 году Бегичев впервые направился на далекий, еще загадочный тогда полуостров Таймыр и много, пожалуй, как никто другой, сделал для его исследования. На Диксоне наши современники поставили ему памятник. Скульптор А. Абдрахимов изобразил его в движении — идущим вперед, прокладывающим новые пути. Так оно и было в жизни. В 1908 году Бегичев, следуя по берегу Хатангского залива с двумя якутами — верными товарищами по путешествиям, вышел на не указанный на карте остров, за которым утвердились легенды, что там живет нечистая сила. Остров называли «землей дьяволов». Позднее он получил имя Бегичева. Ему же принадлежит и заслуга занесения острова на точную географическую карту.

Мировую печать облетело известие о том, что в 1915 году на северо-западном побережье Таймырского полуострова зазимовали экипажи судов гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана «Таймыр» и «Вайгач», совершавших плавание из Владивостока в Архангельск. Бегичеву было поручено собрать все транспорт-

ные средства — ездовых собак — и, несмотря на сложные условия, вывезти часть моряков зазимовавших кораблей. Это задание он выполнил блестяще. В 1920 году Бегичев возглавил санную экспедицию для поисков норвежских моряков Тессема и Кнутсена, отправленных в 1919 году с мыса Челюскин на Диксон с научной почтой Руаля Амундсена. Следуя по пути норвежцев, Бегичев осматривал каждый залив и каждую бухту, отмечая на своей карте места, где останавливались путешественники. Так он обнаружил останки одного из норвежцев и брошенную ими по дороге почту Амундсена, а при подходе к Диксону — труп второго норвежца, свалившегося в яму в нескольких сотнях шагов от полярной станции Диксон. За находчивость, мужество и героизм норвежское правительство наградило Бегичева именными золотыми часами.

Многие другие славные дела осуществил этот удивительный человек, жизнь которого была в походе. Умер он в очередном походе на Таймыр. «Он не дожид до весны, — говорится в одном из преданий о Бегичеве таймырских оленеводов и охотников, среди которых он пользовался любовью и безмерным уважением, — он умер, когда прилетела первая чайка»...

Теперь советский читатель получил возможность ознакомиться с хорошей повестью о жизни и странствиях Никифора Бегичева. Она написана человеком, влюбленным в дела и свершения выдающегося полярного землепроходца XX столетия.

**М. Белов,**  
доктор исторических наук.



**А. ГОЗАК.** Алвар Аалто. М. Стройиздат. 1976. 175 стр.

Здания, как и книги, имеют свою судьбу. Случилось так, что один из самых значительных международных форумов последних лет — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе — оказался причастным к наиболее интересному творению выдающегося финского зодчего Алвара Аалто, ставшему, к нашей общей печали, лебединой песней мастера. Речь, конечно же, идет о Зале конгрессов «Финляндия».

Имя Алвара Аалто по праву стоит непосредственно за именами крупнейших архитекторов Запада Ф. Л. Райта, В. Гропиуса, Мис ван дер Роз и Ле Корбюзье. И если сегодня зодчество небольшой страны на севере Европы занимает одно из ведущих мест в мире, выступая своеобразным законодателем архитектурной моды, то в этом несомненно немалая заслуга А. Аалто.

«Быть вовлеченным в архитектуру есть нечто такое, что требует всей человеческой жизни и заполняет ее деятельностью, не имеющей ни начала, ни конца». Эти слова зодчего, приведенные в качестве эпиграфа к первой части книги, служат ключом к пониманию причин успеха Аалто. От творчес-

кого дебюта — индустриальной выставки 1922 года в Тампере, для которой по его проекту было возведено два сооружения, — до работ, датированных началом 70-х, зодчий не изменял своей «завербованности» всепоглощающей страстью создавать. Уже две ранние работы зодчего — туберкулезный санаторий в Паймио (1928—1933) и библиотека в Выборге (1927—1935) — оказывают существенное влияние на развитие финской архитектуры, свидетельствуя, по словам А. Гозака, о качественном скачке в творчестве зодчего и его окончательном переходе на позиции реалистической архитектуры (этому предшествовало кратковременное увлечение Аалто неоклассицизмом). В этих работах Аалто предстает новатором в архитектуре, значительно обогатившим ее словарь. Мастером, который вводит в широкий оборот ряд новых средств художественного воздействия.

«...рука, которая лепит человеческие обшежития, города, здания и даже мелкие вещи, должна быть мягкой, гуманной, чтобы сделать их приятными для человека», — писал А. Аалто, и это не было голословной декларацией. Всей своей творческой практикой он подтвердил верность этому убеждению. Ведь именно верой в гуманистическое начало архитектуры объясняется то обстоятельство, что мастер так много времени уделяет интерьерам, специально проектируя для каждого из них мебель, электроосветительную арматуру, создавая стекло, элементы декора.

Раньше других архитекторов Аалто забил тревогу по поводу возможных нарушений экологического равновесия, обусловленных неконтролируемым развитием техники. Впрочем, это отнюдь не значит, что зодчий выступал противником техники. Он возражает против ее фетишизации, чреватой опасностью подавления этой техникой человека.

Столь же интересно отношение мастера к еще одной проблеме современности, выдвинутой переходом на индустриальные методы в строительстве, — стандартизации. Рассматривая ее как прогрессивный фактор, он тем не менее предостерегает: «Стандартизация домов может создать «психологические труппы», если различные человеческие потребности не будут поставлены архитекторами на первое место». И еще: «Мы должны создать образцы, которые поднимут уровень не только жизненных стандартов, но также и духовных. Очень важно, чтобы мы смогли осуществить эластичную стандартизацию, которая не будет командовать нами, а которой мы сможем сами управлять».

Когда заходит разговор о зодчестве страны Суоми, произвольно возникает образ нации, живущей, по выражению финского архитектора Кирмо Миккола, «в мистическом единстве с природой». Это единство обеспечивается способностью финских архитекторов очень органично вписывать создаваемые ими объемы в окружающую природу, умелым владением такими природными материалами, как дерево, гранит, камень.

В творчестве Алвара Аалто эта способность достигла вершинного уровня. Его концепция единства творений человека и природы нашла свое воплощение в ряде градостроительных решений, в которых взаимосвязь архитектуры и ландшафта рассматривалась важнейшей предпосылкой обеспечения нормальной жизнедеятельности городских организмов. И остается только сокрушаться, что почти всю свою жизнь финский мастер отдал архитектуре, мало занимаясь градостроительством. Однако и то немногое, что сделано им в этом плане, оставило очень заметный след в градостроительстве Финляндии, а проект так называемого экспериментального города (1940), по мнению А. Гозака, послужил теоретическим прототипом для многих послевоенных генеральных планов финских городов.

Разработанный Аалто-проект нового городского центра Хельсинки синтезировал все лучшее из арсенала зодчего и является, пожалуй, апофеозом его градостроительного мастерства. К счастью, мастер успел довести эту свою работу до логического конца, а одно из лучших творений — Зал конгрессов «Финляндия» — даже увидеть осуществленным. Детальная же доработка, увы, будет вестись без Аалто, его учениками и последователями.

Завершая свое интересное исследование, автор пишет: «Аалто принадлежит большой вклад в архитектуру XX в., в центре внимания которой, по мнению мастера, всегда должен стоять Человек».

**И. Дрейцер.**

Кемерово.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**Л. И. Брежнев.** Великий Октябрь и прогресс человечества. Доклад на совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлевском Дворце съездов 2 ноября 1977 года. 48 стр. Цена 75 к.

**Публицисты ленинской школы.** Редколлегия: В. И. Власов и др. 240 стр. Цена 55 к.  
**В. Старцев.** От Разлива до Смольного. Документальный очерк о последнем подполье В. И. Ленина. 183 стр. Цена 50 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Р. Казанова.** Набело. Стихи. 160 стр. Цена 50 к.

**Н. Клюев.** Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэта». Малая серия) 559 стр. Цена 1 р. 50 к.

**П. Куусберг.** Капли дождя. Роман. Перевод с эстонского. 264 стр. Цена 1 р.

**А. Майков.** Избранные произведения. («Библиотека поэта». Большая серия) 910 стр. Цена 4 р.

**Ю. Морич.** При свете жизни. Книга стихов. 143 стр. Цена 55 к.

**Ю. Шамансур.** Обращение. Стихи и поэмы. Перевод с узбекского. 86 стр. Цена 35 к.

**И. Эренбург.** Стихотворения. Вступительная статья С. Наровчатова. («Библиотека поэта». Большая серия) 478 стр. Цена 2 р. 50 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Г. Гейне.** Стихи. Перевод с немецкого. 143 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. Герцен.** Кто виноват? Роман. 219 стр. Цена 1 р.

**А. Гидаш.** Другая музыка нужна. Роман. Перевод с венгерского. («Зарубежный роман XX века») 648 стр. Цена 4 р. 10 к.

**И. Гончаров.** Собрание сочинений. В 8-ми тт. Т. 1. Обыкновенная история. Роман.— Произведения 1838—1842 гг. 526 стр. Цена 2 р. 60 к.

**С. Гуденно.** Избранное. Стихотворения и поэмы. 366 стр. Цена 1 р. 80 к.

**А. Додэ.** Тартарен из Тараскона. Трилогия. Перевод с французского. 319 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Литература и социология.** Сборник статей. 414 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Луна, упавшая с неба.** Древняя литература Малой Азии. Перевод с древнемалоазийских языков. 317 стр. Цена 95 к.

**Э. Межелайтис.** Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Стихотворения. Перевод с литовского. 485 стр. Цена 2 р. 10 к.

**С. Наровчатов.** Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Стихотворения.— Поэмы. Предисловие Л. Лавлинского. 405 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Овидий.** Метаморфозы. Перевод с латинского. («Библиотека античной литературы. Рим») 430 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Э. Ожешко.** В провинции. Роман. Перевод с польского. 349 стр. Цена 1 р. 70 к.

**У. Родригес.** Суррогат счастья. Новеллы. Перевод с португальского. 398 стр. Цена 2 р. 50 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Парус-77.** Сборник литературно-художественных и публицистических произведений для подростков. Составитель А. Лиханов. 367 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Э. Рязанов.** Грустное лицо комеди. Заметки кинорежиссера. 272 стр. Цена 50 к.

**М. Случинс.** На исходе дня. Роман. Авторизованный перевод с литовского В. Залеской и Г. Герасимова. Послесловие Е. Книпович. 431 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Фантастима-77.** Сборник. Составление и предисловие В. Щербакова. 383 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Революция строит социализм.** Рассказы участников социалистического строительства. Составление и подготовка текста А. Ненарокова. 207 стр. Цена 75 к.

**Б. Случиний.** Время моих ровесников. Стихотворения. Вступительная статья В. Огнева. 159 стр. Цена 40 к.

**А. Твардовский.** Василий Теркин. Книга про бойца. Поэма. Послесловие Ю. Вуртиана. Иллюстрации О. Верейского. 207 стр. Цена 60 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Вирашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 24/1 1978 г. Объем 19 п. л. Подписано к печати 7/III 1978 г.  
А 10949. Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup>. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
Тираж 250.000 экз. Зак. 280.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01343.



Цена 70 коп.

70636